

**В.Г.**  
**КОРОЛЕНКО**

Владимир Галактионович Короленко

## **Том 3. Рассказы и очерки** (Собрание сочинений в десяти томах #3)

Третий том собрания сочинений составляют рассказы и очерки: «За иконой», «На затмении», «Птицы небесные», «В пустынных местах», «Река играет», «В облачный день», «Художник Алымов», «Смиренные», «Не страшное», «Таланты», «Ушел!».

<http://ruslit.traumlibrary.net>

# Содержание

За иконой . . . . .	0005
На затмении . . . . .	0099
Птицы небесные . . . . .	0134
В пустынных местах . . . . .	0210
#1 . . . . .	0210
I Ветлуга . . . . .	0210
II Светлояр . . . . .	0248
III Приемьш . . . . .	0279
IV На сеже . . . . .	0296
V По Керженцу. — Городинка . . . . .	0307
VI По Керженцу. — В Оленевском скиту и у «единоверцев» . . . . .	0323
VII Ночная буря. — Лесные люди . . . . .	0354
VIII На кордоне. — Лесная пустыня. — Волга . . . . .	0393
Иллюстрации . . . . .	0414
Река играет . . . . .	0420
В облачный день . . . . .	0476
Художник Алымов . . . . .	0549
Смиренные . . . . .	0665
Не страшное . . . . .	0708
Таланты . . . . .	0806
Ушел! . . . . .	0841

**Владимир Галактионович  
Короленко  
Собрание сочинений в  
десяти томах  
Том 3. Рассказы и очерки**

# За иконой

## I

Несколько дней стояло ненастье. Еще в ночь на девятнадцатое июня выпал обильный дождь, а утром облака висели по небу серыми клочьями. Но к полудню свежим ветром их сбilo в сплошную тучу и понесло на север. Небо расчищалось, синело, солнечные лучи играли в лужах, на освеженной зелени висели капли, срывались и сверкали в воздухе.

— Порадела владычица, — вёдро у бога выпросила, — говорили богомольцы, кучками расположившиеся на улицах и на площади у собора, откуда в двенадцать часов должна была выйти икона.

— Пожалела православных. Гляди, и народу поприбавится... О-ох-хо-хо... На дождик-то мы не больно усердны...

Было еще рано. Пройдя бойкими улицами, миновав затем овраги, я углубился в кривые, грязные переулки на окраине города и подошел к окну, на котором к стеклу было приклеено изображение сапога. Хозяин, Андрей Ива-

нович, выразивший вчера желание идти за иконой вместе со мною, сидел один за своим верстаком и угрюмо стучал по сапогу.

— Андрей Иванович! — окликнул я в окно. — Что же вы не собираетесь? Пора!

Он встрепенулся, но тотчас же скрыл движение радости, отложил сапог, открыл раму и потянулся в окно своим сухопарым туловищем. Внимательно взглядевшись в клочки чистого неба и в облака, уносимые ветром, как будто его решение зависит всецело от этого осмотра, а не от Матрены Степановны, которая начинает сильно ворчать в соседней комнате, — он решительным движением стаскивает со лба ремень, придерживающий волосы, и говорит:

— Иду!

Затем я присутствую при супружеском диалоге, для меня до известной степени одностороннем, так как ясно слышны мне только ответы Андрея Ивановича, а голос Матрены Степановны доносится лишь в виде бурного рокотания.

— Черт его бей! — говорит, во-первых, мой приятель, торопливо укладывая свои инстру-

менты. Потом, надевая чистую рубашку, прибавляет: — Подождет! Что, мне из-за него и богу не молиться!

— Нашла тоже благодетеля... Вон пару шью, — полтины за работу не очистится.

— Жила он, да! А ты как думала? Жила, сквальга, скнипа!..

Голос Матрены Степановны подымается при этих кощунствах супруга против «давальцев» на самые высокие ноты, но Андрей Иванович упорствует.

— И никогда не приравняю, — говорит он уже другим тоном, — тоном защиты, затягивая в то же время пояс. — Нашла к кому приравнять: по крайней мере, как бы то ни было, все-таки образованный человек, книги сочиняет... не им, живодерам, чета!

Так как в этой речи моего друга, хотя и снабженной столь многочисленными оговорками («по крайней мере», «как бы то ни было» и «все-таки»), дело, очевидно, идет обо мне, то, из понятного чувства скромности, я несколько удаляюсь от окна. Звуки супружеской перепалки усиливаются, но все же через минуту Андрей Иванович выбегает из калит-

ки. Он несколько красен, несколько взволнован, но во всей его фигуре видно оживление и торжество. К сожалению, я должен сказать, что минуты подобного торжества в супружеской жизни Андрея Ивановича далеко не часты... Как бы то ни было, мы быстро шагаем по городским улицам. Андрей Иванович впереди, и мне видно, как у него нервно подергивается спина, как будто на ней есть глаза, в эти глаза видят оставленный назади дом, и у дверей фигуру Матрены Степановны, и как она стоит, упершись руками в бока и посылая нам вдогонку не христианские пожелания...

Между тем по улицам двигались уже кучи разряженных обывателей и обывательниц. Деревенский люд, богомольцы в «поклонники», собравшиеся к проводам иконы из окрестностей, а иные из отдаленных сел и городов: из Балахны, Городца, Василя, — сидели на панелях, под стенами домов, разложив вокруг узлы, кошели и котомки. Многие тянулись уже к монастырю, где перед выходом из города служат молебны. Лавки на попутных улицах закрывались, торговля прекращалась, колокола гудели вдали, и звон разливался



над городом, как море, захватывая одну за другой церкви, все ближе и ближе.

Когда мы вышли на улицу, ведущую к девичьему монастырю, пестрые передовые толпы уже заливали ее почти сплошными массами. Кое-где, ближе к концу города, у ворот и калиток стояли ведра или небольшие ушаты с квасом. Богомольцы подходили к ним, снимали шапки, крестились а испивали.

— Спаси вас господи, царица небесная, радетели...

У монастырских ворот конные и пешие городовые сдерживают напор толпы. Они сортируют публику, пропуская одних, «которые почище», а «чернядь» отгоняя прочь. Нас пропустили, хотя с некоторым колебанием.

Против входа, на дворе, темным пятном среди пестро наряженных горожан выделяется отряд монастырских клирошанок. Впереди игуменья, среди рясофорных стариц, радушно раскланивается с именитыми горожанами. В задних рядах молодые послушницы, в конических шлыках, потупляют глаза перед любопытными взорами мирской толпы. По временам из-под шлыка сверкнет молодой взгляд,

заиграет лукавая улыбка. И потом голова наклоняется, потупляются глаза и черная тень надвигается на лицо, оставляя на виду только губы и подбородок... Становится как-то жутко. Чувствуется невольное в этой тени и трепетание молодой жизни, и, быть может, порыв, и, быть может, протест, и, быть может, глухая борьба...

Впрочем, стоит перевести взгляд на первые ряды, и тревожные фантазии рассеются: здесь, в тихой обители, годам к шестидесяти приходит, вместе с телесною полнотою, душевный мир и то незлобивое спокойствие, с каким в ту самую минуту почтенная предводительница клира приветствовала старого, но очень любезного полицейского генерала.

Андрей Иванович дернул меня за рукав.

— Идем! Что нам здесь смотреть?.. Чернохвостые! — добавил он, кидая сердитый взгляд исподлобья.

Однако уходить уже было поздно. У входа образовалась давка, так как икона приближалась к монастырю. Черницы с трудом проталкиваются за ворота, и через минуту над гулом идущей суетливо толпы слышен хор женских

голосов, поющих тропарь:

«Днесь светле красуется Нижний-Новгород, яко зарю солнечную восприимше...»

Через несколько минут процессия появляется в воротах. Наклоняясь над густой толпой, проносятся хоругви, парча волнуется и сверкает, тонкое резное серебро дрожит в синем воздухе. Кресты, сияния, фонари, затем золоченая риза иконы с темными ликами богородицы и младенца — все это будто плывет над обнаженными головами народа. Еще минута — и железные ворота, точно по волшебству, разрезают живой поток, смыкаются и сдерживают толпу. Несколько пеших городских, навалившись изо всех сил, подпирают ворота своими дюжими фигурами; сквозь решетки видно пять конных молодцов, тесно сомкнувшись стремя у стремени. Лошади подтягивают морды, играют и топчутся на месте, отжимая толпу. Толпа ропщет, кто-то кричит, кто-то ругается, два клира наполняют воздух пением, вверху гудят колокола и шумят деревья... Икона вносится в церковь.

## II

Через полчаса, после молебна, икону про-

носят из монастыря к лагерю. Войска отгородили широкий квадрат у подножия церкви. Музыка играет «Коль славен...», раздаётся команда «на молитву», в ясном воздухе гудит и дребезжит бас диакона, чуть-чуть слышится пение хора, относимое ветром. После молебна икону, поставленную в киот, на длинных дрогах поднимают на плечи; трогаются вперед хоругви.

— Барин, вы, видно, до Оранок? — спрашивает, трогая меня за рукав, какая-то старушка.

— До Оранок, матушка.

— Владычице... свечку за меня, грешную. — Морщинистая рука тянется ко мне с пятакон.

— И от меня возьми, барин.

— И от меня.

Я принимаю поручение и кладу набранную сумму особо.

Невдалеке, уже на тракту, служат прощальный молебен. Здесь толпа начинает разделяться. Зонтики, шляпки с цветами, щегольские мужские шляпы отделяются по направлению к городу. Рыжие мужицкие гречневика, котомки, лапти, красные сарафаны

деревенских молодух, кое-где мещанский ситец, белые платочки — все это отливает по тракту вперед. Нищие стоят по сторонам, протягивая руки. Дурачок Митька выкрикивает, стоя на холме, командные слова, какой-то долговязый юродивый размахивает палкой, бормочет что-то и бежит за толпой. Позванивая колокольцами, с трудом пробираются меж народом три или четыре почтовые повозки, в которых сидят два толстых монаха с лоснящимися и довольными лицами.

— Казну везут в монастырь, — говорят около нас.

Через несколько минут, выбравшись на более просторное место, ямщики трогают вожжи, колокольцы заливаются, а повозки, минуя быстро идущую толпу, несутся на горку и исчезают из виду.

Впереди — пологий красивый подъем. Широкою лентой, окаймленная четырьмя рядами развесистых, старых берез, лежит дорога, вся пестрая, вся живая, усыпанная народом...

Но вот, в половине подъема, оказывается задержка. Торопливо пройдя полями, наперерез, из ближней деревни вышла на тракт куч-

ка крестьян и стала в ряд, навстречу приближающейся иконе... И тотчас же около нее начинается как-то густеть и завиваться прегражденное течение людского потока.

Мы прибавляем шаг и слышим все яснее пронзительные причитания. Молодой женский голос, то исступленный, то жалобный, страдающий и молящий, разносится в воздухе, между тем как сзади, надвигаясь все ближе, растет торжественный напев тропаря.

— Кличет... — сказал Андрей Иванович.

— Кликуша... порченная... Под икону класть привели, — говорят кругом в толпе с живым интересом.

— Пока до Митина дойдем, штук десять выведут, — прибавил равнодушно какой-то немолодой мещанин.

— Баловство одно! — кидает Андрей Иванович.

— Баловство и есть... Поучить бы хорошенько...

— Поучи-ить? — язвительно и звонко подхватывает какая-то бабенка. — Чем она виновата? Иная от вас и закличет, от учения вашего...

— Да, говори!.. Стоят этакие же вот две со-  
роки. Одна и спрашивает у другой: «Ты ноне,  
Аниська, станешь выкликать, что ли?» —  
«Нет, мол, не стану, сыро!» — «Ну так погляди  
у меня калачи, я покличу маленько...»

В толпе смех.

— А ты это сам слышал, что ли? — заступа-  
ются опять обиженные бабы.

Между тем около кликуши степенно и  
грустно стоят ее одноподдеревенцы, а родные  
держат молодую женщину под руки. Толпа  
все приливает... Резкий крик... по временам  
плавное причитание, сменяющееся стонами  
и неистовым, надрывающийся воплем... Лег-  
кое облако пыли, пронизанное солнцем, ко-  
леблется между рядами берез... Глухой шум,  
будто от прорвавшегося потока, мерный то-  
пот десятитысячной толпы и волны клирного  
пения, объединяющего весь этот нестройный  
гул в одно могучее, захватывающее движе-  
ние, — все это близится, вырастает, охватыва-  
ет и подымает за собой, между тем как впереди,  
споря с общею гармонией, бьется какое-то  
одно жалкое, страдающее и непокорное суще-  
ство с этим испуганным, надрывающимся го-

ЛОСОМ...

Мне становится жутко. Андрей Иванович хмурится. Мы стоим в густой давке, на откосе тракта, а мимо нас, точно река, сжатая берегами, густо, величаво и плавно несется уже сплошная толпа, давно охватившая группу с кликушей, которая неистово вырывается из рук, мечется, кидается в стороны...

Икона близко... Резкий, нечеловеческий вопль покрывает и смешивает на мгновение пение хора.

Из толпы, головой выше всех, выделяется фигура странника с длинными волосами, опаленным лицом и мрачным взглядом. Огромный, сухой, странно равнодушный, он легко прокладывает себе дорогу в толпе, наклоняется, подымает на плечи «порченую», которая судорожно бьется у него в руках, и, раздвигая поток человеческих тел, несет ее навстречу иконе... Пронеся несколько сажений, он кидает свою ношу на землю, склоняется над нею, и живой поток смыкается, покрывая обоих...

Еще один подавленный крик... Ряды фонарей, крестов, хоругвей уже далеко впереди... Кругом только мерный топот и гул неудержи-



мого, как стихия, человеческого потока. В клубах кадильного дыма, в волне торжественного пения, колыхаясь и сверкая на солнце, икона плывет в воздухе над этим океаном обнаженных голов, — над подавленным, строптивым воплем «одержимой»... Пение, все такое же стройное, все тише, все мягче расплывается в воздухе, я сквозь редующий топот уже вновь пробивается ласковый шорох и шелест придорожных берез...

Молодая женщина лежит в пыли, на дороге. Она тихо вздрагивает и как-то по-детски плачет... Любопытные заглядывают через плечи родственников, сомкнувшихся вокруг «порченой», а странник, такой же равнодушный и мрачный, опять прокладывает себе путь вперед, ближе к иконе...

Жарко... Как-то сразу я чувствую и зной, и то, что котомка невыносимо отдала мне плечи, и всю трудность пути за этою быстро уносящеюся толпой. Андрей Иванович остановился и смотрел вправо. Там, с крутого обрыва, виднеется гладкая излучина Оки. Река лежит среди сырых и парящих от зноя лугов, светлая, ровная. Оттуда, снизу, так и манит,

так и веет свежестью и прохладой.

— Вот что, — решает Андрей Иванович, — надо купаться!

— Далеко, милые, отстанете, — дружелюбно говорит какая-то богомолка, торопливо пробегающая мимо нас, но мы решаемся и быстро спускаемся по обрыву, поросшему орешником.

Тихий берег. Гребень обрыва скрыл от нас толпу с ее говором и движением. По временам на этом гребне мелькают цветные фигуры, в одиночку и парами, все реже и реже. Река плещет в каменистый берег. Вправо, верстах в десяти, из-за реющего тумана виднеются строения и церкви Канавина. На нашей стороне, дымя высокими трубами, бесшумно работает завод. После суетливого речного движения Волга ее соседка Ока производит странное впечатление. Как здесь тихо! Далеко, на той стороне, вдоль песков, скользит парусная лодка. Под горой («яром», как здесь называют) по берегу движется темное пятно. Это бурлаки, которых вы почти уже не встретите по Волге, ведут бечевой небольшую барку. Пятно будто стоит на месте, и только по-

сле долгих промежутков видно, что оно становится меньше, все удаляясь вверх по реке. Дрянной окский пароходишко пробегает из Нижнего, гулко шлепая колесами среди пустынных берегов. На палубе никого не видно, даже на трапе пусто. Только, затерявшись у штурвала, виднеется одинокая фигура лоцмана.

### III

Когда, выкупавшись, мы опять поднялись на гору, — дорога совсем опустела. У «мызы», на свежем воздухе, семья хозяина благодушествовала за самоваром. Несколько переселенческих телег стояли тут же с подвязанными кверху оглоблями. По всей дороге, взбегающей на горку, не было видно никаких следов крестного хода. Кое-где только по сторонам шли нам навстречу увлеченные общим течением и теперь возвращавшиеся обратно горожане.

— Далеко икона?

— В Новой деревне молебен отслужили.

Прибавив шагу, мы быстро миновали Новую деревню. Тут попадались уже отсталые. Пьяный мужик плелся неверным шагом,

грустно помахивая из стороны в сторону своєю кудрявою головушкой.

— Н-не догнать будет, мил-лаи... Н-и-и. Она, владычица-те, чай, уж куда улетела. В Борисове теперь... А мы, по грехам-те нашим, отстали вот... Ах, мил-лаи!..

И мужик долго качал сзади нас победною головушкой, объятый глубокой скорбью. Наконец, вероятно изнемогая в неравной борьбе с своею греховностью, он присел у дорожной канавы. Оглянувшись, мы увидели бедного человека с запрокинутою головой, и что-то вроде бутылки сверкало в его руках на солнце. Вскоре только красное пятнышко, лежавшее на зеленом фоне придорожной муравы, обозначало место победы греха над благочестивым стремлением...

Впрочем, кудрявый мужик не один испытал эту горькую участь. В тени березок, а иногда и в грязи канав, то и дело попадались нам тела других павших.

А вот на свалившемся и полустгнившем дереве отдыхает какая-то компания. Седой еврей в солдатской шинели, с громадною лохматою бородой и белыми кудрями да еще

три-четыре мрачных субъекта более или менее сомнительной наружности... Седой старик, очевидно, пристал к ним сейчас. Один из компании наклоняется к его уху и кричит:

— Ступай ты, служивый, от нас. Не рука нам, значит... Иди, иди!

— А-яй! Глухой я, ничего не слышу... А прежде на бубен играл... Ай-ай, как я играл на бубен...

Долговязый, черный золоторотец флегматично поднимается с бревна, берет старика за шиворот и ставит на дорогу. Порядочный толчок сильной руки показывает служивому, что от него требуют. Подхватив котомку и тревожно оглядываясь, старик суетливо бежит по тропинке. По-видимому, только теперь он сообразил, что имеет дело не с праздными дорожными зеваками, которым любопытно знать, как он играл на бубне, а с людьми, которые заняты делом. Рать богомольцев имеет своих отсталых и павших, а это мародеры. Они смотрят на нас, сидя на своем бревне, как коршуны, из-под насупленных бровей. Только один, с толстою физиономией, одетый в женскую кургузую кацавейку, глядит веселее

и даже не без юмора.

— Что, отстали, господа? — спрашивает он.

— А вот, — угрюмо отвечает мой спутник, шагая мимо, — смотрим, не попадетсЯ ли где работишка...

— Какая?

— Грузчики мы, карманы выгружаем, — отвечает Андрей Иванович невозмутимо.

— Ишь журавль долговязый!

— Что ты ругаешься?

Андрей Иванович мгновенно поворачивается. Его странные, глубоко сидящие глаза сверкают из-под шапки рыжих волос (картуз у него спрятан в котомке). Он большой любитель кулачного боя и считает ниже своего достоинства справляться о числе противников. Несмотря на долговязость и сухощавость, его фигура обличает незаурядную силу. Длинные сухие руки заканчиваются громадными красными кулаками. Сомнительные субъекты мрачно оглядывают его, производя безмолвную оценку. Только кацавейка, по-видимому, готова принять вызов.

— Сиди ты, «машка»! — останавливают его. — А вы, господа, идите себе своей доро-

гой.

— И то идем. А ты не моги нам указывать... — горячится Андрей Иванович.

— А ты не горячись, — выскакивает кацавейка, — я, брат, и сам с усам. Ка-ак махну...

— Ты?

— Я.

— Меня?

Андрей Иванович, отставив кулак назад, подходит грудью к кацавейке, великодушно подставляя под удар не защищенную физиономию. Я знаю, что в эту минуту самое горячее желание Андрея Ивановича состоит в том, чтобы кацавейка осмелилась его ударить. В груди у него кипит и подымается что-то такое, что может получить естественный исход лишь в случае оплеухи со стороны противника. А уж тогда последуют со стороны Андрея Ивановича истинные чудеса неустрашимости.

Однако бой не состоялся. С одной стороны, я усиленно удерживаю Андрея Ивановича. Это очень трудно. Его железная рука легко отмахивается от меня.

— Уд-ди! Не трог! — кидает он в мою сторо-

ну довольно грубо. С другой стороны, черный золоторотец отталкивает кацавейку. Мрачный субъект, по-видимому, человек серьезный, и весь эпизод сердит его, как глупая шалость, мешающая «работе».

Как бы то ни было, поле остается, бесспорно, за Андреем Ивановичем. Отставив правую руку назад, приподняв левое плечо кверху и весь подавшись вперед, он гордо стоит на месте, между тем как противники, огрызаясь, уходят в том направлении, где на травке алеет кумачная рубаха скорбевшего о грехах мужика.

Через минуту, круто повернувшись и не говоря более ни слова о происшедшем, Андрей Иванович шагает по дороге как ни в чем не бывало.

## IV

У небольшого поселка Ольгина дорога разделилась. По старому Московскому тракту, протянувшемуся на Горбатов и далее на Муром, рассыпаны пестрые кучки крестьян, которые выходили навстречу иконе из ближних деревень и теперь возвращаются обратно... Арзамасский тракт ушел влево.



Отсталых все больше и больше, но главной массы богомольцев не видно вовсе. Деревни, через которые приходится идти, точно вымело, — жители провожают икону до следующих деревень, а иные присоединяются к богомольцам до Оранок. Только квасники-лавочники еще не убрались и считают под навесами медяки, оставшиеся в выручках после только что отлившей людской волны.

— Кваску, господа, не угодно ли?

Мы пьем везде, где только возможно. «Для ходу человеку квас очень полезителен, — философствует Андрей Иванович. — А для отдыху, заметьте себе, квасу не кушайте, а более чай».

— Что, хорошо ли торговали? — спрашиваю я у торговца, оттирающего платком потное, красное лицо.

— Ух, господин, чистая беда! Главное дело — безобразно очень: все деньги вперед надо спрашивать. Не доглядишь — он выпьет, потом идет себе, более ничего.

— Или теперь со сдачей... — меланхолически добавляет торговка. — Дает гривенник, а сдачи просит с пятиалтынного.

Андрея Ивановича почему-то оскорбляют эти обвинения.

— Не грех богомольцу и даром кваску поднести, — сообщает он свое решительное мнение.

— Наше дело торговое, — холодно отвечает лавочник.

— Живодеры вы, вот что! — говорит мой приятель уже на ходу, но его замечание, по видимому, не доходит по назначению.

— Назад пойдете, может, ночевать к нам не зайдете ли! — звонко и приветливо кричит торговка вдогонку.

— Вот они, торгоши, — ты ему плюнь в глаза, а он говорит: «божья роса!» Ничтожный народ.

Андрей Иванович имеет обыкновение выражаться резко в определенно; его симпатии и антипатии, как и все поступки, отличаются быстротой, решительностью и некоторою парадоксальностью. Он — отличный работник и примерный семьянин. В молодости года три он сильно пьянствовал и даже валялся в лужах, но потом вдруг остепенился. Чтобы закрепить это обращение на путь истины, отец

решил женить его на Матрене Степановне, немолодой и некрасивой девушке, обладавшей резким голосом и очень твердым характером. Андрей Иванович не вышел из родительской воли, и с тех пор жизнь его пошла ровно. Матрена Степановна держала его круто, но, впрочем, и сам он понимал свои обязанности. Работник он был примерный, пользовался нераздельно доверием заказчиков на Яриле и Новой Стройке (окраинных частях города), трудился с утра до вечера, с «давальцами» обращался очень почтительно. Только когда на время «снял хомут», как сам он выражался, тогда сразу становился другим человеком. В нем проявлялся строптивый демократизм и склонность к отрицанию. «Давальцев» он начинал рассматривать как своих личных врагов, духовенство обвинял в стяжательстве и в чревоугодии, полицию — в том, что она слишком величается над народом и, кроме того, у пьяных, ночующих в части, шарит по карманам (это он испытал горестным опытом во время своего запивойства). Но больше всего доставалось купцам.

— За что вы его обругали? — спросил я на

этот раз.

— А вам жалко? — и он кинул на меня короткий взгляд исподлобья. — Я так об них полагаю, что будь я министр, всех бы их запретил.

— Как же тогда — город остался бы без лавок, без товару?.. Кто бы стал заказывать вам сапоги?..

— Как-нибудь иначе придумали бы. Мало ли способов!..

— Как же бы вы придумали? Интересно.

— Да что вы ко мне пристали: как да как? Ежели я сапожник, то, стало быть, это не мое дело. Что я знаю? — шило да подметку, товар да колодку, больше ничего. А может, дайте вы мне большие тысячи, чтобы мне книжки читать, да всякие там бумаги, — я бы придумал. Уж это верно, что придумал бы. А что вы насчет заказчиков говорили, на это я вам вполне могу ответить. Вы вот о чем рассудите: мой отец двенадцать работников держал, а я только двух, и тех еще по времени отпускаешь. Почему так?

— Может быть, сами работники в хозяева выходят?

— Не туда гнете: в хозяева! Вот недавно еще было дело: стал я пьянствовать, отец меня прогнал. И сейчас меня, пьяницу, три хозяйина зовут. А теперь вон сколько подмастерьев шатается, из хлеба одного готовы работать, — никто не берет. Это вы можете понимать, стало быть, как они в хозяева выходят. Нет, что уж...

Андрей Иванович машет рукой и многозначительно замолкает. Вся его фигура в эту минуту показывает, что если дела так пойдут дальше, то за последствия он отвечать не возьмется.

В это время сзади нас нагоняет тарантас, запряженный тройкой. Мужик в кумачовой рубахе погоняет лошадей. В телеге сидит молодой, хорошо упитанный купеческий сынок с бутылкой в руке. Чьи-то ноги свесились из-за переплета. На купце надет рыжий картуз, возница щеголяет в касторовой шляпе. Вся компания, очевидно, сильно под хмельком. Купчик наклоняется с сиденья, чтоб ущипнуть одну из трех мимо идущих богомолков. Девушки визжат, компания хохочет, лошади, испуганные шумом, трогают быстрее. Андрей

Иванович останавливается в негодовании.

— Вот вы их защищаете. Смотрите сами: тоже ведь на богомолье собрался! Мы вот с вами идем пешком, изустанем, — неужто нам это озорство пойдет на ум? А в нем сила играет, потому что легкие деньги, вот что! Легкий хлеб это играет... Н-ну, попадись мне этот богомолец где-нибудь, что я над ним сделаю!..

Андрей Иванович злобно сжимает кулаки, грозит вслед тарантасу, неистово раскачивающемуся на ухабах, и затем прибавляет с горечью:

— Дурак едет на скотине, умный век пешком идет!.. Стих так говорится... И верно!

## V

Пройдя еще с полверсты, Андрей Иванович толкнул меня локтем и круто остановился.

— Гляди-ка, старушка-то... ай-ай-ай!

В стороне, по тропинке, опираясь на палку и сгорбившись, плелась какая-то старуха. Очевидно, каждый шаг давался ей очень трудно. Сгорбленная спина качалась, голова, опущенная вниз, дрожала, ноги передвигались с трудом. Она не поднимала глаз и сосре-

дотоchenно смотрела только под ноги, отмеривая шаг за шагом своего многотрудного пути.

— Матушка, а матушка! — окликнул ее Андрей Иванович.

— Что тебе, касатик?

В голосе старушки слышалось усилие. Она подняла сморщенное лицо с потускневшим взглядом и посмотрела на Андрея Ивановича, продолжая шагать по-прежнему.

— Ты как же это, а? — недоумевал мой впечатлительный спутник. — Чай, ведь трудно?

— Трудно, родимый, трудно! Главное дело — ноги вот, ноги не ходят, — стара.

Слеза выкатилась из моргающего глаза и упала на песок дорожки. Андрей Иванович делал какие-то нелепые движения, что у него служило признаком внутреннего волнения.

— Нешто этак возможно? Ведь тебе никак не дойти.

— Авось матушка владычица донесет. Порадеть хочется. А что, далеко ли еще до Каменки, до ночлегу?

— Верст еще двенадцать...

— Ох, батюшки, далеко!.. Иди, иди, касатик. Не смотри на меня, старую... Негоже вам

глядеть-то... Ноженьки-то у вас резвые, а я, вишь, измучилась... Не замай, проходите, родимые...

Мы двинулись дальше, и оба долго молчали. Наконец, остановившись, по обыкновению, неожиданно, Андрей Иванович посмотрел на меня долгим, укоризненным взглядом.

— Неужели это она напрасно?.. Думаете, не зачтется? Не может быть, враки!..

И хотя я не думал даже возражать, Андрей Иванович крепко ударил палкой по стволу ближайшей березы и быстро пошел вперед.

Вскоре мы обогнали трех богомолков, которых недавно задевала пьяная компания. Одна была немолода, две — молодые девушки, по видимому, мещанки или горничные. Все они быстро шлепали босыми ногами. Когда мы поравнялись с ними, они прибавили шагу и шли вровень, хихикая и жеманясь. Андрей Иванович, не обращая внимания, шагал своей журавлиною походкой: я едва поспевал за ним. Это безмолвное состязание как будто сблизило нас с женщинами.

— И что это, право, какие кавалеры, — сказала старшая из них, запыхавшись и стирая



пот ситцевым рукавом, — замучили вовсе...

— А вам какая надобность гоняться? — спросил Андрей Иванович. Я заметил, что его брови хмурятся и глаза будто уходят глубже. Но девушки приняли его ответ за вызов на дальнейший разговор.

— Да ведь, чай, в компании-то веселей, — бойко сказала ближайшая. — Мы видим, что вы кавалеры обходительные, не сиволапые мужики...

— Конечно, веселей, — кинула другая, — что в пути, что на ночлеге...

Все они засмеялись. Но Андрей Иванович, еще не освободившийся от впечатления, произведенного на нас обеих старухой, внезапно остановился, вперил на девушку свои колющие впалые глаза и спросил:

— Вы какое это слово сказали, а? Нет, вы какое слово сказали?

Озадаченные мещанки удивленно посмотрели на него и быстро бросились в сторону, так как Андрей Иванович вдруг впал в тон обличителя. Он поднял руку и, потрясая ладонью над головой, называл девушек сороками и срамницами, между тем как они быстро

шлепали по тропинке босыми ногами. Догнав первую кучку богомольцев, они принялись что-то оживленно рассказывать им, указывая назад.

— Сороки короткохвостые, право, сороки! — говорил Андрей Иванович, довольный произведенным впечатлением. — Нету в этом народе никакого понятия...

— Это вы насчет горничных?

— Вопче, женщины.

— А Матрена Степановна?

— Ну, что такое Матрена Степановна? — та же баба! Недаром еще Пушкин сказал: все, говорит, одинаковы, и имя им ничтожество. А уж на что сочинитель был известный.

— Андрей Иванович, Пушкин этого не говорил.

— Ну, вот, не говорил!.. Когда бы не сам я читал... Конечно, — прибавил он через минуту, не без меланхолии, — в прежние года, когда я был холост, тогда и самому лестно было. А то, вишь, к женатому человеку...

— Да им почем знать, что вы женаты?

— Знают... А не знали, так теперь будут знать.

## VI

Пройдя село Митино, мы увидели толпу у Вязовки. Только часть богомольцев вошла с иконой в деревню, другая сворачивала ближайшим путем, под высокими мельницами, выходя под углом на боковую дорогу, которая вела в Каменку. Оставалось пройти еще десять верст до ночлега.

Когда мы подошли к мельницам, процессия выходила из села. Лучи заката играли на серебре хоругвей. Фиолетовые облачка стягивались и густели на холодевшем вечернем небе, жаворонки припадали к нивам, крик перепелов несся мягкими переливами, смешиваясь с приближавшимся пением хора. Человеческие голоса звучали среди полей, под тихим дыханием угасающего дня, как-то особенно гармонично и мягко.

По бокам дороги высокая рожь стояла двумя ровными стенками. Из Каменки, навстречу иконе, выходили крестьяне. В одном месте, на полосе, среди хлебов, стояла целая семья: седой старик со старухой впереди, рядом сын-большак, поодаль молодуха. Две или три детских головки чуть виднелись среди

колосьев. Сзади угасало за горой солнце, и фигуры крестьян рисовались ясно и торжественно над колыхавшеюся рожью.

— Насчет хлебушка прибегают к владычице. Мало ли что может случиться? — град, засуха, червяк...

— Благодать! — говорит Андрей Иванович. — И складно же поют, ах, братцы мои!

— Женщина там одна... тоже выводит.

Действительно, молодой женский голос, вырываясь высокими нотами, развеивается с вечерним ветром над полями, сверкает, как лучи закатывающегося солнца, и гаснет где-то в ясной вышине вместе с этими лучами.

Однако идти трудно. «Богоносы», наклоняясь, будто готовые упасть под тяжестью хоругвей, несутся двумя рядами вперед, понукая передовую толпу.

— Пятки, пятки! — покрикивают они то и дело.

Высокая рожь мешает сойти в сторону, и мы почти бежим впереди. Урядник, выехавший навстречу, гарцует среди женщин и ребят, гордо красуясь на славной серой лошадке. На небе зарисовывается гребень холма, и

черные крыши выступают на нем правильными очертаниями.

Тем не менее еще далеко. Вечер спустился на землю. Луна ярким серпом повисла над мгlistою тучей: над полями залег синий, неопределенный, таинственный сумрак, наполненный сыростью и золотистым сиянием, которое так скрадывает все очертания. Оглянувшись назад, я вижу, что мы оставили процессию далеко позади. Огни фонарей тянутся искристою лентой в долине, вьются, изгибаются, вытягиваются и по временам освещают золотую ризу иконы, которая то выступает из мрака фосфорическим сиянием, то исчезает опять среди темноты.

Вот и первые избы селения. Мы сделали с четырех часов тридцать верст. Плечи отдавила котомка, ноги подкашиваются, я почти падаю от усталости.

— А что-то наша старушка? — сосредоточенно произносит Андрей Иванович, когда мы проходим по деревне, среди освещенных окон, где видны на столах самовары и отдыхающие богомольцы. В моем воображении рисуется старая, сторбленная фигура, все так

же бредущая среди темноты. Теперь никто уже не смутит непрошеным сожалением ее тяжелого добровольного подвига. Только рожь шепчет по сторонам, да луна смотрит с неба на выбивающегося из сил старого, отжившего человека...

## VII

— Чай, что ли, пить? К нам заходите, к нам!

Андрей Иванович, не слушая этих зазываний, твердым шагом направляется к другому концу улицы, подальше от церкви. Здесь также светятся окна, видны ярко вычищенные самовары на столах, но народу не так еще много.

— Дядя Иван!.. Эй, дядя Иван!..

Белая борода дяди Ивана наклоняется к окошку.

— Богомольцев пускаешь, что ли?

— Знакомых, друг, пускаем... Потому заняты места-те у нас.

— Что, ай не узнал?

— Богату быть, Андрей Иванович, богату быть... Ну-ну, полезай в избу-те.

За столом сидят уже несколько человек,

все публика почище. Женщины в городских  
мещанских платьях, мужчины в пиджаках,  
по-видимому, ремесленники. Хозяин только  
что убрал один самовар и поставил другой.  
Чай пили богомольцы свой; каждая компа-  
ния получала в свое распоряжение чайник.

Я повалился на скамью, опершись спиной  
на стену. Не хотелось ни двигаться, ни развя-  
зывать котомку. Чувство особенного насла-  
ждения, когда усталые члены мозжат и ноют,  
но зато все тело отдается ощущению отдыха и  
покоя, охватило меня всего. Андрей Иванович  
разделся, развязал котомку и даже снял сапо-  
ги.

— А ночевать куда положишь? — спросил  
он у хозяина.

Дядя Иван, благообразный старик с мягки-  
ми манерами и старчески лукавым лицом,  
озабоченно почесывал затылок.

— Вот уже не знаю. На дворе разве. Кры-  
тый двор у нас.

— А в задней избе?

— Заднюю проезжающие заняли. Степан  
Ерофеича, из города, не знаете ли?

— Толстомордый?

— Ну-ну!

Андрей Иванович толкнул меня локтем.

— Это которых мы видели, безобразники-то... По шее их гнать, а ты в избу пуцаешь!..

Старик озабоченно оглянулся и закашлял. Напившись чаю, богомолки и богомольцы выходили из-за стола и уходили из избы. Мы с Андреем Ивановичем, захватив большую охапку сена, расположились на дворе, под навесом, у стены задней избы. Фонарь кидал колеблющийся свет, выпугивая воробьев из-под высокой соломенной крыши. Где-то в темных углах чавкали лошади, коровы жевали жвачку, похрюкивала свинья. Где-то еще слышались голоса богомольцев, улегшихся на соломе, кто-то копошился в кузове старого тарантаса. Свет луны прорывался сквозь щели плетеных стен. С улицы доносились шаги прибывающих странников. Они то и дело стучали в окна и усталыми голосами спрашивали:

— Ночевать, ночевать, родимые, не пустите ли?

Я не заметил, как заснул, и опять проснулся от странного шума. Казалось, что-то гро-



мадное, стуча, всхрапывая и шелестя, надвигалось на меня, заполняя неопределенную тьму. Понемногу, однако, я стал осваиваться с этим шумом: это, во-первых, Андрей Иванович жестоко храпел рядом. Во-вторых, петух, обеспокоенный необычными звуками, сошел с на шести и, осторожно шурша по соломе, пробирается у самого моего уха, почти касаясь головы своими крыльями. Вот он вышел на середину двора, и шуршание его легких шагов теперь принимает в моем сознании настоящие размеры... Я вижу, хотя и неясно, его небольшую фигурку, вижу, как он расправляет крылья и вытягивает шею.

— Ку-ка-ре-ку! — раздался вдруг резкий, будто слегка охрипший от ночной сырости голос.

Другой петух зашевелился и пробормотал что-то сонно и сердито. По-видимому, он находил, что еще рано.

Вслед за только что смолкшими переговорами петухов я услышал в темноте двора еще какие-то звуки. В старом кузове тарантаса шептались два голоса — один мужской, другой женский. Из-за стены с некоторых пор

неся какой-то топот, стукотня, песни и гул пьяных голосов. Влево от нас кто-то невидимый быстро зашевелился, и молодой женский голос испуганно спросил:

— Кто тут? Ай, тетка Федосья, тетка Федосья!

— Что тебе? — говорит недовольно старуха. — Эй ты, чего подкатился, озорник. Мало, что ль, места тебе? У меня живо откатишься...

Озорник громко и тенденциозно всхрапывает, очевидно прикидываясь спящим. Однако встревоженное стрекотание проснувшихся деревенских девушек вскоре заставляет озорника ретироваться. В это время Андрей Иванович, даже в сонном состоянии не теряющий порывистости движений, завозился на сене так внезапно и сильно, что даже у меня мелькнуло сомнение: неужели это он сейчас юркнул на свою постель... Впрочем, нет. Не говоря уже о непоколебимой добродетели моего спутника, я все время слышал около себя его храп.

— Что это вы расстрекотались, сороки? — проснувшись, спросил он, с обычным пренебрежением к женскому сословию.

— А-а, проснулся небось... Озорник! — сказала тетка Федосья.

— Ишь где очутился! Туда же, храпит... Нешто сонный так откатится?

— Да это кто такой? — спросил еще чей-то голос.

— Сапожник это из городу. В Ивановом доме живет.

— О? Да я и бабу его знаю.

— Ах, озорники эти сапожники! Супротив сапожников других таких и нету! Ох-хо-хо! Только ведь засыпать начала...

— К нам по дороге приставал! — бойко выносится из тарантаса звонкий и лукавый девичий голос. Я узнаю по этому голосу одну из мещанок, которым Андрей Иванович читал мораль. — И до такой степени приставал, то есть до такой степени, что и сказать невозможно...

— Мамынька! Я тятке на него скажу, — плаксиво говорит испуганная девушка.

— Нишкни. Ужо мы евойной бабе все расскажем...

— О, ш-штоб вв-вас! — тихо и злобно шипит Андрей Иванович, видя, какой опасный

оборот принимает дело. Упоминание о супруге при таком подавляющем стечении улик окончательно лишает его самоуверенности, и потому он делает самое худшее, что мог бы сделать в своем положении, а именно — вытягивается на постели и пускает притворное сопение, прикидываясь заснувшим.

— Храпит... здесь вот этак же храпел, притворщик... Ох-хо-хо! Грехи, грехи...

Вскоре под навесом водворяется тишина.

Притаившиеся на время голоса в кузове тарантаса опять возобновляют тихую и мирную беседу. Из-за стены слышатся визг и хохот. Андрей Иванович ворочается, бормочет что-то и по временам кого-то тихо ругает. Я начинаю забываться. Мне опять видится одинокая старушка. Она все еще плетется по опустевшей дороге, между побелевшими от росы ржавыми полями. Андрей Иванович идет впереди ее, размахивая руками, и кому-то угрожает: «Что-о... не зачтется ей?.. Нет, враки, не туда гнете!..»

— Не туда гнете! — слышу я уже наяву крик Андрея Ивановича. — Меня не испугаете! Нешто этакое озорство дозволяется? Спать

не даете, гульбу завели, соблазн! Богомо-ольцы!.. Озорники, лодыри, гуляки!..

Я не сразу мог сообразить, в чем дело. Светает: снаружи первые, еще рассеянные лучи просверлили уже в нашем плетне круглые горящие отверстия. Свет расплывается в сыром воздухе, воробьи чирикают под застрехами; в углах темно и прохладно, Андрей Иванович, босой, со всклокоченными волосами, стоит у сеней, перед входом в заднюю избу, и, по-видимому, обличает ночных гуляк. Хозяин, тоже босой, унимает его:

— Ты вот что! Ты у меня в доме сам себя ве-ди посмирнее.

— А ты что из своего дома сделал, а?

— Не твое дело. Тебя пустили, ты ночуй благородно, а беспокойства делать не моги.

— Что там опять? — просыпаются бого-мольцы.

— Сапожник из городу буянит.

— Сапожни-ик?

— Да, в Ивановом доме живет который. Такой озорник, беда! Ночью этто к девкам так шаром и катится, так и катится...

— К нам на дороге до такой степени при-

ставал, — подымает румяное лицо из тарантаса мящаночка. Теперь она в тарантасе одна и имеет вид самого невинного простодушия.

— Бока намять! — категорически заключает хриплый и сонный бас.

— О, шток вас! — стонет опять Андрей Иванович, ложась рядом со мной. — Н-ну, народ! Этакое народу в прочих государствах поискать... Ей-богу... Тьфу!

— Охота вам, Андрей Иваныч, во все вмешиваться... — говорю я, едва удерживаясь от смеха.

— Карахтер у меня такой. Не люблю озорства.

— Вот и расплачивайтесь. Вам же и достанется...

— А что вы думаете? Ей-богу, правда. И всегда я же в дураках остаюсь... Н-ну, однако, попадетсЯ мне еще этот купец. Я ему, погодите-ка, нос утру. Будет помнить...

И через минуту, наклоняясь к моему уху, он тихо прибавил:

— А уж вы, Галактионыч, в случае чего перед Матреной Степановной как-нибудь того, не выдавайте... Ах, народ же... то есть до чего

наш народ несообразен, так это даже удивительно!

## VIII

День разгорался жарко. Икона тронулась опять часов с десяти. Мы вышли немного вперед, но идти было не легко. Ноги двигались с трудом, все члены ныли. Однако понемногу усталость как будто проходила.

Кое-где небольшой лесок скрывал нас своею тенью от жаркого солнца, но большею частью по бокам волновалась поспевающая рожь. Иногда на нашу дорогу выбегал проселок от какой-нибудь ближней деревни, и на этом перекрестке стояли у маленьких «часовенок» деревенские иконки. Какой-нибудь седой старик с обнаженной головой сидел на припеке у блюда, покрытого чистым полотенцем. У каждой такой часовенки икона останавливалась, служился молебен. Тогда вокруг иконы делалась давка. Народ рвался к ней, стараясь приложиться к стеклу киота. Сгибаясь, проходили они под шести, на которых икона была поставлена, давя друг друга и теснясь, и тянулись к иконе. Теперь, на просторе полей, у этих часовенок, среди раскинувшей-

ся и поредевшей толпы, икона стала как будто ближе и доступнее. Тут, собственно, ее окружал тесный кружок настоящих богомольцев. Страждущий, болящий, немощный и скорбящий люд охватывал икону живою волной, которая вздымалась под влиянием какого-то особенного притяжения. Не глядя друг на друга, не обращая внимания на толчки, все они смотрели в одно место... Полупотухшие глаза, скорченные руки, изогнутые спины, лица, искаженные от боли и страдания, — все это обращалось к одному центру, туда, где из-за стекла и переплета рамы сияла золотая риза и голова богоматери склонялась темным пятном к младенцу. Из глубины киота икона производила особенное впечатление. Солнечные лучи, проникая сквозь стекло, сверкали смягченными переливами на золоте ее венца; от движения толпы икона слегка колебалась, переливы света вспыхивали и угасали, перебегая с места на место, и склоненная голова, казалось, шевелилась над взволнованною толпою. Тогда потухшие глаза и искаженные лица оживлялись. По всем этим лицам проходило какое-то веяние, сгла-



живавшее все различные оттенки страдания, подводившее их под общее выражение умиления. Я смотрел на эту картину не без волнения... Такая волна человеческого горя, такая волна человеческого упования и надежды!.. И какая огромная масса однородного душевного движения, подхватывающего, уносящего, смывающего каждое отдельное страдание, каждое личное горе, как каплю, утопающую в океане! Не здесь ли, думалось мне, не в этом ли могучем потоке однородных человеческих упований, одной веры и одинаковых надежд — источник этой исцеляющей силы?..

Когда короткий молебен кончался и икононосцы принимались за шесты, — многие склонялись или даже ложились на землю. Но, опять, здесь это было как-то проще, более трогало и никого не пугало... Икона вздрагивала, подымалась и, плавно колыхаясь, проносилась над распростертыми людьми. Счастливицы, над которыми она проходила, вставали с умиленными лицами.

## IX

Остановки здесь были очень часты, поэтому мы с Андреем Ивановичем далеко опере-

дили ядро богомольцев.

Против одной деревеньки, живописно раскинувшейся в версте от дороги, на холмике, мы наткнулись на оживленную картину. Вдоль нашего пути в нескольких местах были выстроены зеленые шатры, в тени которых стояли столы и дымились самовары. На траве с одной стороны дороги сидели бабы с ведрами квасу и с хлебом, на другом — курились огоньки, над которыми жарились на сковородках грибы. Картина импровизированного базара была оживленная и шумная.

— Две копейки, две копейки всего! Грибов отведайте, почтенные! — весело зазывали красивые, нарядные молодницы.

Я уселся около одной из сковородок и позвал Андрея Ивановича.

— Не кушайте грибов! — сказал он мрачно и как будто намекая на что-то.

— А что?

— Раскольники! — крикнул он как-то в сторону и отвернулся.

Я засмеялся; но Андрей Иванович пошел, не останавливаясь, дальше. Действительно, среди этих красивых и по-праздничному

разодетых баб я не заметил того благоговейного ожидания, с каким встречали икону в других местах. Они весело болтали, громко пересмеиваясь, зазывая проходящих. Среди них царило, по-видимому, одно только желание поживиться от этой толпы.

Отведав невкусного яства, сильно отзывававшего плохим постным маслом, я тронулся в дальнейший путь и, спустившись с небольшого холма, наткнулся неожиданно на новую сцену. На дороге, среди кучки плутовато посмеивавшихся раскольничьих красавиц, Андрей Иванович являл новые примеры неустрашимости. В стороне стоял знакомый уже мне тарантас: распряженные лошади ели овес, а хозяйева оживленно спорили с Андреем Ивановичем.

— А! на паре вы ездите! — кричал Андрей Иванович купеческому сынку, одетому, как вчера, в мужицкий картуз. — Я на тебя не посмотрю, что ты едешь на паре... Много я вашего брата учил...

Он подвигался к противнику, так же, как вчера, подставляя щеку. Один из товарищей купчика, субъект в длиннейшем пиджаке и в

картузе с огромным козырьком, еле стоявший на ногах, путаясь, заплетаясь и балансируя, то и дело подходил к Андрею Ивановичу с воинственным видом, но каждый раз отлетал далеко в сторону от легких толчков последнего. Мужичок-возница, в кумачовой рубахе и касторовой шляпе, оказывал более деятельную помощь купцу, и потому Андрей Иванович по временам схватывал его за грудь и сильно сотрясал. Купец замахивался зонтиком, но ударить не решался, несмотря на то, что Андрей Иванович всячески поощрял его к этому.

— Ну, что же, ударь, ударь... Я и жинку-то знаю, которую ты вчера приводил... Егорки Михалкинского баба, а?.. Н-на паре ездешь, форсишь!.. Безобразничать вам только... Богомольцы!..

Но молодой купчик, видимо оробевший, все только замахивался своим зонтиком. Тогда, потеряв терпение и предвидя мое вмешательство, в смысле примирения, Андрей Иванович вдруг дал совершенно неожиданный исход своей ярости. Кинувшись к мужику-вознице, он схватил его одною рукою за

грудь, а другою потянулся к касторовой шляпе.

— Ты з-зачем евоную шляпу надел, зач-чем н-надел шляпу, а? — спрашивал он сдавленным от ярости голосом и, сорвав ненавистную шляпу, вдруг бросился к купцу, быстро сшиб с него картуз и сильным движением нахлобучил ее ему на голову.

Озадаченная мина купца вызвала всеобщий хохот; но так как после этого оскорбления он все-таки только взмахнул своим зонтиком, то терпение Андрея Ивановича окончательно истощилось. Не находя надлежащего исхода своему боевому чувству, он схватил купца своею дюжею рукой за нос и несколько раз потянул его из стороны в сторону с выражением глубочайшего презрения...

— Н-на паре ездите, вы, безобразники, н-на-а паре! — приговаривал он при этом.

В это время я подроспел на место действия и не без труда увел расходившегося героя. Он то и дело вырывался у меня, подбегал к своим противникам, швырял заплетавшегося обладателя пиджака на траву, сотрясал возницу за шиворот и тормозил купца. Наконец, все

еще поворачиваясь, грозя кулаками и ругаясь, он решился все-таки сойти с холмика и расстаться с своими врагами.

— Ах, Андрей Иванович, Андрей Иванович, и что вам только за охота драться! — сказал я.

— За правду помереть готов во всякое время! — категорически заявил Андрей Иванович в ответ.

— Да ведь они вас не трогали, какая ж тут правда?

— Конечно, не трогали... Да уж у меня такой характер. Он тут перед гаринскими больно расфорсился, а я ему форсу поубавил. Потому — не безобразь!.. Купчишки! Награбленным форсят...

— Ну, хорошо, — сказал я, смеясь. — А шляпа-то вам чем помешала?

— Шляпа? Это которая на Емельке надета была, купецкая, что ли?

— Ну, да!

Глаза Андрея Ивановича еще горели от возбуждения.

— Не обязан Емелька эту шляпу надевать, — сказал он энергично и тоном бесповоротного убеждения. — Шляпа, шляпа!.. Он

есть мужик, значит, носи картуз... Пустяки вы, ей-богу, говорите!.. — неожиданно рассердился Андрей Иванович на меня и зашагал быстрее.

## Х

Ближе к Оранкам местность становилась лесистее. Мы уже миновали строения монастырского хутора и опять колесим меж деревьями, следуя за прихотливыми изгибами лесной дорожки. Наконец молодые дубы и клены расступились, ржаное поле набежало вплоть к опушке, и перед нами открылась небольшая полянка, с трех сторон плотно охваченная лесом. За рожью мы увидели серые избы монастырской слободки, деревянную ограду, темные деревья монастырского сада и весело белеющие над зеленью верхушки церквей. Это и была цель наших благочестивых стремлений, «монастырь на Ораном поле», как его звали в старину.

Так как икона отстала и, кроме того, мы шли ближайшим проселком, то до встречи у нас было еще много времени. В конце «порядка» мы нашли не занятую еще избу и спросили самовар. Андрей Иванович, впрочем, ис-

полняя обычай, прежде отправился в баню, а я, утолив жажду, растянулся в задней избе на рогожке, и мгновенно меня охватил тяжелый сон сильной усталости. До меня долетал поднявшийся навстречу иконе трезвон, я видел Андрея Ивановича, чисто вымытого и с красным лицом, слышал, что он обращался ко мне со словами укоризны, обвиняя в малодушии. Хозяйка, стоявшая тут же, уговаривала оставить меня в покое.

— Ну, нет, никак нельзя, — волновался мой спутник. — Эстолько места прошел, неужто теперича и владычицу ив встретить?.. Не трог, я его подыму!

И он непременно поднял бы меня каким-нибудь более или менее жестоким способом, если бы в это время трезвон, клирное пение, гул и топот толпы не показали ему, что со мной он рискует не встретить икону и сам. Он бросил мою руку и ринулся из избы. В моих ушах еще некоторое время укоризненно звенели монастырские колокола, потом звон стал тише, и я услышал только ровный шум славного летнего дождя, ударявшего в легкую деревенскую постройку. Наконец несколько



капель, упавших мне прямо в лицо с протекавшего потолка, разогнали мою тяжелую дремоту...

Дождь прошел. Солнце густыми золотыми лучами заглядывало в мои окна. Кругом было тихо, и мне казалось, что между трудным путем, дракой Андрея Ивановича на дороге, между всеми происшествиями этого дня и теперешнею минутой легли целые сутки. Не без усилия натянувши сапоги на натруженные ноги, я вышел.

На нашем «порядке» было тихо и спокойно. Кое-где устало слонялись богомольцы, бабы сидели на завалинках, в открытые окна виднелись компании за самоварами. Большинство отдыхали или были в церкви, так как всенощная еще не отошла. За оврагом, на другом «порядке», движения было больше. Здесь раскинулись палатки и навесы деревенской ярмарки. Напуганные дождем, торговцы и торговки теперь раскрывали опять свои несколько промокшие товары. Тут были калачницы с белым хлебом, квасницы с грушевым квасом, по копейке кружка, бакалейщици с пряниками. Нищие старушки прохо-

дили по рядам, подставляя кружки Христа ради. В кабаке было шумно; на площади кучи народа встречались, беседовали, сходились и расходились. Белые рубахи-шушпаны мордочек то и дело мелькали среди русских ситцев и кумачей.

Сквозь открытые монастырские ворота мне была видна паперть церкви с густою толпой народа. Вечерние тени сгущались вокруг монастыря на лесной полянке, очертания предметов в сыром воздухе смягчались, огни предыконных свечей мелькали в глубине храма, и пение долетало по временам мягкими волнами звуков, примешиваясь к шуму деревенского торга.

Всенощная отходила. Когда я вошел в церковь, старый архиерей уже стоял у выхода и два диакона разоблачали его, произнося установленный обряд. Через минуту архиерея увели под руки, и народ стал тоже расходиться.

На восточной стороне двора я увидел еще одни ворота. За ними, уходя куда-то вниз, виднелись в сумерках деревья сада и утопающий в зелени купол часовни. Я спустился к

ней по каменным ступенькам, меня влекло уединение этого угла, тихий шепот деревьев и журчание воды, скрытой где-то в темноте. В часовне оказался бассейн с большою чашей над ним. Шаги гулко отдавались под его сводами. Капли воды срывались с чаши и звонко падали в водоем одна за другой. На восточной стене маячили очертания какой-то большой картины; фигуры слабо выступали из мрака, таинственно и неясно, как будто носясь в воздухе над святым ключом.

## XI

Тихий сумеречный час, шорох деревьев и немолчный звон воды — все это настраивало особенным образом, и в моем воображении поднялись картины прошлого. Здесь, у этого ключа, с этого самого места, где я стою теперь, некогда основатель монастыря, боярин Глятков, увидел чудный огонь на Оранской горе...

«И егда идяше по полю, зовоному Оранскому, и вниде в непроходимый лес, и узре на горе огонь возгнещен. И прииде и никого же обрете близ огня того от человек, но токмо от него выспрь зрит столп вельми светел, дося-

жуц до небеси... День же бе той сумрачен, и тучи велия хождаху по воздуху, яко не токмо неба, но и солнца невозможно видети, и дождь исхождаше велий во весь той день».

Пораженный этим «видением», так простодушно и так поэтично описанным в старинной рукописи, боярин Глятков и решил здесь заложить монастырь, в 1634 году, среди лесов, населенных «поганою терюханскою мордвой». Поганая мордва, как и следовало ожидать, оказалась очень недовольна новым соседством. Монастырю пришлось вынести много превратностей, начиная с волокиты по жалобам мордвы на отнятие у нее земель. Однако боярину удалось волокиту осилить, и государевою грамотой повелено было «пожаловать старца Гляткова с братией лесу вдоль на версту и поперек тож отмежевать; а буде им надобно монастырем для лесу и дров въезжать в мордовские леса, и им въезжать велеть для всякого лесу и дров опричь бортного дерева». Тогда поганая мордва решилась на другие средства. Много раз слышались вокруг обители грозные крики, много раз мордва с «дерзостным нечестием» восставала на нее, и

даже сам основатель, бывший боярин Петр, а тогда уже схимонах Павел Глятков, пал жертвой в 1665 году. Ночью ворвалась мордва в монастырь. Старец кинулся на колокольню, но мордва нашла его там, и он был зверски убит. Его повлекли с колокольни за ноги по ступеням. «От ударов, — говорит составитель описания Оранской богородицкой пустыни, — голова была прошиблена, а от прошибу текла из нее кровь в таком множестве, что ею обагрена была вся лестница». Помощи подать было некому, так как иноков было всего восемь человек. А кругом только лес окружал пустынь, — дремучий лес, родственный и дружественный «поганой мордве», которая защищала его от вторжения чужой культуры... Так погиб основатель пустыни.

Терпела обитель и еще многие напасти. Кроме мордвы, приходили в пустынь и поправляли ее «воровские люди», нередко из соседних деревень. Мордва теснила ее «относительно жалованной земли с лесом и угодыями», которые «поганые терюхана» привыкли, конечно, считать своими. Наконец, и от своих жалованных крестьян терпела пустынь,

по выражению иеромонаха Макария, «упорство в повиновении». Упорство это доходило до того, что в 1745 году монастырские крестьяне из Нижегородской губернии убежали, чтобы не платить положенного оброка, и поселились в Пензенской и Саратовской губерниях. Во всех этих напастях, кроме заступления богородицы, пустынь оберегалась также и благочестивым радением благодетелей. Так, перечислив во вкладной грамоте даруемые пустыни земли, один из этих благодетелей скромно говорит: «И на той земле тщанием моим многогрешным собраны из бегов и поселены те беглые крестьяне оной пустыни: Петр Алексеев, у него сын Алексей, а Матфей Алексеев, да Федосий Алексеев, да Сидорка Тимофеев, с женами и детьми. Також прошу и молю, — заключает благочестивый комиссар-жертвователь, — аще наведением супостата нашего впредь от оной обители вкладные крестьяне пожелают на тое землю или в другие места бегать и жить, дабы их ловить и за такое скотское и несмысленное дерзновение жестоко наказывать кнутом, посылать на старое ко оной обители жилище, дабы то свя-

тое место паче прославлено было, а не пусто».

Несмотря на эти благочестивые мероприятия с ловлею людей и кнутами, пустынь существовала скудно и трудно. Видно, ни Петр Алексеев, ни Матфей, ни Федосий, ни Сидорка Тимофеев с женами и детьми, ни все жертвованные благочестивыми людьми «души» надлежащим образом к обители не прилежали. «В 1730 году, — как сказано в описи монастырского имущества за тот год, — 4 книги Четых-Миней заложены у дворянина у Ивана Дмитриева Ленивцева в семи рублях с полтиной... а заложил те книги бывший казначей Иларион, по братскому приговору, на время, ради хлебной нужды...»

В 1764 году, по объявлении монастырских штатов, Оранская пустынь, что на Словенской горе, оставлена за штатом, и крестьяне, а равно и уголья у нее были отобраны. Казалось, начинанию Петра Гляткова, видевшего в тонцем сне будущую славу монастыря на осиянной небесным светом Словенской горе, приходил конец. Но именно с этого времени, когда рабы Сидоркины и Алешкины души были изъяты из-под монастырского ярма, и

начинается период процветания пустыни. «Единственная надежда, — говорит иеромонах-описатель, — была на чудотворную икону божией матери, и надежда эта оправдалась. В 1771 году открылась моровая язва... В самом Нижнем Новгороде целые сотни людей делались жертвами преждевременной смерти... Тогда, не довольствуясь молитвами перед святынею нижегородскою» вспомнили о чудотворной иконе Оранской богоматери, которая по распоряжению епископа Феофана Чарнуцкого и градского начальства, была принесена в Нижний, в кафедральный собор. И вот, во время крестного хода, — повествует Макарий, — над Нижним Новгородом заметили, что носившиеся в воздухе тонкие облака вдруг начали собираться в одно место и спустились в одно черное облако, понесшееся за Волгу. Вскоре после этого и язва прекратилась. В память этого события благодарные нижегородцы постановили приглашать икону к себе ежегодно и исполнять сей обет свой «в роды родов».

Вместе с тем и отношения к обители Сидорок и Алешек, равно как поганых терюхан,



изменились. Бегать теперь от монастыря не приходилось, об угодьях споры прекратились за отобранием последних. Чудотворная икона, прежде обращавшая силу свою на посрамление воровских и разбойных поползновений окрестных жителей против старцев и являвшаяся как бы воюющей стороной, теперь изливала свои милости, исцеляла немощных, прогоняла грозовые тучи или призывала благодатные дожди на спаленные нивы.

«И процвела есть пустыня яко крин». Не слышно уже более в обители тревожного набата, дремучий лес не вторит ни жалобным стонам совлекаемого с колокольни старца, ни злобным крикам терюхан, ни святотатственным окрикам удалых воровских людей, ни стонам монастырских крепостных, насильственно собранных из бегов... Кругом монастыря в этот тихий вечерний час смолкает говор тысячной толпы богомольцев; таинственно шепчутся высокие деревья монастырского сада, я я стою, окруженный тенями старины, слушаю немолчный звон воды над тем самым ключом, где некогда старец Глятков припадал в умилении у подножия дикой Словенской го-

ры...

Темнело быстро. С востока опять надвигалась туча. Выйдя из часовни и поднявшись на холм, я увидел, что ворота, в которые я вошел, заперты. Задний двор монастыря был пуст, во дворе монастырской школы слышался стук колотушки караульщика.

— Вам выйти, что ли? — спросил у меня мужичок, возившийся около бани.

— Да, вот не знаю, как выйти.

Он провел меня в маленькую калитку. Пройдя вдоль старой мшистой монастырской стены, мы очутились на небольшом бугре, над оврагом. Место было пустое и тихое. Простой огромный восьмиконечный крест простирал над поляной свои плечи сурово и важно. Над крестом, затеня полянку, еще более терялось густолиственной головой в вечернем небе, ровно и крепко шумело на ветру громадное дерево.

— Тут, под этим крестом, что миру лежит... и-и, без числа! — сказал мой провожатый. — Кладбища тут была крестьянская, — добавил он. — Потом, слышь, уничтожили. Не понравилось архиерею одному, что плачем мы шиб-

ко, когда короним своих... Теперь, стало быть, коронимся в другом месте.

Когда я вышел на площадь, торг прекратился. Торговки укладывались и покрывали на ночь товар. Из монастырского двора выходили последние запоздалые, быть может, по кельям, посетители. Какого-то странника выталкивают силой и запирают за ним ворота. Странник громит отцов я собирает около себя кучку раскольников-слушателей... Около кухни трапезный послушник равнодушно выслушивает укоры пришлых из города нищенок.

— Мало, что ли, принесла вам владычица из Нижнего? Нет у вас для богомолка куска хлеба!

Послушник-хлебопек хладнокровно вытирал полую потное лицо.

— Вы должны просить со смирением, а вы дерзостно просите, — сказал он.

— Что я сказала? Только и сказала, что вам, дескать, мордочек своих, что ль, кормить нечем?

— Ну вот видишь: сама язвительные слова говоришь, а хочешь, чтоб тебе подали. Ступай, ступай!..

На площади народ редеет. Только у харчевни Андрей Иванович громко спорил с приехавшими на базар окрестными раскольниками.

— Врешь, не туда гнете!.. — разносился резкий голос неугомонного сапожника.

## XII

На следующее утро я проснулся довольно поздно. Андрея Ивановича уже не было в избе.

Большинство богомольцев уже ушли, чтобы воспользоваться для пути утренним холодком. Зато из окрестных деревень народу прибывало все больше. Многие шли в церковь, чтобы повидать архиерея, но большинство, кажется, привлекала ярмарка, вступившая во второй день (так называемое подторжье). Завтра, с «отвалом», она должна была кончиться. В числе прибывших было много раскольников из ближних к монастырю деревень, и потому кое-где в кружках кипели беседования, переходившие по временам в страстные споры, а иногда и в ругательства.

— Вы почему сами себя, например, православными считаете? — спрашивает раззодо-

ренный спорщик.

— А потому, — высокопарно отвечает вопрошаемый, — что наша церковь — Христова, на правильной славе стоит во веки веков.

— Никонова вера у вас.

— А у вас Дунькина!..

Я зашел в церковь. Там между народом я увидел двух крестьян, у которых длинные волосы были сбриты на макушках. Заметив, что я присматриваюсь к ним, старик, мой сосед, пояснил, наклоняясь ко мне:

— Раскольники это.

— Зачем же они бреются?

— А это у них поверье, что, значит, на них дух святой сходит. Так вот, чтобы легче ему взойти в человека... стало быть, волосы мешают... Называемое это гуменце...

Раскольники стояли истово и по временам крестились двуперстным сложением.

Икона, вынутая из киота, стояла у себя, дома, на южной стороне, невдалеке от архиерейского амвона. Над ней было развешено белое полотенце; народ, как всегда, толпился около нее, каждый, подходя, крестился, многие вытирали загрязненным уже полотенцем

глаза, целовали икону и проходили дальше. Поставив перед иконой несколько свечей по поручению, данному незнакомыми старушками, я вышел.

На площади мне попался навстречу Андрей Иванович, быстро проходивший среди толпы. Он шел, размахивая руками, не замечая людей и, по-видимому, занятый какой-то мыслью, которая его сильно волновала: губы его что-то бормотали, лицо было задумчиво, сердито.

— А-а, Галактионыч! Я вас ищу...

— Что такое?

— Подите-ка сюда.

Он отвел меня в сторону. Я заметил, что он как будто сконфужен, точно сейчас выдержал баталию и остался побежденным. Лицо его было в поту, глаза растерянно косили.

— Как оно будет правильнее, — спросил он, оглядываясь по сторонам, точно школьник, тайком расспрашивающий у товарища невыученный урок, — то есть как Христос сошел на землю: воплоти или воплоти?..

— Ничего не понимаю.

— Ну, вот, какой вы, ей-богу! Видите: еже-

ли воплоти, — стало быть, голос ударяет вначале, а ежели воплоти — следовательно, уже силу имеет в конце. Ведь это же разница.

— Да зачем вам?

— Стало быть, надо! Потому что я перед людьми оконфужен. Вот видите, какое дело. Стали мы тут говорить о вере... Ну, и я тоже выражал от себя... Да вы не думайте; ей-богу, все правильно говорил, как есть... А один тут из раскольников все мне напротив, все напротив... И вдруг это он мне и говорит, да ты что, говорит, споришь, а сам еще и разговаривать с нами не можешь. Окажи, говорит, как господь наш Иисус Христос сошел на землю: воплоти или воплоти?[1] Ну, я подумал и говорю: «Стало быть, воплоти». — «Поэтому, говорит, ты есть невежа и повинен геенне огненной...» Ей-богу, правда. А я, признаться, и сам маленько сомневаюсь: правильно ли я сказал, потому что они — начетчики... Так вот вы мне объясните.

— Я думаю, что всего правильнее: во плоти.

— Во-пл-о-о-ти? (Андрея Ивановича очень удивила возможность еще третьей комбина-

ции.) А ведь, ей-богу, пожалуй, верно.

Он хлопнул себя по лбу и дернулся в сторону, намереваясь куда-то бежать.

— Да я не понимаю, Андрей Иванович, зачем вы об этом спорите? Ведь в этом никакой важности нет, и дух учения вовсе не в ударениях.

— Как вы говорите: дух?

Андрей Иванович остановился, готовясь не проронить ни одного слова.

— Ну, да, дух христианского учения!.. А ведь это одно праздное словоизмышление, пустяки...

— Так, так, — мотнул Андрей Иванович головой. — Дух — раз (он загнул один палец), словоизмышление — два (он опять загнул один палец). Еще, может, что-нибудь скажете?

— Будет с вас.

— Ладно! Теперь мне бы его найти; я его этим самым словом сейчас на месте ушибу, ей-богу!

Андрей Иванович возбужденно зашагал в толпе, разыскивая глазами своего антагониста, а я провожал сочувственным взглядом



его не совсем-то складную фигуру. При всей его беспорядочной страстности, я знал, что в нем бродят, не находя исхода, искренние и глубокие запросы... Мне было досадно поэтому видеть его глубокое огорчение от своей беспомощности перед схоластической диалектикой.

Увы! мог ли я предвидеть в эту минуту, что для моего сожаления вскоре представятся гораздо более основательные поводы?..

### XIII

Андрею Ивановичу нужно было зайти к знакомому мужику в одну из ближайших деревень, носящую многозначительное название Сивухи. Он звал меня, но я чувствовал усталость и хотел сберечь силы для обратного пути. Поэтому мы условились, что он пойдет один, а я выйду спустя некоторое время и потихоньку пойду по дороге, Андрей Иванович меня догонит.

Я так и сделал. Пошатавшись еще по базару, напившись чаю и расплатившись с хозяевами, я надел свою котомку и тихонько поплелся прямою лесною дорогой.

Оказалось, однако, что Андрей Иванович

опередил меня. Выйдя из лесу, я вдруг услышал его голос:

— Эй, Галактионыч, подите сюда!

Он лежал на траве, среди целого общества, у зеленого шалаша, построенного под лесом в стороне от дороги. Синий дымок вился тонкой струйкой над землей, теряясь в кустарнике. Над огоньком висел котелок, и какой-то мужик с мохнатою головой, без шапки и босой, мешал в котелке ложкой. Другой, тоже раздетый, лежал у огня, облокотившись подбородком на руки. Человека три в сапогах и шапках, видимо, проезжие, остановились на время. Невдалеке стояли нераспряженные телеги, а лошади щипали у кустов траву, обмахиваясь хвостами. Еще какой-то низенький мужичок, весь серый и белесый, со светлыми глазами и незначительными чертами лица, которые хранили выражение постоянной недоумелой улыбки, сидел в стороне от других в телеге, то и дело пожимаясь от комаров и почесываясь.

Поздоровавшись, я пожелал узнать, зачем здесь шалаш и что они делают в поле далеко от деревни.

— Бекетчики, — сказал лежавший на земле, — значит — гля бекету...

Видя, что я не совсем понял, другой, мешавший ложкой в котле, прибавил:

— Гля разбою, стало быть, гля грабежу мы поставлены.

Я догадался, что это сельский пикет. Сняв котомку и положив ее под голову, я с наслаждением растянулся на сыроватой траве. Над моею головой лапчатые листья клена, насквозь пронизанные лучами солнца, качались на длинных стебельках, купаясь в синем воздухе, и мне казалось, что они трепещут от такого же сознательного наслаждения, какое в эту минуту переполняло меня. Между тем в компании около огонька начался опять разговор, прерванный моим приходом. Первый начал Андрей Иванович.

— Ну, ну, говори дальше, не опасайся... Товарищ это мой, простяк!

— Ну вот, больше ничего. А что полагаю я: не может быть, значит, чтобы нам провалиться, потому как мы при отцах-дедах наданы господами и живем, стало быть, на отцовском месте. Потому что господа, значит,

об монастыре радели. Мало ли их, господ, и теперича на кладбище лежит. Вот была, слышь, война Севастопольска. Я мальчонкой был, и то помню: выбежали мы с ребятами за околицу, глядим, везут из лесу в черной телеге смоляной гроб, а в гробу, слышь, полковник убитый в монастырь едет корониться. Да не то что полковники, тут и генералы лежат...

— Не туда гнешь! — строго сказал Андрей Иванович. — Ты это что же на генералов свернул? Ты о кудеснике доскажи. Он, видишь, тебе какое слово сказал. Стало быть, ты ему и отвечай, а генералов оставь!

— Дэ-э!.. То-то вот... — подтвердил один из проезжих мужиков не без ехидства.

Я понял, что опять попал на словопрения, и мне стало ясно взаимное положение сторон. «Бекетчик» Иван Савин — мужик из подмонастырской слободки, быть может, прямой потомок какого-нибудь Петра Алексева или Сидорки Тимофеева, которых в старые годы, как мы видели выше, сыскивали, имали, били за «несмысленное и скотское дерзновение» кнутом и водворяли на прежнее жилище, дабы «обитель паче прославлена была, а

не пуста»... Потомки Сидорки Тимофеева, давно уже лежащие под старым крестом со всею «силой» похороненного здесь мира, примирились с обителью... Но кругом осталось много непримирившихся... Собеседники Савина — беспоповцы из окрестных деревень, возвращавшиеся на этот раз с базара. Предмет спора — будущая судьба «Ораного поля»... В старообрядческом населении, жадно подхватывающем все проявления человеческой слабости среди иноков обители, носится легенда, гласящая, что некогда всему этому месту суждено провалиться сквозь землю, как Содому... Люди старой веры угрожают этим также и слободке... Андрей Иванович на сей раз являлся в не совсем-то подходящей ему роли посредника или председателя на этом полевом диспуте у «бекетного» шалаша...

Иван Савин насчет кудесника ответил не сразу. Я не глядел на него, но ясно представлял себе его спокойное лицо, простодушный взгляд голубых глаз, мохнатую белокурую голову и неторопливые движения. Он продолжал помешивать в котелке, и когда заговорил опять, то в его голосе слышалась спокойная

уверенность человека, не навязывающего своих взглядов другим, но зато твердо убежденного в том, что он говорил.

— А насчет кудесника так это верно... Была, слышь, у одного монаха черная книга, и по этой самой книге он до всего доходил... Всю ночь, бывало, огонек у него в келье: мастерит что-то, либо эту книгу читает. И сделал он земное подобие, вроде бы сказать шар земной, и тут тебе солнце, и земля, и звезды. Заведет пружину — и пойдет эта земля в ход, и солнце тебе выкатывается, и луна круг земли ходит, и, стало быть, — звезды тоже по своим местам... Как у бога, так и у него... в аккурат!

— Ну, в этом, я полагаю, греха нету, — сказал Андрей Иванович, — потому это называемый глобус.

Я повернул голову, чтобы видеть, какое впечатление произвели эти слова городского человека на собеседников. Услышав его приговор, снабженный таким мудреным словом, старообрядец глядел несколько секунд растерянным взглядом.

— Нету греха, говоришь? — в таком-то де-

ле?..

— То-то, сказывают, в этом еще греха нету, — продолжал Савин, — потому что это подобие на славу божию, значит — для вразумления человеков... Ну, а вы послушайте дальше. Стало быть, сколько-то прожил он и помер скорою смертью, без покаяния. Пал у себя в келье и умер.

— Оно и видно, что уж бог не потерпел, — вставил раскольник.

— Ну, значит, как помер он, надо было сундуки вскрывать. А замки у него так хитро прилажены: бились, бились — ничего не поделают. Вот и позвали, слышь, для этого дела нашего деревенского одного... Мастер тоже был на все руки. Он и отпер.

— Ну?

— Нехорошо, действительно... В одном, слышь, сундуке деньги так пачками и лежат, веревочками обвязаны. Он, значит, с иконой-то ездил не раз... А как другой открыли, так тут уж — тьфу!.. И сказать грешно: лежит в сундуке сделана девица, как быть живая...

Старообрядец, поднявшийся на локоть, с горящими глазами, не вытерпел и, перебив

рассказчика, досказал сам:

— И, слышь, толкнуть эту девицу под ложечку, — сейчас она срамные слова может говорить...

— Слов-то, мы положим что, не слышали, — сказал Савин.

Андрей Иванович молча и сосредоточенно покачал головой. Ободренный его видом, старообрядец заговорил с страстным возбуждением:

— Да ведь это, братец мой, что он говорит!.. Ведь уж въявь для всех знамение было от бога, что нельзя ему, батюшке, больше ихнего места терпеть. Насмердело!

В котелке закипело. Савин отодвинул котелок от огня и затем сказал своим ровным голосом:

— Знамение, братец, понимать тоже надо, к чему оно дается. Видите — опять это верно он говорит, что было знамение. Стало быть, на «порядке» у нас — видели, может, часо-венька махонькая стоит. Тут прежние годы вертеп был. Это вот завтра, к отвалу ярмарки, мордва соберется, видимо-невидимо. Так вот в прежние года, не очень давно, у них в



этом месте игрища была; девки, бывало, хоро-  
воды водют, песни поют, а парни на гармониах играют, в дуды дудят... И все, значит, у самого монастыря; конечно, нехорошо, само собой. Бывало тут всего... И пришла, знаешь, один раз к игрищу этому девица, сторонняя какая-то. Мордва — вся белая, а девица эта в черном платье, только голова белым платком повязана. Вот пришла, стала средь игрища, стоит, этак руки вытянула, глазами в одно место смотрит. А чья девица, неизвестно. Вот разошлась мордва с игрища, а она стоит. Ночь пришла, — она все ни с места. Наконец, того, поверите ли, на заре вышли наши бабы коров гнать... Что за диво: стоит девица середь полянки, ровно статуя, перепугала народ весь... Стали которые подходить, спрашивают: «Что, мол, девонька? По какой причине стоишь?» Ни слова. Ну, тут уж увидели, что дело это не простое. Приехал исправник Воронин, свели ту девицу силой с места, и стала она после того объяснять: «Вышла, говорит, на игрищу и вдруг этто вижу: все кругом провалилось... Я одна на малыим месте стою, и ступить мне некуда... А икона, значит, на об-

лаке в небо поднялась...»

— Ну, вот видите! — подхватил старообрядец. — Ведь уж это въяве обозначает, что ихнему месту не стоять...

Андрей Иванович сосредоточенно покачал головой и сказал, обращаясь к Ивану Савину:

— Поэтому, вижу я, ваше дело ай-ай плохо...

— А я так полагаю, — ответил Иван Савин, — не может быть, чтобы нам провалиться, потому ты рассуди сам, милый человек: первое дело игрищу с этих самых пор уничтожили, отслужили на том месте молебен с иконой и поставили часовенку...

— Да что игрища!.. Будто в одной игрище дело, — перебил возражатель, — насмердело ваше место перед господом, аки Содома!

Иван Савин снял совсем котелок с огня, попробовал кашу и сказал другому «бекетчику»:

— Готово, дядя Силантий, пуцай вот поостынет маленько. — Затем, обратясь к собеседнику, ответил: — Это, брат, ты сверх ума говоришь. Это неизвестно. Конечно, грешны и мы, а все за монахов, авось господь с нас не взыщет. Они особо, мы особо... потому мы

разве монахам молимся? Мы владычице молимся, вот кому... Тоже ведь и об вас было знамение...

— Мало ли! — угрюмо сказал старообрядец и затем поднялся. — Пора и запрягать нам.

Оба они с товарищем пошли к лошадям.

Белесый мужичок, сидевший в телеге и слушавший очень внимательно весь разговор, подошел к огню и, почесывая руками брюхо, сказал, лукаво подмигивая в сторону ушедших:

— Не любят... Как про них заговорили, им и запрягать надо...

И затем, постояв несколько секунд, он опять улыбнулся и сказал:

— А у нас, слышь, еще кака-то новая вера прискочила. Астрицка, что ли, сказывают. Часовню хотят строить.

— А какое же, говоришь, знамение об них? — обратился Андрей Иванович к Савину.

— Да вот знамение тоже не малое. Ходит тут паренек ихний, безумный. Этто недавно целую деревню спалил, а прежде того у нас в монастыре не в урочное время на колоколь-

ню забился и давай звонить... Народ весь перебулгачил. Просто сказать — юродивый паренек этот. А отчего стал юродивый, так вот от чего. Был он у них за первеющего начетчика и на радениях ихних заместо попа читал. «Вот, говорит, однажды, — сам ведь и рассказывает это, когда в себя приходит, — много, говорит, читал, толковал от ума, в перстах божество разбирал... Устал. Выхожу, говорит, на крыльцо, стал, говорит, супротив ветру, прохлаждаюсь маленько. А дело вечернее. На небе звезды горят и луна стоит, — светло, как вот днем. Только, говорит, слышу, вдруг трещит что-то над лесом. Оглянулся туда: летит поверх лесу змий крылатый, а-агромადнейший змий летит, весь пламенем пышет и трещит так, ровно бы в трещотку... Оглянуться, говорит, не успел я, — уж он полнеба покрыл и прямо на нашу деревню, да ко мне, да пасть расставляет...» Вот ждут-пождут в избе, а парня все нету. Вышли за ним, а он лежит пластом, как неживой. С тех пор и ума решил. Когда и опомнится, так все-таки ненадолго...

— Галактионыч, вы не спите? — спросил у меня Андрей Иванович.

— Нет, Андрей Иванович, не сплю.

— Слушаете?

— Слушаю.

Он помолчал, по-видимому ожидая от меня еще что-то, потом сказал (я представлял себе при этом его наморщенный лоб и сосредоточенный взгляд):

— Удивительное дело, право!.. Вот мы сколько лет в городах живем и никаких чудес не видали. А у вас кругом, куда ни повернись, чудеса... Или уж просты вы очень...

— Ах, милый! — сказал Иван Савин. — Нешто можно городского человека к мужику применить?.. Ты вот, скажем, сапожник. Купил ты товару, сшил сапог, несешь его к барину или, будем говорить, к купцу. Сейчас он смотрит: сапог форсистый, товар хороший, работу твою знает, и спрашивает он у тебя цену. Ты, к примеру, просишь пять рублей, он тебе — четыре. А уж оба верно знаете, что за четыре с полтиной сапог этот идет. Ежели, скажем, нужда тебе, ты опять у него же просишь. Так ли я говорю?

— Ну, ну!.. к чему только ты это применишь?

— А к тому, что, значит, ты в своей воле живешь, и должен ты больше уважать давальцу. А мужик... он кругом как есть в божьей воле ходит. Сейчас вот парит крепко, а из-за лесу вон уж туча глядит. Тебе это ни к чему, только что разве промокнешь. А мужик — уж он соображает, стало быть, к чему господь батюшка эту тучу приспособляет. Вот теперь для хлебов она пользительна, и мы должны бога благодарить. А иной раз бывает: хлеба налились, вдруг холодом пахнет, побегит-побегит градовое облако. Тут уж надо мужику ко владычице прибегать, икону мы поднимаем, молимся: отвори! И, стало быть, ежели может еще грехам нашим терпеть, то заступится, пронесет мимо. А ежели уж невозможно ей терпеть, мы должны бедствовать. Так-то...

— И видите вы себе от иконы заступление?

— И-и, как не видать! Явственно видим. Давно ли было, третьего или четвертого году, появился червь на хлебах... И нигде не было, только у нас... что на ржи, что на просах, и даже лен жрал. Из себя небольшой, черный, мохнатенький, глаза у него востренькие, а

ежели подразнишь его соломинкой, так он и вскидывается, ровно бы, сказать вам, змееныш. Злющий червь! Пошел я с мальчонкой, с племяшом, на ниву посмотреть. Хлыстнули прутом по колосу, — поверишь ли, как дождь, вот как дождь этого червяка посыпалось. Ну, видим мы такое наслание, стало быть, не иначе — надо икону поднимать. Подняли, прошли с молебствием, и взялась тут туча — а-агромная туча — и ударила на поля ветром да грозой. Что же вы думаете: вышли наутро в поле — ни одного червя!

— А насчет того, чтобы больных исцелять... бывало ли?

— В прежние года много бывало. А теперь не слышно. В книжках вот писано... Значит, про моровую язву и потом насчет болящих...

— А у нас так вот была же чуда от иконы, — вмешался белесый мужичонко, — и, слышь, не в давние года. Стало быть, жила в нашем городу купчиха одна, и дочь у той купчихи была хворая. Скрючило ее с тринадцатого году, ноги отняло, и не стало ей росту. Все, бывало, на лежанке сидит, и, ежели на нее стороннему человеку посмотреть, как есть

малая девчонка, а уж в ту пору было ей по семнадцатому году. Много тоже молились они, что икон поднимали, — все не берет сила!.. Почаевска, слышь, и то не могла помочи ей... Только раз приснился той девице старичок седенький: «Сходи, говорит, ты, скорбная девица, к Николе, в Н-ское село». Ну, они и поехали. И ведь что думаете вы: положили девицу наземь, принесли икону, и стала девица на ноги маленько подыматься. Сама после сказывала: как понесли икону, так будто от головы к ногам ее ветром опахнуло, — значит, сила изошла. И с тех пор выпрямилась девица вполне и такая стала красавица!.. Приехала через три года в то село с матерью, — священник ее и не узнал. «А где же, говорит, болящая?» — «А это, говорит, я самая». За хорошего жениха замуж вышла, право!.. Своя лавка у него в городе, и капитал хороший... Вот, братцы, удивительная чуда была у нас! — и белесый мужичонко посмотрел на нас довольными глазами.

— Конечно, бывает, — сказал Иван Савин.

— Галактионыч! — окликнул меня опять Андрей Иванович. — Слыхали вы это?



— Слышал.

— А как думаете, может ли это быть?

— Я думаю, что он не врет.

— Э, не туда гнете: не врет!.. С чего ему врать-то? Денег за это не дадут... А вы скажите, в чем сила самая? Скажем так: холере надо уже и самой прекратиться, — тоже ведь не вечно ей быть. К тому времени приносят икону. Холера, значит, прошла — чудо!.. Ну, хорошо, и насчет дождя то же самое: тучу ветром пригнало. А ежели девицу теперь, которая скрючивши три года, и вдруг выпрямляет и вполне, значит, делает из нее человека... Это как?

— Вера, Андрей Иванович...

Андрей Иванович опять выжидающе помолчал.

— Вера, вы говорите?.. То-то вот и есть. Э-эх, господа, господа!..

И Андрей Иванович недовольно махнул рукой.

## XIV

Он был сильно не в духе, и хотя вообще очень трудно было уследить каждый раз причины той или другой перемены в его доволь-

но причудливом настроении, но на этот раз мне казалось, что я его понимаю. Рассказы Ивана Савина, его спокойный голос, бесповоротная уверенность и очевидная правдивость — все это произвело на горожанина сильное впечатление. Он невольно поддавался настроению веры, чудес и непосредственного общения с таинственными силами природы. Между тем во мне он, с обычною чуткостью нервных людей, улавливал совершенно другое умственное настроение, не менее бесповоротное, — и это мешало цельности его впечатления. Формулировать ясно свои вопросы он не мог, я на его вызовы не поддавался, и потому Андрей Иванович ворчал что-то про себя и сердито укладывался возле шалаша.

— А что, Андрей Иванович, не пойдём ли?..

— Куда вам торопиться! — ответил он ворчливо.

Я не без удивления заметил, что, обыкновенно бодрый и неутомимый, он поворачивался теперь лениво, с некоторым трудом. Вследствие этого у меня невольно мелькнуло подозрение относительно какого-нибудь но-

вого приключения во время посещения знакомого в Сивухе.

Я не возражал. Мне было приятно бродить среди этих полей, не рассуждая и не заботясь о том, дойдем ли в назначенное время до намеченного ранее ночлега или будем путаться ночью где попало.

Вскоре Андрей Иванович захрапел. Беле-  
сый мужичонко, ехавший откуда-то издалека, запрягал лошадь, «бекетчики», перекрестясь, уселись за свой котелок, и до меня долетали слова тихого разговора. Сначала дело шло о каких-то двух с полтиной и о новых подшинах для купленной недавно телеги. Но через некоторое время, когда листья клена, на которые я смотрел, начали расплываться и слились в какой-то неопределенно зеленый навес, охвативший меня со всех сторон, — из этих двух голосов выделился грудной баритон Ивана Савина. Он говорил что-то неторопливо, долго, монотонно. Слов я не помню, помню только, что сначала мне было смешно, потом странно. Я чувствовал, что постепенно, по мере того как даже зеленый навес исчезает от взгляда, я попадаю все более и более во

власть Ивана Савина. И вдруг я увидел какое-то странное небо, совсем не то, какое видел недавно, и странные облака ходили по нем, точно туманное стадо, а Андрей Иванович гонял их с одного края на другой, размахивая гигантскими руками. В это время я помнил еще, что смотрю на все это чьими-то чужими глазами. Но потом все потемнело; где-то вдали мерцал одинокий огонек из кельи монаха-кудесника, потом полетел змий, трещавший, как трещит пожар в сухих постройках, и, наконец, появилась неизвестная девица в черном платье и белом платочке. Вслед за ее появлением земля дрогнула от какого-то глухого далекого удара. «Беда, — сказал я себе голосом Ивана Савина, — непременно должны мы теперича провалиться». И тотчас же решил, уже сам от себя, что гораздо лучше... проснуться.

## XV

И я проснулся. В первую минуту я не мог сообразить, где я, и что со мною, и отчего мне трудно двигаться с места... Над моею головой тревожно бились листья клена, но теперь они не сверкали от лучей солнца в яркой синеве,

а бледно рисовались на темно-свинцовом фоне. Громадная туча поднималась из-за лесу и все ширилась, тихо раскидывая по небу свои крылья. Из-под нее порывами налетал ветер, и вдали ворчал гром.

— Вставайте скорее, Андрей Иваныч, надо хоть до деревни дойти.

Огонь погас. «Бекетчики» спали в шалаше. Проезжие уехали. Было поздно, и надвигалась гроза. Андрей Иванович проснулся, протер глаза и, в свою очередь, стал будить какого-то мужика, лежащего у шалаша. Должно быть, он подошел к нам, когда мы уже спали.

Мужичок заворчал что-то и поднялся.

— Вставай, дядя, а то промокнешь... Э, да, кажись, знакомый. Видал я тебя где-то...

Мужичок как-то сморгнул и сконфуженно ответил:

— Да ведь уж нигде, как в Сивухе.

— То-то в Сивухе!.. А позвольте мне, почтенный, узнать, вы за что меня колотили, какая может быть причина?

— Господи! — удивился я. — Андрей Иванович, неужели опять?..

— Засаду сделали. Емелька, подлец, на-

учил. Да еще вот этот почтенный ввязался.

— Да ведь мы, — конфузливо оправдывался мужик, — мы нешто от себя? За людьми... Как люди, так и мы... Сказывают: больно уж ты, милый, озорник большой...

— А ты видел, как я озорничал? — спросил Андрей Иванович с выражением сдержанной злобы в голосе.

— Не видал, милый, не совру... Потому выпитчи был.

— Посмотрите вы на этот народ: сами нажрут, а потом других колотят... На-цы-я, нечего сказать! — неожиданно для меня прибавил Андрей Иванович с патриотической горечью.

— Да ведь мы что? Мы действительно выпитчи, — смиренно говорил мужик, — у праздника были, у сродников. Ну, и... выпитчи, это верно... Так в этом беды нету, потому что мы сами себя ведем смирно... спим. А ты, сказывают, на ночлеге никому покою не дал... Мы, конечно, что, а бабы жаловались: так, слышь, всю ночь шаром и катается, все одно еж по избе...

— Тьфу! — сплюнул Андрей Иванович и,

не говоря более ни слова, быстро надел котомку и пошел по дороге.

Я догнал его, и мы пошли молча. Андрей Иванович, видимо, злился и унывал. Нежданно приобретенная слава, которая могла достигнуть до ушей Матрены Степановны, беспокоила его всего более. Результаты сивухинского боя, о котором он не распространялся, тоже, вероятно, присоединили немало горечи к его настроению. Наконец, туча покрыла большую половину неба и грозила ливнем, а до деревни было еще далеко.

— Ник-когда не пойду больше! — злобно сказал Андрей Иванович. — И не зовите! Грех один с этим народом. — И потом он меланхолически прибавил: — А перед хорошим человеком я вполне оказался обманщиком.

— Это вы о ком? — спросил я.

— О ком? — известно, об Иване Спиридоновиче, об давальце. Ведь сапогам-то срок сегодня, в аккурат... Чай, дожидается.

— С которых же пор он у вас хорошим человеком стал? Давно ли вы на него сердились?

— Сердился!.. Странно вы говорите: мало

ли что мы сердился!.. Мужик на царя три года серчал, а тот и не знал. Так и мы. А об Иване Спиридоновиче я так обязан понимать, что он мне первый благодетель. Когда ни приходи: рупь-два со всяким удовольствием. Конечно, после того в в цене понажмет...

— Ну, вот видите!

— Ничего тут не видно... Нашего брата ежели не нажимать, мы совсем бога забудем... А что: на лице у меня синяков нет?

Я внимательно осмотрел лицо Андрея Ивановича и дал успокоительный ответ.

— И на том спасибо! Семейному человеку это всего хуже, — докторально объяснил он. — Семейного человека лучше ты всего оглоблей исколоти, а лица и рукой не тронь.

— Ну, уж...

— Чего ну? Много вы понимаете!

Я вспомнил про Матрену Степановну и потому не возражал более. К тому же Андрей Иванович, угнетаемый обстоятельствами и готовившийся к «хомуту», совершенно изменился. Со мной стал строптив и раздражителен, о «нации» говорил с презрением, зато о купечестве и давальцах отзывался в меланхо-



лически почтительном тоне. Буйный демократизм первого дня нашего путешествия со всем с него схлынул.

Я отчасти приписывал это близкой грозе.

Туча заволокла уже небо и теперь все сгущалась и все падала книзу, опускаясь над полями, на которых побелевшие и поблекшие хлеба бились и припадали к земле. На темном фоне этой тучи несколько оторванных клочков тумана, прохваченных опаловыми отблесками, неслись куда-то тревожно и быстро, точно запоздалые всадники, убегающие вдоль тяжелого фронта атакующей колонны. Гром перекатывался сердитее и гулче, и по временам яркая молния, извиваясь зигзагами, бороздила набухшие грозою тучи.

Дорога казалась пуста. Мы обогнали на холме только глухого еврея-солдата, которого встретили в первый день. Он начал рассказывать нам о том, как он потерял платок и вернулся за десять верст в надежде разыскать его. Кроме того, он проливал кровь за веру и отлично играл на бубне... Все это было когда-то, в далеком прошлом, а теперь он глух, и беден, и несчастен... Голос его звучал в на-

пряженном воздухе как-то особенно резко и однотонно. Заметив, однако, что мы мало обращаем на него внимания и, кроме того, несмотря на свою глухоту, расслышав сильный громовой раскат, он вдруг подобрал полы своей серой шинели и пустился бегом по дороге.

Рожьгнулась и качалась на нивах, лес, синевший впереди, побледнел, расплылся и исчез, по полям шумно стремились к нам навстречу колеблющиеся столбы ливня, соединявшего небо с землею...

— У праздника, нечего сказать! — произнес Андрей Иванович, окидывая безнадежным взглядом пространство, охваченное пеленой дождей и туманов.

Затем он принялся быстро укладывать в котомку новый картуз, между тем как первые капли гулко шлепались о дорожную пыль...

*Июль 1887*

# На затмении

## Очерк с натуры

I

**П**родолжительный пароходный свисток. Я просыпаюсь. За тонкою стенкой парохода вода, кинутая колесом на обратном ходу, плещет, стучит и рокочет. Свисток стонет сквозь этот шум будто издалека, жалобно, протяжно и грустно.

Да, я еду смотреть затмение в Юрьевец. Пароход должен был прийти туда в два с половиной часа ночи. Я только недавно заснул, и теперь уж надо вставать. Приходится ждать несколько часов где-нибудь на пустой улице, так как в Юрьевце гостиниц нет.

Какова-то погода? Я гляжу из окна. Пароход уже остановился; волна, разбегаясь от бортов, чуть поблескивает и теряется в темноте. Дальний берег слабо виден во мгле, небо покрыто тучами, в окно веет сыростью, — предвестники не особенно благоприятные для наблюдений...

Кое-кто из пассажиров подымается. Лица сонные и не совсем довольные. Между тем

снаружи слышно движение, кинуты чалки на пристань. «Готово!» — кричит чей-то сиплый, будто отсыревший и недовольный голос.

Пока я собираюсь, один из пассажиров, по виду мелкий волжский торговец, успел уже сбегать на пристань и вернуться на пароход. Он едет до Рыбинска.

— Ну, что там? — спрашивает у него товарищ, лежащий на скамье, в бархатном жилете и косоворотке. Оба они не особенно верят в затмение.

— Кто его знает, — отвечает спрошенный, — дождик не дождик, так что-то. А на берегу, слышь, башня видна, и на башне остроум стоит.

— Ну?

— Ей-богу! Поди хоть сам посмотри.

Уж несколько дней в народе ходят толки о затмении и о том, что в Нижний съехались астрономы, которых серая публика зовет то «остроумами», то «астроломами». Слова эти часто слышны теперь на Волге и звучат частью иронически («Иностранные остроумы! Больше бога знают...»), частью даже враждебно, как будто поднятая ими суета и непонят-

ные приготовления сами по себе могут на-  
кликать грозное явление. Вчера с вечера бро-  
шюра «О солнечном затмении 7 августа 1887  
года» мелькала среди простой публики. В ней  
объяснялось, что такое затмение и почему  
удобно наблюдать его, между прочим, из  
Юрьевца. Но большинство пассажиров тре-  
тьего, а также значительная часть второго  
класса относились к ней сдержанно и даже с  
оттенком холодной вражды.

Люди же «старой веры» избегали брать ее  
в руки и предостерегали других.

Я выхожу. Пристань стоит довольно дале-  
ко от берега. С нее кинуты жидкие мостки, и  
ее качает ветром, причем мостки жалобно  
скрипят, визжат и стонут. Наш пароход уйдет  
дальше, между тем небольшая комната на  
пристани полна. Сонные, усталые и как будто  
чем-то огорченные пассажиры все прибыва-  
ют. Снаружи, вместе с ветром, в лицо веет от-  
сырью и по временам моросит. Пробирает  
озноб.

Городишко, растянувшийся под горой по  
правому берегу, мерцает кое-где то белою сте-  
ной, то слабым огоньком, то силуэтом высо-

кой колокольни, поднимающейся в мгlistом воздухе ночи. Гора рисуется неопределенным обрезом на облачном небе, покрывая весь пейзаж угрюмою массою тени. На реке, у такой же пристани, как наша, молчаливо стоит «Самолет», который привез сюда экстренным рейсом «ученых» из Нижнего, а за рекой, на луговой стороне, догорает пожарище: с вечера загорелся лесной склад, и теперь огонь, как бы насытившись и уставши за ночь, вьется низко над землей, то застилаясь дымом, то опять вставая острыми гребнями пламени. Дремота, ночь, плеск реки, стон пристаней и мостков в предутренней темноте, отсвет пожара и ожидание необычайного события — все это настраивает воображение, в взгляд мой невольно ищет башня с стоящим на ней «остроумом», хотя, впрочем, я отлично понимаю, что это нелепость, тем более что фигура на башне решительно не могла бы быть видима в такой темноте. Однако, проходя по палубе, загроможденной рабочими, я слышал те же разговоры; многие вглядывались и видели: стоит на башне и чего-то караулит среди ночных туманов.

Вглядевшись, в свою очередь, я различаю высокий контур, врезавшийся в небо. Сильно подозреваю, что это труба завода, что и оказывается справедливым. Мои собеседники вспоминают, что действительно в этом месте стоит всем хорошо знакомый завод. Легенда падает.

Оказывается, что пароход еще постоит за темнотой; обрадованная и озябшая публика кидается опять в каюты. Открывают буфет, заспанные лакеи бегают с чайниками и подносами. На палубе идет тихий говор, кое-где читают молитвы и обсуждают признаки пришествия антихриста... Один из этих признаков имеет чисто местный характер. Какой-то старик рассказывает слушателям, что в Юрье-вец приехал немец-остроум и склоняет на свою сторону народ. Гришка с завода продан уже за двадцать пять рублей...

— Да ведь это его в караульщики наняли, к трубам, — объясняет кто-то из темноты.

— В караульщики!.. А крест да пояс зачем приказал снять? Как это поймешь?

Это действительно понять трудно. Среди собеседников водворяется молчание.

Через некоторое время я взглянул в окно каюты: небо белеет, на нем проступают мгlistые очертания туч, ползущих от севера к югу.

## II

Часу в четвертом мы сошли на берег и направились к городу. Серело, тучи не расходились. У пристаней грузными темными пятнами стояли пароходы. На них не заметно было никакого движения. Только наш начинал «шуровать», выпускал клубы дыма и тяжело сопел, лениво собираясь в ранний путь.

Берег был еще пуст. Ночные сторожа одни смотрели на кучку неведомых людей, проходивших вдоль береговых улиц... Смотрели они молчаливо, но с каким-то угрюмым вниманием. Они поставлены «для порядку», а тут и в природе готовится беспорядок, и неведомые люди невесть зачем спозаранку пробираются в мирный и ни в чем не повинный город.

— Дозвольте спросить, — обратился один из стражей к кучке молодых господ, проходивших впереди меня, — нешто, к примеру, в других городах этой планиды не будет? На



нас одних господь посылает?

Господа засмеялись и пошли дальше. Сторож постоял, посмотрел нам вслед долго, внимательно, раздумчиво и вдруг застучал трещоткой. Ему отозвались другие, потом залаяли собаки. «Начальство дозволяет, не пустить этих полуношников нельзя, а все-таки... побегайся!» — вероятно, это именно хотел сказать юрьевчанин своею трещоткой, со времен Алексея Михайловича, а может быть, еще и ранее предупреждавшею чутко спящий городок о лихой невзгоде, частенько-таки налетавшей по ночам с матушки Волги.

И городок просыпается. Я нарочно свернул в переулок, чтобы пройти по окраине. Кое-где в лачугах у подножия горы виднелись огоньки. В одном месте слабо сияла лампадка и какая-то фигура то припадала к полу, то опять подымалась, очевидно встречая день знамения господня молитвой. В двух-трех печах виднелось уже пламя.

Вот скрипнула одна калитка; из нее вышел древний старик с большою седой бородой, прислушался к благовесту, посмотрел на меня, когда я проходил мимо, суровым, внима-

тельным взглядом и, повернувшись лицом к востоку, где еще не всходило солнце, стал усердно креститься.

Открылась еще калитка. Маленькая старушка торопливо выбежала из нее, шарахнулась от меня в сторону и скрылась под темной линией забора.

— А, Семеныч! Ты, что ли, это? — вскоре услышал я ее придавленный голос. — Правда ли, нынче будто к ранней обедне пораньше ударят? Оказывали, до этого чтоб отслужить... Батюшки светы! Глянь-ко, Семеныч, это кто по горе экую рань ходит?

Часть пароходной публики, вероятно, от скуки взобралась на гору. Фигуры рисуются на светлеющем небе резко и странно. Одна, вероятно стоящая много ближе других на каком-нибудь выступе, кажется неестественно громадною. Все это в ранний час этого утра, перед затмением, над испуганным городом производит какое-то резкое, волшебное, небывалое впечатление...

— Носит их, супостатов! — угрюмо ворчит старик. — Приезжие, надо быть...

— И то, сказывали вчерась: на четырех па-

роходах иностранные народы приедут. К чему это, родимый, как понимать?

— Власть господня, — угрюмо говорит Семеныч и, не простившись, уходит к себе. Старуха остается одна на пустой улице.

— Господи-и-и, батюшко! — слышу я жалостный, испуганный старческий голос, и торпливые шаги стихают где-то в тени по направлению к церкви. Мне становится искренно жаль и эту старушку, и Семеныча, и весь этот напуганный люд. Шутка ли, ждать через час кончину мира! Сколько призрачных страхов носится еще в этих сумеречных туманах, так густо нависших над нашею святою Русью!..

В окне хибарки, только что оставленной старушкой, мерцал огонек зажженной ею лампадки, и петух хрипло в первый раз прокричал свое кукареку, чуть слышно из-за стенки.

*На святой Руси петухи кричат.*

*Скоро будет день на святой Руси... —*

неизвестно откуда всплыло в моей памяти прелестное двустипшие давно забытого стихотворения, от которого так и дышит утром и

рассветом... «Ох, скоро ль будет день на святой Руси, — подумал я невольно, — тот день, когда рассеются призраки, недоверие, вражда и взаимные недоразумения между теми, кто смотрит в трубы и исследует небо, и теми, кто только припадает к земле, а в исследовании видит оскорбление грозного бога?»»

### III

А вот и укрепленный лагерь «остроумов».

На небольшом возвышении у берега Волги, по соседству с заводом, которого высокая труба казалась нам ранее башней, на скорую руку построены небольшие балаганчики, обнесенные низкою дощатою оградой. В ограде, на выровненной и утрамбованной площадке стоит медная труба на штативе, вероятно секстант, установленный по меридиану. Из-под навеса нацелились в небо телескопы разного вида и разных размеров. Все это еще закрыто кожаными чехлами и имеет вид артиллерии в утро перед боем. А вот и войско. Укрывшись шинелями, спят несколько городских и крестьян-караульных, «согнанных» из деревень. Какой-то бородатый высокий мужик важно расхаживает по площадке. Это — главный ка-

раульщик, приставленный от завода, тот самый Гришка, который за двадцать пять рублей согласился снять с себя не только крест, но и пояс, и таким образом приобщился к тайнам «остроумов». В настоящую минуту, когда я подхожу к этому месту, он активно проявляет свою роль. Какой-то предприимчивый парень, прикинувшись спавшим за оградой, подполз к самой большой трубе, и Гришка поймал его под нею. Хотел ли он взглянуть в закрытую чехлом трубу, чтобы подглядеть какую-нибудь неведомую тайну, или у него были другие, менее безобидные намерения, но только Гришка горячился и покушался схватить его за ухо.

— Дяденька, да ведь я ничего.

— То-то ничего! Вот экой же дуrolом на-медни все трубы свертел, полдня после на-ставляли... Нешто можно касаться? Она, труба-те, не зря ставится.

Гришка, видимо, апеллирует к публике, сомкнувшейся около ограды и, быть может, простоявший здесь с самого вечера. Но публика не на его стороне.

— Где уж зря! — вздыхает кто-то.

— Не надо бы и ставить-то...

— Жили, слава те господи, без труб. Живы были.

Какой-то серый старичишко выделяется из проходившей на фабрику кучки рабочих и подходит к самой ограде.

— Здравствуй, Гриш!

— Здравствуй.

— Караулишь?

— Караулю.

— Та-а-ак.

— Мне что-ка не караулить, — вдруг обижается Гриша, — ежели я хозяином приставлен.

— Нешто это дело хозяйско?

— Меня ежели приставили, я должен сполнять...

— Двадцать пять рублей, сказывают, дали... Не дешевенько ли, смотри! Охо-хо-хо-о...

— Ну, хоть поменьше дадут, и на этом спасибо. Да ты што?.. Что тебе? Небось самого к бочке приставили, два года караулил.

— Бочка... Вишь, к чему приравнял, — подхватывает кто-то в публике.

— Бочка много проще. Бочка, брат, дело

русское, — язвит старик. — А это, вишь ты, штука мудреная, к бочке ее не приравняешь. Охо-хо-хо-о.

Разговор становится более общим и более оживленным. Замечания вылетают из толпы, точно осы, все чаще, короче, язвительнее и крепче, приобретая постепенно такую выразительность, что это привлекает бдительное внимание двух полицейских.

— Осади, осади, отдай назад! — вмешиваются они, принимая, по долгу службы, сторону Гриши, и стеной оттесняют зевак. Толпа «отдает назад» и останавливается как-то пассивно в том месте, где ее оставляют полицейские. Ее настроение неопределенно. Фабричный — человек тертый. Он сомневается, недоумеваает, отчасти опасается, но свои опасения выражает только колкою насмешкой; ребятам и подросткам просто любопытно, а может быть, они уже кое-что слышали в школе. Настоящий же страх и прямое нерасположение к «ученым» и «иностранным народам» заключились в стенах этих избушек, по окраинам, где робко мерцают всю ночь лампадки...

Говорили, что накануне собирались было

кое-кто разметать инструменты и прогнать «остроумов», почему начальство и приняло свои меры.

#### IV

Светает все более. На востоке стоят почти неподвижно густые дальние облака, залегшие над горизонтом. Повыше плывут темные, но уже не такие тяжелые тучи, а под ними, клубясь и быстро скользя по направлению к югу, несутся невысоко над землей отдельные клочки утреннего тумана. Эти три слоя облаков то сгущаются, заволакивая небо, то разрежаются, обещая кое-где просветы.

Вот образовалась яркая щель, точно в стене темного сарая на рассвете; несколько лучей столбами прорвались в нее, передвинулись радиусами и потухли. Но свет от них остался. Река еще более побелела, противоположный берег приблизился, и огонь пожара, лениво догоравшего на той стороне Волги, стал меркнуть: очевидно, за дальнею тучей всходило солнце.

Я пошел вдоль волжского берега.

Небольшие домишки, огороды, переулки, кончавшиеся на береговых песках, — все это



выступает яснее в белесой утренней мгле. И всюду заметно робкое движение, чувствуется тревожная ночь, проведенная без сна. То скрипнет дверь, то тихо отворится калитка, то сторбленная фигура плетется от дома к дому по огородам. В одном месте, на углу, прижавшись к забору, стоят две женщины. Одна смотрит на восток слезящимися глазами и что-то тихо причитает. Дряхлый старик, опираясь на палку, ковыляет из переулка и молча присоединяется к этой группе. Все взгляды обращены туда, где за меланхолическою тучей предполагается солнце.

— Ну, что, тетушка, — обращаюсь я к плачущей, — затмения ждете?

— Ох, не говори, родимый!.. Что и будет! Напуганы мы, милый, то есть до того напуганы... Ноченьку всеё не спали.

— Чем же напуганы?

— Да все планидой этой.

Она поворачивает ко мне лицо, разбухшее от бессонницы в искаженное страхом. Воспаленные глаза смотрят с оттенком какой-то надежды на чужого человека, спокойно относящегося к грозному явлению.

— Сказывали вот тоже: солнце с другой стороны поднимется, земли будет трясение, люди не станут узнавать друг дружку... А там и миру скончание...

Она глядит то на меня, то на древнего старца, молчаливо стоящего рядом, опираясь на посох. Он смотрит из-под насупленных бровей глубоко сидящими угрюмыми глазами, в я сильно подозреваю, что это именно он почерпнул эти мрачные пророчества в какой-нибудь древней книге, в изъеденном молью кожаном переплете. Половина пророчества не оправдалась: солнце поднимается в обычном месте. Старец молчит, и по его лицу трудно разобрать, доволен ли он, как и прочие бесхитростные люди, или, быть может, он предпочел бы, чтобы солнце сошло с предначертанного пути и мир пошатнулся, лишь бы авторитет кожаного переплета остался незыблем. Все время он стоял молча и затем молча же удалился, не поделившись более ни с кем своею дряхлою думой.

— Полноте, — успокаиваю я напуганных до истерики женщин, — только и будет, что солнце затмится.

— А потом... Что же, опять покажется, или уж... вообще?..

— Конечно, опять покажется.

— И я думаю так, что пустяки говорят все, — замечает другая, побойчее. — Планета, планета, а что ж такое? Все от бога. Бог захочет — и без планеты погибнем, а не захочет — и с планетой живы останемся.

— Пожалуй, и пустое все, а страшно, — слезливо говорит опять первая. — Вот и солнышко в своем месте взошло, как и всегда, а все-таки же... Господи-и... Сердешное ты наше-ее... На зорьке на самой невесело подымалось, а теперь, гляди, играет, роди-и-и-мое...

Действительно, из-за тучи опять слабо, точно улыбка больного, брызнуло несколько золотых лучей, осветило какие-то туманные формы в облаках и погасло. Женщины умиленно смотрят туда, с выражением какой-то особенной жалости к солнцу, точно к близкому существу, которому грозит опасность. А невдалеке трубы и колеса стоят в ожидании, точно приготовления к опасной операции...

## V

Я углубляюсь в улицы, соседние с площа-

дью.

На перилах деревянного моста сидит боро-  
датый и лохматый мещанин в красной руба-  
хе, задумчивый и хладнокровный. Перед ним  
старец вроде того, которого я видел на берегу,  
с острыми глазами, сверкающими из-под со-  
виных бровей какою-то своею, особенною,  
злобною думой. Он трясет бородой и говорит  
что-то сидящему на перилах великану, жести-  
кулирует и волнуется... Так как в это утро сра-  
зу как будто разрушились все условные пере-  
городки, отделяющие в обычное время знако-  
мых от незнакомых, то я просто подхожу к бе-  
седующим, здороваюсь и перехожу к злобе  
дня.

— Скоро начнется...

— Начнется? — вспыхивает старик, точно  
его ужалило, и седая борода трясется силь-  
нее. — Чему начинаться-то? Еще, может, ни-  
чего и не будет.

— Ну, уж будет-то — будет наверное.

— Та-ак!.. А дозвольте спросить, — говорит  
он уже с плохо сдерживаемым гневом, —  
нешто можно вам власть господню узнать?  
Кому это господь батюшка откроет? Или уж

так надо думать, что господь с вами о своем деле совет держал?..

— Велико дело господне!.. — как-то «вообще», грудным басом, произносит великан, глядя в сторону. — Было, положим, в пятьдесят первом году. Я мальчишкой был малым, а помню. Так будто затемнало, даже петухи стали кричать, испужалась всякая тварь. Ну, только что действительно тогда никто вперед не упреждал. Оно и того... оно и опять отъявилось. А теперь, вишь ты... Конечно, что... за-теи все.

— Д-да! — отчеканивает старец решительно и зло. — Власть господнюю не узнать вам, это уж вы оставьте!.. Дуракам говорите, пожалуйста! «Затмение, планета!» Так вот по-вашему и будет...

Он смотрит на берег, где устроены балаганы, искоса и сердито. Однако, когда я направляюсь туда, оба они следуют за мною, хотя и небрежно, очевидно, только со злою целью: посмотреть на глупых людей, которые верят пустякам... А может быть, при случае... Впрочем, команда полицейских поднялась уже вся, человек десять. Они отряхнулись от сыро-

сти, откашливаются и оправляются, смыкаясь около батареи неведомых инструментов, покрытых холодной росой.

— Осади! Отдай назад! Осади! — произносят они дружно; голоса их, еще отсыревшие и несколько хриплые, звучат тем не менее очень внушительно.

## VI

К балаганам подходят еще солдаты. Они уставляют ружья в козлы и располагаются у входа за ограду. Другая полурота марширует с барабанным боем и останавливается на берегу.

— Солдаты пришли, — шепчут в толпе, которая теперь лепится по бокам холмика, заглядывая за ограду. Мальчишки шныряют в разных направлениях с беспечными, но заинтересованными лицами. Какой-то общительный немолодой господин раздает желающим стеклышки, смазанные желатином (уввы! оказавшиеся негодными). В училище, служащем временным приютом для приезжих ученых, открывается окно верхнего этажа, и в нем появляется длинная трубка, нацелившаяся на небо... «Астроломы» проходят один за другим

к балагану. Старик немец несет инструменты, с угрюмым и недовольным видом поглядывая на облака. Он ни разу не взглянул на толпу... Он приехал издалека нарочно для этого утра, и вот бестолковый русский туман грозит отнять у него ученую жатву. Профессор недовольно ворчит, пока его умные глаза пытли-во пробегают по небу.

Впрочем, облака редют, ветер все гонит их с севера: нижние слои по-прежнему почти неподвижно лежат на горизонте, но второй слой двигается теперь быстрее, расширяя все более и более просветы. Кое-где уже синее лазурь. Клочки ночного тумана проносятся реже и видимо тают. Солнце ныряет, то появляясь в вышине, то прячась.

Трубы установлены, с балаганов сняты брезенты, ученые пробуют аппараты. Лица их проясняются вместе с небом. Холодная уверенность этих приготовлений, видимо, импонирует толпе.

— Гляди-ко, батюшки, сама вертится!.. — раздается вдруг удивленный голос.

Действительно, большая черная труба с часовым механизмом, пущенным в ход, начи-

нает заметно поворачиваться на своих странных ногах, точно невиданное животное из металла, пробужденное от долгого сна. Ее останавливают после пробы, направляют на солнце и опять пускают в ход. Теперь она автоматически идет по кругу, тихо, внимательно, зорко следя за солнцем в его обычном мгlistом пути. Клапаны сами открываются и закрываются, зияя матово-черными краями. Немец опять говорит что-то быстро, ворчливо и непонятно, будто читает лекцию или произносит заклинания.

Толпа удивленно стихает.

## VII

Минутная тишина. Вдруг раздается звонкий удар маятника метронома, отбивающего секунды.

Часы бьют. Должно, шесть часов.

— Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, — нет, не часы... Что такое?!

— Началось!.. — догадывается кто-то в толпе, видя, что астрономы припали к трубам.

— Вот те и началось, ничего нету, — небрежно и уверенно произносит вдруг в задних рядах голос старого скептика, которого я



видел на мосту.

Я вынимаю свое стекло с самодельною ручкой. Оно производит некоторую ироническую сенсацию, так как бумагу, которой оно обклеено, я прилепил к ручке сургучом.

— Вот так машина! — говорит кто-то из моих соседей. — За семью печатями...

Я оглядываю свой инструмент. Действительно, печатей оказывается ровно семь — цифра в некотором роде мистическая. Однако некогда заниматься каббалистическими соображениями, тем более что моя «машина» служит отлично. Среди быстро пробегающих озаренных облаков я вижу ясно очерченный солнечный круг. С правой стороны, сверху, он будто обрезан чуть заметно.

Минута молчания.

— Ущербилось! — внятно раздается голос из толпы.

— Не толкуй пустого! — резко обрывает старец.

Я нарочно подхожу к нему и предлагаю посмотреть в мое стекло. Он отворачивается с отвращением.

— Стар я, стар в ваши стекла глядеть. Я его,

родимое, и так вижу, и глазами. Вон оно в своем виде.

Но вдруг по лицу его пробегает точно судорога, не то испуг, не то глубокое огорчение.

— Господи Иисусе Христе, царица небесная...

Солнце тонет на минуту в широком мгlistом пятне и показывается из облака уже значительно ущербленным. Теперь уже это видно простым глазом, чему помогает тонкий пар, который все еще курится в воздухе, смягчая ослепительный блеск.

Тишина. Кое-где слышно неровное, тяжелое дыхание, на фоне напряженного молчания метроном отбивает секунды металлическим звоном, да немец продолжает говорить что-то непонятное, и его голос звучит как-то чуждо и странно. Я оглядываюсь. Старый скептик шагает прочь быстрыми шагами с низко опущенною головой.

## VIII

Проходит полчаса. День сияет почти все так же, облака закрывают и открывают солнце, теперь плывущее в вышине в виде серпа. Какой-то мужичок «из Пучежа» въезжает на

площадь, торопливо поворачивает к забору и начинает выпрягать лошадь, как будто его внезапно застигла ночь и он собрался на ночлег. Подвязав лошадь к возу, он растерянно смотрит на холм с инструментами, на толпу людей с побледневшими лицами, потом находит глазами церковь и начинает креститься механически, сохраняя в лице все то же испуганно-вопросительное выражение.

Между тем мальчишки и подростки, разочаровавшись в желатинных стеклах, убегают домой и оттуда возвращаются с самодельными, наскоро закопченными стеклами, которых теперь появляется много. Среди молодежи царят беспечное оживление и любопытство. Старики вздыхают, старухи как-то истерически ахают, а кто даже вскрикивает и стонет, точно от сильной боли.

День начинает заметно бледнеть. Лица людей принимают странный оттенок, тени человеческих фигур лежат на земле бледные, неясные. Пароход, идущий вниз, проплывает каким-то призраком. Его очертания стали легче, потеряли определенность красок. Количество света видимо убывает; но так как

нет сгущенных теней вечера, нет игры отраженного на низших слоях атмосферы света, то эти сумерки кажутся необычны и странны. Пейзаж будто расплывается в чем-то; трава теряет зелень, горы как бы лишаются своей тяжелой плотности.

Однако, пока остается тонкий серповидный ободок солнца, все еще царит впечатление сильно побледневшего дня, и мне казалось, что рассказы о темноте во время затмений преувеличены. «Неужели, — думалось мне, — эта остающаяся еще ничтожная искорка солнца, горящая, как последняя, забытая свечка в огромном мире, так много значит?.. Неужели, когда она потухнет, вдруг должна наступить ночь?»

Но вот эта искра исчезла. Она как-то порывисто, будто вырвавшись с усилием из-за темной заслонки, сверкнула еще золотым брызгом и погасла. И вместе с этим пролилась на землю густая тьма. Я уловил мгновение, когда среди сумрака набежала полная тень. Она появилась на юге и, точно громадное покрывало, быстро пролетела по горам, по реке, по полям, обмахнув все небесное пространство,

укутала нас и в одно мгновение сомкнулась на севере. Я стоял теперь внизу, на береговой отмели, и оглянулся на толпу. В ней царило гробовое молчание. Даже немец смолк, и только метроном отбивал металлические удары. Фигуры людей сливались в одну темную массу, а огни пожарища на той стороне опять приобрели прежнюю яркость...

Но это не была обыкновенная ночь. Было настолько светло, что глаз невольно искал серебристого лунного сияния, пронизывающего насквозь синюю тьму обычной ночи. Но нигде не было сияния, не было синевы. Казалось, тонкий, не различимый для глаза, пепел рассыпался сверху над землей, или будто тончайшая и густая сетка повисла в воздухе. А там, где-то по бокам, в верхних слоях чувствуется озаренная воздушная даль, которая сквозит в нашу тьму, смывая тени, лишая темноту ее формы и густоты. И над всею смущенною природой чудною панорамой бегут тучи, а среди них происходит захватывающая борьба... Круглое, темное, враждебное тело, точно паук, впилося в яркое солнце, и они несутся вместе в заоблачной вышине. Какое-то сия-

ние, льющееся изменчивыми переливами из-за темного щита, придает зрелищу движение и жизнь, а облака еще усиливают эту иллюзию своим тревожным, бесшумным бегом.

— Владычица святая, господи батюшко, помилуй нас, грешных!

И какая-то старушка набегает на меня, то-ропливо спускаясь с холма.

— Куда ты, тетка?

— Домой, родимый, домой: помирать, видно, всем, помирать, с детками с малыми...

Вдоль берега, в сумраке, надвигается к нам какое-то темное пятно, из которого слышен смешанный, все усиливающийся голос. Это кучка фабричных. Впереди, размахивая руками, шагает угрюмый атлет рабочий, который сидел со мной на мосту. Я иду к ним по отдели навстречу.

— Нет, как он мог узнать, вот что! — оставливается он вдруг прямо против меня, по-видимому узнавая во мне недавнего собеседника. — Говорили тогда ребята: раскидать надо ихние трубы... Вишь, нацелились в бога!.. От этого всей нашей стране может гибель произойти. Шутка ли: господь знамение по-

сылает, а они в небо трубами... А как он, ба-  
тюшко, прогневаается да вдруг сюда, в это са-  
мое место, полыхнет молоньей?..

— Да ведь это сейчас пройдет, — говорю я.

— Пройдет, говоришь? Должны мы живы  
остаться? — Он спрашивает, как человек, по-  
терявший план действий и тяготеющий ко  
всякому решительно высказываемому убеж-  
дению.

— Конечно, пройдет, и даже очень скоро.

— А как?

Я смотрю на часы.

— Да, должно быть, менее минуты еще.

— Меньше минуты? И это узнали! Ах ты,  
господи боже!..

Прошло не более пятнадцати секунд. Все  
мы стояли вместе, подняв глаза кверху, туда,  
где все еще продолжалась молчаливая борьба  
света и тьмы, как вдруг вверху, с правой сто-  
роны, вспыхнула искорка, и сразу лица моих  
собеседников осветились. Так же внезапно,  
как прежде он набежал на нас, мрак убегает  
теперь к северу. Темное покрывало взметну-  
лось гигантским взмахом в беспредельных  
пространствах, пробежало по волнистым

очертаниям облаков и исчезло. Свет струится теперь, после темноты, еще ярче и веселее прежнего, разливаясь победным сиянием. Теперь земля оделась опять в те же бледные тени и странные цвета, но они производят другое впечатление: то было угасание и смерть, а теперь наступало возрождение...

## IX

Солнце, солнце!.. Я не подозревал, что и на меня его новое появление произведет такое сильное, такое облегчающее, такое отрадное впечатление, близкое к благоговению, к преклонению, к молитве... Что это было: отзвук старого, залегающего в далеких глубинах каждого человеческого сердца преклонения перед источником света, или, проще, я почувствовал в эту минуту, что этот первый проблеск прогнал прочь густо столпившиеся призраки предрассудка, предубеждения, вражду этой толпы?.. Мелькнул свет — и мы стали опять братьями... Да, не знаю, что это было, но только и мой вздох присоединился к общему облегченному вздоху толпы... Мрачный великан стоял с поднятым кверху лицом, на котором разливалось отражение рождав-



шегося света. Он улыбался.

— Ах ты, б-боже мой!.. — повторил он уже с другим, благодушным выражением. — И до чего только, братцы, народ дошел. Н-ну!..

Конец страхам, конец озлоблению. В толпе говор и шум.

— Должны мы господу благодарить... Дозволил нам живым остаться, батюшка!..

— А еще хотели остроумов бить. То-то вот глупость...

— А разве правда, что хотели бить? — спрашиваю я, чувствуя, что теперь можно уже свободно говорить это, без прежней напряженной неловкости.

— Да ведь это что: от питания это, от винного. Пьяненький мужичок первый и взбунтовался... Ну, да ведь ничего не вышло, слава те господи!

— А у нас, братцы, мужики и без остроумов знали, что будет затмение, — выступает внезапно мужичок из-за Пучежа. — Ей-богу... Потому старики учили: ежели, говорят, месяц по зорям ходит, — непременно к затмению... Ну, только в какой день — этого не знали... Это, нечего хвастать, было нам неизвестно.

— А они, видишь, как рассчитали. В аккурат! Как ихний маятник ударил, тут и началось...

— Премудрость...

— Затем и разум даден человеку...

— Вишь, и опять взыграло... Гляди, как разгорается.

— Содвигается тьма-то!

— Теперь сползет небось!

— Содвинется на сторону — и шабаш.

— И опять радуется всякая тварь...

— Слава Христу, опять живы мы...

— А что, господа, дозвольте спросить у вас... — благодушно подходит в это время кто-то к самой ограде. Но ближайший из наблюдателей нетерпеливо машет рукой: он смотрит и считает секунды.

— Не мешай! — останавливают из толпы. — Чего лезешь, — не видишь, что ли? Еще ведь не вовсе кончилось.

— Отдай, отдай назад! Осади! — вполголоса, но уже без всякой внушительности произносят городовые. Солдаты, ружья к ноге, носы кверху, с наивною неподвижностью тоже следят за солнцем. Гриша, торжествующий, сме-

шался с толпой и имеет такой вид, как будто готов принимать поздравления с благополучным окончанием важного дела. Астрономическая наука приобрела в его лице ревностного адепта. Окруженный любопытными, от которых еще недавно слышал язвительные насмешки, он теперь объясняет им что-то очень авторитетно:

— Труба... она вещь не простая. Содвинь ее, уж она не действует. Она по звезде теперича ставится. Все одно ружейный прицел.

— Как можно содвинуть, вещь понятная! — ласково и как будто заискивающе поддакивают собеседники.

— Тонкая вещь!

— А не грех это, братцы? — раздается сзади нерешительный вопрос, оставшийся без отклика.

Солнце играет все сильнее; туман все более и более утончается, и уже становится трудно глядеть невооруженным глазом на увеличивающийся серп солнца. Чирикают примолкшие было птицы, луговая зелень на заречной стороне проступает все ярче, облака расцветиваются... В настроении толпы недо-

верие, вражда и страхи умчались куда-то далеко вместе с пеленой полной тени, улетевшей в беспредельное пространство...

Я ищу старика скептика. Его нигде нет. Между тем кое-где открываются окна, до тех пор закрытые ставнями или тщательно задернутые занавесками. Давешняя старушка робко отпирает свою закупоренную хибарку, высовывает сначала голову, оглядывается вдоль улицы, потом выходит наружу. К ней подбежала девочка лет двенадцати.

— Бабушка, бабушка, а я вот все видела!

— Ты зачем убежала, греховодница, когда я не приказывала тебе?

Но девочка не слушает и продолжает с веселым возбуждением:

— Все видела, как есть. И никаких страстей не было. По небу стрелы пошли, и потом солнышко, слышь, темнеит, темне-и-ит...

— Ну?

— Ну и все потемнело. Задернулось вот, и все одно... чугунным листом. Ей-богу, правда, как вот заслонка-те перед солнцем и стоит. А потом с другой-те стороны вдруг прыснуло и пошло выходить, и пошло тебе выходить, и

опять рассветало.

Бабушка ворчит что-то, но старое брюзжание звучит уступчиво и тихо, а детский голос звенит с молодым торжеством.

Мы сидели уже на пароходе, когда последний след затмения соскользнул ни для кого уже незаметно с просиявшего солнечного диска.

В третьем классе в публике живо ходила по рукам брошюра: «О солнечном затмении 7-го августа 1887 года»...

*1887–1892*

# Птицы небесные

## I

... В этот день монастырщина праздновала встречу иконы. Долго, месяца два уже странствовала «владычица» по разным местам, и теперь возвращалась домой.

Первыми приехали на троечных тарантахах, с колокольцами и бубенцами, сопровождавшие ее отцы, привезшие в монастырь собранную за время странствий казну. Вид у них был здоровый, сытый и довольный. Потом из лесу повалили пестрые кучи передовых богомольцев, все гуще и гуще, пока наконец не сверкнул над головами золоченый оклад иконы, переливаясь на солнце.

Звенели колокола, блестели и колыхались хоругви, пение хора и топот тысячной толпы, точно прибывающая река, заполнили тихую монастырскую слободку.

Монастырщина ожила. В церкви пели молебны, на площади выкрикивали под холщовыми навесами торговцы и торговки, из «заведения» слышались звуки гармоники и бубна, в избах слободки одна партия богомоль-

цев сменяла другую за столами, на которых пыхтели огромные самовары.

Перед вечером вдруг пошел густой дождь, разогнавший с базара и толпу, и торговцев. На площади и на улицах стало тихо, только частые крупные капли плескались в лужах, да ветер метался и хлопал промокшими навесами, да из церкви слышалось стройное пение, а в глубине храма мелькали желтые огоньки свечей.

Когда туча вдруг снялась и поплыла на восток, волоча за собой над полями и над лесом изорванную пелену туманов, — на западе выглянуло солнце и ласково тронуло своими последними лучами окна слободки и кресты монастыря. Но оживление уже не вернулось на базарную площадь: богомольцы внесли за собой тихую жажду отдыха после трудного пути, и день угасал, вместе с последними нотами отходящей церковной службы. Даже бубен за стеной «заведения» громыхал изнеможенно и глухо.

Служба кончилась. В глубине храма свечи гасли одна за другой. Богомольцы расходились. У монастырского странноприимного до-

ма стояли кучки странников и богомолков, ожидавших, пока отец-гостиник разрешит вход просящим ночлега. На крыльцо вышел толстый монах и два послушника и принялись отделять овец от козлиц. Овцы входили в дверь, козлица изгонялись и, ворча, выходили в ворота. Когда эта процедура закончилась, у входа осталась кучка мордовок и фигура странника. Повидимому, их участь еще решалась отцом-гостиником, который ушел внутрь здания.

Через минуту вышли послушники и, сосчитав мордовок, пустили их в женское отделение. К одинокому страннику подошел старший послушник и, поклонившись, сказал:

— Прости, Христа-ради, брат Варсофоний... Отец-гостиник не благословляет тебе остаться... Иди с миром.

По лицу молодого странника прошла болезненная улыбка, поразившая меня каким-то особенным драматизмом и значительностью. Лицо у него было тоже замечательное: очень горбоносое, худое, с горящими большими глазами. Острый шлык и чуть заметная заостренная бородка придавали этому



лицу что-то необыкновенно характерное. Вся сухая фигура в старом подряснике, с тонкой шеей и выдающимся профилем, обращала невольное внимание. Впечатление было резкое, тревожащее и беспокоящее.

Выслушав слова послушника, странник поклонился и сказал:

— Бог спасет и на том...

Он повернулся, чтобы уйти, и вдруг пошатнулся. Видно было, что он болен и смертельно устал. Добродушный послушник посмотрел ему вслед и заколебался.

— Пстой мало, брат Варсонофий... Схожу еще.

Странник облокотился на палку и застыл в ожидании. Но через минуту послушник опять вышел из двери и, смущенно подойдя к нему, — сказал с видимым сожаленьем:

— Нет, не благословляет... Отец Нифонт донес ему, якобы тут странник один... вроде тебя... глаголет неподобная... смущает народ.

В лице странника мелькнуло что-то... Глаза его блеснули, как будто он хотел возразить, но потом поклонился и сказал;

— Благодарствуйте, отцы...

И он устало побрел со двора.

Послушник вопросительно посмотрел на меня. Я понял, что он собирается закрывать ворота, и тоже вышел на передний двор. Здесь было уже пусто. Молодой продавец монастырских калачей стоял за ларем, к которому никто не подходил.

Вратарь закрыл за мною одну воротину, потом, тяжело упираясь ногами, стал закрывать и другую. В это время за воротами слышалась возня, затоптались несколько пар ног, щель опять раздвинулась, и в ней показалась невзрачная фигура в странницком костюме, рыжем и полинявшем. Ее невольными движениями управляла дюжая рука, державшая ее за шиворот. Крепкий толчок... Странник отлетел на несколько шагов и упал, а за ним вдогонку полетела котомка, потом другая... Небольшая книжечка в истрепанном кожаном переплете шлепнулась в грязь, шлепая по ветру листьями.

— Вот эдак... — сказал за воротами жирный бас. — Не озоруйте...

— А что? — спросил голос вратаря.

— Как же, — ответил бас... — Из-за него вот

отец-гостиник согрешил... человека прогнал... И человек-то хороший. Ох-хо... истинно греши...

И говоривший удалился. Отец вратарь сомкнул ворота, но не вполне: в щелку любопытно выглянули его маленькие глазки, толстый нос и светлые усы. Он с видимым интересом следил за дальнейшими намерениями извергнутого странника.

Последний успел подняться, взял котомки, вскинул их одну на спину, другую через плечо и потом, подняв книгу, старательно стал очищать ее от грязи. Кинув быстрый взгляд по двору, он заметил меня и калашника. Из-за наружных ворот, с площади, маленькое происшествие наблюдала кучка мужиков. Как будто сообразив что-то, странник приосанился, с демонстративным благоговением поцеловал переплет книги и отвесил саркастический поклон по направлению к внутренним воротам...

— Спасибо, отцы святые... Яко странного мя приясте, и алчущего накормисте...

И вдруг, заметив в щели ворот усы и нос вратаря, он сказал другим тоном:

— Что смотришь? Или признал?

— Что-то будто... того... признавательно, — сказал привратник.

— Как же, как же!.. Приятели! К свиридовским мордовкам вместе бегали... Узнал теперь?..

Привратник громко и с негодованием плюнул, сдвинул ворота и задвинул засов. Но ноги его в грубых сапогах еще некоторое время виднелись из-под ворот...

— Феньку вспоминаешь ли, отче?..

Ноги стыдливо скрылись...

Странник поправил грязную мурмолку и опять оглянулся. Привлеченные пикантным разговором человек шесть мужиков вошли в ворота. Это были ближайшие соседи монастыря, старообрядцы из ближних деревень, толкавшиеся по базару с видом равнодушного, пожалуй, несколько враждебного любопытства. Монастырь, далеко простирающий свое влияние, вблизи охвачен, точно кольцом, «самым злющим», по выражению монахов, расколом. Среди окрестных жителей сложилась определенная легенда, что в самом недалеком будущем монастырю грозит

участь Содома и Гоморры... Но пока монастырь живет и привлекает в свои праздники тысячные толпы народа. В такие дни фигуры соседей-старообрядцев как-то угрюмо выделяются в ликующей толпе, и на их лицах виднеется отчужденность и досада. Подобно пророку Ионе, они ропщут, что господь медлит совершить предреченную судьбу обреченной Ниневии.

Теперь они с злорадным любопытством смотрели на сцену у ворот обители нечестивых.

— Что? Видно не пуцают... — сказал один насмешливо. — Самим тесно... с мордовками-то...

Странник повернулся и кинул на говорящего острый взгляд. Но вдруг лицо его приняло смиренное выражение, и, опять повернувшись к воротам, он трижды истово и широко перекрестился.

Мужики переглянулись с недоумением: странник крестился не щепотью, а старым дуперстным крестом.

— Господь, видящий всяческая, да воздаст мнихам по милосердию их, — сказал он со

вздохом. — Мы же, братие, отрясши прах от ног своих, послушаем здесь, во храме нерукотворенном (он указал красивым и спокойным движением на вечернее небо), поучительного слова о покаянии...

Мужики сомкнулись; на их лицах выднлось радостное и отчасти недоверчивое недоумение. Обращение было слишком уже неожиданно... Мысль устроить на чуждом празднике свое собеседование и у самых ворот монастыря послушать странствующего проповедника, знаменующегося старым крестом, видимо, нравилась людям старой веры. Проповедник стоял у подножия колокольни. Ветер шевелил его запыленные светлые волосы.

Это был человек неопределенного возраста, но, очевидно, еще не старь. На лице у него лежал сильный загар, а волосы и глаза как будто выцвели от солнца и непогоды.

При каждом даже незначительном движении головы на шее у него резко выступали и шевелились сухожилия. Невольно чуялось в этом человеке что-то несчастное, чутко настроенное и, пожалуй, злое.

Он стал громко читать свою книгу. Читал хорошо, просто, убедительно и, по временам останавливаясь, вставлял собственные комментарии. Однажды он быстро взглянул на меня, но тотчас же отвел глаза. Казалось, мое присутствие было ему неприятно. После этого он обращался больше к одному из слушателей.

Это был широкоплечий приземистый мужик с фигурой, точно вырубленной двумя-тремя ударами топора. Несмотря на эту топорность фигуры, он оказался чрезвычайно экспансивным. За каждым словом проповедника он следил с увлечением и снабжал их собственными репликами, в которых неизменно звучала какая-то почти детская радость.

— Ах, братия... милые мои, — говорил он, оглядываясь. — Ах, премудро это насчет покаяния... Стало быть, выходит лествица?.. Вот-вот... А мы грешные по ей... с приступочки да на приступочку?.. Так, так...

— И все, значит, кверху да кверху... — пробасил другой.

— Верно... Глядишь, и того... А?..

И он сияющими глазами окидывал собрание...

Однако его шумное вмешательство и его радость, повидимому, не понравились проповеднику. Он вдруг остановился, слегка повернул голову, и сухожилия на его шее заходили, как веревки... Он как будто хотел сказать что-то, но сдержался и перевернул страницу.

Оказалось, что слушатели возрадовались преждевременно. В то самое время, когда они находятся на вершине ликования, — гордыня и излишнее упование отягчают лестницу. Она трещит, на лицах слушателей отражается испуг, лестница подламывается...

— Тепериче кончено! — говорит басистый мужик мрачно.

— Теперича ау, брат! — подхватывает первый. И странное дело: он опять оглядывает всех сияющими глазами, а в его голосе слышится та же радость... — Теперича нет нам ходу... И на первую приступочку не пустют.

Странник закрывает книгу и несколько секунд смотрит на говорящего упорным взглядом. Но мужик встречает этот взгляд с тем же радостным и доверчивым благодушием.



— Вы так... полагаете? — спрашивает проповедник.

— Полагаем, — отвечает спрошенный. — Сам посуди, милый человек... До коих же пор терпеть на нас?..

— Вы так полагаете? — опять говорит проповедник с натиском, и в голосе его звучит что-то, вызывающее на лице спрошенного признаки беспокойства...

— То есть полагаете предел долготерпению всевышнего. А известно ли вам, братие, что есть православная католическая церковь...

Он перевертывает несколько страниц и начинает читать о духовном могуществе православной церкви. Лица слушателей темнеют. Проповедник останавливается и говорит:

— Православная католическая церковь... Не она ли сия спасительная лестница?.. Кто прибегает к ней — не может отчаяться. А вот... ежели...

На несколько секунд водворяется напряженное молчание. Странник стоит против кучки мужиков, и чувствует, что он держит в своих руках их настроение. Еще недавно они радостно следовали за ним, и не трудно

было предвидеть последствия проповеди: люди старой веры готовы были пригласить к себе монастырского изгнанника. Теперь они смущены и не знают, что думать...

— А вот ежели, — продолжал странник, отчеканивая слова, — кто отвержеся единой матери церкви... кто полагает спастись в подпольях, с крысами... кто упоает на стриженные гуменца...

Басистый мужик резко повернулся и пошел прочь... Его благодушный сотоварищ оглянулся с видом разочарованности и недоумения и кинул тоном полувопроса:

— Оканфузил?.. Ишь ты... Ай-ай-ай...

И последовал за другими. Раскольники угрюмо направились к воротам. Странник, остался один. Его фигура резко выделялась на фоне колокольни, и в выцветших, когда-то синих глазах стояло странное выражение. По-видимому, он думал своей проповедью обеспечить себе ночлег, в котором ему отказали монахи. Почему же он вдруг изменил тон?..

Теперь во дворе нас было только трое: странник, я и молодой парень под калашным навесом. Странник кинул быстрый взгляд в

мою сторону, но тотчас отвернулся и подошел к калашнику. Лицо молодого парня сияло от удовольствия.

— А ловко ты их, — сказал он... — Уж именно что оканфузил. Вишь, — у всех на макушках-те гуменца выстрижены... Черти горох молотили. Хо-хо-хо!

Парень залился веселым молодым смехом и принялся убирать с прилавка товар внутрь ларя.

Окончив это, он закрыл раздвижные дверцы и запер их на замок. Ларь был устроен удобно, в расчете на передвижение, — на колесиках и с нижним помещением. Парень, очевидно, намеревался ночевать тут же, у хозьяйского добра...

— Одначе пора и на покой, — сказал он, поглядев на небо.

На дворе и за воротами, было тихо и пусто. На базаре тоже убирались с товаром. Парень покрестился на церковь и, открыв немного дверку, полез под ларь.

Вскоре оттуда показались его руки. Он старался изнутри приладить небольшую заслонку к отверстию.

Странник тоже оглянулся на небо, подумал несколько секунд и решительно подошел к ларю.

— Пстой, Михайло! Я тебе, добрый человек, помогу.

Белец убрал руки и выглянул снизу вверх из своего убежища.

— Антон я, — сказал он простодушно.

— Ну, Антоша, давай помогу тебе.

— Ин помоги, спасибо скажу. Вишь, отседа трудно.

Простодушное лицо Антона скрылось.

— Убери-ко-сь ноги-то маленько.

Антон исполнил и это распоряжение. Тогда странник спокойно отставил дверку, проворно наклонился, и я с удивлением увидел, как он быстро юркнул в отверстие. Началась возня: Антон двинул ногами, и часть страннической фигуры показалась было на мгновение наружи, но тотчас же втянулась опять.

Заинтересованный этим неожиданным оборотом, я почти инстинктивно подошел к ларю.

— А я закричу, пра, закричу, — услышал я оттуда гнусаво-жалобный голос Антона. —

Вот уж о отцы опять накладывают тебе в загорбок!

— А ты не кричи, Миша, зачем кричать? — убеждал странник.

— Какой я тебе Миша... говорю, меня Антоном кстили...

— В монашестве наречен будешь Михаилом. Помяни тогда мое слово... Тс-с-с! Тише, Антоша, помолчи-ко-сь.

В ларе водворилось молчание.

— Чего? — спросил Антон. — Чего слушаешь?

— Слышь, стучит... Дождик ведь.

— Ну так что?.. Стучит... Закричать вот, — отцы тебе лучше того настучают.

— Ну, что ты все заладил одно: закричу да закричу. А ты лучше не кричи. Что я тебя съем, что ли? Я вот тебе еще про монашку сказку хорошую расскажу...

— Скрадешь, смотри, чего-нибудь.

— Грех тебе, Антоша, на странного человека клепать. Один-то калач и сам дашь. Не ел нынче, — веришь ты богу...

— На вот, кусай черствый... Сам не съел... — И Антон зевнул с таким аппетитом, что всякая мысль о дальнейшем противодей-

ствии устранилась.

— А и ловко ты их, кулугуров-то, оканфузил, — добавил он, доканчивая аппетитный зевок. — Уж это именно, что обличил.

— А отцов?

— Отцы на тебя плевать хотели... Обещал сказку сказать... Что ж не сказываешь?

— В некотором царстве, в некотором государстве, — начал странник, — в монастыре за каменной стеной жила-проживала, братец ты мой Антошенька, монашка... Уж такая проживала монашка-а, охо-хо-о-о...

— Ну...

— Ну, жила-проживала, сохла-горевала... Молчание...

— Ну?.. Сказывай, что ли.

Опять молчание.

— Ну! Да ты что же? О ком горевала-то?.. — приставал заинтересованный Антон.

— Ступай ты ко псу, что пристал! Что я тебе за сказочник дался! Чай, за день-то я тридцать верст отмахал. Об тебе, дураке, и горевала, вот о ком. Не мешай спать!

Антон испустил какой-то звук, выразивший крайнее изумление.

— Н-ну, и жох ты, посмотрю я на тебя, — сказал он с упреком.

— Право, лукавый, — слышалось еще через минуту тише и как-то печально... — Н-ну, лукавец... Эдакого лукавца я и не видывал...

В ларе все смолкло. Дождь все чаще стучал по наклонной крышке, земля почернела, лужи исчезали в темноте; монастырский сад шептал что-то, а здания за стеной беззащитно стояли под дождем, который журчал, стекая по водосточным трубам. Сторож за оградой стучал в промокшую трещотку.

## II

На следующий день я с Андреем Ивановичем, товарищем многих моих путешествий, вышли в обратный путь. Шли мы не без приключений, ночевали в селе и оттуда опять тронулись не рано. Дорога совсем уже опустела от богомольцев, и трудно было представить себе, что по ней так еще недавно двигались толпы народа. Деревни имели буднич-ный вид, в полях изредка белели фигуры работающих. В воздухе было душно и знойно.

Мой спутник, человек длинный, сухопарый и нервный, был сегодня нарочито мра-

чен и раздражителен. Это случилось с ним нередко под конец наших общих экскурсий. Но сегодня он был особенно не в духе и высказывал недовольство мною лично.

После полудня, в жару, мы уже совершенно надоели друг другу. Андрей Иванович почему-то считал нужным отдыхать без всякой причины в самых, неудобных местах или, наоборот, желал непременно идти дальше, когда я предлагал отдохнуть.

Так мы достигли мостика. Небольшая речка тихо струилась среди сырой зелени, шевеля по поверхности головками кувшинок. Речка вытекала изгибом и терялась за выступом берега, среди волнующихся нив.

— Отдохнем, — сказал я.

— Идти надо, — ответил Андрей Иванович.

Я сел на перила и закурил, а долговязая фигура Андрея Ивановича пронеслась дальше. Он поднялся на холмик и исчез.

Я наклонился к речке и задумался, считая себя совершенно одиноким, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд и увидел на холме, под группюю березок двух человек. Лицо одного показалось мне совсем маленьким, по-



чти детским. Оно тотчас же стыдливо скрылось за гребнем холмика, в траве. Другой был вчерашний проповедник. Лежа на земле, он спокойно смотрел на меня своими беззащитными серыми глазами.

— Пожалуйста к нам, веселей вместе, — сказал он просто;

Я поднялся и с удивлением усмотрел ноги Андрея Ивановича из-за хлебов у дороги; он сидел невдалеке на меже, и дым его цыгарки поднимался над колосьями. Сделав вид, что не заметил его, я подошел к странникам.

Тот, которого я принял за ребенка, — представлял из себя маленькое, тщедушное существо в полосатой ряске, с жидкими косицами около узкого желтого лица, с вытянувшимся по-птичьи носом. Он все запахивал свою хламиду, беспокоился, ерзал на месте и, видимо, стыдился собственного существования.

— Садитесь, гости будете, — предложил мне проповедник, слегка подвигаясь; но в это время долговязая фигура Андрея Ивановича, как тень Банко, поднялась над хлебами.

— Идем, что ли! — произнес он не особенно ласково, далеко швыряя окурки.

— Я посижу, — ответил я.

— С дармоедами, видно, веселее... — И Андрей Иванович кинул на меня взгляд, полный горечи, как будто желая вложить в мою душу сознание неуместности моего предпочтения.

— Веселее, — ответил я.

— Ну, и наплевать. Счастливо оставаться в хорошей канпании.

Он нахлобучил шапку и широко шагнул вперед, но, пройдя немного, остановился и, обернувшись, сказал с негодованием:

— Не зовите никогда! Подлый человек — не пойду с вами больше. И не смейте звать! Отказываю.

— Звать или не звать — это дело мое... а идти или не идти — ваше.

— Сурьезный господин! — мотнул странник головой в сторону удаляющегося.

— Не одобряют нас, — как-то горестно не то вздохнул, не то пискнул маленький человек.

— Не за что и одобрять, пожалуй, — равнодушно заметил проповедник и обратился ко мне:

— Нет ли папиросочки, господин?

— Пожалуйста.

Я протянул ему портсигар. Он взял оттуда две папироски, одну закурил, а другую положил рядом. Маленький странник, истолковал, это обстоятельство в смысле благоприятном для себя и не совсем решительно потянулся за свободной папироской. Но проповедник совершенно спокойно убрал папиросу у него из-под руки и переложил ее на другую сторону. Маленький человечек сконфузился, опять что-то стыдливо, пискнул и запахнулся халатом.

Я подал ему другую папироску. Это сконфузило его еще более, — его худые прозрачные пальцы дрожали; он грустно и застенчиво улыбнулся.

— Не умею просить-с... — сказал он стыдливо. — Автономов и то меня началит, началит... Не могу-с...

— Кто это Автономов? — спросил я.

— Я это — Геннадий Автономов, — сказал проповедник, строго глядя на маленького сотоварища. Тот потупился под его взглядом и низко опустил желтое лицо. Жидкие косицы

свесились и вздрагивали.

— По обещанию здоровья ходили, или так? — спросил у меня Автономов.

— Так, из любопытства... А вы куда путешествуете?

Он посмотрел в пространство и ответил:

— В Париж и поближе, в Италию и далее... — И, заметив мое недоумение, прибавил:

— Избаловался... шатаюсь беспутно, куда глаза глядят. Одиннадцать лет...

Он сказал с оттенком грусти, тихо выпуская табачный дым и следя глазами, как синие струйки таяли в воздухе. В лице его мелькнуло что-то новое, незамеченное мною прежде.

— Испорченная жизнь, синьор! Загубленное существование, достойное лучшей участи.

Грустная черта исчезла, и он докончил высокопарно, поводя в воздухе папирасой:

— И однако, милостивый государь, странник не согласится променять свою свободу на роскошные палаты.

В это время какая-то смелая маленькая пташка, пролетев над нашими головами, точ-

но брошенный комок земли, уселась на нижней ветке березы и принялась чиликать, не обращая ни малейшего внимания на наше присутствие. Лицо маленького странника приподнялось и замерло в смешном умилении. Он шевелил в такт своими тонкими губами и при удачном окончании какого-нибудь колена поглядывал на нас торжествующими, смеющимися и слезящимися глазами.

— Ах, боже ты мой! — сказал он наконец, когда пташка, окончив песню, вспорхнула и улетела дальше. — Творение божие. Воспела, сколько ей было надо, воздала хвалу и улетела восвояси. Ах ты, миляга!.. Ей-богу, право.

Он радостно посмотрел на нас, потом сконфузился, смолк и запахнул ряску, а Автономов сделал опять жест рукой и прибавил в поучительном тоне:

— Воззрите на птицы небесные. И мы, синьор, те же птицы. Не сеем, не жнем и в житницы не собираем...

— Вы учились в семинарии? — спросил я.

— Учился. А, впрочем, об этом, синьор, много говорить, а мало, как говорится, слушать. Между тем, что-то, как видится, затяги-

вает горизонт облаками. Ну, Иван Иванович, вставай, товарищ, подымайся! Жребий странника — путь-дорога, а не отдохновение. Позвольте пожелать всякого благополучия.

Он кивнул головой и быстро пошел по дороге. Шагал он размашисто и ровно, упираясь длинным посохом и откидывая его с каждым шагом назад. Ветер развевал полы его рясы, спина с котомкой выгнулась, бородка клином торчала вперед. Казалось, вся эта обожженная солнцем, высушенная и обветренная фигура создана для бедного русского простора с темными деревушками вдали и задумчиво набирающимися на небе тучами.

— Ученый! — грустно махнул головой Иван Иванович, подвязывая дрожащими руками котомку. — Умнейшая голова! Но между тем пропадает ничтожным образом, как и я же. На одной степени... Мы и странники-то с ним, господи прости, самые последние...

— Почему это?

— Помилуйте! Как же можно. Настоящий странник — у него котомка хорошая, подрясничек или кафтан, сапоги, например... одним словом — окопировка наблюдается во всяком,

позвольте сказать, сословию. А мы! Чай, уж видите сами. Иду иду, Геннадий Сергеич, иду-с. Сию минуту!

Маленький человечек вскоре догнал на дороге своего товарища. Думая, что у них были свои причины не приглашать меня с собой, я посидел еще на холме, глядя, как из-за леса тихо, задумчиво и незаметно, точно крадучись, раскидывалась по небу темная и тяжелая туча, и затем поплелся один, с сожалением вспоминая об Андрее Ивановиче.

Было тихо, грустно. Колосья колыхались и сухо шуршали... Где-то очень далеко за лесами ворчал гром и по временам пролетала в воздухе крупная капля дождя.

Но угрозы были напрасны. Под вечер я подходил уже к деревне К., а дождя все еще не было, только туча все так же тихо надвигалась, нависала и ползла дальше, уменьшая дневной свет, и гром погромыхивал ближе.

### III

К моему изумлению, на завалинке одной из крайних изб деревни я увидел Андрея Ивановича. Он сидел, протянув длинные ноги чуть не до середины улицы, и при моем при-

ближении придал своему лицу выражение величавого пренебрежения.

— Что вы тут делаете, Андрей Иваныч?

— Чай пил. Думаете, вас дожидался? Не во-ображайте. Пройдет туча — отправлюсь даль-ше.

— И отлично.

— А хваленые-то ваши...

— Кто это мои хваленые?..

— Странники-то, божьи люди... Полюбуй-тесь, чего делают вон в соседней избе! Нет, вы посмотрите, ничего, не стыдитесь, пожалуй-ста...

Я подошел к окну. Изба была полна. Мужики из этого села в это время все на промыс-лах, поэтому тут было одно женское населе-ние. Несколько молодых и девушек прошмыг-нули еще мимо меня. Окна были открыты и освещены, и из них слышался ровный голос Автономова. Он поучал раскольников.

— Пожалуйста к нам, — услышал я вдруг тихий голос Ивана Ивановича. Он стоял в темном углу у ворот.

— Что вы тут делаете?

— Народ обманывают. Чего делают, — рез-



ко отозвался Андрей Иванович.

Маленький странник закашлялся и, покусившись на Андрея Ивановича, сказал:

— Что делать-с, господин...

Он наклонился ко мне и зашептал:

— Раскольницы-бабы Геннадия Сергеича за попа считают, за беглого. Темнота-с. Что делать-с... Может, не взыщется. А между прочим, нечего делать-с. Не войдете ли?

— Войдемте, Андрей Иванович.

— Чего я там не видал? — ответил он, отворачиваясь. — Идите — целуйтесь с ними. А я об себе так понимаю, что мне и быть-то там не для чего, потому что на мне крест.

— Чай и мы не без крестов, — с тихим укором сказал Иван Иванович.

Андрей Иванович презрительно свистнул и вдруг, сделав очень серьезное лицо, подзвал меня.

— Сонму нечестивую знаете?

И, загадочно посмотрев на меня, он добавил тише:

— Поняли?

— Нет, не понял. До свидания. Хотите, — дождитесь.

— Нечего нам дожидаться. Которые люди не понимают...

Я уже не слышал конца фразы, потому что входил вместе с Иваном Ивановичем в избу.

При нашем входе произошло легкое движение. Проповедник заметил меня и остановился.

— А! Милости просим, — сказал он, раздвигая баб. — Пожалуйста. Не чайку ли захотели испить? Здесь самоварчик найдется, даром что раскольничья деревня.

— Я вам помешал?

— Какая помеха. Хозяйка, ну-ко самоварчик! Живее!

— А ты нешто потребляешь чайную травку? — спросила стоявшая впереди полногрудая молодка с бойкими, черными, как уголь, глазами.

— Если господин пожелает угостить, — с удовольствием... и другого чего выпью.

— Пожалуйста, — сказал я.

— Позвольте напиросочку.

Я подал. Он закурил, насмешливо оглядывая удивленных женщин. В избе прошло негодующее шушуканье.

— А ты, видно, сосешь-таки? — язвительно спросила та же молодка.

— Сосу... по писанию. Разрешается.

— А в коем это писании, — научи-ко-сь.

Он докурил и через головы молодых бросил папироску в лохань с водой.

— Еще кидатца, — с неудовольствием сказала хозяйка, возившаяся около самовара.

— Не кидай, озорной, пожару наделашь, — поддержала другая.

— Пожару? У вас поэтому из колодцев не выкидывало ли, огнем из печи не тушите ли?

— А ты што думаешь? Ноне все бывает. Ноне вон и попы табак жрут.

— Бывает, бывает. Ишь голос, что колокол. Тебе бы в певчие, в монастырь. Пойдем со мной.

Он потянулся к ней. Она ловко увернулась, изогнувшись красивым станом, между тем как другие бабы, смеясь и отплевываясь, выбежали из избы.

— Н-ну и поп! — с наивным ужасом сказала худая бабенка, с детски-открытыми глазами. — Учи-и-тель!

— Он те научит.

— Научи-ко нас, — опять насмешливо сказала солдатка, выступая вперед и подпирая щеку полной рукой. — Научи такой заповеди, которая легка и милослива.

— Ну-ну! Мы за тебя до плеч вздохнем.

— И научу. А как тебя зовут, красавица?

— Зовут зовутицей, величают серой утицей. Тебе на што?

— А ты вот что, серая утица. Достань нам водочки, — небось, вот они заплатят.

— Достать, что ли? Мы достанем.

Она вопросительно и лукаво посмотрела на меня.

— Пожалуй, немного, — сказал я.

Солдатка шмыгнула из избы. За ней, смеясь, хихикая и толкаясь, выбежало еще две-три женщины. Хозяйка с мрачным видом устала на стол самовар и, не говоря ни слова, села на лавку и принялась за работу. С полатей, свесивши русые головы, глядели на нас любопытные детские лица.

Солдатка, смеясь и запыхавшись, поставила на стол бутылку с какой-то зеленоватой жидкостью, и, отойдя от стола, насмешливо и вызывающе посмотрела на нас. Иван Ивано-

вич конфузливо кашлял, оставшиеся в избе безмужницы смотрели на нас с затаенным ожиданием. После первых рюмок недавний проповедник, подняв полы своей ряски, ходил, притопывая, вокруг серой утицы, которая змеей извивалась, уклоняясь от его любезностей.

— Поди ты! — отмахнулась она и, кинув на меня задорно-вызывающий взгляд, подошла к столу.

— А ты что же сам-то не пьешь? Гляди на них, — они, пожалуй, и все вылакают. Испей-ко-сь.

Улыбаясь и играя плечами, она налила рюмку и поднесла мне.

— Не пейте... — вдруг раздался совсем неожиданно зловещий голос из-за окна, и из темноты появилось скуластое лицо Андрея Ивановича.

— Водки не пейте, я вам говорю! — проговорил он еще мрачнее и опять исчез в темноте.

Рюмка у солдатки дрогнула и расплескалась. Она глядела в окно испуганными глазами.

— С нами крестная сила, — что это такое?

Всем стало неловко. Водка приходила к концу, и вопрос состоял в том, потребуем ли мы еще и развернемся окончательно, или на этом кончим. Иван Иванович посмотрел на меня с робкой тоской, но у меня не было ни малейшего желания продолжать этот пир. Автономов сразу понял это.

— Действительно, не пора ли в путь, — сказал он, подходя к окну.

— Чать, на дворе-те дождик, — произнесла солдатка, глядя как-то в сторону.

— Нет. Облака порядочные... да, видно, сухие... Собирайся, Иван Иванович.

Мы стали собираться. Первым вышел Иван Иванович. Когда, за ним, я тоже спустился в темный крытый двор, — он тихо сказал, взяв меня за руку:

— А тот-то, долговязый. Вон у ворот дожидается.

Я действительно разглядел Андрея Ивановича у калитки. Автономов с котомкой и своим посохом вышел на крыльцо, держа за руку солдатку. Обе фигуры виднелись в освещенных дверях. Солдатка не отнимала руки.

— Только от вас и было? — говорила она разочарованно. — Мы думали — разгуляетесь.

— Погоди, в другой раз пойду, — разбогатею.

Она посмотрела на него и покачала головой.

— Где-поди! Не разбогатеть тебе. Так пропадешь, пусто...

— Ну, не каркай, ворона... Скажи лучше: дьячок Ириной все на погосте живет?

— Шуровской-то? Живет. Ноне на базар уехал. Тебе на што?

— Так. А... дочь у него была, Грунюшка.

— Взамуж она выдана.

— Далеко?

— В село в Воскресенское, за диаконом...

Одна ноне старушка-те осталась.

— Ириной, говоришь, не возвращался?

— Не видали что-то.

— А живет богато?

— Ничего, ровненько живет.

— Ну, прощай!.. Эх ты, Глаша-а!

— Ну-ну! Не звони... Видно, хороша Глаша, да не ваша. Ступай ужо — нечего тут понапрасну.

В голосе деревенской красавицы слышалось ласковое сожаление.

За воротами темная фигура Андрея Ивановича, отделившись от калитки, примкнула к нам, между тем как Автономов обогнал нас и пошел молча вперед.

— Вы бы до утра сидели, — угрюмо сказал Андрей Иванович. — А я тут дожидайся!

— Напрасно, — ответил я холодно.

— Это как понимать? В каком смысле?

— Да просто: шли бы, если вам неприятно...

— Нет уж. Спасибо на добром слове, — я товарища покидать не согласен. Лучше сам пострадаю, а товарища не оставлю... Этак же в третьем годе Иван Анисимович. Ничего да ничего, выпивал да выпивал в хорошей компании...

— Ну и что же?

— Жилетку сняли, вот что!.. Денег три рубля двадцать... портмоне́т новый...

— Ежели вы это насчет нас с Геннадием наме́к имеете, — заговорил Иван Иванович, торопясь и взволнованным голосом, — то это довольно подло. Это что же-с?.. Ежели у вас



сомнение, — мы можем вперед или отста-  
нем...

— Пожалуйста, не обращайтесь внимания, —  
сказал я, желая успокоить беднягу.

— Что такое? — спросил вдруг Автономов,  
остановившийся на дороге. — Из-за чего раз-  
говор?

— Да вот они все... сомневаются. Господи  
помилуй! Неужто мы какие-нибудь, прости  
господи, разбойники.

Геннадий взгляделся в темноте в лицо Ан-  
дрея Ивановича.

— А! долговязый господин!.. Ну что ж! —  
сказал он сухо. — «Блажен, кто никому не ве-  
рит и всех своим аршином мерит»... Дорога  
широкая...

И он опять быстро пошел вперед, а за ним  
побежал трусцой маленький товарищ. Ан-  
дрей Иванович несколько секунд стоял на ме-  
сте, ошеломленный тем, что странник отве-  
тил ему в рифму. Он было двинулся вдогонку,  
но я остановил его за руку.

— Что это вам неймется, право! — сказал я  
с досадой.

— А вам хороших товарищей жалко? —

сказал он язвительно... — Не беспокойтесь, пожалуйста. Сами далеко не уйдут...

И действительно, за последними избами на дороге зачернела фигура. Это был Иван Иванович, но один...

Он стоял посередине дороги, тяжело дышал и кашлял, держась за грудь.

— Что с вами? — спросил я с участием.

— Ох-хо! Смерть моя... Ушел... Геннадий-то... Не велит вместе идти... Велит с вами. Не успеваю за ним.

— Сделайте одолжение. А дорогу вы знаете?

— Дорога пока большая. Да он где-нибудь догонит...

Мы пошли в темноту... Назад твякнула собака; оглянувшись, я увидел в темноте два-три огня деревни, которая скоро скрылась из виду.

## IV

Ночь была беззвездная, тихая. Горизонт еще выделялся где-то неясной чертой, блуждающей под облаками, но ниже клубилась лишь густая мгла, бесконечная, неопределенная, без форм и очертаний...

Мы довольно долго шли молча. Странник то и дело робко вздыхал и старался подавить кашель.

— Автономова-то не видно... — говорил он по временам и беспомощно вглядывался в темную ночь.

— Мы-то его не видим... Он нас видит, небось, — сказал Андрей Иванович зловеще и значительно.

Дорога казалась какой-то смутной полоской, точно мост, кинутый через пропасть... Все кругом было черно и смутно. Была или нет светлая полоска на горизонте? Теперь от нее нет и следов. Неужели так еще недавно мы были в шумной избе, среди смеха и говора?.. Будет ли конец этой ночи, этому полю? Подвинулись мы вперед, или это только дорога уходит у нас из-под ног, точно бесконечная лента, а мы все толчемся на месте, в этом заколдованном клочке темноты? И невольная робкая радость зарождалась в душе, когда впереди начинал вдруг тихо журчать невидимый ручей, когда это журчание усиливалось и потом замирало сзади, за нами, или ветер, внезапно поднявшись, шевелил чуть замет-

ные кусты ивняка в стороне от дороги и потом опадая, указывая, что мы их миновали...

— Ну, и ночка выдалась, — сказал Андрей Иванович, против своего обыкновения, тихо. — Дурак и тот, кого в такие ночи нелегкая носит по дорогам. И чего, спрашивается, нужно нам? Поработал день, отдохнул, чаю попил, богу помолился, — спать. Нет, не нравится, вишь... давай по дорогам шататься. Это нам благоприятнее. Ноне, вот уж полночи, а мы и лба не перекрестили. Молельщики!..

Я не ответил. В голове Андрея Ивановича, очевидно, продолжали тянуться покаянные мысли.

— Мало нас бабы учут, — сказал он мрачно... — Не живется нам дома. А чего бы, кажись, и надо...

— А что, Автономова-то не видно? — раздался опять тоскливый голос маленького странника.

— Нет, не видать, — буркнул Андрей Иванович.

— Беда моя, — сказал странник в глубокой тоске. — Бросил меня мой покровитель.

В его голосе было столько отчаяния, что

мы оба невольно стали глядеть вперед, стараясь разыскать потерянного Автономова. Вдруг, довольно далеко в стороне, что-то стукнуло, — точно доска на дырявом мостике под чьей-то ногой.

— Там он! — сказал Андрей Иванович. — Влево пошел.

— Надо полагать, дорога повернула.

Действительно, недалеко дорога раздвоилась. Мы тоже пошли влево. Иван Иванович вздохнул с облегчением.

— Да что ты сокрушаешься? — спросил Андрей Иванович. — Что он тебе, брат, что ли? Вот невидаль, с позволения сказать.

— Пуще брата. Без него должен пропасть: потому, собственно, просить не умею. А в нашем состоянии без этого — прямо гибель...

— Зачем же таскаешься?

Странник помолчал, как будто ему трудно было ответить на вопрос.

— Приюту ищу. Куда-нибудь в монастырь... С молодых лет приважен к монастырской жизни.

— Так и жил бы в монастыре.

— Слабость имею... — чуть слышно и за-

стенчиво сказал Иван Иванович...

— Пьешь, небось, горькую...

— То-то вот. Испорчен с младых лет.

— Порча!.. Все, небось, бес виноват...

— Бес, говорите... Оно конечно... Прежде, когда в народе крепость была... ему много работы было: который, например, скажем, подвижник неослабного житья... Въяве видели... И то подумайте, состязались все-таки... А ныне, слабость наша... Нынче такая в народе преклонность.

— Д-да... — согласился Андрей Иванович. — Нынче уж и нечистому много легче... Житье ему с нами, ей-богу. Лежи, миляга, на печке... Сами к тебе придем, друг друга приведем... Принимай только...

Странник глубоко вздохнул...

— Ах, как вы это верно говорите!.. — сказал он печально. — Вот о себе скажу, — зашептал он, будто не желая, чтобы его слова слышал кто-то там, в темноте ночи, в стороне от дороги: — от кого погибаю? От родной матери да от отца-настоятеля.

— Ну-у? — изумился Андрей Иванович, тоже тихо.

— Верно!.. Грешно, конечно, родительницу-покойницу осуждать, царствие ей небесное (он снял шляпенку и перекрестился), а все думаю: отдай она меня в ремесло, — может, человек был бы, как и прочие... Нет. Легкого хлеба своему дитяти захотела, прости ее господи...

— Ну, ну? — поощрил Андрей Иванович.

— Именно-с... — продолжал Иван Иванович печально, — в прежние времена, пишут вот в книгах, родители всячески противились, отроки тайно в кельи уходили для подвига... А моя родительница сама своими руками меня в монастырь предоставила: может, дескать, даже во дьячки произойти.

— Так, так!

— А прежде, надо вам сказать, подлинно — было это, производили из монастырей во псаломщики и далее... только к моему-то времени и отменили!

— Вот-те и чин!

— Да!.. Вот матушка опять: оставайся, когда так, в монастыре вовсе... Дескать, и то хлеб легкий. Притом и настоятель тебя любит... Ну, это правда: возлюбил меня отец-на-

стоятель, к себе в послушники взял. Но только ежели человеку незадача, то счастье на несчастье обернется. Воистину скажу: не от дьявольского искушения-с... через ангела погибаю...

— Что ты говоришь! — удивился Андрей Иванович.

— Истинную правду... Настоятель у нас был добрейшей души человек, незлобивый, ну и притом строгой жизни... Ну, только имел тайную слабость: от времени до времени запивал. Тихо, благородно. Запрется от всех и пьет дня три и четыре. Не больше. И потом сразу бросит... Твердый был человек... Но однако... в таком своем состоянии... скучал. И потому призовет меня и говорит: «При скорби душе моя... Возьми, Ваня, подвиг послушания. Побудь ты, младенец невинный, со мною, окаянным грешником». Ну, я, бывало, и сижу, слушаю, как он, в слабости своей, говорит с кем-то и плачет... Дело мое, конечно, слабое: когда не возмогу, и засну. Вот он раз и говорит: «Выпей, Ваня, для ободрения. — И налил рюмочку наливки... — Только, говорит, поклянись, что без меня никогда не станешь



пить, ниже едина»...

— Вот оно что-о-о? — протянул Андрей Иванович многозначительно...

— Я, конечно, поклялся. И налил он мне рюмочку наливки... Так и пошло. Сначала по-немножку, а потом... Отец-настоятель мощный был человек: сколько, бывало, ни пьет, все крепок. А я, известно... с трех-четырёх рюмок — с ног долой... Спыхватился он и запретил мне великим прещением. Ну, да уж поздно. При нем не пью, а ключи-то от шкапа у меня... Стал я тайным образом потягивать... Дальше да больше... Уж иной раз и на ногах не стою. Он сначала думал, — это я от прежнего похмелья, по слабости своей, маюсь. Но однажды посмотрел на меня проницательно и говорит: «Ванюша... хочешь рюмочку?..» Я так затрясся весь от возжеления. Догадался он. Взял посох, сгреб меня за волосы и поучил с рассуждением... Здоровый был, боялся изувечить... Ну, это не помогло. Дальше да больше... Видит он, что я от его слабости погибаю... Призывает меня и говорит: «Прости ты меня, Ванюшка, но нужно тебе искус пройти. Иначе погибнешь... Иди, постранствуй... При-

мешь горя, может, исцелишься. Я тут о тебе буду молиться... А через год, говорит, в это самое число приходи обратно... Приму тя, яко блудного сына...» Благословил. Заплакал. Призвал руфального... Это значит заведующего монашеской одежей... Велел снарядить меня на дорогу... Сам напутственный молебен отслужил... И пошел я, раб божий, августа 29-го, в день усекновения главы, на подвиг странствия...

Рассказчик опять замолчал, переводя дух и кашляя. Андрей Иванович участливо остановился, и мы втроем стояли на темной дороге. Наконец Иван Иванович отдышался, и мы опять тронулись дальше...

— Вот и ходил я лето и зиму. Тяжело было, горя принял — и-и! в разные монастыри толкался. Где я не ко двору, где и мне не по характеру. Наш монастырь — штатный, богатый, привык я к сладкой жизни. А после-то уж в штатный не принимали, а в общежительном, Кирилло-Новоезерском, и приняли, так и самому черно показалось: чаю мало, табачку и вовсе нет; монахи — одни мужики... Послушание тяжелое, работа черная...

— А ведь это не любо, после легкой жизни, — сказал Андрей Иванович.

— Истинно говорю: не под силу вовсе, — смиренно вздохнул Иван, Иванович. — Бремена неудобносимые... Притом и святость в черном виде. Благолепия нет... Народу много, а на клиросе петь некому... Истинно козлогласование одно...

— А тут-то вот святость и есть! — сказал Андрей Иванович с убеждением.

— Нет, позвольте вам сказать, — не менее убежденно возразил Иван Иванович, — это вы не так говорите... Монастырское благолепие не в том-с... Монах должен быть истонченный, головка у него, что былинка на стебельке... еле держится... Это есть украшение обители... Ну, таких малое число. А рядовой монах бывает гладкий, с лица чистый, голос бархатный. Таких и благодетели и женский пол уважают. А мужику, позвольте сказать, ни в коем звании почета нет.

— Ну, ладно... Что же дальше-то? — сказал Андрей Иванович, немного сбитый с толку уверенным заявлением компетентного человека.

— Да что дальше! — с грустью сказал странник... — Ходил я год. Отощал, обносился... Пуще всего страдаю от совести, просить не умею... Ждал, ждал этого сроку, — вот домой, вот домой, в свою келийку. Про отца-настоятеля уж именно как про отца родного вспоминал, за любовь за его. Наконец, как раз августа 29-го прихожу. Вхожу, знаете, во двор, и что-то у меня сердце смущается. Идут по двору служки наши монастырские... Узнали... «Что, мол, вернулся, странниче Иоанне?» — «Вернулся, говорю. Жив ли благодетель мой?..» — «Опоздал ты, — говорят, — благодетеля давно схоронили. Сподобился: с воскресным трапарем отыде. Вспоминал про тебя, плакал... хотел наградить... А теперь новый настоятель... Варвар. И не являйся». А что, — опять спохватился он тревожно, — Автономова-то не видно?

И в его голосе слышались испуг и тоска.

## V

Андрей Иванович взгляделся в темноту и вдруг, схватив меня за руку, сказал:

— Постойте, не туда пошли мы...

— Что такое?

— Да уж верно я говорю: не туда!.. Подождите меня... Я сбегая, посмотрю...

И он быстро исчез в темноте. Мы с Иваном Ивановичем остались одни на дороге. Когда шаги сапожника стихли, слышался только тихий шорох ночи. Где-то шелестела трава, по временам коростель хрипло «дергал», тревожно перебегая с места на место. Где-то еще, очень далеко, мечтательно звенели и ухали в болоте лягушки. Тучи, чуть видные, тянулись в вышине.

— Вот... любит мой товарищ ходить по ночам, — жалобно произнес Иван Иванович. — А что хорошего? То ли дело днем?

— А он тоже в монастыре был?

— Бывал, — ответил Иван Иванович и потом прибавил со вздохом: — Из хорошей семьи — отец диаконом был в городе N-м. Может, слышали... Брат письмоводителем в полицейском правлении, невеста была сосвата-на...

— Отчего же не женился?

— Видите ли... Он уж в это время сбился с пути... был в бегах... Ну, только еще не на странничком положении. Одежонка была, не

обносился... И выдал себя будто за жениха. Приняли; девица взирала благосклонно, отец дьячок тоже не препятствовал... Ох... хо... Грех, конечно... обманул... Как начнет иной раз рассказывать, заплачешь, а другой раз смешно-с...

С Иваном Ивановичем случилось что-то странное. Он прыснул и стал как-то захлебываться, закрывая рукою рот... Сначала трудно было разобрать, что это смех. Но это был действительно смех... истерический, застенчивый, какими-то взрывами, который перешел в приступ кашля... Успокоившись, Иван Иванович прибавил с полусожалением:

— Только рассказывает каждый раз по-иному-с... Не поймешь: не то правда... не то...

— Не то врет?

— Не то, чтобы... А только не вполне достоверно... Есть, видно, и правда...

— Что же именно он рассказывает?

— Видите ли... Дьячок-то, говорит, хитрый. Видит, что молодой человек проводит время, а между тем настоящего дела не предпринимает, он, — под видом базару, — поехал в город, а в дому старушку-бабушку оставил, при-

казал строго-настрого с глаз не спускать. Автономов не у них, конечно, жил... На селе у просвирни... Ну в гости заживал. Каждодневно... На бережку сиживали... И бабушка тут... Да где же, конечно, уследить... Молодежь... Только раз, видит мой Автономов, едут из города двое в телеге... и пьяные притом. Подъехали, глядь, а это дьячок да с братом с Автономовым старшим, с письмоводителем. Не успел он и оглянуться, — уж они на него навалились, давай тузить. Понятное дело: брат обижается за побег из семинарии, дьячок — за обманутие и бесчестие...

Иван Иванович вздохнул.

— Еле жив тогда остался, говорит... Потому что ожесточившись и притом пьяные... Бросился к просвирне, схватил котомку, да в лес... С тех пор, говорит, и пошел странствовать... Ну, другой раз, действительно... иначе рассказывает...

Он подошел ко мне и, приподнявшись на цыпочки, хотел сказать что-то особенно конфиденциальное... Но вдруг около нас, прямо из темноты, вынырнула фигура Андрея Ивановича. Он подошел быстро с нарочито злове-

щим видом.

— Подите-ка сюда. — Он отвел меня в сторону и сказал тихо:

— Попали мы с вами в дело!

— Что такое?

— Автономов-то этот... Монах... На воровство, кажется, пошел... Будет нам в чужом пире похмелье...

— Полноте, Андрей Иванович.

— Вот вам и полно. Слыхали вы, как он в селе допрашивал? У солдатки-то? Про дьячка-то? Дескать, дьячок дома ли, или уехал?

— Ну, помню.

— А где этот дьячок-то живет, помните?

— На погосте, кажется.

— Самый погост! — сказал Андрей Иванович злорадно, махнув рукой вперед, в темноту.

— Ну, так что же?

— А то, что... Старуха, слышали вы, одна осталась... А он уж тут, как тут... Ходит кругом двора, высматривает. Сами увидите... Вот вы на кого товарища давнего променять согласны... Кабы на мостике да не доска под ним скрипнула — мы бы тогда и пошли дальше



дорогой... А уж это я своротил... Пойдем, пойдем тихонько...

Сзади кто-то жалобно кашлянул. Андрей Иванович оглянулся и сказал:

— Ну, иди и ты с нами, настоятельный послушник... Что с тобой делать. Полюбуйся на товарища...

Пройдя через мостик, мы поднялись круто по дорожке и подошли к погосту. На пригорке из-за листвы ровно светил огонек... Я разглядел чуть белевшие стены небольшого домика, выдвинувшегося на край обрыва, и из-за его, крыши грузно вырезались темные очертания колокольни. Вправо, внизу, скорее можно было угадать, чем увидеть речку.

— Вот он, — сказал Андрей Иванович. — Видите? Невдалеке от нас, между палисадником и обрывом, около беседки, обвитой зеленью, мелькнула фигура. Человек точно прилипал и жался к забору, заглядывая через кусты. На фоне светлого окна, в глубине сада, я увидел острую мурмолку, вытянутую шею и характерный профиль Автономова. Свет рассыпался по листьям кустов и по цветам сирени. Подойдя несколько ближе, я разглядел в

окне голову старухи, в чепце и роговых очках. Голова покачивалась, как у человека, работающего от бессонницы, и спицы проворно бегали в руках. Старуха, вероятно, ждала возвращения хозяина.

Вдруг она насторожилась... Из темноты слышался нерешительный оклик:

— Олимпиада Николаевна!

Старушка наклонилась к окну, но никого не было видно. Прошла минута в молчании, и опять из темноты раздался тот же оклик:

— Олимпиада Николаевна!

Я не узнавал теперь голоса Автономова. Он звучал мягко и робко.

— Кто тут? — встрепелась вдруг старуха. — Кто меня зовет?..

— Я это... Автономова не припомните ли?.. Когда-то были знакомы...

— Какого тебе, батюшка, Автономова... Нет у нас такого... Не знаю я... Я, батюшка, сейчас людей позову. Федосья, а Федосья!.. Беги сюда...

— Не зовите, матушка... я вас не побеспокою... Неужто Автономова забыли?.. Генашей звали когда-то...

Старуха поднялась с места и, взяв свечу, высунулась с нею из окна. Ветра не было. Пламя стояло ровно, освещая кусты, стены дома иморщинистое лицо старухи с очками, поднятыми на лоб...

— Голос-то будто знакомый... Да где ж ты это?.. Покажись, когда добрый человек...

Она подняла свечу над головой, и луч света упал, на Автономова. Старуха сначала отшатнулась, но... В это время дверь открылась, и в комнату вошла другая женщина. Старуха ободрилась и опять осветила Автономова...

— Хорош, — сказала она безжалостно... — Женишок, нечего сказать... Зачем же это ты тут под окнами шатаешься?..

— Мимоходом, Олимпиада Николаевна...

— Мимоходом, так и шел бы мимо... Смотри, хозяин вернется, собак спустит.

Она захлопнула окно и спустила занавеску... Кусты сразу погасли... Фигура Автономова исчезла в темноте.

Нам тоже не мешало подумать об отступлении, и мы быстро спустились с пригорка... Через несколько минут с колокольни послышались удары... Кто-то, повидимому, хотел

показать, что на погосте есть люди...

Андрей Иванович шел молча и в раздумье. Иван Иванович бежал, задыхаясь, вприпрыжку и сдерживая приступы кашля... Когда мы удалились на порядочное расстояние, он остановился и опять произнес с невыразимой тоской:

— Автономова-то потеряли...

В его голосе слышалось такое отчаяние, что мы с Андреем Ивановичем приняли в нем невольное участие и, остановившись на дороге, стали тоже вглядываться в темноту.

— Идет, — сказал Андрей Иванович, обладавший чисто рысьими глазами...

И действительно, вскоре сзади на нас стала надвигаться странная фигура, точно движущийся куст. За поясом, на плечах и в руках у Автономова были целые пучки сирени, и даже мурмолка вся была утыкана цветами. Поровнявшись с нами, он не задержался и не выразил ни радости, ни удивления. Он шел дальше по дороге, и ветки странно качались кругом него на ходу.

— Хорошо идти ночью, синьор, — заговорил он напыщенно, точно актер. — Поля оде-

ты мраком... А вот в сторонке и роща... Смотрите, что за покой за такой! И соловей заводит песню...

Он говорил, точно декламируя, но в его голосе все-таки слышались ноты растроганности...

— Не угодно ли, синьор, ветку из моего сада?..

И театральным жестом он протянул мне ветку сирени...

В стороне от дороги робко и нерешительно щелкнул соловей. Откуда-то издалека, в ответ на звон с погоста, медленно понесся ответный звон и звуки трещотки... Где-то на темной равнине лаяли собаки... Ночь сгустилась, начинало пахнуть дождем...

— Жаль, — развязно заговорил вдруг Автономов. — Я вот тут отлучался, к погосту... Знакомый у меня на этом погосте живет, приятель... Был бы дома — всем нам был бы ночлег и угощение... Старуха звала ночевать... да что... без хозяина...

Иван Иванович поперхнулся. Сапожник иронически фыркнул...

Автономов, вероятно, догадался, что мы

видели несколько больше, чем он думает, и, обратясь ко мне, сказал:

— Не судите, синьор, да не судимы будете... Чужая душа, синьор, потемки... Когда-нибудь, — прибавил он решительно, — поверьте, я все-таки побываю в этом месте... И буду принят... И тогда...

— Что же тогда?

— Ах... было бы только чем угостить... Напьемся мы тут до потери образа.... И учиню я тогда над ним безобразие...

— А это зачем?

— Так! Сравнялось бы для меня это место с другими. А то все еще, синьор, за душу тянет... Прошрое-с...

И он пошел вперед быстрее...

Мы миновали стороной небольшую деревнюшку и поровнялись с последней избой. Маленькие окна слепо глядели в темное поле... В избе все спали...

Автономов вдруг направился к окну и резко постучал в раму... За стеклом неясно мелькнуло чье-то лицо.

— Кто там? — послышался глухой голос, и испуганное лицо прилипло изнутри к окон-

нице... — Кого по ночам носит?

— Ши-ши-и-и-га, — крикнул Автономов протяжно, резко и зловеще и наклонил к окну голову, убранную ветками... Лицо за окном испуганно исчезло... На деревне залаяли собаки, сторож застучал в трещотку, темный простор, казалось, робко насторожился... И опять где-то, невидимые во мгле, заговорили протяжными звонами спящие церкви, как будто защищая мирный простор от чего-то неведомого и зловещего. Точно зачуяв, что где-то над ними проносятся с угрозой чьи-то темные, чьи-то безнадежно-испорченные жизни...

## VI

Более часу мы шли опять темными полями. Усталость брала свое; не хотелось ни говорить, ни слушать. Вначале я еще думал и старался представить себе в этой тьме физиономии моих спутников. Это удавалось относительно Андрея Ивановича, которого я знал хорошо, и относительно маленького странника, но физиономию Автономова я забыл и, глядя теперь на его темную фигуру, не мог восстановить его лица... Автономов у дьячковой из-

бы и вчерашний проповедник казались мне двумя различными людьми.

Потом мысли мои все более путались; несколько дней уже на ногах... глухая ночь, тишина, тяжелая перепаханная дорога, или, вернее, бездорожье, — все это сказалось сильной усталостью, и я стал забываться на ходу. Это было какое-то полусознание, допускавшее фантастические грезы, которые витали в бесформенной тьме, странно переплетаясь с действительностью. А действительность для меня вся была темная муть и три туманные фигуры, то остававшиеся позади, то обгонявшие меня на дороге... Я следовал за ними совершенно почти бессознательно.

Когда я как-то очнулся — они стояли на дороге и о чем-то спорили.

— Разуи глаза-то, — говорил сапожник сердито, но вяло.

— Спасибо, что вразумили, — я бы и не догадался, — ответил странник. — Не знаете ли уж кстати, синьор, как отсюда выйти на дорогу?..

Я лениво взгляделся в темноту. Громадный черный ветряк поднял над нами крылья, те-



рваные где-то высоко в облаках; за ним по бокам, назади, виднелись другие. Казалось, все поле усеяно мельничными крыльями, поднятыми кверху с безмолвной угрозой...

— Всю ночь теперь проплутал из-за этого дьявола, — со злостью сказал Андрей Иванович.

— Ну-ко, помолчите маленько, долговязый синьор, — сказал Автономов. — Слышите?

— Толчая, что ли?.. — сказал Андрей Иванович вопросительно...

— Верно, — ответил Автономов весело. — Колеса это работают. Эх, и речушка же резвая!

— Далеко это?..

— По дороге далеко. А мы напрямиком.

— В болото, смотри, заведешь, дьявол...

Ноги опять несли меня куда-то в темноту за тремя темными фигурами. Я спотыкался на пашне или по кочкам, меня кидало то вперед, то в стороны... Если бы на пути встретился овраг или река — я, вероятно, очнулся бы только на дне... По временам странные обрывки сновидений вспархивали и улетали из головы в неопределенную мглу...

Наконец меня перестало кидать по коч-

кам. Под ногами чувствовалась ровная дорога, а в ушах ровный, приятный шум. Вода струилась, звенела, бежала куда-то, плескалась и бурлила, рассказывая о чем-то занимательном, но слишком смутном... потом шум остался позади, но вдруг он стал сильнее, как будто вода прорвала плотину... Я совсем очнулся и оглянулся с удивлением... Сзади меня догнал Андрей Иванович и, взяв за руку, потащил вперед...

— Проснитесь... будет вам спать-то на ходу... Вот связались мы с дьяволом, прости господи!.. Выскочат мужики, шеи нам наломают... Скорее, скорее... Вишь, Иван-то Иваныч дерет, ряску подобрал...

Действительно, маленький странник пробежал мимо нас с удивившей меня быстротой...

— Сюда... сюда...

Не отдавая себе еще полного отчета в происходящем, я очутился под прикрытием густых ветл на берегу речки. Рядом Иван Иванович тяжело переводил дух... Автономова не было. Невдалеке мельница точно взбесилась. Вода ревела и бурлила в открытые шлюзы.

Одно колесо тяжело ворочалось попрежнему, другое, вероятно, удержанное запором, трещало и стонало под ударами воды... Цепная собака рвалась на цепи и выла от злости...

В мельнице вспыхнуло оконце, точно она проснулась и открыла глаз. Скрипнула дверь, и старый мельник, в белой рубахе и портах, вышел с фонарем на помост. За ним, почесываясь и зевая, показался другой.

— Плотину, что ли, прорвало? — сказал он.

— Где прорвало, — слышь, в шлюзах шумит, не сломало ли затворы... Неладно, гляди... Ах, батюшки...

— Гляди-ка: ведь поднято.

— Что ты! Кому подымать?

Мужики подошли к шлюзам. Вскоре шум затих: они опустили оба затвора, и мельница смолкла. Огонь фонаря тихо прополз назад по плотине и опять исчез. И вдруг резко загремела трещотка. Один мужик, очевидно, остался караулить...

Необычный шум на мельнице, разносясь по полям, опять будил спящие деревни. Казалось даже удивительным, сколько их засело в этой темноте. С разных сторон, спереди, сза-

ди, даже откуда-то снизу, они отвечали на тревогу стуком досок и трещоток. Из дальнего села или с погоста опять неся медленный звон. Невдалеке крикнула какая-то ночная птица.

— Пойдем, — сказал Андрей Иванович, когда около мельницы все стихло... — Вот из-за одного подлеца сколько тревоги народу.

— Что это случилось? — спросил я.

— Спросите вот у него, — со злостью сказал сапожник, указывая на Ивана Ивановича.

— Что же-с, — грустно ответил странник. — Конечно, озорство... Я этого не похваляю...

— Да в чем дело? Где Автономов?

— Вот он — по-птичьи кричит, признак нам подает... Сюда, дескать, идите, милые мои товарищи... И как он, подлец, шлюзу успел открыть, — я и не заметил. А вы тоже!.. Идете за ним да спите. Поспали бы еще... Выскочили бы мужики раньше, — были бы у праздника. Н-ну! Догоню подлеца, уж вы и не заступайтесь. Наизнанку каналью выверну, ноги через глотку продену!..

И он решительно двинулся вперед.

## VII

Однако Андрей Иванович не привел в исполнение своих свирепых намерений, и через полчаса мы опять молча шагали по дороге... Солнце еще не всходило, но белые молочные тоны все больше просачивались сверху, сквозь облака, а внизу под нашими ногами на далекое расстояние волновался беловатый туман, покрывший обширную равнину. Из этого тумана вынырнула лошадиная морда, потом обозначилась телега с мешками, на которых спал мужик, и за ней другая, порожняя.

— Дядя, а дядя... — сказал Андрей Иванович заднему мужику, — не подвезешь ли нас?

Мужик протер заспанные глаза и с удивлением оглядывал обступившую его компанию.

— Откеда бог несет?

— С богомолья.

— Ну, ну. Садитесь, — да ведь недалече подвезу я, мы ближние.

— Не с мельницы ли?

— Они вот были на мельнице, а я, вишь, порожнем. Садитесь, что ли.

Мы уселись по сторонам телеги, свесив ноги.

— А дозвольте спросить, — сказал наш возница, нахлестав лошаденку, — вы всю ночь, что ли, идете?

— Всю ночь.

— Ничего не слышали ночью?

— Собаки что-то лаяли, да только далеко. А что?

— Так! На мельнице, слышь, затворы ночью подняло. Колеса чуть не поломало вовсе.

— Кто поднял?

— Понимай! Кто ночью-то у омутов озорует?.. У нас в деревнюшке по суседству, сказывают, на ночлег просился. Мужик выглянул, а он и говорит: шишига я, пусти.

— Бывает, — сказал Автономов, давно сбросивший свои украшения...

— Никогда этого не бывает... Не поверю ни в жизнь... И тебе не приказываю верить, — горячо и решительно сказал мужику Андрей Иванович... — Обманывают вас, деревенских, прохвосты разные... Простота ваша...

— Бывают которые и в бога и во святых не верют, — сказал Автономов в высшей степени поучительно и хладнокровно.

Андрей Иванович скрипнул зубами и неза-

метно для мужика показал Автономову кулак.

## VIII

Около полудня на такой же случайно встреченной под самым городом мужицкой телеге мы подъехали к моей квартире. Телега остановилась у ворот. Наша живописная компания обратила внимание нескольких прохожих, что, видимо, стесняло Андрея Ивановича... Я пригласил своих товарищей отдохнуть у меня и выпить чаю.

— Спасибо, до дому недалече, — холодно ответил сапожник, вскидывая за плечо котомку, и потом спросил бесцеремонно, ткнув пальцем по направлению Автономова:

— И этого тоже зовете?

— Да, прошу и Геннадия Сергеевича, — ответил я.

Андрей Иванович круто повернулся и, не прощаясь, зашагал по улице.

Иван Иванович имел отчаянно испуганный вид, точно мое приглашение захлопнуло его, как западня птицу. Он смотрел умоляющим взглядом на Автономова, и стыд собственного существования мучительно сказывался.

вался во всей фигуре. Автономов спросил просто:

— Куда итти-то?..

Пока ставили самовар, я попросил домашних собрать сколько было лишней одежды и белья и предложил моим спутникам переодеться. Автономов легко согласился, свернул все в один узел и сказал:

— Потому надо в баню...

Я, разумеется, не возражал. Из бани оба странника вернулись преобразенными. Иван Иванович в слишком широком пиджаке и слишком длинных брюках, со своими жидкими косицами, удивительно походил на переодетую женщину. Что касается Автомова, то он не удовольствовался необходимым количеством одежды, а надел все, что было предложено для выбора. Таким образом на нем оказалась синяя косоворотка, блуза, два жилета и пиджак. Косоворотка виднелась над воротом блузы и внизу, так как она была длиннее. Над нею выступали края блузы, а пиджак составлял как бы третий ярус... За чайным столом. Иван Иванович страдал до такой степени, что из жалости мы разрешили



ему удалиться со своей чашкой в кухню, где он уселся в уголку и немедленно приобрел жалостные симпатии нашей кухарки. Автономов держался развязно, называл мою мать синьорой и схватывался с места при всяком случае, чтобы чем-нибудь услужить...

После чаю он самодовольно огляделся с ног до головы в зеркало и сказал:

— В эдаком костюме зять мною не пренебрежет... Пойду навестить сестру... Она тут живет недалечко. Котомочку позвольте, синьора, оставить у вас в передней.

Когда он шел через двор к воротам, за ним испуганно выбежал Иван Иванович. После короткого разговора Автономов позволил бедняге следовать за ним на некотором расстоянии.

Через короткое время Иван Иванович вернулся один. Птичье лицо его сияло изумлением и восторгом.

— Приняли-с, — сказал он, радостно захлебываясь. — Истинная правда-с. Действительно-с... сестра, настоящая. И зять... Может, угодно вам самим пройти, будто ненарочно... Сами увидите-с... Истинный бог: в палисад-

ничке сидят... Угощают... по-родственному. Сестра плачет от радости...

И из груди маленького странника понеслись странные звуки, похожие и на истерический смех и на плач!

Через час явился и Автономов, преображенный и торжественный. Подойдя ко мне, он горячо схватил мою руку и до боли сжал ее...

— Через вас я приобрел опять родных... Кажется... то есть вот! До гроба...

Он еще крепче сжал мою руку, потом судорожно отбросил ее и отвернулся. Оказалось, что, поверив преобразению Автонома, зять, человек не без влияния в консистории, решил похлопотать о нем. Оставалось только добыть из Углича какие-то бумаги и...

— И сюда, обратно! Кончено странствие, синьор... И тебя, Ваня, не оставлю... Получишь у меня угол и пищу... Живи... Я в должность... Ты уберешь квартиру, то... другое...

Я слушал эти разговоры, и невольное сомнение закрадывалось в душу, тем более, что Автономов опять вернулся к высокопарному стилю и все чаще употреблял слово синьор...

Перед вечером оба ушли «в Углич, за бумагами». Автономов дал торжественное обещание явиться через неделю «для начатия новой жизни»...

«Неужто для этого „чуда“ нужно было так немного?» — с большим сомнением думал я...

## IX

Погода круто изменилась... Чудесная ранняя весна, казалось, сменилась вдруг поздней холодной осенью... Дождь лил целые дни, и ветер метался среди ливня и туманов.

В одно такое холодное утро, проснувшись довольно поздно и стараясь сообразить время, я услышал легкую возню и странный писк в сенях у дверей. Открыв их, я увидел в темном углу что-то живое. Увы! это был Иван Иванович. Он весь издрог, посинел и смотрел на меня умоляющими, робкими глазами. Так смотрит только запуганное и близкое к гибели животное.

— Слабость опять? — спросил я кратко.

— Слабость, — ответил он покорно и кротко, стараясь запахнуться. На нем была опять невозможная хламида, голова была не покрыта, а на ногах лапти на босу ногу...

Вскоре явился и Автономов. Он был пьян и неприятно развязен. Говорил изысканными высокопарными оборотами, держался, как давний приятель, и по временам в воспоминания о наших похождениях вставлял пикантные намеки относительно некоей солдатки... В глазах проступало злое страдание, по которому я опять узнавал оратора монастырского двора, и готовность на злые дерзости. О визите к сестре не было и речи...

— Послушай... Любезная... — обратился он к прислуге. — Тот раз я тут у вас оставил хламидку... Хламидка еще годится... Несчастлив ваш подарок, — прибавил он, нагло глядя на меня. — Под Угличем ограбили нас... все как есть сняли. А валенками вас, видно, надул торговец... Кислый товар, кислый... Все развалились...

И он снисходительно потрепал меня по плечу...

Иван Иванович с жалобной укоризной смотрел на своего покровителя. Расстались мы довольно холодно, и только на Ивана Ивановича все у нас смотрели с искренним сочувствием и жалостью...

После этого от времени до времени я получал известия о своих случайных спутниках. Приносили их по большей части люди в хламидках и подрясниках и с более или менее явственными признаками «слабости», передавали поклоны или записки и, получив малую мзду, выражали разочарование. Однажды во время ярмарки ввалился субъект, совершенно пьяный, очень зловещего вида, который подал записку с такой таинственной фамильярностью, точно она была от нашего общего друга и сообщника.

В записке была нацарапано очень нетвердым и неровным почерком:

«Милый друг. Прими сего подателя, яко меня лично. Он наш и может тебе все рассказать, а между прочим помощи деньгами и одеждой. Наипаче бедствует брюками... Геннадий Автономов».

Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что посланный действительно брюками бедствовал очень сильно... Но, несмотря на опьянение, глаза его быстро и пытливо, очевидно, по профессиональной привычке, изучали обстановку моей кварти-

ры...

При удалении его произошел некоторый неприятный шум, и пришлось прибегнуть к помощи добрых соседей...

## Х

Года через два я опять встретил моих бывших спутников.

В жаркий летний день я переехал на пароме через Волгу, и пара лошадей потащила нас береговыми песками к въезду на гору. Солнце садилось, но было еще невыносимо жарко. Казалось, даже от сверкающей реки неслись целые волны зноя. Оводы тучей носились над лошадьми, колокольчик бился неровно, колеса шуршали в глубоком песке... Сверху, в полугоре, окруженный зеленью монастырь глядел на реку из-за реющего тумана и казался парящим в воздухе.

Вдруг ямщик остановил у самого подъема усталую тройку и побежал по берегу. В четверти версты от нас, на обресе, усеянном галькой и камнями, грузно чернела, прямо на солнцепеке, группа людей.

— Происшествие какое-нибудь, — сказал мой товарищ. Я вышел из телеги и пошел ту-

да же.

На пустом берегу, в который лениво плескалась река, оказалось мертвое тело. Подойдя ближе, я узнал в нем моего знакомого: маленький странник лежал в своей ряске, грудью на песке, с раскинутыми руками и неестественно повернутой головой. Он был смертельно бледен, черные косицы слиплись на лбу и на висках, а рот полуоткрылся. Мне невольно вспомнилось это лицо, оживленное детским восторгом от пения пташки на холмике. Сам он, с своим длинным, заострившимся носом и раскрытым ртом, удивительно напоминал теперь замученную и раздавленную птицу.

Автономов сидел над ним, покачиваясь, и в его взгляде виднелся испуг. Явственный винный запах стоял в воздухе...

Окинув взглядом подошедших людей и не узнав меня, он вдруг затормозил лежащее тело.

— Вставай, товарищ, пора в путь... Участь странника — вечное странствование.

Он говорил опять напыщенным тоном и нетвердо поднялся...

— Не хочешь?.. Смотри, Ваня, брошу! Уйду один...

Староста, с медалью на груди, спешно подошедший к группе, положил ему руку на плечо.

— Погоди уходить... Протокол надо составить... Что за люди...

Автономов с иронической покорностью снял свою мурмолку и отвесил поклон.

— Сделайте одолжение, ваше сельское превосходительство...

Сверху послышался удар колокола. В монастыре призывали к вечерней молитве. Удар прозвенел, всколыхнул жаркий воздух, пронесся поверх кудрявых верхушек дубов и осокорей, лепившихся по склонам, и, замирая уже, коснулся сонной реки. На мгновение звук опять окреп, ложась на воду, и, казалось, чуткое ухо ловит его полет к другому берегу, к синееющим и подернутым мглою лугам.

Все сняли шапки. Только Автономов повернул голову на звон и погрозил кверху кулаком.

— Слышишь, Ваня, — сказал он, — зовет тебя отец-настоятель... Благодетель твой... Те-



перь, чай, примет...

Удар за ударом, густо и часто, звеня и ко-  
лыхаясь, падал сверху на реку торжественно  
и спокойно...

1889

# В пустынных местах

(Из поездки по Ветлуге и Керженцу)

I

## Ветлуга

1

... Часов в шесть утра пароход Зевеке причалил к своей пристани в Козьмодемьянске.

Три свистка последовали один за другим почти без промежутков; несколько человек сошли по трапу, и «Амазонка» красиво отошла от пристани. Оставив на реке широкий круг, она опять побежала вниз, унося спящих еще пассажиров. А я, с двумя молодыми людьми, спутниками предпринятого мною путешествия, остался на пристани.

Козьмодемьянская лесная ярмарка кончалась вяло. Звенья плотов тянулись вдоль берега, у песков и под горами. И всюду стояла необычная тишина.

Небольшой пароходик, полубуксирного типа, слегка покачивался на чалках у соседней

пристани. Это и был ветлужский пароход «Любимчик» [2], на котором нам предстояло подняться кверху по Ветлуге, впадающей в Волгу в семи верстах выше Козьмодемьянска.

— Скоро отчалит? — спрашиваю я на пристани.

— Через полчаса, — отвечает матрос с торопливой и подозрительной определенностью.

— Часа через четыре, дай бог, — переводит этот ответ какой-то субъект, беспечно сидящий на барьере и сплевывающий в воду подсолнечные семечки.

— Па-а-судина! — прибавляет он с выражением глубочайшего презрения... — Где вас повезет, а то, — так и сами пассажиры лямкой потащут.

Посудина покачивается от легкой зыби, все еще не улегшейся после грузного американского парохода. Что-то в ней скрипит, визжит и как будто охает. Я захожу по трапу и сразу стукаюсь лбом в железный бимс, чем возбуждаю веселье в кучке матросов. От нечего делать они сидят на тюках товаров, болтают ногами и внимательно следят за тем, как

каждый вновь проходящий неизменно стучится головой о железо.

— Где тут берут билеты?

— Ступай на ту сторону. Видишь — стоит черненький мужчина в белом пинжаке — сам хозяин, Никандр Иваныч.

— Никандр Иваныч, скоро отвалите?

— Через часик... Непременно.

— Мне бы вот в город сходить, часика на полтора... Дело есть...

— На полтора?

Он задумчиво смотрит на меня и потом говорит:

— Успеете.

— Да ведь вы через час уйдете?

— Идите с богом.

— Сколько стоят билеты второго класса до Воскресенского?

Он прищуривается и водит пальцем по расписанию на стене маленькой каюты. Я вижу, что в таблице стоит цена 1 р. 30 к. На пристани — печатная такса 1 р. 50 к.

— Рупь двадцать, — говорит он мне неожиданно.

— Вы не ошиблись? Ведь тут написано

рубль тридцать.

— Для вас уважение... По рублю двадцати с троих.

— Поторговались бы, — негромко и отворачиваясь от меня, говорит грызущий семечки пассажир, — еще скостил бы копеек хоть тридцать.

— Когда же окончательно мы уйдем?

— Да они и сами не знают... Вишь, пары еще не разведены... И не шуруют еще. Нагрудится народу более — станут пары разводить.

Над трубой «Любимчика» еще не вьется даже дымок. В машинном отделении пусто. Мы спокойно отправляемся в город, раскинувшийся довольно широко, неоживленный и тихий. Лавки открыты, покупателей не видно. Проходят или сидят на улицах и на берегу партии бурлаков. Кое-где происходит ряда: подрядчики нанимают народ гнать плоты книзу.

— Семен Лексеич, а Семен Лексеич, — говорит здоровенный парень в красной запыленной рубахе, стоящий в беспечной позе на мостике. — Что ж ты меня обошел? Ряди, что ли... Чем я тебе не работник?..

Семен Алексеевич, юркий, подвижной, еще не отъевшийся мелкий подрядчик, оборачивается на зов, но тотчас же сплевывает...

— Даром не надо, — говорит он угрюмо. — Видали уж... Первый головорез по всему плесу, — говорит он, поворачиваясь доверчиво ко мне. — Всю артель подлец взбулгачит...

Бурлак смеется, скаля белые зубы, сверкающие на бронзовом, загорелом лице.

— Знаешь? — говорит он насмешливо. — Мы тоже знаем вашего брата. На пятак рублей ищите...

Возвратясь к берегу, мы застаем «Любимчика», отведенным от пристани. Два дюжих матроса тянут его корму за канат, точно за хвост, возбуждая этим вялое остроумие соскучившейся в ожидании публики. У пристани же стоит кашинский «Михаил», пыхтя отработанным паром.

Через час «Михаила» уже не видно за горами, а наш все так же покачивается, скрипит и охает.

— Скоро ли? — спрашиваем мы.

— Теперь, должно быть, петерсоновского парохода с Ветлуги дожидается.

— Это зачем?

— Конкуренция. Чтобы, значит, побольше народу обобрать, тому, петерсоновскому-то, поменьше останется.

— А тот тоже станет дожидаться, чтобы этому было поменьше?

— Ну-ну. Известное дело — конкуренция!

— Да вам, — подходит ко мне, как-то боком, все тот же грызущий семечки пассажир, — вам, ежели к спеху дело, — до завтра бы подождать.

— Это как же? К спеху и вдруг — подождать.

— Завтра петерсоновский «Николай» пойдет... А-а-ат-лич-нейший пароход...

— Да ведь завтра я буду уже в Воскресенском.

— Не будете, — говорит он зловеще. — «Николай» вас на дороге обгонит.

— Когда вы с ума сойдете — вот когда нас «Николай» обгонит, — резко обрывает его Никандр Иваныч, незаметно подошедший сзади. — «Николай»-то теперь еще у Варнавина, а у нас и свисток сейчас. Эй, подавай первый свисток... А вы — ежели ехать желаете, пожа-

луйте, берите билет... А то тут вам тереться, народ смущать, нечего. Шаромыжники вы, вот что!..

— Петерсоновский это... Подосланный, — говорят между собой матросы. — Шею бы намять по-настоящему... Не отбивай потому что...

— Теперь скоро? — спрашиваю я.

— Как же не скоро, когда уж и свисток дали.

— А на гору, — испытываю я опять, — сходить успею?

— На гору?.. На гору успеете. У нас ведь не как у других, что дадут три свистка да и отчаливают. Мы еще после трех свистков тревожные подадим, чтобы наши пассажиры сошлись.

И затем, помолчав, прибавляет:

— Конечно, господин, по такой реке, такие и пароходы. А что у нашего ход не хуже, чем у «Николая», это я вам могу вполне утвердить...

Меня, впрочем, нисколько не пугают инсинуации тайного агента сопернической компании. Я никуда не тороплюсь. Я люблю проселочные дороги, тихо плетущуюся лошадку,



наивный разговор ямщика под шум березок, захолустные, лесом поросшие речки. Еще с ранней юности остались у меня в памяти обрывки стихотворения какого-то неизвестного мне автора, который жаловался, что уже исчезла поэтическая езда на долгих... Теперь уже и по нашим дорогам:

...Летит французский дилижанец  
По немецкому шоссе.

Ныне пробил уже и час дилижанса... Всюду бьет в уши свисток, грохочет машина, — и «немецкий дилижанец» тоже теряется позади, на пройденном пути, затягиваясь романтическим туманом прошлого... Все мы немного романтики... мы, русские, не менее, а быть может, и более других. Говорят, у нас нет прошлого!.. Так что же! Того, что от нас уходит, жаль еще более: туман еще таинственнее и гуще...

Как бы то ни было, мне, например, нравятся из железных дорог — узкоколейные, вроде Костромской, где кондуктора на полустанках бегают по лесу, собирая разбредшихся пассажиров, а из судоходных рек — такие, как Сухо́на, в которой по временам так и кажется,

что пароход расплещет ее всю своими колесами, или милая красавица Ветлуга, с ее кудрявыми берегами и пароходиками, вроде «Любимчика». На остановках они тыкаются носом прямо в берег, точно сонная рыба, а в темные туманные ночи стоят и дремлют, зачалившись с кормы и носа за береговые ветви. Меня всегда тянет на уездные тракты и проселки, по которым так привольно, так мягко итти с котомочкой за спиной, или к мелким речкам с их тихой красой, с их лесами и неожиданностями. Но теперь, кроме этой общей, бескорыстной симпатии, — передо мной рисовалась и некоторая более определенная цель.

## 2

В дремучих лесах Семеновского уезда, по Керженцу и по другим лесным речкам тихо угасает старый «раскол», и доживают последние дни пустеющие древле-православные скиты. Разоренные умелой рукой литератора-чиновника П. И. Мельникова, который очень хорошо описывал их, но разрушал еще лучше, — они не имели уже силы возродиться в других местах и при других обстоятель-

ствах. Ударил последний час скитской жизни. Бывали и прежде тяжелые времена. Описывали тогда мало, но разоряли гораздо основательнее: от скитов по временам оставались одни головешки, и, долго спустя по уходе никонианской силы, пробираясь по лесным тропкам, «верные» творили над пепелищами надгробное рыдание и отрывали под пеплом обугленные кости. И все-таки те скиты не умирали, а возрождались вновь, унося в глубь лесов, в тихие пустыни новую страницу о благолепной смерти еже за веру скитских отцов и матерей. Кто-нибудь из уцелевших сооружал дальнюю келейку, около безмолвного «езера», «гору точию сожительницу и ручей соседа избравше». Проходили годы — и пустынное «езеро» оглашалось унылыми и скорбными напевами, а гора покрывалась кельями нового скита.

Не такова судьба семеновских скитов после мельниковского нашествия. Разоренные, так сказать, на самой заре русского обновления, в такое время, когда общее гонение «за веру» видимо должно было потерять свою силу, они не имели уже опоры в общих услови-

ях. Слабело гонение, слабела и ревность противления. Скитские здания стоят и до сих пор; но большинство скитниц разбрелись, вышли замуж, потонули «в миру», и только немногие ветхие старицы доживают последние дни среди запустения.

— Да что... ребятишков много подкидывали, — сказал мне как-то один из соседей бывших скитов на вопрос о том, жалеют ли они о прошлом... — Известно уж, — в монастырях-те всего бывает... — И он равнодушно хлестнул свою лошаденку...

Тем не менее, очень вероятно и даже наверное — есть не мало людей, с озлоблением и горечью вспоминающих о «разорении» скитов. Сами старицы уже сложили песни, в которых звучит трогательная тоска о невозвратимом прошлом.

*У нас были здесь моленны, они подобны были раю...*

*У нас звон, был удивленный, удивленный звон подобен грому...*

*В рощах птицы распевали, соловьи нас утешали...*

*О, прекрасный ты наш раю, пре-*

*любезный драгой скит,  
Нам в тебе уж не живати, свя-  
тые службы не стояти,  
Тихие радости не видати... [3]*

Так вот мне и захотелось посетить эти тихие лесные пустыни, где над светлым озером дремлет мечта народа о взыском невидимом граде, где вьется в дремучих лесах темный Керженец, с умершими и умирающими скитами...

### 3

Наконец, часа в два, в самый жар, когда даже река, казалось, изнемогала и томилась под палящими лучами июльского солнца, наш «Любимчик» отчалил от пристани и тихо двинулся против течения Волги.

Верстах в семи, у Покровского, поворот в устье Ветлуги. «Любимчик» долго шлепает колесами и бьется на быстрине под яром, и по временам кажется, что вот-вот быстрое течение унесет его обратно в Волгу; но он все-таки справляется, выходит на ровный стрежень Ветлуги, и Козьмодемьянск, на Волжских горах, выплывает из-за синеватого тумана далеко справа, то скрываясь, то исчезая, по мере

того, как мы вьемся по «кривулям» Ветлуги.

Население нашего парходика демократично. Первый класс почти совершенно пуст. По временам только из него появляется какой-то господин в синей сибирке тонкого сукна, в шелковой косоворотке и лакированных сапогах, с очками на носу. В каюте его угнетает почетное одиночество, но на палубе он напряженно ищет подходящей компании. Во втором классе заняты все места: кроме меня и двух моих племянников, здесь едут все мелкие лесные торговцы, и разговоры идут о неудавшемся сплаве и плохой лесной ярмарке:

— Ну что, как растоварились?

— Ничего! Осталось еще тысяч на пять. Так полагаю, что у меня разовьется. А у вас?

— Плохо.

«Разовьется» — это картинное выражение означает, что плоты, стоящие теперь на песках у Козьмодемьянска, будут куплены, и по сотне, по две бревен разойдутся по течению реки.

Вся эта публика очень быстро знакомится друг с другом. В жителях Приветлужья, вооб-

ще, очень много добродушия, и даже в этих лесных хищниках, не кладущих охулки на руку, я замечаю какую-то особенную, специфическую складку в лице, какую-то вялую мягкость и добродушие. Эту особенную складку я вижу и у старика-торговца, с первых же слов предлагающего мне отведать его рыбы, и у его сына, и у молодого дьякона, едущего с женой в один из приходов по верхнему течению Ветлуги, и у красавицы в голубой косынке и шитой узорами сорочке. Она пьет чай в компании с однопореченцами-бурлаками и с добродушной улыбкой на красивых, полных губах отражает их простодушные и не особенно тонкие любезности.

Наверху, впереди расположилась партия бурлаков. Этим общим названием обозначают теперь плотовщиков, которые в течение всей навигации снуют взад и вперед, как тучи насекомых, вылетая из боковых речек — Унжи, Керженца, Ветлуги, Мологи — на своих плотах и затем поднимаясь кверху для нового сплава. Нет на Волге людей, которых бы так много ругали и которые бы так много отругивались сами, как эти плотовщики. Ругают их

капитаны в рупор, когда они загораживают плотами стрежень, ругают кассиры на обратной путине, на пристанях, где они торгуются самым невозможным образом, с божбой, с молениями, с проклятиями за каждую копейку; ругают на пароходах, куда их принимают, после торга — чохом, артелями и тычут куда попало, между товаром. Вообще бурлак — это наиболее многочисленное, более всех отягченное трудом и наименее ценимое детище, пасынок матушки Волги.

Здесь, на родной Ветлуге, на своем собственном ветлужском пароходе, они чувствуют себя хозяевами. К «Любимчику» они относятся с насмешливым пренебрежением и нередко дают с своего места наставления команде.

— Не туды держишь... Вороти к яру.

— Эх-ма! За чужую заедешь...

— Не ваше дело там, молчать! — кричит капитан из отставных солдат, а хам тихо обращается к лоцману:

— В сам-деле, вороти правей. Ай не видишь?

«Заехать за чужую» — это значит зайти в



рукав вместо главного русла. Ничего не может быть позорнее для команды! С нашим «Любимчиком» — увы! — это случалось раза два, — и оба раза он конфузливо выбирался «из-за чужой» под градом остроумных замечаний своих пассажиров и с берега.

— Эй, капитан! — кричит широкоплечий бурлак-ветлугай, — у тебя, гли-кося, там скрипит что-то в машине. Ожалось чего-нибудь.

— Учи! Плоше тебя, что ли!

— Да ведь скрипит, ровно не слажена соха.

Пароход действительно скрипит, как простуженный.

— Ты вон в телеге едешь, и то, небось, скрипит, — возражает капитан.

— В телеге? — хохочут бурлаки. — Да мы бы, твое степенство, в телеге бы теперь где уже были...

Капитан все-таки посылает в машину, и через некоторое время «Любимчик» подходит к яру, пассажиры выходят по доскам на берег, а команда облепляет со всех сторон бока, руль, крылья парохода, где-то стуча молотками, что-то прилаживая.

Трогаемся опять...

Солнце садится, река начинает темнеть, и «кривули» плавно, одна за другой, убегают назад. На нижней палубе спят, где кто сумел устроиться; у нас во втором классе — невыносимая жара, так как к нам идет весь жар от машины.

Женщин у нас нет, и потому лесные торговцы, тяжело дыша, с раскрытыми ртами, спят почти без одежды.

Я выхожу на верхнюю палубу.

Тихий вечер бежит над Ветлугой. Приятно обдает прохлада. Звезды мерцают в легком тумане, луна чуть-чуть вырезывается тоненьким серпом над тучей, которая тяжело подымается из-за лесов. Каждый день где-нибудь служат молебны над иссыхающими от жары полями, и каждый вечер встает на безлунном небе такая же туча и стоит на нем обманчивым призраком; наутро она исчезает, не оставляя даже росы на траве. Сегодня она тяжелее; легкий туман чувствуется в воздухе; где-то горят леса, и дымная пелена, весь день клубившаяся на горизонте, стелется по небу, как бы отяжелев от сырости. Есть что-то раздражающее в этих намеках на дожди среди

томительного душья.

На передней мачте нашего парохода меланхолически вздрагивает на ходу фонарик. С берегов, сквозь пыхтение машины, доносятся временами то шелест леса под внезапными порывами ветра, то плеск осыпающегося яра, то ночные голоса птиц.

В передней части под фонарем не спит артель бурлаков. По временам вспыхивают «цыгарки», слышится какой-то ровный голос, прерываемый замечаниями и смехом. Я подхожу туда.

— Можно к вам присесть?

— Садись, твое степенство, садись с бурлаками. Ничего. Не спится тебе?

— И вам вот тоже не спится.

— Наше дело такое. До Юркина нам спать нельзя. Нанимать хочет капитан — дровишки погрузить. Вот мы тут и балакаем покамест...

— Сказки у нас тут один сказывает... Ну, и мастер!..

— Начинай новую, Ефрем. Да, вишь, купец послухат... Ты уж того... получше какую... Не смеховую...

Ефрем, немолодой мужик с верховьев Ветлуги, с выдавшимися скулами, вздёрнутым носом и смешно торчащей бородкой, задумывается и начинает:

— Не в котором царстве, не в котором государстве, а именно в том, в котором мы живем... Ох-хо-о... И ложились, грешные, до того, что нет у нас ничего...

Раскат здорового смеха выносится на реку и отдается от дремлющей стены берегового леса... Среди этого хора особенно выдается здоровенный бас какого-то оборванного человека, в старом городском картузе и, полосатых, слишком узких брюках. На обоих коленках от бесчисленного множества заплат, пришивавшихся неумелыми, заскорузлыми руками, образовалось как будто по букету, и они странно выступают в полутьме. Голос у него, сиплый, но необыкновенно гулкий. Даже бурлаки выражают удивление.

— Ну, и рывкнул, — говорит один из них, — даже по лесу пошло.

— Волк и есть, — говорит другой.

Я с любопытством взглядываю на обладателя затейных брюк и необыкновенного орга-

на. Я слышал, что нижегородские статистики, работая в Семеновском уезде, где население преимущественно кормится лесными промыслами, открыли особый род занятий, называемый «волчьим». «Волк» — это человек, не имеющий ни хозяйства, ни постоянного ремесла... Зимой он перебивается в городе по ночлежным домам... С весной, когда вскрыются реки, солнце отогреет землю и леса оденутся листвой, — волка потянет за Волгу, в леса. Здесь ему не с чем взяться за настоящую самостоятельную работу, а из чужих рук мешают и гордость, и привычка к дикой независимости. И вот он путается по родным лесам, охотится или ловит рыбу, или просто хищничает по мелочи, где может.

— Какой я вам волк, — обижается субъект с букетами на коленках. И, обратясь ко мне доверчивым тоном городского жителя к сотоварищу, он пояснил:

— Я, господин, — временно... Собственно для заработка... В артель вкупиться...

— В «золотую-те роту»... — насмешливо вставил один из бурлаков. — Ну, Ефрем, сказывай, а ты... Нечего тут.

— ...Значит... не в котором царстве, — подхватил опять сказочник, — жил был старик со старухой... Да и то же самое, как мы, ветлугаи, дожились до того, что ни хлеба, ни водочки, ни табаку... Потому, видишь ты, старик был охотничек, а у охотников, дело известное, что у киловязов да у коновалов, иной раз и поись нечего.

— Верно и это...

— Ну, хорошо... Говорит старику старуха. «Возьми, бат, ружьишко, — не устрелишь ли чего. Хлеба ни крохи, так хошь дичинкой полакомитьца...» Взял старик ружьишко, пошел с ружьишком в лес... Долго ли, коротко ли шел, — глядь потка (птица) порхает по кусту. Так потка небольшенькая, а пером необычная. Прицелился старичок, а она ему и говорит голосом: «Не убей ты меня, старичок, а лучше, говорит, возьми живую...» Послушался он. Ружьишко поставил к стволу, — к ней... А она от него... Он опять за ней, она от него... Ну, все-таки — поймал... Принес старухе... Потка принесла им яичко...

С появлением на свет этого яичка — сказка теряет всякую связь с действительностью. Еф-

рем оживляется... Он сидит на какой-то снасти, над лежащими кругом слушателями, и как-то странно разводит руками, точно делает заклинания. Лицо его разглядеть трудно — его закрывает тень от шляпки... Но голос у него глубокий, грудной и гибкий... Речь льется плавно, готовыми складными оборотами... Он всецело владеет вниманием слушателей и развертывает перед ними ряд сказочно-утешительных событий. Пароход идет мимо спящих лесов, и кажется, что это оттуда, от шепчущей темнозеленой стены, кто-то подсказывает Ефрему его фантазии. Разумеется, старик уже превратился в такого молодца, что ни в сказке сказать, ни пером описать... Чудная птица наделила его ценным свойством: «плюнет — серебро, харкнет — золото...» Баба как-то незаметно, за очевидной ненадобностью, — выпадает из рассказа... Вахлак женится на царской дочери, но и с ней тоже не очень церемонится. Собирается он навестить в деревне своего брата... Царь-тестюшка приказывает запретить золотую карету. — «Не надо, — говорит, — пешком пойду! Жена, проводи меня за околицу!» Царевна не смеет послу-

шаться и покорно следует за мужем. Вышли за околицу... Вахлак хлопнул ее по бедру, сказал слово... И стала из царевны... кобыла.

Радостный смех опять отдается от берега, покрывая ленивое шлепанье парохода... Ефрем очевидно импровизирует и в готовые сказочные формы вливает собственное содержание... Слушатели восхищены тем, что царская дочь везет вахлака... И может быть, один я думаю о судьбе царской дочери: бедная царевна, бедная суженая героя народной сказки... Не сладко, должно быть, утешать удачливого вахлака Иванушку...

Сказка кончена, Иванушки падают опять на землю. Опять болят намозоленные руки, опять ноют намученные спины... А пароход все пыхтит, изворачиваясь на «кривулях» и будя странные отголоски... Лес подымается все выше, темнее, таинственнее... Артель смолкает, лица бурлаков задумчиво поворачиваются к берегам; темная струя, разбегаясь, уносит на своем гребне отблески фонаря, привешенного над самой водой...

Вдруг по лесу, заглушая шум пароходных колес, разносится громкий плеск и отдается в



далеких изгибах. В нем замирает какой-то стон, от которого невольно сжимается сердце. Звук повторяется еще где-то вдоль темных берегов с неясными чащами...

— Что это? — спрашиваю я с невольной тревогой.

— Обвалье [4] с яру свалилось, — говорит Ефрем.

— А что стонет?..

— Нет... Какой стон?.. Чай, никого не было.

— Нет, верно, — подхватывают другие. — Вскричал кто-то.

— Кому быть... Чай, птиця... Может спужалась...

— Да, птица, как же, — таинственно говорит субъект с букетами на коленках.

— Нет, верно птиця — испугало ее, — подтверждает Ефрем. — Кому боле быть?

— Как кому?.. Сам знаешь, кто в лесу бывает.

На минуту водворяется молчание.

— А видали вы когда-нибудь?.. — спрашиваю я.

— Нет, не видали, где его увидишь? — говорят бурлаки сдержанно.

— Я голос слышал, — говорит Семен, мужик лет под пятьдесят, грустно сидящий на скамье, свесив голову с черными, как смоль, волосами. Он гонял в Козьмодемьянск собственные плоты, которые рубил и сплавивал из половины с лесоторговцем. Ему не повезло. Плот из четырехсот бревен он продал по рублю за бревно; из-за этих двухсот рублей он работал всю зиму, вчетвером, на трех лошадях; теперь, расплатившись с рабочими-сплавщиками и отдав хозяину задаток, да еще лишку («за то, что вода живая и делянка недалече»), — возвращался домой ни с чем... А дома — неизвестно, что ждет его. Выходы были хороши, да дождей нет долго. Если хлеб не уродится, «все станут собирать, — да подавать-то будет некому». Поэтому он сидел все время задумчивый и грустный, плохо слушал сказки Ефрема и теперь в первый раз еще принял участие в общем разговоре.

— Да, слышал голос... В молодых моих летах. В ту пору женился я как раз, по двадцатому году, и поехали мы в лес бревна рубить, жили в лесу семь недель. И пала, братцы, на меня скука об Марье моей, большая скука на

меня пала... даже, что есть, ночи не спал. Вот раз мечусь этак в шалашике и говорю себе: хоть бы леший какой весточку принес.

— Т-с, ай-а-ай, — неодобрительно отозвался Ефрем. — Бедко это, что не в час такое слово сказать.

— То-то бедко. Сказывают, в шесть недель дадено ему две минуты. Кто в две те минуты зачем его позовет — он тут как тут.

— Тут уж его воля...

— Верно. У нас на деревне мать дите прокляла — сливки он у нее слизал. «Леший, ба-ет, тебя унеси». Ну, и сказала, видно, в лихой час. Он его сейчас живым делом и цапнул, да в речушке и утопил.

— То-то вот, видишь, како дело... Сказал я это слово и заснул. Много ли спал — не знаю, только прокинулся — слышу кличет кто-то по лесу. Кличет и кличет, и голос ровно бы Алексея-шабра... Пожня тут у него была недалече. Сейчас я на ноги поднялся, чижолко (зипун) накинул на плечи, айда в лес, за ним. Отошел в чащу гон [5], отошел другой, — все кличет, да все дальше, а ближе нету. Как прислушаюсь я, — так у меня волосики дыбком и стали.

Гонов с пять уже отошел, а дело было эк же, как вот теперь, темно, да муглонно, да еще и дождик по листу шебаршит. И кличет звонко, а голосу настоящего, слов, стало быть, и нету: только ау-у, ау-о, да го-го-го. Понял я тут, кто меня кличет, сел на землю, дрожу, зуб на зуб не попадает... А он как пойдет круг меня — да выть, да заклинять, да с разных тебе сторон, да на разны тебе голоса: то батька кличет, то старуха, то опять молодая моя, Марьюшка, разливаается, зовет. А я сижу на земле, зубом стучу да молитву творю. Как только и жив остался!

— А я так и видал, — подымается с места какой-то бурлак, лицо которого мне не видно. — Осене-сь лес мы рубили да вывозили и остались однавадни у шалаша с Ефимкой — удалая головушка, парень бедовой. И взмыла тут, братцы, туча, пошел дождь, да и дождь, слышь, бойкой, да крупной, нас, что-есть, в шалашике вымочило до ниточки. Прошла эта туча, — только послышим — идет кто-то по лесу, песни играет... Да звонко! Издаля слышно. Что, мол, такое за человек это? И выходит тут к нам незнакомой молодец: одет чисто,

рубаха белая, уздечка накрест перепоясана. «Не видали, баек, ребята, воронова коня? Больно, баек, коня жалко, конь — как огонь. Кто бы со мной пошел того коня розыскать?!» — Ефимко у меня приткой живет... Вскочил было итти, да я его за руку цап... — «Нет, мол, добрый молодец, не рука нам с тобой итти. Ступай себе». Ушел он, а я Ефимке и баю: «Не видишь, с кем итти было похотел? Погляди: на нас рубахи-те мокрехоньки, даром что в шалашике сидели, а на нем капельки не кануто, весь сухой. Это что значит?» — «Верно! — говорит Ефимка, — а мне, мол, и ни к чему... Ах ты, нечистая сила!.. Дай-ко, говорит, я его между плеч из оружия шарахну...»

— Бесстрашной...

— Только стал он ружье крестить, как тот парень из глаз пропал... Песни слышно, — самого не видать...

— Страсти какие... Я бы, кажись, тут бы и помер, — говорит из-за мачты молодой, почти ребячий голос.

— Да, лесное дело, известно... не на селе...

— Неужели, — спрашиваю я, — так вот Ефимко и выпалил бы, если бы не замешкал-

ся?..

— Ефимко-то?.. Выпалил бы...

— Да что на него глядеть?.. Дело видимое...

— Рубашка-то... она ведь указывает...

— Дело ясное...

Пароход приближается к крутому яру и идет вдоль темного бора... Бор стоит весь в тени... В нем ходят таинственные шорохи, и кажется, что где-то в чаще идет другой пароход и также часто шлепает колесами. И оба парохода — и наш и чужой — точно притаились и чутко сторожат друг друга.

#### 4

Свисток, за ним другой вспугивают молчание ночи, и кажется, что от этого звука, такого заурядного на Волге, здесь вздрагивают даже берега.

Пароход делает легкий поворот, и на нас надвигается крутой яр левого берега. Над обрезом этого яра виднеется клоч небя, еще не поглощенный разрастающейся тучей. На проплывающей облачке угасают последние, слабые отблески. Какие-то темные фигуры фантастически рисуются в вышине над косогором.

Это — черемисское Юркино. Пароход будет грузить дрова, а фигуры на берегу — черемиски из деревни, пришедшие по свистку с носилками для грузки. Таким образом, услуги артели оказались излишними. На верхней и на нижней палубе слышно утрюмое ворчание бурлаков, которых напрасно поманили заработком.

Оказывается, еще не поздно. В деревне огни, хотя на реке казалось, что уже глубокая полночь. Небо все затянуло. Туча густеет, вдали неясно гудит гром, и над лесами слабо вспыхивают бледные молнии. В воздухе чувствуется какое-то напряжение... Над обрывом курится огонек, и едкий дым сползает на реку.

Матросы нашего «Любимчика» большею частью пьяны... Некоторые пассажиры второго класса — тоже. Точно шмели, высыпавшие из гнезда, они мгновенно окружают черемисок, сидящих над обрывом. плотною кучкой, очевидно приготовившейся дружно встретить всякий натиск. При слабом освещении пароходных огней мелькают молодые милые лица; голоса раздаются в полутьме

мелодично и звонко. Одеты они в расшитые пестрыми узорами короткие рубахи и белые штаны. Нога выше колен обернута черным сукном, перевязанным белыми оборками.

— Что мало вас вышло, портошная команда?

— Эй, не видали ли собачку: сама бела, лапки черны?

— А, да вот она, — держи!

Визг, хохот, грубые заигрывания... Девки крепко отругиваются. Порой шлепают гулкие удары. За ними взрывы хохота... На берег сходит тоже изрядно выпивший капитан, рядится с черемисками, и они принимаются таскать тяжелые носилки по крутой песчаной тропинке и узким дрожащим мосткам над водой... Пьяные озорники, пользуясь тем, что руки у девушек заняты, мешают им... Одна носильщица делает невольное движение... Дрова с грохотом валятся вниз... Капитан появляется на кубрике и обстреливает весь берег такой отборной и громкой руганью, что матросы оставляют черемисок в покое. Зато на берегу завязывается драка... Двое полупьяных боролись на песке...



— Не бери в перелом... — хрипит один. — В перелом не бери...

— А как тебя брать?..

— Бери за гашник...

— Я беру, как хочу... Ты бери, как знаешь...

— Бери за гашник, свол-лочь... А то живого не оставлю...

— Да я тебя сам, как сухую воблу...

Взлетает рука, и вдруг уже не шуточный, а настоящий богатырский удар пронизывает воздух... Два тела сплетаются, падают на песок и начинают кататься по земле... К ним наваливаются другие... Клубок растет... Где-то далеко за лесом, как сердитая собака, ворчит гром... Есть что-то раздражающее в этом чадящем над яром огне, в этих взвизгиваньях обижаемых девушек, в ворчании грома и в зарницах, смутно освещающих даль лесных вершин... Кроме того, и вообще в эти знойные дни, среди напряженного ожидания дождя — в воздухе носится какое-то электричество... Бурлаки угрюмы и враждебно смотрят на беспечное и наглое озорство пьяной команды...

Вдруг, точно искра от пожара, свалка вспыхивает на пароходе... Молодой буфетный

служащий заспорил с пассажиром... Друг у друга вырывали какие-то узлы... Дело происходило под навесом на нижней палубе, где было темно и тесно. Оказалось, на несчастье, что как-то бурлак улегся под лавкой, беспечно выставив из-под нее победную головушку. Среди возни и спора кто-то наступил ему сапогом на физиономию... Бурлак поднялся, разъяренный, окровавленный, страшный, дико поводя глазами. Через минуту из-под тента, слабо освещенного огарком, неся взволнованный гул...

— Человека испортили... Какое полное право!..

— А он пошто лежит на дороге!..

— Место давай!.. Где у вас места!.. Деньги плочены...

— Палубу всё загрузили!..

— Люди вам, как скотина...

Кто-то потушил фонарик под тентом. Стало совсем темно, только отблески чадящего костра — пробегали по спутанной массе взволнованных пассажиров...

— В воду побросай, — гремел чей-то зычный голос... — В воду их, ребята... Что на их

глядеть, на пьяных чертей...

— Капитана сюда... Капитан! Огонь зажигай!..

— Чтобы сейчас... Сей минут огонь был!.. — вырывается чей-то неистовый, визжащий голос. — Огонь... Огонь подавай... Ог-гонь...

— Капитана сюда!.. Огонь зажигай, капитан!

— Без огня не будем быть!..

— Не имем без огня сидеть! Посудину вашу по щепам разнесем!

— Э-о-о-й... у-у-у!..

Под навесом настоящая буря: Дикие крики, ругательства, вой, — кажется, что все это закончится невозможной дикой свалкой...

— Я, я, капитан, — слышится торопливый голос. — Что такое?.. Почему бунтуете, господа пассажиры?.. Поштенные, не бунтуйте...

Капитан, повидимому, протрезвился и энергично врывается в толпу. Голос у него грубый, решительный, заметный в многоголосом смешанном реве...

— Что такое?.. Огонь?.. Кто смеет гасить огонь?.. Сейчас, господа... Сей секунт... Я сам, сам зажигаю огонь... Стой, расступись! Давай

дорогу... Я сейчас... Вот... Я сам зажигаю... — заканчивает он торжественно.

Вспыхивает слабый огонек серной спички, прикрываемой ладонью от ветра. Сера загорается, начинает кипеть и потрескивать, синеватое пламя колеблется, и общее участие привлекает на себя судьба этого огонька... разгорится он или погаснет? Огонек разгорается, освещая загорелое лицо священнодействующего капитана и лица ближайших «бунтовщиков», на которых теперь видно лишь участливое любопытство. Еще несколько секунд — и все с такой же торжественностью капитан зажигает фонарь.

— Вот, — говорит он толпе.

— И ладно, молодчина капитан...

— То-то!.. А то бы мы...

Толпа смиряется так же быстро, как вспыхнула. Последняя причина ее неудовольствия закрыла собой все остальное; причина эта устранена — и толпа довольна, как будто все дело было именно в этом сальном огарке. Только бурлак с окровавленной и вспухшей губой долго еще суется в тесноте, с печальным недоумением спрашивая, кто же ответит

за это безобразие и на каком основании он потерпел безвинно. Но теперь его несчастье вызывает лишь более или менее остроумные замечания.

Часа через полтора свисток несется над рекой... Лежа у открытого окна в нашей каюте, я вижу, как берег уплывает от нас, и скоро только длинные струйки с отблесками вьются и плещутся по бортам.

Туча раскинулась по всему небу, но дождя все нет. В каюте духота, бормотание и сопение лесоторговцев...

А наутро, с восходом солнца, бурлаки следят с палубы с разочарованными лицами, как облака расплываются по небу и исчезают постепенно, как дым от погасшего курева. Во всю ночь от нее не капнуло ни одной капли, и день опять охватывает, как жерло раскаляющейся печи. Только дым на горизонте не исчез, а стал еще тяжелее и явственнее. Видно, как ходят, свиваясь и развиваясь, тяжелые клубы.

Часов в девять мы проходим мимо Никольского; церковь в купе зеленых деревьев, да несколько домов причта над высоким об-

рывом... Это называют «погостом». В церкви звонят — должно быть опять собираются молить о дожде... С берега что-то кричат, указывая вперед, где виднеется дым, но слов разобрать невозможно.

Часов в одиннадцать бежит сверху «петерсоновский Николай»; пассажиров на нем много, и они тоже кричат что-то. На нашем пароходе становится известным место пожара: горит вверху город Ветлуга...

Больше мы уже не пристанем нигде до Воскресенского. Несколько деревень, Никольский погост да два села, Успенское и Богородское, — вот все населенные пункты, которые попадают нам в течение полутора суток. Кой-где проплывет дровяной плотишко, кой-где запоздавшая и обмелевшая с весны барка печально сидит на песке, дожидаясь будущего сплава... В одном месте небольшая «кладнушка» сидит на мели, и три человека, празднично ожидая помощи, развлекаются игрой на гармонии. Тиха Ветлуга после сплава, но в особенности тиха она теперь, в это знойное лето, когда жары выпивают воду и даже на Волге обнажились такие камни и перекаты,

которых не выдвигали и опытные лоцманы.

К вечеру «Любимчик» пристаёт к Воскресенскому, — большое село на горе правого берега, — торговый центр Приветлужья... Мы прощаемся с «Любимчиком» и с Ветлугой...

Ночлег на постоялом дворе, на душистом сеновале... А на заре следующего дня восходящее солнце, подымавшееся, точно по лестнице, по гряде румяных перистых облаков, застало нас уже на дороге из Воскресенского во Владимирское.

Мы идем к озеру Светлояру, иначе называемому Святым озером, у села Владимирского на Люнде...

## II

# Светлояр[6]

### 1

Когда в первый проезд мимо Светлояра мой Ямщик остановил лошадей на широкой Семеновской дороге, верстах в двух от большого села Владимирского, и указал кнутовищем на озеро, — я был разочарован.

Как? Это и есть Светлояр, над которым ви- тает легенда о «невидимом граде», куда из дальних мест, из-за Перми, порой даже из-за Урала, стекаются люди разной веры, чтобы раскинуть под дубами свои божницы, мо- литься, слушать таинственные китежские звоны и крепко стоять в спорах за свою ве- ру?.. По рассказам и даже по описанию Мель- никова-Печерского я ждал увидеть непрохо- димые леса, узкие тропинки, места, укрытые и темные, с осторожными шопотами «пусты- ни».

А тут — видное с большой проезжей доро- ги в зеленых берегах, точно в чашке, лежало овальное озерко, окруженное венчиком бере-



зок. Взбегая на круглые холмики, деревья становятся выше, роскошнее. На вершинах березы перемешались уже с большими дубами, и сквозь густую зелень проглядывают бревенчатые стены и куполок простой часовни...

И только?..

Когда я пришел к озеру во второй раз, мое разочарование прошло. От Светлояра повеяло на меня своеобразным обаянием. В нем была какая-то странно-манящая, почти загадочная простота. Я вспоминал, где я мог видеть нечто подобное раньше. И вспомнил. Такие светленькие озерка, и такие круглые холмики, и такие березки попадаются на старинных иконках нехитрого письма. Инок стоит на коленях посреди круглой полянки. С одной стороны к нему подступила зеленая дубрава, точно прислушиваясь к словам человеческой молитвы; а на втором плане (если есть в этих картинах второй и первый планы) в зеленых берегах, как в чаше, такое же вот озерко. Неумелая рука благочестивого живописца знает только простые, наивно правильные формы: озеро овально, холмы круглы, деревца расставлены колечком, как дети в хорово-

де. И над всем веяние «матери-пустыни», то именно, чего и искали эти простодушные молителители...

Недалеко, в двух-трех десятках верст, Керженец с его дьярами и разоренными скитами, о которых скитницы поют старыми голосами:

У нас были здесь моленны. Они подобны были раю.

У нас звон был удивленный; удивленный звон подобен грому...

Был недоступный лес, была тишина, отдаленность от мира. Была тайна.

Теперь леса порубили, проложили в чащах дороги, скиты разорили, тайна выдыхается. К «святому озеру» тоже подошли разделанные поля, и по широкой дороге то и дело звенят колокольцы, и в повозках видны фигуры с кардами. «Тайна» Китежа лежит обнаженная у большой дороги, прижимаясь к противоположному берегу, прячась в тень к высоким березам и дубам.

И тоже тихо выдыхается.

## 2

В окрестном населении во многих списках ходит «Летописец». Сухим, правду сказать, до-

вольно-таки суконным языком, с безвкусной помесью старинного и более современного стиля в нем рассказывается следующая история.

Великий князь Георгий Всеволодович, спустившись по Волге из Ярославля, построил город Малый Китеж, на берегу Волги. Это нынешний Городец, приют старой веры «по тайному священству». Оттуда князь пошел сухим путем по луговой стороне и, переправившись через тихие и ржавые речки Узолу, Санду и Керженец, пришел к реке Люнде. «И виде то место зело прекрасно и многолюдно», почему, «по умолению жителей», решил построить тут город Китеж Большой. Предание устанавливает, очевидно, какое-то духовное родство между обоими Китежами: «оба города построены одной рукой и одним топором», — говорили мне местные жители. Князь изукрасил город, обстроил церквами, монастырями, боярскими палатами. Потом обвел ровом и вывел стены с бойницами. Окончив дело, он вернулся к себе на Волгу.

Между тем над Русью уже нависала туча, шла «потруса», монгольское нашествие. Дви-

нулся поганый Батый: «Как темные тучи по небу», шли по Руси злые татарове и подошли к Китежу Меньшему (Городцу). Великий князь вышел навстречу и «много драся с Батыем», но не одолел его. Татары убили его брата, а сам князь ударился в леса и, перейдя реки, скрылся в новопостроенном своем граде, Большом Китеже. Батый потерял следы великого князя и стал «примучивать» пленных, добиваясь от них указаний. Один из этих пленников, Кутерьма, «не могий мук стерпети», указал Батыю лесные проходы к Светлояру, и татары облегли город Китеж.

Что было затем — в «Летописце» говорится глухо. Известно только, что князь успел скрыть в озере святые сосуды и церковную утварь, а затем погиб в битве. Город же изволением божиим стал невидим; на его месте стала видна вода и лес.

Так и стоит град Китеж поныне у кругленького и чистого, как слеза, озера Светлояра. Скрылись от взора человеческого дома, улицы, боярские хоромы и стены с бойницами, церкви и монастыри, в коих «многое множество бысть святых отец, просиявших жити-

ем, яко звезд небесных или яко песка морского». И кажется нашему грешному, непросветленному взору один только лесок, да озеро, да холмы, да болотище. Но это только обман нашего грешного естества. В действительности же, «по-настоящему», здесь стоят во всей красе благолепные храмы и золоченые палаты и монастыри... А кто может хоть отчасти проникнуть взором через обманчивую завесу, для того в глубине озера мелькают огоньки крестных ходов и высокие золоченые хоругви, и сладкий звон несется над гладью кажущихся вод. А потом все стихает и опять только шепчет дубрава.

Итак, над озером Светлоярм стоят два мира: один — настоящий, но невидимый, другой — видимый, но ненастоящий. И сплетаются друг с другом, покрывают и проникают друг в друга. Ненастоящий, призрачный мир устойчивее истинного. Последний только изредка мелькнет для благочестивого взора сквозь водную, пелену и исчезнет. Прозвенит и смолкнет. И опять водворяется грубый обман телесных чувств...

Понятно, как это заманчиво. Ежегодно

«под Владимирскую» из Нижегородской, Владимирской, Вологодской губерний, даже из-за Перми, из-за Урала сходятся на берега Светлояра толпы людей, стремящихся хоть на короткое время отряхнуть с себя обманчивую суету сует и заглянуть за таинственные грани. Здесь, в тени деревьев, под открытым небом день и ночь слышно пение, звучит гнусавое чтение нараспев, кипят споры об истинной вере. А на закатных сумерках и в синей тьме летнего вечера мелькают огни между деревьями, по берегам и на воде. Благодетельные люди на коленях трижды ползут кругом озера, потом пускают на щепках остатки свечей на воду и припадают к земле и слушают. Усталые, в истоме между двумя мирами, при огнях на небе и на воде, они отдаются баюкающему колыханию берегов и невнятного дальнему звону... И порой замирают, ничего уже не видя и не слыша из окружающего. Глаза точно ослепли для нашего мира, но прозрели для мира нездешнего. Лицо прояснилось, на нем «блаженная» блуждающая улыбка и — слезы... А кругом стоят и смотрят с удивлением те, кто стремится, но не удостоился по ма-

ловерию... И со страхом качают головами. Значит, есть он, этот другой мир, невидимый, но настоящий. Сами не видели, но видели видящих...

Но это теперь бывает все реже и незаметнее.

Мелькнет где-нибудь махоньким островком и расплывается, как догорающая свечка, на таинственной поверхности озера. А кругом шумит обманчивый «видимый» мир...

### 3

Познакомившись с чудесным озерком, я после этого не раз приходил к нему с палкой в руках и котомкой за плечами, чтобы, смешавшись с толпой, смотреть, слушать и ловить живую струю народной поэзии среди пестрого мелькания и шума. Вечерняя заря угасала, когда я стоял на холме, близ бревенчатой часовни, в тесной и потной мужицкой толпе, следившей за прениями. И утренняя заря заставляла нас всех на том же месте...

Много наивного чувства, мало живой мысли... Град взыскуемый, Великий Китеж — это город прошлого. Старинный град со стенами, башнями и бойницами, — наивные укрепле-

ния, которым не устоять против самой плохонькой мирской пушчонки! — с боярскими хоромами, с теремами купцов, с лачугами простого, «подлого» народа. Бояре в нем правят и емлют дани, купцы ставят перед иконами воску-яровые свечи и оделяют нищую братию, чернядь смиренно повинуется и приемлет милости с благодарными молитвами...

Есть что-то умилительное и для нас в этой легенде... Многие из нас, давно покинувших тропы стародавнего Китежа, отошедших и от такой веры и от такой молитвы, все-таки ищут так же страстно своего «града зыскуемого». И даже порой слышат призывные звоны. И, очнувшись, видят себя опять в глухом лесу, а кругом холмы, кочки да болота...

#### 4

В этот раз я подходил к Светлояру не в праздник, а в будни, и был рад случаю посмотреть чудесное озеро в его обычном виде, в тишине его простого, будничного одиночества.

Солнце склонялось к «горам». Березы, ольхи и дубы на склонах холмов уже стояли в тени, между тем как молодые березки на плос-



ком восточном берегу еще просвечивали насквозь яркую зеленью. В гладкой, как зеркало, воде тихо стоял опрокинутый берег, с холмами, деревнями и часовней, чуть зыблясь от прямых светлых полосок. Это перед закатом баловала мелкая рыбешка. Между стволами мелькали редкие фигуры. — Две странницы с котомками, должно быть отдохавшие в жару на озере, тяжело подымались в дорогу. Часовня была заперта. В странноприимном доме, построенном Владимирским сельским обществом на берегу, ставни забиты наглухо. Еще два года назад здесь жил старик лет девяноста, седой, как лунь, наивный, как ребенок, и глухой, как тетерев. В домике «общество» позволяет жить кому угодно, чтобы место свято не было пусто. Прежде не надо было и дома. Радетели, «труждающие люди», изрыли всю гору землянками и пещерами. Теперь это вывелось. Частью оттого, что и вообще «усердия» стало меньше, частью же оно как-то плохо уживается с паспортными правилами. Полиция, не находя входов, а только отверстия «для воздуха», — выгоняла подвижников щупами и выкуривала дымом. Невидимые труд-

ники разбрелись. Тогда-то благочестивые владимирские старики решили соорудить храмину и пустили в нее этого старца. Он пришелся ко двору и жил на озере много лет, радуя владимирцев своим благообразием. Весь седой, одетый в чистую рубаху и порты, в свежих лаптях, повязанных светлыми лычаными оборками, он служил истинным украшением этого места во время ежегодных соборищ. Опершись на свой подожок, с обнаженной головой, на которой ветер шевелил серебряные волосы, он стоял около своей избы и смотрел то младенчески чистыми, то старчески строгими глазами на шевелящийся народ, как будто следя, не появилась бы где какая нечисть. Его всегда окружала, толпа, как человека, связанного невидимой нитью с заветною тайной озера.

А нитей этих, связующих два мира, становится все меньше. Много народу припадет к берегам, чтобы услышать из глубины святой звон невидимого града. И не слышат. А он слышит, несмотря на то, что совершенно глух.

— Кричи ему хоть в самое ухо — ничего не

разберет.

— Значит, ему это не нужно.

— А китежский звон слышит. И не то что под Владимирскую, а бесперечь, во всякое время.

— Выйду этто на зорьке на ранней на кресты невидимые помолиться, а оно и гу-у-удит и бу-у-хает, — говорил он при мне, детски радостно улыбаясь изумленной толпе. — И колоколо-те, братцы, как наше, кузьмодемьянско. Давно я из дому, от Кузьмы-те Дамьяна ушел... Дитей малым. А колоколо наше помню. Этак же вот и здесь — ровно наше колоколо бухает на зорьке...

И по лицу старого младенца бродит счастливая детская улыбка...

— Умные не понимают и имеющие уши слышати — не слышат, — строго сказал при этом один из толпы. — А вот глухого старца господь умудряет. Горе слышащим слово и не внемлющим.

И он угрожающе окинул всех сухими, строгими и колющими глазами. «Чудо», явленное над глухим старцем, он, конечно, тотчас же присвоил себе и хотел видеть в нем подтвер-

ждение какой-то своей строгой веры, заключенной в старинной книге... Зри главы такие-то, стихи пятый и седьмой-на-десять. И так как не все мы, конечно, даже и знали, что именно гласят стихи пятый и седьмой-на-десять, то, во имя чуда, он уже обрек нас огненной геенне. А старик и ему улыбался своими синими глазами, чистыми, как светлоярские воды...

В этот раз старика уже не было. Раз утром его застали на лавочке, чистого, безмятежного и очевидно давно приготовившегося в дальний путь. Лицо было счастливое, как у младенца... Вероятно, в последний час он слышал опять бухание родного колокола не то из глубины святого озера, не то из такого же святого детства...

Так как место свято пусто не бывает, то в келью явились новые богадельщики. Даже двое. Сначала пришла келейница и поселилась в избе; потом приплелся солдат и попросил позволения построить земляночку. Старики позволили. Но как только сошли снега, из земли выбило травку и зазеленелись деревья, — пастухи, гонявшие «на горы» скот, при-

несли на село соблазнительные известия, которым старики дали веру не сразу; мало ли покажется глупым подросткам. Пожалуй, бланит лукавый. Но однажды пастухи пригласили стариков на самое место: под дровом на муравушке рядышком почивали келейник с келейницей, и тут же лежала пустая посуда-на.

Плюнули и прогнали обоих. А окна заколотили. Ждали, не придет ли опять «настоящий» какой-нибудь старец...

Не приходил.

## 5

Я обхожу с своими спутниками кругом озера, слушаю смутный передзакатный шорох деревьев. По временам на озере выкинется рыба. Лягушка скрекочет у берега в нагретой за день колдобине. Беззаботно, как дети, чирикают воробьи... На том берегу деревенские девки мирно купаются, рядом с парнями. Смуглые тела парней выделяются издали от белых девичьих.

В укромном уголке берега, где лес переходит в мелкую поросль, стоит старик и удит рыбу. Он увидел нас раньше, чем мы его, и те-

перь, искоса поглядывая на поплавок, он не менее внимательно следит за нами. Он босой, без шапки. Во всей фигуре — солидное деревенское благообразие, какая-то черта, характерная для человека, уважающего себя и привыкшего к уважению.

— Здравствуйте, дедушка!

Умные глаза из-под шапки седых волос некоторое время продолжают изучать меня. Потом выражение их смягчается.

— Мир дорогой, — отвечает он. — А вы кто такие? Что за человеки?

— Нижегородские.

— Дело. На горы наши пришли? Так вам бы прийти под Владимирскую владычицу. Вот тогда гоже у нас.

— Бывал и на Владимирскую... Что? Какое клюет?

— Плохо чтой-то. Вот дён десяток назад — успевай только закидывать. А ноне, вишь, и не дернет. Что есть — сарожник, и тот не хочет с червяком побаловаться...

Действительно, вода не шелохнет. Тонкие серебряные колечки охватили стебельки растений и держат их в блестящей неподвижной

истоме. Поплавок трудно разыскать глазом среди редкого тонкого татарника...

— А рыбы здесь много?

— Вного [7]. Рыбно озеро-то наше. Окунь, лещ, щука, карась, елец, сарожник... Караси-то здоровущие живут. Жи-и-рные, как, все одно, свиньи.

Поплавок дрогнул. Из глубины по воде тихо пошли два-три круга. Старик потянул. Крючок задел за траву. Он вытащил, внимательно осмотрел и надел нового червяка.

— Зарастать стало. За грехи-те, — сказал он, поплеывая на наживку. — В старые-те годы не было этого. Хоть бы тебе травиночка! Как слеза было озеро... Главное дело — слабость. Вот! Купаться — это не возбраняют. А ведь у иного, милый, тело-то бывает нечистое. Бабы опять, девки... От женщинов-то еще более зарастает...

Он опять закинул удочку и обернулся ко мне с выражением гордости:

— А и теперь еще, слышь, — где ты эку воду-те найдешь? Погляди: земчуг! Иглу вот тут на дно урони, — видно!

Действительно — вода кристально про-

зрачна: на дне, пока оно не ушло вглубь, видно все до последней жилочки. Все оно усеяно «обломом»; веточки, ветви, кое-где целые стволы слежались плотно друг с другом и лежат отчетливые, точно живые. Нигде признаков ила, разложения, гнили.

— А на середке, — говорит рыбак с наивным удивлением, — черно, что ночью. И чудное дело, братец мой, что за озеро это у нас. Это годов, может, с пять выезжали мы тут в ботничке, лот спускали. Саженьях на двадцати стала гиря, нейдет. Я ее взял этак, отряхнул. Что ж ты думаешь: пошла опять, и пошла, и пошла. Веревка вся, а дна нет. Другую навязали. Семьдесят саженей, а дна все нету...

— А правду говорят: будто тут где-то есть течение?

— Кто знает. Весной это в Люнду, правда, источина невеличка живет. А что сказывают, будто с Волгой имеет собчение, так нет. Не полагаю я этому быть. Потому, видишь ты: надо бы у нас тогда волжской рыбе водиться...

— А ты, милый, нашего летописця читал ли? — спросил он, помолчав.

— Читал.



— Наплачешься! Правду я говорю?..

— А сами вы, дедушка, звон слышали?

Он постоял молча, как бы в нерешимости.

Потом заговорил серьезно и вдумчиво:

— А насчет звона я тебе вот бывальщину расскажу, а ты слушай. Я тогда еще мальчишкой был малым, по семнадцатому году. А теперь мне семьдесят на исходе. Много ли время?.. И работал я вон тут за горой кирпичи на нашего князя, на господина Сибирского помещика, с матерью. Прихаживал тогда на озеро старичок Кирила Самойлов. Родом из села Ковернина. И был у него пчельничек свой, на пчельнике и жил; мед продавал и воск тоже. Угодный был старичок. И все хотел спастись, не хотел так, чтобы на пчельнике помирать. И стал к нам прихаживать «на горы». Укутает пчелок-то на зиму и придет. И залезет в гору. Даже так, что по неделям живал, спасался.

— Значит, тут пещеры были?

— И-и... Много! Только, конечно, по тайности. Потому что на ту пору уже разгонять принимались. Да вот, поди ты: и разгоняли, а все больше нынешнего усердия-те было... Я еще помню хорошо: гора вся была ископана.

Идешь, бывало, зимнее дело: тянется из яминки пар или, сказать, дымок, и иней кругом обтаял. Скажи: «господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас!» И сейчас из яминки рука за милостиной протянется.

— Как же они туда проходили?

— Да как проходили. Вон там, у этого родничка, береза стояла. Потом свалилась не в давнее время, лет, может, десять назад. У той березки корень был развилистой, так под тот корень на моей памяти можно было пролезть на корячках. Мужик тут один, посмелее, не в давние еще года сажень десять полоз. Сказывал:, дальше бы можно; кверху пошло, трубой! Да, говорит, страшно: духотина. Ты вон, погляди, этот берег-то какой... Подпрыгни-ка.

Действительно, мы стоим на пласте, вроде торфяного, который тянется далеко вдоль озера. Я подпрыгнул саженьях в двух от воды, — и по ней тотчас пошли круги. Видно, что не берег уходит в воду, а, наоборот, вода идет под пластом корней и плотного травяного перегноя...

— Да вот тут гдей-то и проходили. Это вот еще лет, может, пяток, объявился было один.

Остатний, видно. Забрался было в гору-те. Жил.

— Ну, и что же?

— Да что! Не те времена, поштенный. Озорства вного стало. А ему этого ненадобно. Ему нужен покой. Нонешний народ не стал этого понимать. Особенно ребята, молодяжник. Что ты с ними поделаешь. Разыскали отдушину-те эту самую, сейчас — баловать! Он, миляга, может на стоянии, молитву творит — за весь мир, за все хрестьяны... а они, дураки, сверху-те на него... того... просто тебе сказать, озоруют... А то раз выполз он на свет божий рыбы поудить... Что ж. Это ничего. Дело апостольско. Положил кошель на берегу, отлучился малое время. А солдат у него кошель и уволоки. На вот! Живи ты тут с нами, дураками! Не достойны мы! Убрался, сердяга... Гора-те и опустела...

— Ну, а что же с Кирилом Самойловым?

— Да... Прихаживал, говорю, молился. А тут выгонка пошла, нельзя стало. Ну, он, бывало, придет, да к нам, схоронится в сарае: пережидает жесткое-те время. А то у матери моей в амбарушке поживет. Мы думаем себе:

что ж, ничего. Старичок и старичок. Мало ли их. А он вот какой старичок: стал звон слышать. Утречком как-то спим мы, до свету еще. Он будит: «Вставайте, что вы спите. Тут чудеса. Послушайте-ко». Проснулись мы. — «Слышите ли?» — Нет, мол, Кирила Самойлович, ничего не слышать. Только по листу ветер. — «Как это, говорит, не слышите. Припади, старуха, к земле». Мать к земле припала. — «Так, говорит, вроде шум. Деревя сотрясаются, так гудят: бу-у, да бу-у...» — «Не древа, говорит, маловерная. Ухи у тебя заложило. Я вот слышу въяве: это у них к заутрене вдарили. Слава тебе, владычице, пресвятая богородице, святые угодники. Удостоился и я, грешный...» Ну, потом чаще да чаще... А там уже и видеть стал. Туман, говорит, на озере-те, а в тумане так обозначает, что город, и церкви, и княжецки палаты, и монастыри великолепные. Сам говорит, а сам плачет, бороденка трясется. Теперича, говорит, надобно мне туда попасть небеспрременно. Оттуда уже известно дело: преставишься в экой благодати, прямо в рай... Никаких, говорит, денег не пожалею. Вклад им положу...

— Ну и что же?

— Пошел по народу говор: Кирила Самойлыч звоны слышит, невидимый град ему открывается. Ушел он к себе на пчельник. Потом, слышим, продает пчельник, продает избу, всеимущество, одним словом, порешил. Пришел опять к нам, — «Что ты, мол, Кирила Самойлович?»

— Молчите, говорит. Скоро за мною придут. Попрощаться пришел.

— Куда ж ты пойдешь? Мы бы поглядели.

— Нельзя вам видеть, как я с ними отправлюсь. Ваши, говорит, глаза грешные.

— Глядим: чудной наш Кирила Самойлов стал. Хлеба не ест, квасу не пьет, извелся, а лик веселый. Раз этак утречком на ранней заре прокинулся я, вышел из сараев вон на тот на узгорочек. Гляжу: сидит Кирила Самойлов на бережку, с ним двое, вроде монахи, в клубочках, и у одного бороденка оказывает, будто седая, другой — черной. И беседуют. Черный на озеро рукой кажет. Страшно мне стало, так что даже в глазах заметило, темная вода пошла. Прокинулся. Нет никого, только Кирила Самойлов на горку здымается...

— Д-да... Вон какое дело, — продолжал он с глубоким раздумием. — После того не в долгом времени пропал старичок без вести. От нас же и скрылся. Одедся напоследок чистенько, причесался, умылся, попрощался, и нету стало. Как в воду канул. Нету нашего Кирилла Самойлова и нету. Думали мы: не ушел ли как ранним делом к себе в Ковернино. Довелось в ту сторону побывать, я нарочно и завернул. — «Где, мол, Кирилла Самойлов у вас?» — «Нет Кирилла Самойлова. Пропал без вести. И на пчельнике другой уж сидит». Вот, поштенный, каки дела-то. А?

— Так и не объявился после?

— Где объявиться! Сказывали, положим, всяко, да чего сам не видал, так что и говорить.

— Нет, вы все-таки, пожалуйста, скажите.

— Бабка тут одна была. Померла давно. Так на тую пору аккурат корова у ней потерялась. Думала, вот придет, а она — ночь-полночь — не идет домой. Стало у ней сердце беспокойно, поднялась ночью-те, пошла искать. Нашла в лесу. Там вон, за горами, лес был большой. Погнала этто мимо озера и видит: лодоч-

ка будто от берега отпихнулась, и в лодочке трое. Тихим голосом стихиру поют. Отъехали на середину озера. Бултыхнуло будто что-то и скрикнуло. А темно, ночь-те весенняя, сумрачна. Испужалась она, погнала корову что есть духу... Говорили: не иначе это Кирила Самойлов в Китеж отправился.

— А может, на дно озера, дедушка?

— Ну, так что, — сказал он холодно, кинув на меня спокойно уверенный взгляд. — На дне то же самое монастырь. И на самой середке главны ворота... Этак же вот, как ты, и тогда говорили: утоп Кирила Самойлов, больше ничего. Начальство выезжало, на допросы таскали. Взяли будто двух каких-то в Семенове...

— И что ж?

— Да что! Никто знать не знает, ведать не ведает. Следуй, пожалуй! Ищи! Городской народ, известно уж... До всего доходит.

Он смолк, и между нами пробежала как будто неуловимая тень отчуждения. Я был тоже городской и с дрожью негодования видел мрачное и грубое преступление там, где для него была умиляющая святая тайна. И он это

чувствовал. Через некоторое время, однако, глаза его опять смягчились. У него явилась потребность досказать еще что-то.

— Опять же сам не видал, люди баяли. Ехали на двух подводах мужики из Семенова с базару. Запоздали... Дело ранней весной. Земля-те отпотела, туман. Лошади сошли с дороги, к озеру. Известно, скотина; может, пить захотели. Прокинулись мужики, глядят. Над озером туман столбами ходит, а солнце чуть за горами показывается. И вдруг, братец ты мой, видят они: едут из озера на большой подводе монахи не монахи, а вроде того. Диву дались наши мужики: что такое? Монахи незнакомые. Лошади у них большие, сытые, сами народ тоже гладкой, ликом светлые. И едут из воды прямо на них, все одно — по дороге... Подъехали, остановили ихних лошадей, давай хлеб на свою телегу перекидывать... Потом деньги отдали, честь честью, до копеечки, повернули подводу и опять в озеро. Только их и видели. И слышь ты, что еще. Ты вот человек городской... Ну, понимай это дело, как знаешь, а будто и Кирила Самойлова тут же видели с ними. А заговорить не посме-



ли...

Мы оба помолчали, занятые своими мыслями. И мысли у нас были разные. У рассказчика они были, повидимому, светлые и ровные. Лицо его опять приняло доброе, благожелательное выражение.

— Насказал я тебе, проходящий, вного чего. Ты думаешь, может: чего и не бывало. А наше, брат, место не простое... Не-ет... Не простое... Тебе вот кажется: озеро, болотина, горы... А существо тут совсем другое. На этих вот на горах (он указал рукой на холмы) сказывают, быть церквам... Это вон, где часовня, — собор у них стоит пречистого Спаса. А рядом, на другом-те холме — Благовещение. Тут в старые годы береза стояла, так на са-амой, выходит, на церковной главе.

— Откуда же это-то известно?

— А от бесноватых, от кликуш. Как, бывало, поведут которую мимо той березы, сейчас они и пойдут выкликать: «Ой, березка матушка! На церковной главе выросла. Помилуй нас». Ведь уж это явственное дело. Чего же более. А тут вот мочажником самым большая дорога у них прошла. Эвон, супротив овраж-

ка, промежду взгорьев, серединой озера. Тут другой раз сетями мы задеваем. Так это монастырски ворота. И сказывают: на столбах-те чеши, а на чепях сундук с золотом да золотая всякая сосуда запущена... Вот ты и думай себе. Мы, грешные, видим болотину, да лес, да озеро. А на самом-то деле взять: оно оказывает совсем другое... Ой, да что же это я!

По воде между татарником уже с полминуты ходили круги. Мой собеседник спохватился и торопливо, с сосредоточенным выражением стал «водить» клюнувшую на крючок большую рыбу.

— Н-ет... пог-годи! Не уйдешь, мил-лай, — говорил он, приседая и то натягивая лесу почти горизонтально, то опуская, то заводя ее из стороны в сторону. Потом выпрямился, дернул удилицем и выхватил очень бойкого, порядочной величины окуня. Окунь мелькнул по воздуху и, изогнувшись дугой, попал в зеленую траву. Здесь он опять извивался и прыгал, очевидно не желая расставаться со своей призрачной жизнью.

Наконец рыбак снял его с крючка и положил в стоявшее рядом берестяное ведерко.

Вид у старика был довольный.

Я невольно засмеялся. Он посмотрел на меня, тоже слегка улыбнулся и спросил:

— Чего ты? Не надо мной ли, дураком?

— Нет, дедушка. А только подумалось мне чудное...

— А что же, милай?

— Ведь озеро-то... Одна видимость?..

— Ну-ну...

— И воды тут нет, а есть дорога и главные ворота?..

— Это верно.

— Так как же вот окунь-то? Выходит, и он только видимость.

— Поди ты вот... А? — сказал он с недоумевающей благодушной улыбкой.

И потом прибавил:

— А мы-те, дураки, жарим да кушаем.

Он опять вынул окуня, посмотрел на него, взвесил на руке и сказал:

— Порядочный, гляди. Еще бы парочку этих, — уха!

## 6

Мы дружески распрощались.

Солнце уходило за горы все ниже, и по все-

му озеру протянулась прохладная тень. Вместе с нею, повидимому, начался клев. Не успел я отойти несколько сажений, как у старика опять мелькнула в воздухе новая добыча: большой плоский лещ пролетел дугой и шлепнулся в траву.

Меня потянуло купаться. Отойдя подальше, чтобы не помешать доброму человеку таскать из кажущегося озера несуществующих рыб, я разделся недалеко от кладочки с привязанной лодкой и с наслаждением кинулся в воду. Надо мной спокойное высокое небо. Маленькое золотистое облако тает в румяных отблесках. Подо мной — загадочная глубина, бездонная и таинственная.

— Э-эй! Проходящий! — слышу я с берега чей-то голос. Молодой мужик, тоже с удочкой и кошельком, стоял у самой воды и смотрел на меня.

— А ну-ко, проплыви еще... Еще маленько... Ну вот, в аккурат. Теперь мырни-ко, мырни, да поглубже. Ну-ко-ся...

Мне самому это соблазнительно, и, набрав воздуха, я опускаюсь вертикально в глубину. Холодно, вода очень плотная. Невольное ощу-

щение жути и таинственности... Меня быстро выносит опять на поверхность...

Отряхнувшись и открыв глаза, я прежде всего вижу того же мужика. Уцепившись руками за ветку прибрежного дерева, — он весь повис над водой. Глаза его полны захватывающего жадного любопытства...

— Ну-ко... еще раз... Еще разик...

Я делаю вторую попытку. На этот раз — удачнее и глубже. Вода еще холоднее и выжимает кверху, как пружина, но все же мне удастся нащупать ногой какой-то предмет. Ветка дерева. Она уходит из-под ноги, но тут же другая, третья. Как будто вершины потонувшего леса... Я вишу между ними на глубине, плотной и темной. Еще усилие. Звон в ушах. Меня быстро выносит на поверхность, и я глубоко вздыхаю полной грудью. Молодой рыбак опять встречает меня наивным, любопытным, немного испуганным взглядом.

— Долго же ты под водой-те был... Ну, брат, — говорит он дружески, когда я выхожу на берег, — насыпь ты мне вот эту ладью золота, чтобы я мырнул в нашем озере... Ни за что не мырнул бы.

— А меня посылал?

— Дело твое, — говорит он стыдливо.

Солнце совсем село, и с дороги в село Владимирское я с трудом успел набросать в своем альбоме озерко, горы и венчик деревьев. По равнине быстро разливалась тьма, поглощающая очертания. Только тихая Люнда слабо мерцала, извиваясь по болотистой низинке, да клочок озера томно отсвечивал стальной синевой вечернего неба.

Прощай, Светлояр. Прощай, таинственное озеро чудес и темной веры в призрачное прошлое.

### III

## Приемыш

Ранним утром, почти на заре, когда белый туман покрывал еще Святое озеро сплошным мягким покровом, мы прошли мимо его берегов, направляясь к Керженцу.

В полдень мы были уже в большом селе Быдреевке и бродили по берегу Керженца, стараясь достать лодку, чтобы спуститься по течению реки к Волге.

Дело оказалось нелегкое. Какой-то белокурый мужик уверял меня, что у него есть чудесная лодка.

— Уж я, ваше степенство, знаю, что вам надо. Мой ботничок в час до неба сомчит... В сутки — к Макарью...

Но едва мы уселись в него и отпихнулись от берега — ботник заслезился изо всех щелей, закричал и тихонько опустился на дно... К счастью, катастрофа случилась недалеко от берега...

— Недорого и взял бы, — с искрой исчезающей надежды сказал мужик. — Ботник лег-

кой, — сухо закончил он, пинком ноги придавая ветерану прежнее положение на песчаной косе. — Лучше этого ботника нигде не достанете...

В конце концов мы все-таки нашли то, что нам надо, но для этого пришлось спуститься вниз по реке, откуда уже не было видно ни Быдреевки, ни большого тракта, по которому звенят колокольцы, ни длинного моста с телеграфными столбами.

Времени прошло не мало, когда мы уселись в наш корабль, спустившись с берегового крутояра. Наша лодка тихо двинулась вниз по течению, и сразу Керженец охватил нас своей тихой, задумчивой и сумрачной красотой.

Река узка... Темная струя несет лодку меж высокими берегами, точно в глубокой щели. Лучи склоняющегося солнца золотят острые верхушки елей на левом берегу. На правом — ветлы мочат в воде свои бледнозеленые ветви. Тихо качаются белые и желтые кувшинки, и дальний лай собак или одинокий крик петуха несется откуда-то из невидных с реки деревень...



Я бросил весла и только порой направляю лодку, когда она подплывает к ветлам, и ветки бьют меня по лицу... Я знаю, что стоит мне подняться на высокий берег, и я, может быть, очять увижу Быдреевку и ее длинный мост, по которому тянутся обозы и летают почтовые тройки из Семенова на Вятку...

Но здесь не видно телеграфных столбов, не слышно почтовых колокольчиков... Налево — в реку заглядывает с яра дремучий лес, направо — шелест идет по траве, да мать-мачеха хлопает по ветру своими бледнозелеными листьями... Снизу они белые, пушисты и мягки, как прикосновение материнской руки. Сверху зелены и холодны. Это — мачеха.

Солнце сильно склонилось и совсем исчезло с реки, а лодка все плыла вниз, не встречая на берегу живого существа... Наконец — еще поворот, и она вышла на широкое плесо. Песчаная коса сильно вдавалась в течение реки. На косе виднелся рыбацкий челнок, а у челнока босая девочка лет восьми возилась с тяжелым для нее веслом и рыбацкими снарядами.

Я шевельнул веслом, и наша лодка уткну-

лась в отмель с другой стороны...

Девочка повернулась. Ее синие глаза стали круглее, губы опустились книзу, и весло выпало из рук.

— Не бойся, умница, — сказал я помягче. — Мы тебе дурного не сделаем. Скажи, как поближе пройти в вашу деревню...

— Э-эвона... деревня-то...

Действительно, сделав несколько шагов, я увидел из-за кустов избушки деревни, сверкавшей окнами на вечернем солнце.

— А тебе кого? — спросила девочка смелее и с любопытством.

— Да нам бы вот чаю напиться, да, может, переночевать... Дело к вечеру, а плыть нам далеко.

— Переночевать? Ступай к Дарье Ивановне.

— А где она?

— Дарья Ивановна-то? Да ты Дарью Ивановну разве не знаешь?

— Да я здесь не бывал никогда...

— Ну, не бывал, так где тебе и знать. Погоди, мужик ейный, Дарьи Ивановнин, тут недалече. Тятка, ау! Степан Федора-а-ач! —

крикнула она нараспев, повернувшись к реке.

— А-а-а-ау! — отозвался откуда-то издалека глухой мужичий голос.

— Подь, Степан Федора-а-ач, суда-у!..

Через минуту на берегу показалась фигура мужика, без шапки, с лохматыми волосами, босого и с грудой сетей на спине. Он шел, опустив голову, покачиваясь, будто сонный, и несколько раз споткнулся на ходу. Девочка смотрела на него смеющимися глазами.

— Вишь, шатает его. Ты, может, подумаешь — пьяный он! Нет, не пьяный, а ночи не спит, — все на реке, на сеже, сидит — рыбачит. Снял у мужиков воды в кортома, вот тут повыше омутов. Мамка, Дарья Ивановна, говорит: «Не снимай», а он не послушался: «Сниму», — говорит. Пять рублей отдал. А рыба, слышь, и нейдет к нему... Вот он и старается...

— Да он тебе тятка, что ли? — спросил я, удивляясь, что она зовет мужика то тятькой, то по имени и отчеству.

Девочка не ответила. В это время рыбак, немолодой, угрюмого вида, подошел уже к

нам; не скидая сетей, он остановился, посмотрел на меня отяжелевшими от бессонницы глазами и спросил:

— Чьи будете?

— Нижегородский, — ответил я. — Мне бы переночевать.

— Можно. Ступай, когда так, за мной.

И он пошел вперед, все так же спотыкаясь на ходу, будто вот-вот свалится и заснет у тропинки.

— Опять ни одной рыбешки не поймал, — сказала девочка. — Мотри, свалишься еще...

Мужик промолчал. Мы вышли в улицу небольшой деревнюшки. Окна ее смотрели на реку, а задворки подходили вплоть к лесной опушке.

«Глухой, медвежий угол», — подумал я невольно, взглядывая на своего сурового провожатого.

Хозяйка Дарья Ивановна встретила нас, впрочем, очень приветливо и радушно.

Это была совсем еще молодая на вид женщина, с ласковыми, спокойными приемами и добрыми красивыми глазами, в которых по временам, когда она взглядывала на дремот-

ного мужика, искрилась лукавая усмешка, как и у девочки. Степан Федорыч как-то уныло уселся на лавке и клевал носом.

— Много ли наловил? — спросила хозяйка и переглянулась с девочкой; обе при этом улыбнулись. — Эх ты, горе-рыбак! Слушался бы меня, лучше бы было.

— Говори! — ответил Степан угрюмо. — Вот пойдет из омутов — поспевай только вынимать.

— Неужто опять сидеть станешь всю ночь?

— Пойти изготовить снасть.

Упрямый мужик поднялся и сонно поплелся из избы, а хозяйка стала хлопотать около самовара. Девочка помогала матери.

— Дочка-то как на тебя похожа, — сказал я, — только глаза да волосы посветлее.

Женщина как-то странно улыбнулась и покраснела.

— А старик муж тебе?

Она покраснела еще больше, до самых ушей, и даже закрыла лицо широким узорно расшитым рукавом.

— Муж. Да он и не стар еще годами-те против меня. Работа да горе!.. Да теперь вот сует-

ся еще, как сонная муха, — почитай, неделю не спит: с рыбой связался... Забота! А пуще всего кручина извела его, как сынок у нас помер. Двадцатый год пойдет с филипповок, как в сыру землю Мишаньку уложили.

— Двадцатый год? — удивился я, глядя на зардевшееся румянцем моложавое лицо Дарьи Ивановны.

— Да мне ведь уже сорок два года... Никто не верит... И то еще горе извело. Сколь много слез мы пролили... Детей господь батюшка больше не дал.

— А девочка эта?

— То-то вот, говоришь ты: «похожа»! А она у меня богоданная, приемыш, — сказала Дарья Ивановна, ласково и как-то серьезно глядя рукой белокурую головку прильнувшей к ней девочки. — Да все меня, дурушка, мамкой зовет, а у нее ведь и родная-то мать жива... Так ту, слышь, долго все «чужой тетей» звала. Насилу я ее, дурочку, выучила. Грех ведь! Вот теперь две мамки у нее. Да и у меня она тоже за двух: за дочку богоданную, да за сыночка родного, за Мишаньку...

Она вздохнула, и выражение глубокой гру-

сти тихо легло на лицо, сменяя стыдливый румянец. Тонкими пальцами загорелой руки она перебирала сборки на рукаве прижимавшейся к ней девочки. Девочка затихла и смотрела ей в лицо снизу вверх, как будто ждала дальнейшего рассказа про умершего мальчика. Было что-то глубоко захватывающее в молчании матери, посвященном любимой тени.

— Уж и красавчик был, уж и умной, — сказала она, разведя самовар и присаживаясь к столу. — Не я одна скажу, — кто знал, все дивились на него. Разговор имел приятный да степенный, — иному взрослому в пору, да и то еще кто поумнее... Право. Бывало, сторонние люди зайдут, послушают, так только головами качали. Если, мол, бог этому младенцу дозволит в возраст взойти, — увидят от него родители себе утеху. Да, вишь, господь-то батюшка...

Она низко опустила голову и прижала девочку к груди, как будто в том месте у нее заболела старая рана.

— Ему, батюшке, сказывают, самому этикие нужны... Как в гробике-то лежал, уж мы

плакали, плакали... Потом в пустой-те избе — тоже... Ровно свет из дому навек ушел... Он (мужа она называла в третьем лице) — он у меня извелся с той поры, — постарел, глазами ослаб... все от слезы-те. Днем-то, знаешь, стыдно, крепится перед людьми, а ночью и не выдержит, и завоет... Я за ним... Так вот и шло у нас все, — плачем да тоскуем. Уж люди — и то говорили: «Спокою вы младенцу своему на том свету не даете; нешто можно этак?» Да что ты поделаешь, — нет сердцу укороту нисколько. Пять годов прошло, а легче нет... Только раз ночью, — вздремнула я маленько, — слышу, кто-то по избе прошел... Дунуло на меня, повеяло чем-то, стала я ни жива, ни мертва. «Миша, родной! Ты, что ли, это?..» А сердце-те бьется, что пташка подстрелена, — вот умру, вот умру...

— Я, говорит, мамонька. Пришел к тебе, — послушай ты меня, что я скажу: не избыть тебе грешной тоски, не укоротить сердца, не дашь ты и мне покою-радости, поколь на сердце кого-нибудь не положишь...

— Мишанька, голубчик мой, кого ж мне на сердце положить, нет тебя, ненаглядного со-



колика... До конца веку не избыть мне го-  
рюшка... — Сама плачу, руками тянусь, а в из-  
бе никогошенько не вижу. Услышал тут он у  
меня.

— Дарья, с кем, мол, баешь? — Рассказала я  
ему: «Вот с кем я баяла, Степан Федорыч».

— Молись, говорит, богу... Видно, и впрямь  
грешно этак-то...

Наутро стали мы вспоминать да умом рас-  
кидывать. Видно, мол, надо приемыша  
взять, — к тому речь была Мищанькина, ни к  
чему боле. По первоначалу-то будто противно  
подумать, ровно чужому Мишанькино добро  
отдавать. Потом свыклась. Только все с ним  
согласу не было. Он говорит: «Мальчика  
взять», а я думать не могу. Ему-то, вишь, лест-  
но, что помощник будет, а мне как вспомнит-  
ся Миша, так все парни опротивеют. Где же  
этакому другому быть, как он был! Только  
сквернословие да непочтение, — на это их  
возьми. Так и шло у нас все: все примерива-  
ем, да спорим, да тоскуем.

Да, вишь, привел бог, по-моему вышло.  
Видно, по Мишанькиному заступлению по-  
милрвал нас господь батюшка... Это за ре-

кой, в деревнюшке, принесла девка младенца... Согрешила, бедная, да уж и муки же приняла: в семействе и прежде у них неладно было, — мачеха лютая и то со свету сживала, а тут — и-и, боже мой! — чего натерпелась девонька моя. Известно, мачехи-те редко хорошие живут. По-настоящему-то рассудить, так, может, и тот девкин грех мачехе замаливать надо. Потому что — первое дело: ейное несмотрение, второе дело: иная девка от невзгодья от одного, дома-то свету-радости не видя, на грех пойдет. Тоже ведь — живой человек, тоже ласки захочет. Ну, и поверит наша сестра другому подлецу. А там и плачь всю жизнь, проклинай свою девичью долю, непокрытую, а он, хахалишко, известно, другую дуру обманывает...

Так вот и с ней. Принесла ребеночка, — мачеха с глаз долой согнала. В чужих людях жить, сам знаешь, с ребенком-те маята, да еще все смеются, да ото всех бесчестье да попреки... Бьется, бедная, бьется, до того, говорит, добилась, что взять младенца на руки да в омут головой и с ребенком-те.

Только женщина попалась ей одна из на-

шего села и научила. «Вот что, говорит: Степан у нас Федоров с Дарьей Ивановной больно об сыне тоскуют. Попытай им отдать младенца. Ежели, говорит, судил ей бог судьбу, то не иначе, что у них судьба эта находится...»

Ну, вот уехал мой Степан Федоров в лес, одна я ноченьку ночевала, одна-одинешенька с тоской со своей... Лежу на полатях, — спать не сплю, все думаю. Только слышу — мимо избы прошел кто-то. Слушаю-послушаю, нет будто никого. Да вдруг кто-то в оконце стукнул раз и другой. Подошла я к окну, — ночь лунная, ясная, на траве каждая тебе росинка видна, а под окном никого...

Упало у меня сердце, отошла я от окна — к стенке прислонилась. Вдруг рука опять, да по стеклу, тихонечко стук-стук. Я к окну — гляжу: у стенки кто-то жметя, хоронится. Присела я на лавку, — господи, что такое? А сердце-то колотится... Ну вот, ровно в ту ночь, когда Мишанька приходил. Встала я, перекрестилась и говорю:

— Кто тут хоронится? Выходите, коли добрые люди!

Выходит тут перво-наперво наша деревен-

ская старушка к окну. «Не бойся, говорит, Дарья, не с худым пришли». А та все жметя... И вижу я — у той полотенчиком на груди ребеночек подвязан... Господи батюшка! Потемнело у меня в глазах, ноженьки задрожали, руками за лавку держусь, — а то бы упала. Вспомнила свово Мишаньку... Думаю: вот она, судьба, ко мне идет. Замуж шла, — где тебе: далеко этакого страху не было. Подошла наша женщина к окну. «Пусти, говорит, Ивановна».

— Пошто, говорю, вас ночь-полночь в избу пускать?.. — Ну, да сама все-таки дверь отворяю, огня не вздуваючи, — только месяц полный в окна светит. Переступили они порог, а я стою перед ней, перед девкой-то, ни жива, ни мертва, ровно казнить-миловать она меня пришла. И стыдно-то мне, и страшно-то, и боюсь: ну, вдруг возьмет да уйдет она от меня? А младенец-то спит у ней в полотенчике — не слышит...

Ну, женщина наша и говорит ей: «Кланяйся, девка, в ноги!..»

Поклонилась она мне в ноги, да у ног ребеночка положила, припала к нему, плачет.

Подняла я ее, ребеночка принимаю; горит у меня в руках, не знаю — брать, не знаю — не брать... И она-то... сама отдает, сама держит... и обе мы плачем...

Ох, и помню я, добрые люди, ту ноченьку месячную, не забыть мне ее будет до конца моей жизни...

На заре ушли они; обмыла я дитю, обрядила. Свою рубаху тотчас перешила, уложила ребенка в корзиночку... Сижу, жду его, Степана-то моего Федоровича. И опять мне, молодой, стыд, да боязно, да заботушка. Ровно вот без мужа ребенка принесла, право. Вижу: приехал, идет ко крыльцу, — я не встречаю, не привечаю — сижу на лавке. Вошел он в избу, — ребенок как раз и скричи...

— Это, мол, что такое?

— Это, мальчика, говорю, бог тебе послал, Степан Федорыч...

Поди вот! И зачем солгала перед ним — не знаю, не ведаю. А уж где тут обмануть, — на минуту одну не обманешь: и рубашонка-то по-женски надвое сшита. Подошел он к корзине, поглядел...

— Какой это мальчик! Девочку взяла...

Больше ничего не сказал...

Она опять замолчала, тихо улыбаясь при воспоминании о своем Степане Федоровиче, которого она переупрямила и хотела еще обмануть. Мне вспомнилось суровое лицо хозяйина, и теперь оно показалось мне гораздо приятнее.

— Мамка, — тихо спросила девочка, отводя лицо от ее груди.

— Что, Марьюшка?

— Что ж ты не баешь. Это я была — девочка-то?

— Ты, ты и была, глупая. Уж который раз спрашивает... Никакой ты ей сказки не сказывай, а все одно... Не переслушает... А уж и горя-те, и маяты-те что я с тобой приняла! Просто не приведи создатель. Хвора я была, да скверная, да вся в струпьях, да все криком кричит, бывало, от зари до зари. Сердце все, что есть, изболело у меня с нею. Ночь бьешься-бьешься, силушки нету. «Изведешься ты у меня, Дарья, — говорит, бывало, Степан-то Федорыч. — Не дозволю тебе, говорит, этак-то изводиться. Завтра же неси ее к матери». Ну, тут уж я молчу, не поперечу. А день придет, я

опять: «Подождем еще, что будет, что господь даст». Он у меня отходчив — Степан-от Федорыч — и махнет рукой...

Она помолчала, тихо улыбаясь.

— Сказывал мне после старичок один — умный старик: «Это, говорит, ты так понимай, что господь батюшка в болезнях младенца милость к тебе являл. Нешто чужая девочка стала бы тебе за родного сына, которого ты под сердцем носила, ежели бы не переболело у тебя из-за нее все сердечушко-то заново...»

Пожалуй, и правда это: я ее в утробе не носила, грудью не кормила, так зато слезой вышла да сердцем переболела. Оттого иная и мать не любит так, что я ее, приемыша свою, люблю. Это хворь по детям ходила, ударило и ее у меня этой хворью. Уж я плакала-плакала... «Господи батюшка, — думаю себе, — и отколь у меня столь много слез за нее, откуда только льется их такая сила...»

Она смолкла... Девочка тянулась к ней с улыбкой баловницы-дочери. За окном чирикала какая-то вечерняя пташка, и, казалось, последний луч солнца медлил уходить из избы, золотя белокурую голову ребенка, заливая

ярким багрянцем раскрасневшееся лицо поздней красавицы, любовью и болью сердечной завоевавшей себе новое материнство...

В сенях слышались медлительные шаги Степана Федоровича. Он вошел в избу и остановился на пороге.

— Самовар-то, гляди, у тебя убежал. Эх вы — хозяйки... Собирай, что ли, на стол...

Дарья вскочила и, все еще взволнованная своим рассказом, принялась накрывать на стол...

## IV

### На сеже

Когда мы кончили ужинать, уже стемнело. Степан стал собираться на реку.

— Не возьмешь ли и меня с собой? — предложил я. Степан остановился в пол-оборота и сказал:

— Скучишься, поди, над водой-то сидеть... Тоже и сыро... Ночи, пуцай, теплые живут...

— Сходи, милый, ничего, — сказала Дарья. — А холодно станет, ты скажи: он тебя на берег доставит... Надо, видно, тебе и сежи на-



ши поглядеть... Я так вот и о сю пору не знаю, чего они там делают... Погляжу с берега: сидит на середине реки, да носом клюет... А рыба по дну ходит себе...

Степан ничего не ответил на новый укол, и мы вышли...

Через несколько минут ботник доставил нас на середину реки, к сеже.

Река перегорожена от одного берега до другого. На середине оставлен единственный проход для рыбы, и над ним устроена сежа: на четырех высоких жердях мосток и на нем лавочка.

Мы взобрались на это седалище, и Степан тихо, чтобы не тревожить обитателей черной глубины, загораживает ворота широкой частью сети в форме широкого длинного мешка. Края этой сети надеты на четыре шеста: два вертикальных закалываются по сторонам ворот; из двух горизонтальных один опускается на дно, другой остается на поверхности.

— Тише теперя... Не шевелись, — шепчет мне Степан.

Он собирает рукав сети, изловчается, взмывает рукой... Сеть с шипящим звуком пада-

ет на темную реку. Сначала видно, как она, белея ячейками, уплывает по течению; потом будто чья-то невидимая рука схватила ее и потянула в глубину...

После этого Степан собрал в левую руку множество нитей, идущих от нижнего шеста, лежащего на дне реки. Эти нити тянутся со дна, загораживая все пространство ворот, и напоминают вожжи, взнуздавшие черную глубину. Когда Степан через некоторое время передал их мне, тщательно разложив их на кисти моей руки таким образом, что я чувствовал каждую нитку отдельно, то они тихо заиграли у меня в руке, как струны... Сразу установилась какая-то связь с глубиной; Нити трепетали, вздрагивали, подергивались, точно кто-то невидимый в глубине играл на них, как на струнах... Нервы невольно напрягались... Хотелось не шевелиться, говорить как можно тише.

— Дергает, — сказал я... — Много... Точно идет стая...

— Не, — спокойно ответил Степан. — Это вода плывет, да еще сарожник балует... Мелкота. Крупная рыба, та тебе баловать не ста-

нет. Вот, когда услышишь — потянет боком легонько, ровно смычком по струне, ну, тогда лещ или щука прошла. Тогда тащим мы нижний шест кверху, — тут она... Лещ — он простяк; пойдет, так уж и идет. А вот щука или наипаче жерех — с тем мудрено: пойдет биться, пойдет путлять, сеть что есть изорвет... Эка громадина бултыхнулась, прости господи... Дай-ко сюда!

За нами что-то грузно, даже как будто со вздохом, шлепнулось в воду, и невидимые в темноте круги тихо закачали шесты с мостками. Степан оглянулся и покачал головой.

— Сними-ко картуз, Владимир: вишь, даже в воде белеет, пожалуй, забойтся он... Не жерех ли это, гляди, из омута пошел...

Я снимаю картуз, который действительно мерцал слабым пятном в таинственной обители простяков-лещей и хитрых жерехов. Сам Степан сидит несколько минут темный, незаметный и чутко дремлет с своими странными вожжами в руке.

— Не даст ли господь дождика? — говорит он вдруг радостно, подымая лицо навстречу проснувшемуся свежему ветру.

Две стены леса по обе стороны реки действительно зашептали о чем-то, осинки лопочут быстро и тревожно, между тем как ели только качают острыми верхушками, но шума от них еще не слышно. Степан наставил ухо, насторожился и смотрит с ожиданием на темное небо, где звезды неясно мерцают в сыром воздухе.

Легкое, светлое, даже как-то слишком светлое облачко остановилось в зените, над самой рекой. Целая рать таких же тучек толпится за гребнем, выглядывая из-за леса...

Этот ветер, заговоривший с дремавшими осинами, будит надежду, что наконец моления сельских церквей по всему лицу этой умирающей от жажды страны услышаны кем-то в далекой вышине, и светлый рой облачков, толпящихся за верхушками елей, кажется только авангардом, повинующимся таинственной команде.

И ночь оживает, вся проникаясь смыслом и волей от этого страстного человеческого ожидания...

Но река молчит... Жерех из омута не проявляет никаких определенных намерений.

— Послушай, Степан, — спрашиваю я, чтобы прогнать дремоту, — ты вот тут сидишь по ночам, над водой, близ омута. Неужто не видал ничего этакого?

— Нежити? Не... бог миловал, не видал никогда. — Степан слегка зевает. — В прежние времена водилось их тут много... всяких. А теперь, видишь ты: жилья больше, церкви тоже понастроены, — в леса он подальше ушел, так мы считаем...

Он тихо смеется.

— Это недели с две испужался я-таки... действительно что, порядком струсил... этак же вот на сеже сидел... На селе первые петухи еще не скричали. Только слышу — по лесу на той стороне шум и сучья трещат; да шум, скажу тебе, бойкий, так и ломит... Что, думаю, за притча?.. Потом стихло. И вдруг, гляжу: ходит черное здоровенное по берегу, над омутом. Вижу — ходит, а что именно — не могу разглядеть, потому темно под лесом-те. Вдруг — бултых в воду, в самую омутину. Глянул я на воду, на светлое-то место, — и обомлел: плывет тебе по реке рогатой; да и рога-те какие-то страшные! С нами крестная сила! Перекре-

стился, протер глаза-те. Что ты думаешь?.. Лось! Да еще не один, а два. Другой на берегу остался, повернулся ко мне, вытянул морду, да что-то скричал товарищу. Вот ведь скажу тебе, Владимир, — вовсе на речь похоже, только слов не поймешь... Ну, думаю, что будет... Так я понимаю, что обо мне это они. Тот выплыл на-берег, на песок, подошел к сеже к самой, смотрит с берега на меня. Самец, видно: посмелее, а она боится. Говорил он ей, говорил: дескать, ничего, не бойся ты этого мужика. Вишь, он на сеже сидит. Потом ударил копытом — опять назад, к товарищу. Значит, она дура, все боится. Известно, баба. Заробела. Плывет он по реке, а я думаю: ну-ко, он подойдет под сежу-то да рогами и толканет. Жерди не больно чтоб крепкие, — чебурахнусь я в воду, стопчет он меня... Нет. Поговорили, посоветовались друг с дружкой... как ударят опять по лесу! Охо-хо... И ударили по лесу-те, братец мой... и пошли они...

Пока он засыпающим голосом продолжает рассказ о своих ночных посетителях, дремота, качавшаяся на летучих крыльях над моей головой, спускается ниже... На сеже, над рекой,

водворяется сон. Степан смолк и слушает только руками... До меня доносит таинственный шопот леса. Ему придает особенную важность то, что он один говорит среди общего молчания... Его шорох навевает какие-то сумрачно-странные фантазии. Кто-то будто тихо плывет в глубине, подкрадываясь к нам... Шипя, поднимаются из воды чудовищные лапы... Качаются мостки. Вода закипает и вздымается кверху, доски подо мной качаются, опрокидываются, в голову что-то стучит, сердце колотится в груди, — и я лечу в темную бездну...

— Держи, держи!.. Вишь, подлец, вишь, подлец, чего делает... Ах, ты господи! Поддержи шест, Владимир... Шест поддержи!

Я открываю глаза. Вода действительно кипит подо мной, мостки действительно качаются... Степан торопливо передает мне шест и быстро спускается в лодку. Сеть шипит, въезжает в воде, и кто-то усиленно дергает шест из моих рук.

— Чего делает!.. Нет, чего делает, господи боже! — говорит Степан почти с испугом. — Завьет сеть за корягу, все-ё изорвет. Не-ет, по-

годи, не-ет, шалишь!..

Подо мной начинается суетливая возня. Степан уже в лодке, и его ботничок, узкий и востроносый, извивается над водой, точно хвост водяного чудовища. Сам Степан говорит сдавленным голосом, кому-то грозит и кого-то ловит, суюсь чуть не по самые плечи в воду.

— Ту-у-ут, — произносит он наконец окончательно умирающим голосом. — Волоки потихонечку сеть-то к себе, Владимир. Так... потише. Ну и боец, ну и боец!.. Настоящий Александра Маркидон, право, Александра Маркидон!

Из воды, поблескивая в темноте извивающимся туловищем, появляется сам Маркидон, огромный жерех, с выпученными глазами. Счастливый Степан продолжает беседовать с ним, но уже самым дружеским тоном.

— Ма-аладчина! Прямо тридцать фунтов считай... Маленько ты меня, братец, и самого-то в воду не утянул... Да нет, — ты боец, да и Степан молодец. Ну-ко, ну-ко, в мешок полей-зай...

Боец глупо выглядывает на свет божий своими стоячими глазами, еще раз взмахива-



ет хвостом и исчезает в мешке.

Дремал я, должно быть, не долго: белое облачко, глядевшее с зенита, все еще заглядывает на нас, зацепившись за черную зубчатую линию берегового леса, между тем как за ним, толпясь и погоняя передних, ползут остальные.

— Будет ли дождик, даст ли господь? — говорит Степан, крестясь и опять усаживаясь на сеже... Эти слова остаются в моей памяти, как последнее впечатление первой ночи, проведенной мною на Керженце. Я укладываюсь кое-как на неудобных мостках... Подо мною плещет глубина, таинственная, черная, бездонная... А просыпаясь от чуткой дремоты, я вижу над собой фигуру Степана. Она огромна, высится над лесами и головой уходит в фосфорические облака, которые толпятся все гуще... В руках у Степана вожжи, на которых он держит реку...

Потом все смешивается, и я ничего не вижу и не слышу.

\* \* \*

— Ну-ко, проснись, Владимир... Солнце, гляди-ко, здымается... Ну-ко-ся... А мне бог

счастья послал...

Я просыпаюсь... Слегка хмурое утро... Лес стоит весь черный, грузный... Степан в ботнике тянется на цыпочки и дергает меня за ногу... На берегу Дарья Ивановна с девочкой развешивает сеть, и на отмели в большом мешке что-то трепыхается бойко и густо.

— Вставай, вставай, Владимир, — весело говорит Дарья Ивановна. — Ты вот спал на сеже, а бог на твое счастье вишь чего послал...

Степан вялой походкой идет к дому, неся на плече рыбу... Он великодушен и не выказывает торжества... Марьюшка бежит сзади, поддерживая конец мешка.

Только дождя ночью все-таки не было...

## По Керженцу. — Городинка

**И**з Покровского мы отправились рано в дальнейший путь.

Утро туманное, серенькое. В воздухе свежо и сыро; синеватая мгла стелется над водой, уютится в темной чаще леса. На реке кое-где расплываются круги от редких капель дождя, который лотошит также по широким листам елошника (ольхи) и осины. По временам вся поверхность реки закипает от частых капель, но ненадолго.

— Ну, прощайте-ко, дай бог в час добрый, — говорит Степан, сталкивая нашу лодку. Вся семья вышла провожать нас на берег.

— Вам дай бог дождя.

— Дай господи... Вишь ты, ветер и не дыхнет. Знать, не даром облачно сделал господь: может, будем с дождем. Это вам в Меринове перетаскивать лодку придется, мельница там...

Через час мы плывем по пустой реке, и Покровское давно исчезло за первой излучиной.

Небо все хмурится, лес начинает шуметь, ветер нет-нет и закачает его вершины. Порывы его все чаще. Видно, надеждам Степана все-таки не суждено сбыться.

Керженец вьется, точно змея. Ни вчера, ни сегодня мне не попадалось еще ни одной прямой и длинной водной аллейки, какими мы любовались порой даже на извилистой Ветлуге, когда река кажется улицей, а далекая встречная лодка точно висит в воздухе.

Здесь перед глазами небольшой клочок воды. Впереди не улица, а водный тупик. Сзади тоже. И всюду сомкнулся лес, сурово тесня и взгляд и воображение. За мысом — новая излучина. За ней — новый мыс... В памяти остается впечатление какого-то сгущающегося сумрака, задумчивой суровости, непрошенных воспоминаний... Есть что-то аскетическое в пустынной лесной раскольничьей реке...

Шум мельницы. Впереди виднеются открытые шлюзы, с кипящим и бушующим порогом. Из-за стога сена, недалеко от мельницы, появляется удивленная мужицкая фигура. На наши вопросы он рекомендует попробовать переправиться прямо через порог

шлюзов и с разинутым ртом, с удивленными глазами следует за нами по берегу, глядя, как нас подхватывает быстрое течение. Мельница несется нам навстречу, лодка летит на гребне струи, стучит дном на пороге; нос виснет на воздухе, перевешивается, корма поднимается, лодка зачерпывает бортами, и в несколько секунд — мельница за нами.

Впереди Мериново, глухая деревушка на самом берегу. На песке какая-то баба бучит белье, для чего с помощью здоровенных коряг, наваленных в кучу, развела громадное огнище, дым от которого далеко тянется над лесом.

К нам она обращена спиною. Куча деревенских ребят уже заметили нас и отчаянно кричат ей что-то и машут руками. Баба оглядывается и остается с поднятым вальком в руке, точно окаменелая...

— Какая это деревня? — спрашиваю по возможности кротко, когда наша лодка поровнялась с нею.

— Ме... Мериново это, — выдавливают она из себя едва слышный ответ.

— А это у вас чей дом? — указываю я но-

вую постройку... — Купецкой, что ли?

— Каки купцы у нас, — торопливо отвечает она. — Нету купцов... Бе-едный народ у нас, ваше благородие...

Она тревожно оживляется.

— Беднота все, просто непокрытая беднота... Каки у нас богачи! Нету... Да вам кого? Что вы за люди будете?

Она опасливо подходит к берегу, с тревожным вниманием оглядывая наши фигуры... Из-за плетней на нас смотрят широко открытые глаза деревенской детворы, готовой вспорхнуть всей стаей при первом нашем подозрительном движении. С косогора самые избы, кажется, пугливо щурятся, беспомощные и робкие... Едва мы отъехали несколько саженьей, как баба приобрела способность движения и быстро пустилась в гору, — сообщить деревне о подозрительном нашествии. На одном из моих племянников — кадетская фуражка с красным околышем, и это, очевидно, еще усиливает тревогу... «Старая вера» подозрительна... Конечно, не без основания...

Обогнув мысок, мы плывем дальше, оставляя за собой на берегу целую группу из ребя-

тишек и баб, тревожно следящих за нами.

Течение выровнялось. Перед нами один из редких на Керженце прямых плесов, — узкий, длинный, с высокими берегами, поросшими лесом. В конце этой аллейки обращает внимание один холм, покрытый сильно разросшимся лесом. Дубы, сосны и ольхи, буйно поднявшись, переросли на полдерева растительность соседних холмов, точно косматый вихор на плохо причесанной буйной головушке.

Чем ближе подвигается к холму наша лодка, тем он кажется страннее...

Я останавливаю лодку у противоположного берега и внимательно приглядываюсь.

Круглая вершина с короной могучих деревьев обведена плетнем, чуть мелькающим между кустами. На крутых боках холма я замечаю узкую тропочку. Она осторожно вьется по глинистым обрывам, робко скрываясь в зелени, так что отсюда, с реки, видны только небольшие кусочки этой тропинки. За оврагом, на ближайшем к нам обрыве, зияет в глине что-то вроде пещерки, над которой громадный пень протянул кверху скрюченные и,

очевидно, недавно вырванные из земли чудовищные корни... Раскиданная земля, изрытое и обезображенное место указывают на то, что это гигантское корнище уступило не без долгой борьбы... Между его лапами видна темная дыра... Как будто вход в землянку...

Все это живейшим образом возбуждает мое любопытство, и я направляю лодку к берегу, у подножия дикого холма. Но берег — неприступная болотина. Мы долго ищем среди заросли устье тропинки, которая, очевидно, должна же где-нибудь спуститься к речке. Наконец я нахожу место, где она, по течению, осторожно сходит на воду, будто нарочно замаскированная осокой и кочкарником. С кочки на кочку выбираюсь я на сухое место и иду по тропинке. На полугоре она убегает вдруг под низко нависшие и густо переплетенные ветки нескольких молодых елок...

Я остановился озадаченный. Если бы не то, что на тропке виднелись недавние еще следы, можно было бы подумать, что дорожка только частями уцелела с давних лет и что с тех пор над ней успели вырасти эти елки. Но следы исчезали под их ветвями, и потому я



храбро пустился дальше, насильно проталкиваясь сквозь гущу. Ветки уступали легче, чем можно было ожидать по их гущине...

Наконец я на круглой вершине... Перелезаю через плетень и раздвигаю за ним кусты.

Передо мною старинное, мрачное кладбище...

Теперь я понимаю, почему деревья на этом холме разрослись так буйно. Могилы стоят необыкновенно густо, почва удобрялась поколениями...

Но к чему эти очевидные старания скрыть тропинку, замаскировать мертвых? Здесь я не видел ни ворот с крестом, ни подъездной дороги. Очевидно, новых жильцов сюда проносят по таким же неудобным тропкам, скрываясь, может быть, ночью?.. Или это кладбище давно уже закрыто и брошено?

Нет... Вот одна могила, очевидно, еще довольно свежая, приютилась под лапами старой ели... Тихо... Сумрачно... Солнце едва проникает сквозь густые ветви... Какой-то особый аромат — сухих листьев, смолы и еще чего-то томящего и загадочного — стоит в неподвижном воздухе... Ветер не может проник-

нуть под этот шатер... Порою только он протянется высоко по густым вершинам, сорвет с сосны отяжелевшую шишку... Или пожелтевший от засухи листок упадет на землю, тихо поворачиваясь на лету.

И опять ненарушимая тишь...

Большие, грузные, приземистые кресты дремлют, покосившись к земле. Все они старые, все осьмиконечные, все покрыты лишаями и мохом до такой степени, что у некоторых самая форма креста исчезла под длинными, зеленовато-седыми лохмами.

В особенности один крест привлекает невольное внимание своим странным, суровым, почти страшным видом. В этом зеленом полусумраке, где редкие лучи, прорываясь сквозь темную зелень, только еще более скрадывают очертания предметов, — он напоминает гоголевского Вяя... Так и чудится что-то притаившееся, мрачное... Так и кажется, что приподымутся сейчас чьи-то тяжело нависшие веки, выглянут откуда-то мертвые взгляды...

А среди крестов, в тесноте жмутся еще неизвестные, скромные могилы, над которыми

торчат только шести с зарубками...

С тяжелым чувством пошел я назад... Очевидно, это раскольничье кладбище: страшный лохматый холмик и эти дикие деревья осенили могилы людей, которые некогда стремились в леса со своими темными, но страстными верованиями. Старые привычки живут долго... Нет уже прежних гонений, дома живых уже стоят на виду, на светлых полянах, давно расчищенных из-под леса, но жилища мертвых все еще ютятся в дикой чаще, ревниво скрывая свои следы...

Когда, раздумывая таким образом, я вступил опять на пугливую тропинку — передо мной, за далью речного плёса, открылся яр с расположенными на нем избушками Меринова. Оттуда заметили, мои рыскания, и часть берега, видная отсюда, походила на встревоженный муравейник, с толпящимися на дальнем берегу фигурами баб и ребятишек.

Это обстоятельство заставило меня отказаться от новой экскурсии за овраг, к вывороченному пню и пещере. Я спустился в лодку и поплыл далее, надеясь у кого-нибудь найти объяснение тайны этого места...

Плывем опять между пустынными берегами... Часа через два над нами проносятся избы деревни Взвоза. Тут нас провожают менее враждебными, но не менее удивленными взглядами, и вскоре опять — пустыня... Остроконечные ели рисуются темными зубчатыми вершинами, еще более омрачая берега... Русло реки темно, но плёсы теперь прямее. Керженец становится все красивее, но вместе и угрюмее, печальнее.

В одной из тихих заводей мы натыкаемся на человеческое существо. Под самым берегом приютился ботничок. В нем, вытянув босые ноги, сидит старик с удочкой. Он делает вид, что занят только поплавком, но в сущности его взгляд с тревожным неудовольствием следит за нашей лодкой. Лицо старика как-то болезненно красно; сквозь лохмотья сквозит голое тело. В ботнике, на скамьях уложены какие-то коробка и разное мелкое имущество: чайник, зазубренная чашка, котелок; в коробе, под неплотно прикрытую крышку виднеется какая-то рвань. Очевидно, этот оборванный старик весь тут, в этом ботничке, со всем своим имуществом.

— Здравствуйте...

Он усиленно вглядывается в свой поплавок, делая вид, что не слышит приветствия, но глаза его исподлобья, как чуткие зверьки, следят за нашими веслами. Видимо, он ожидает, что нас тотчас же пронесет мимо.

Но я решаю во что бы то ни стало узнать у него что-нибудь о таинственном кладбище. Мое весло вспенивает воду, и лодка причаливает к берегу рядом с его ботником.

— Здравствуйте, — повторяю я свое приветствие и, не ожидая ответа, спрашиваю:

— Далеко ли тут поворот к Оленевскому скиту?

— Далече...

И старик закидывает свою удочку на другую сторону.

— А сами вы откуда?.. Не из Меринова?

— Из Звозу...

Однако через некоторое время разговор все-таки завязывается, а затем несколько кусков сахара окончательно смягчают его, и отношения становятся более откровенными...

— Вы, верно, из солдат? — спрашиваю я.

— Из них... — отвечает он опять не очень

ОХОТНО.

— А зачем это у вас тут столько припасов... Звон ведь совсем недалеко... А тут на неделю...

— Не из Звону я... зря сказал вам. Бездомный я человек, неприютный. Тут у меня весь пожиток, тут и дом, ваше степенство. Недели по три и дыму из трубы не вижу... все на реке, все на ей, матушке, нахожуся...

— И хорошо?

— Хорошо, ваше степенство...

Болезненное лицо озаряется детской улыбкой.

— Теперь-то вот, видишь ты... главное дело соловья уже нету. А весной, — вот когда хорошо здесь: всякая тебе птица поет. Которая зачинает с утра, которая в день, которая по зорям... Весной больно хорошо это живет. Истинно благодать на реке, ваше степенство.

И на землистом лице пробивается что-то детское, почти счастливое...

— А зимой?

Слабый луч в его глазах угасает...

— Что ж... Зимой... Зимой кой-как в Семёнове околачиваюсь... Не чаешь весны дожждаться...

Он надевает на крючок нового червяка и говорит глухо:

— Простуженный я человек, ваше степенство. Хворый человек. Мне по миру ходить — тру-удно... Ну, река-матушка кормит... И куском не попрекает... Сыт ли, голоден ли, все от нее... Ну, и опять — воздух вольный... Птица тебя утешает... Зори господни светят... Так и живу... Где причалил ботничок, тут и дом... Дождь пойдет, — выволок ладью на берег, прикрылся...

Он посмотрел вдоль плёса, и опять лицо его осветилось...

— Вся река моя... Подамся кверху, — спущусь книзу... Никто не препятствует... Тут меня знают... Выеду весной, — встречают: «Что, мол, дядя Ахрамей, — жив еще, не окачурился?»... Ну, мол, зиму прожил, — лето мое...

— Скажите мне, дядя Вахрамей, что это тут пониже Меринова на горке?..

— Что такое? Чему тут быть?.. А, знаю, про что ты это... Это у них называемая Городинка... Кладбища ихняя...

Он опять шлепнул поплавком и сказал, помахивая головой и улыбаясь:

— Раскольники...

И, понизив голос, как будто кто нас может услышать, он наклонился ко мне с своей лодки.

— Злы-ы-е... В пальцах божество разбирают... Ну, мое тут не дело. Мое дело сторона... Переночевал когда, покормят, — ладно, а нет, и на том спасибо. Помру, — хороните где сохчете... Все одно лежать-то...

Он опять тихонько засмеялся.

— Недавно наезжали тут начальники... Поп тут у них был, беглый... Захватили его... Давно, мол, добирались... Ну, хоронился по скитам да по лесам... Теперь схватили...

И, помолчав, он прибавил спокойно:

— Издаля на Городинку хорониться приезжают... С Волги, от Козьмы-Дамьяна, из Городца... Да, да... Городинка это у них... Кладбища... Прощайте-ко... Поплыву в деревню. Кум тут у меня, старичок... Червяков обещал накопать. Вишь, сухмень какая... Червяк весь в землю ушел.

Он тихо тронул послушную лодку, отплыл несколько сажений и вдруг повернулся ко мне:



— А в Оленевский скит я вас научу, как по-  
пасть: увидите вы на реке старые столбы, —  
мельница была когда-то, еще до разорения.  
Тут, поблиз шуму, — тропочка в лес побежа-  
ла. Ступайте этой тропочкой все, минуя до-  
рог... Версты две до скита, не больше. Кочета  
поют у них, у стариц-те.

Он улыбнулся, точно воспоминание о ко-  
четах доставляло ему особенное удоволь-  
ствие, и, опять отъехав несколько саженой,  
вновь повернул блаженно и глуповато улыба-  
ющееся лицо:

— Пониже Санохты-реки. Не доезжая шу-  
му... Кочета, кочета поют!..

Через несколько минут его лодка виснет  
темным пятнышком на синей полосе реки  
между отражением темных береговых лесов...

А навстречу попадается другая.

Мужик, повидимому из Взвоза, перестает  
грести, отчего его лодочка идет некоторое  
время по течению рядом с нашей, — и с любо-  
пытством осматривает нас.

— О Ахрамеем нашим беседовали? — гово-  
рит он благодушно.

— А он разве ваш?

— Семеновский, а уж так, слово говорит-ся... Да, пожалуй, наш и есть. С весны к нам все заявляется, — прибавляет он, снисходительно улыбаясь. — Поудит да полежит на песочке, опять поудит да опять полежит. Так все время и провождает... Иной раз, когда клеву нет, — до того доудится, что вовсе оголодает. Сутки по две не евши живал, ей-богу... А чтобы попросить, — это в редкость...

— А вреда не делает никакого?

— Ка-акой вред от него! Огонек когда разведет, так и то на песочке, от лесу-то подальше. Нет, — от других, может, бывало, а от этого старика мы не видали худого...

— А что это у вас тут на холме, пониже деревни? Кладбище старое?..

— Да, кладбища... — сухо отвечает он, и его весло опускается в воду. Через две — три минуты его лодочка тоже виснет в синем пространстве меж темными полосами берега...

## VI

# По Керженцу. — В Оленевском скиту и у «единоверцев»

### 1

**М**Ы плывем долго. Солнце давно перекочвало из-за лесов левого берега за леса правого. Какая-то река с правой стороны. Вероятно, Санохта... Еще речка Чернуха. А вот и «шум»... Керженец круто поворачивает под прямым углом влево, обмывая бурным течением старые, сгнившие столбы, напирая на поперечные коряги и наполняя это пустынное место таким шумом, грохотом и плеском, точно старая скитская мельница, давно исчезнувшая со света, все еще работает своими валами и жерновами. Опять нашу лодку взмывает, кидает бортами на столбы, ворочает, крутит, подымает и, наконец, выносит к крутой песчаной насыпи, белой, как снег, и покрытой по гребню широкими листьями мать-мачехи. Высокие сосны с прямыми стволами, перехваченными огненно-красными просветами, спокойно отражают этот шум

своими густыми вершинами...

Я смотрю на часы. Шесть. Солнце мигает довольно низко сквозь зелень леса, в воздухе чувствуется охлаждение, и брызги от «шума», переходя в легкий туман, тянутся холодной лентой под тенью обрывистых берегов. Перспектива ночевки на берегу, в наших более чем легких одеждах, не представляется особенно приятной. Надо бы доплыть к ночи до деревни. Но я не могу отказать себе в желании кинуть хотя бы поверхностный взгляд на умирающий Оленевский скит. К тому же у меня мелькает надежда, что, быть может, оленевские старицы предложат странникам гостеприимство. Поэтому я оставляю мальчиков у лодки, где они тотчас же ложатся и почти мгновенно засыпают, а сам углубляюсь в бор...

Узкая, едва заметная тропинка. Иду долго меж прямых, как свечи, высоких сосен. «Шум» давно стих за мною, и лишь порою пробегает по лесу какое-то чуждое ему бормотание... Дорожки сходятся и расходятся, сплетаясь сеткой.

Видно, когда-то здесь было больше движе-

ния; тропы к скиту тоже отмирают постепенно и затягиваются молодой лесною порослью...

Я прислушиваюсь, — не услышу ли кочетов, о которых так настойчиво твердил Ахрамей. Но всюду тихо. Тонкие, прямые стволы уходят вдаль, мелькая одни за другими беспорядочной колоннадой. Заяц выскочил в нескольких шагах и уселся на дорожке, наставив уши и глядя своими удивленными круглыми глазами на неизвестного пришельца. При моем приближении он опять побежал, тихо, не торопясь, смешно подкидывая задом. Затем опять повернулся и опять встречает меня любопытным взглядом. Этот маневр повторялся несколько раз, и наконец, оскорбленный моим настойчивым преследованием, он стрелой пустился в чащу.

Шуршание колес и легкое потрескивание телеги. Встречный мужик не особенно охотно и, видимо, взвешивая слова, указал мне дорогу. Затем он долго смотрит мне вслед, пока я не скрываюсь между стволами.

Минут через двадцать я увидел огороженное ржаное поле, и затем передо мной откры-

лась широкая поляна. Большие, — но старые, печального вида избы жмутся кругом у леса, оставляя в середине широкий пустырь. Невдалеке, за городьбой, пахарь понукает свою лошадь, проводя борозду, быть может, на месте прежних зданий.

Невдалеке купа печальных берез и осин осеняет убогое кладбище; кругом земля изрыта. Должно быть, на этом месте стояла когда-то моленная... Кладбище имеет вид запущенный и печальный. Лучший крест покосился и грозит падением, надпись на нем окончательно стерлась, а другие могилы представляют беспорядочные кучки, наваленные из глины, изрытые и обезображенные дождями...

Когда я оглянулся кругом, — пахарь куда-то исчез, и скит казался действительно вымершим. Тень от леса легла по всей поляне, покрывая и как-то стушевывая скитские избы. Деревья кладбища тихо шептали мне какую-то непонятную повесть...

Осмотревшись внимательнее; я увидел, что за мной и моими движениями следят две пары глаз. С одной стороны, из-за дальнего

плетня высунулась голова женщины в темном платке, надетом по-скитски в распуск. Заметив, что я обратил на нее внимание, она тотчас же скрылась. С другой, поближе, торчала над плетнем голова мужика с черной шапкой волос, и с живыми маленькими глазами. Я прямо направился к нему и решительно взял его в плен, отрезав отступление.

Это был крепкий мужчина, лет сорока, черный, как жук, с выдавшимися мясистыми скулами, между которыми утопали в густой заросли маленький нос и красные губы. Глаза его, тоже маленькие, но очень блестящие, выражали какое-то особенное смирение, или, вернее, боязливость, смешанную с недоброжелательством и, пожалуй, презрением.

— Ну? — спросил он, вместо приветствия, неохотно выйдя из-за плетня.

— Здравствуйте.

— Ну? — повторил он так же неприветливо, почти враждебно.

— Это Оленевский скит?

— Это... — Он пронизал меня острым взглядом с головы до ног и прибавил: — Ноне скитов уже нет. Унистожены. Крестьяне мы пи-

шемся. А вы чьи будете? Нижегородский?.. Так. Вам к старцами-те, может быть, так вот дорога, пожалуйста. Верст будет пятнадцать.

«К старцами» — это значит в Керженский монастырь, изменивший древнему благочестию и приставший к единоверию.

— Нет, мне надо на реку, там у меня лодка ждет.

— Лодка-а... А в лодке-те кто?

— Товарищи.

— Так...

Маленькие глазки сверлят меня, стараясь насквозь проникнуть мои намерения.

— А здесь кого вам надо, в скиту-те?

— Просто зашел посмотреть.

— Насчет чего более? Чего у нас смотреть?.. Смотреть у нас нечего будто...

— Да так, любопытно... Вы не беспокойтесь. Ничего мне не нужно, и пришел я без всякого дела. Думал, может быть... переночевать старицы пустят... До ночлега плыть еще долго.

Он еще раз оглядывает меня и, повидимому, становится несколько спокойнее... Но намек насчет ночлега остается без ответа.



— Много у вас стариц еще? — спрашиваю я опять.

— Стариц-то? Мало. Прежде много было, теперь примерли... А новых-те нет, не идут...

— Не дозволено?

— Чего не дозволено?.. Земля на нас писана... Можем мы дарить, кому похотим.

Он потупился и потом сказал угрюмо и печально:

— Усердия мало. Нет в нонешнем народе усердия. Старики помирают, молодые не идут... Не надо им...

Мы оба помолчали и, кажется, думали об одном и том же. «Усердия мало...» — этот мотив я часто слышал от многих людей старинного обряда на Волге.

И теперь, на скитском пепелище, он прозвучал как-то особенно выразительно... Умирает исконная старая Русь... Русь древлего благочестия, Русь потемневших ликов, Русь старых исправленных книг, Русь скитов и пустынного жития, Русь старой буквы и старого обряда, Русь, полная отворачивания к новшествам и басурманской науке... Умирает старая Русь, так стойко державшаяся своим фанати-

ческим усердием против не менее фанатического утеснения... Теперь она умирает тихою смертью, под широким веянием иного духа... Гонения она выдержала. Не может выдержать равнодушия...

Вероятно, мысли моего черного собеседника были недалеко от моих...

Он тоже стоял, задумчиво глядя на поляну, на которой ветер колыхал сухую траву, — и эта молчаливая минута как будто несколько сблизила нас.

— Это все, — сказал он, тряхнув шапкой черных волос, — это все жильё было кругом. А ныне пустырь. Вон пашню я распахал... тоже избы стояли. А мы помрем, может, и пахать будет некому, — лес опять порастет...

— А вы «раззорение» помните?

— Мальчонком был. Много лет делу-то этому.

— Мельников?

— Он.

И опять наши взгляды молчаливо скользят по рытвинам, поросшим травой, и веяние смерти особенно ясно чувствуется мне на этой поляне, с оголенным кладбищем в середине. Ка-

залось, даже в тихом и протяжном звоне леса слышится похоронный напев: «Во блаженном успении вечный покой»...

Мой собеседник вывел меня из задумчивости:

— Пожалуйста, — сказал он. — Я укажу дорогу. Вам, говорите, к реке?

Я оставил мысли о ночлеге в скиту. Мне надо было приехать сюда с колокольцами или притти с старой формулой древле-благочестивого приветания... И в том, и в другом случае скит встретил бы меня радушно, — как сильного врага или как союзника... Но я не пришел ни с тем, ни с другим. Я принес с собой только наблюдательность, и скит холодно замыкался передо мной, быть может, чувствуя во мне именно то новое, третье, которое идет на старую веру... И «быша последняя горше первых».

Очень может быть, что ничего подобного и не было в уме моего собеседника, но таково было мое ощущение. Указав мне дорогу, он вернулся опять к своей лошади и стал доканчивать борозду. А я остановился на краю полянки и залюбовался тихой печальной карти-

ной. Если бы я был живописцем, я непременно изобразил бы эту поляну с сиротливыми избами, эти вечерние тени густого леса, эти последние лучи солнца, тихо умирающие на березках кладбища... И черный мужик, угрюмый и печальный, склонясь над сохой, проводил бы борозду за бороздой, заравнивая собственной рукой место, где некогда жила и процветала его вера...

\* \* \*

Когда я выбрался, наконец, на песчаный холмик над Керженцем, река совсем похолодела и только по самым высоким вершинам бора еще скользили, уходя на покой, красноватые отблески солнца. Мальчики крепко спали на песке и долго не могли притти в себя, глядя с удивлением на реку, на пороги старой мельницы, на тихо шумевшие сосны...

Я пустил лодку по течению и смотрел, как мимо меня уплывали назад спящие берега, леса, пески и отмели, как вверху загорались одна за другой звезды, и холодный туман тянулся поперек русла, играя фантастическими отблесками звездных лучей. Откуда-то издали и как будто сзади доносился лай собаки,

заглушаемый шорохом леса. Это, вероятно, в большом селе Хахалах, которое было обозначено на моей карте. Еще далеко... Особенно для нашей лодки, связанной с причудливыми изгибами темного керженецкого русла...

Мои юноши устали за день и теперь спали на дне лодки, которая продолжала тихо нестись над черной глубиной реки... Вдруг лодка затрепетала, точно кто-то со дна подбросил ее кверху, и накренилась... Один из мальчиков проснулся, приподнялся и сказал сонным голосом:

— Благодарю вас. Я не хочу чая. Дайте мне, пожалуйста, одеяло...

Но никто не предлагал бедному юноше ни чаю, ни одеяла... Целый лес ветвей, корней, стволов тянулся к нам со всех сторон, толкая и кидая лодку в разные стороны. Впереди, на повороте, сомкнулись темные елки, сзади слабо светился просвет пройденного плёса, белели береговые пески, а кругом, изломанные, корявые, кривые, виднелись, точно гигантские щупальца спрутов, ветки утопленников-деревьев. Река казалась особенно угрюмой и сознательно враждебной вроде кош-

марного сна. Чтобы опять вернуться к действительности, предлагавшей ему и чаю и одеяло, — юноша упал на дно лодки и захрапел, а я стал с трудом выбираться из каршей, чтобы вернуться к только что пройденным пескам. Плыть в такой темноте дальше не было никакой возможности...

В эту ночь, как я узнал впоследствии, термометр в первый еще раз в это лето упал до десяти градусов. Песок отсырел; туман, сгущаясь, быстро бежал по реке, как будто торопясь куда-то, — и мгlistые, смутно вьющиеся клубы его исчезали в темной кривуле, откуда я сейчас выбрался. Я устал, мне было холодно, скучно, тоскливо на пустой отмели, и зрелище этого бега туманных призраков еще усиливало эту тоску...

С помощью топора, которым я запасся еще в начале пути, я срубил две сухостойные осинки, вытащил их из чащи и не без труда развел на берегу порядочный костер. Кое-как, то и дело просыпаясь от холода и сырости, мы провели на берегу Кёрженца эту первую за лето холодную, почти осеннюю ночь.

Раннее утро... Туман, скрывавший даже

близкий лес противоположного берега, совершенно поглотил солнце. На траве и кустах — белая роса, как иней. Наш костер погас, и только белая струйка дыма тянулась к реке. Мои спутники глядели хмуро, и у всех нас была одна мысль: ближайшее село, Хахалы, является последним пунктом, где еще можно нанять лошадей до Нижнего. А там — трудно сказать, сколько еще дней усталости и таких же приятных ночлегов ждут нас в самой пустынной части Кёрженца, пока мы доплывем до цивилизованной Волги. Я вспомнил свои недавние размышления о торных дорогах и о романтической прелести «пустынных мест» — и должен был согласиться, что торные пути имеют тоже свои преимущества.

В одиннадцать часов солнце сияло во всем блеске, река сверкала, и последняя сырость наиболее закрытых полянок курилась, исчезая в лучах яркого солнца, когда мы подплыли к Хахалам.

Большое, село, растянувшееся длинной линией домов по высокому, дугой зачерченному берегу Кёрженца. Оно соединено прямой и удобной дорогой с Нижним. Здесь живет ка-

зенный лесничий, с которым мне советовал повидаться А. С. Гациский, и на берегу мы увидели дамский зонтик. Мы реставрировали свою ладью, несколько пострадавшую на каршах, отдохнули и уже не думали о прямой дороге на Нижний.

В три часа — мимо нашей лодочки потянулись опять пустынные берега, причудливые изгибы реки. Одни облака, проплывая в пространстве между гребнями леса, напоминают о том, что есть где-то широкий разнообразный мир, кроме этой узенькой щели, по которой мы несемся, слушая плеск воды и тихие шорохи леса.

## 2

Один за другим несколько ударов колокола, сорвавшись с пустого, как нам казалось, берега, пали неожиданно на реку и понеслись по лесам. В то же время верхушка колокольни показалась над обрывом из-за поредевшей зелени...

Перед нами был керженский единоверческий монастырь.

Может быть, это объясняется неожиданностью, пустынностью обстановки, аккомпане-



ментом лесного шороха, смутными образами минувшего раскольничьего жития, витавшими над этими местами, но только мне показалось, что никогда еще я не слышал подобного звона. Чистый, высокий, он звенел как-то особенно тихо и будто осторожно. Точно пробираясь на склоне дня по лесам, по ветроломам и чащам, он бережно разыскивал кого-то, кого-то звал и вместе избегал чужого враждебного слуха. «Раскольничий колокол», — подумал я невольно. Правда, колокольный звон был воспрещен в скитах и заменялся клепаньем. Клепали в малое дерево, в большое дерево да в чугунное клепало... Но, очевидно, трудно было вовсе отказаться от медного звона, и действительно, по объяснению иноков керженской обители, колокол, прозвеневший нам навстречу над тихой рекой, висел когда-то на колокольне Комаровского скита и осторожно позванивал в глуши лесов даже во времена лютых гонений... «Старая вера» знала секрет укрощения всякой лютости...[8]

Пришли времена разорения, исчезли скиты, погиб первоначальный Шарпан, родовитый Улангер, — и не осталось от них бревна

на бревне; погибло Оленево, Чернуха, Комарово. Стены раскатыны, расточено имущество, конфискованы святыни, верные разосланы и рассеялись...

А некоторые вняли призыву «новой прелести». Новое веяние терпимости к обрядовым различиям, как ветер, подхватывающий зерно на гумне, захватило и выделило из раскольничьей массы людей, склонившихся к «единоверию». Из этих-то представителей вероисповедного компромисса, — «храмцов на обе плесне», как называют их старообрядцы, образовалась обитель на берегу Керженца, и с ее колокольни звонит непокорный, некогда раскольничий, а ныне «обращенный», или, вернее, пленный колокол.

И керженские леса безучастно внимают этому звону. Разве где-нибудь в чаще, пробираясь зарастающей скитской тропой, оставшаяся попрежнему верной древлему благочестию, вздохнет чья-нибудь старая грудь, да сухая рука с двуперстным сложением подымет-ся не то для молитвы, не то с угрозой.

\* \* \*

Две бабы, — жницы монастырского хле-

ба, — мирно плескались в воде у парома. Увидев нашу лодку, выплывшую из-за песчаной отмели, они сначала несколько растерялись, но затем, очевидно сочтя нужным отдать некоторую дань стыдливости, вышли обе на плот, где в это время какой-то белец в подряснике черпал ведерком воду. Но так как наша лодка пристала к тому же парому, то стыдливость вынуждена была ограничиться этой более чем скудной данью, и обе наяды спокойно приняли участие в наших переговорах с бельцом, одна — стоя по колени в воде, другая — сидя на корточках и высунув голову из-под наскоро надетой рубахи.

— Можно посмотреть монастырь и напиться где-нибудь чаю?

— Монастырь-от?.. Чаю-те?..

Он поставил ведерко, приподнял старую скуфейку и почесал голову.

— А вы чьё будете?

— Нижегородские...

— Самовар у отца Евгения есть, — сказала одна из баб.

— Да он не по ягоды ли подрал? — усумнилась другая.

— Молчите вы, бабы!.. Подите, а вы, вон той тропочкой, мимо хлебов, к монастырю. А я вперед забегу. Самовар есть, как не быть самовару...

— Да вон и сам Евгений тащитця, — промолвила одна из купальщиц, успевших уже облачиться, между тем как мы доставали из лодки свои котомки.

Действительно, по берегу навстречу нам подвигалась высокая, сторбленная фигура. Отец Евгений шел босиком, в белой длинной рубахе, ничем не подпоясанной, в белых коротких портах, оставлявших на виду босые, мозолистые ноги. На голове у него была старенькая скуфейка, на груди висел четырехугольный шелковый плат с надписью славянскими буквами: «Аз язвы господа моего ношу на теле моем». Без этих принадлежностей очень трудно было бы в этой простой мужицкой фигуре признать иеромонаха. Он оглядел нас своими старыми глазами и радушно пригласил следовать за собой к отцу Стахию[9], от которого, за отъездом настоятеля, зависело показать нам достопримечательности обители.

В небольшом домике, с липами у крыльца, мы застали отца Стахия в скуфье и полумантии, собиравшегося к вечерне.

Лицо его было очень красно, воспаленные глаза как-то слезились и вообще выражали страдание...

— Хворь у нас, — сказал он после первых приветствий охрипшим голосом, — всех переверочала; просто ни в живых, ни в мертвых. Я-то вот хоть на ногах нахожуся... А прочие старцы в лежку лежали. Беды!.. Монастырь осмотреть?..

Он смущенно посмотрел на нас и на отца Евгения и сказал нерешительно:

— Можно, можно... Настоятеля-те нету, он бы вам все показал... Что ж, посмотрите, пожалуй... Небогата обитель наша... пожалуй, можно так сказать, что и смотреть-то нечего...

Мутные глаза отца Стахия уставились в меня как будто с надеждой: быть может я соглашусь, что смотреть, в их обители нечего... Но я почтительно настаивал. Отец Стахий вздохнул, подумал о чем-то. Его быстрый взгляд еще раз скользнул по мне пытливо и

тревожно.

— А вы... не осудите?.. — спросил он робко.

— Да за что же, батюшка? — спросил я сначала с искренним удивлением. Потом наши глаза встретились... Я посмотрел на равнодушно суровое лицо отца Евгения и понял, какая хворь перебрала чуть не всех этих немощных старцев в отсутствие недавно назначенного строгого настоятеля...

Отец Стахий отвернулся и сказал тихо с робким смирением:

— Грех осуждать-то... Охо-хо-о.... Немощь человеческая... А осуждать... тяжкий грех.

И мы стали осматривать обитель. Действительно, она представляла немного достопримечательного в общепринятом смысле. В ней не было ни богатства, ни того особого налета почтенной старины, который заметен порой на убогих монастырьках русских захолустьев... Основанная в сороквосьми годах, в разгар борьбы с «расколом», она как будто еще не успела приобрести определенной физиономии. Небольшой двор, обнесенный стенами, убогие, хотя и чистенькие, кельи, скромная трапеза, две церкви — зимняя и летняя...

да несколько могил...

Эти могилы, пожалуй, и были наибольшей достопримечательностью единоверческого монастыря. Особенно одна, стоящая отдельно, как будто чуждавшаяся общения с остальными. Она была выложена камнем и покрыта чугунной плитой.

Заметив, что я смотрю на нее с невольным интересом, отец Стахий пояснил:

— А это — старец тут покоится один. Друг был нашему Тарасию. Когда братия решила обратиться к единоверию, — он не пожелал, остался в старой вере...

— Почему же он здесь похоронен?

— Да он и жил в обители-то, по дружбе с настоятелем... упорный старец был, каменный... устоял даже и до смерти...

Отец Стахий потупился, и во всей его фигуре опять промелькнуло выражение, с каким он говорил о немощи и неосуждении.

Я тоже остановился в невольном раздумии перед могилой. В ней было что-то суровое и вместе значительное... Она стоит одиноко, на гладко утоптанном дворе, вдали от других гробниц и даже от могилы его друга, настоя-

теля Тарасия, который через малое время последовал за ним... Как будто и после смерти упрямый старец отстраняется и шлет немой протест в среду обратившихся...

Мне показалось, что эта гробница сосредоточила для меня неясные ощущения, которые веяли над этой единоверческой обителью. Какая драма улеглась и покрылась этой плитой? Какую горечь сложил ты сюда, старец Пафнутий, видевший на склоне дней, как рушилось кругом то, за что ты боролся, — рушилось, исчезало, развеивалось, точно дым угасающего кадила, — и даже дружбу свою вынужденный искать в изменившем лагере? Какими упреками была отравлена эта дружба, о чем говорили старцы перед вечной разлукой?.. Да, если столетия спокойной, невозмутимой веры откладывали в ризницах и казнохранилищах других монастырей веками накопившиеся сокровища и святыни, то здесь, над скромными кельями и небогатыми церковками, веет еще трепещущая жизнью недавняя драма. Здесь все еще говорит о недавней борьбе убеждений, о страстных столкновениях, о тяжелых сомнениях и колебании смущенных



совестей... Отголоски этой борьбы как будто не замерли еще и витают вокруг одинокой могилы среди двора, обнесенного оградой, с заглядывающими из-за нее верхушками керженского леса.

— Иконы у нас из скитских часовен больше, — спокойно говорил отец Стахий, показывая мне внутренность церкви. — Вот эта из Комáрова, эта из Улáнгера, а вот это — особо чтимая, высокого старинного письма икона Казанские богоматери, прежде бывшая в Шáрпане.

— Та, что по преданию вышла из Соловецкого монастыря?

— Она...

Я с невольным уважением присматриваюсь к знаменитой иконе «старинного высокого письма». В этом письме не видно ни свободного вдохновения, ни творческого художественного полета; это не произведение искусства, а плод некоего аскетического, молитвенного подвига. Не фантазия, а благоговение и преклонение перед старинными преданиями водили рукой иконописца; но все-таки это сухое письмо не вполне безжизненно и не без-

молвно. Краски здесь растирались с молитвою, каждая черта проводилась с благоговением, каждая складка получала определенное, чуть не символическое значение. Грустно это настроение, даже, пожалуй, мрачно и темно, как старый свод, освещенный тусклой лампадой, — но все же здесь чувствуется какое-то могучее сосредоточение, точно заколдованная дремота скованного гиганта...

Вот оно, бывшее знамя Керженца!..

Во времена соловецкого стояния поднялась эта икона из обители, накануне ее разорения, и повела за собой старца Арсения. Расступались перед иноком леса, просыхали реки, а икона неслась по воздуху все вперед, пока не достигла керженской лесной пустыни. Здесь она опустилась, и дремучий лес покрыл ее своею зеленою сенью... Невдалеке от этого места стал Шарпан — первый керженский скит.

Таково предание, приведенное у Мельникова. Вокруг Шарпана возникли другие обители, и пустыня лесная процвела, яко крин, древним благочестием. И было в скитах поверие: доколе стоит икона, до тех пор стоять и

скитам. Когда же склонится и падет в руки врагов скитское знамя — конец райскому житию: запустеют обители, а вскоре не укусят господь положить предел и временам и летам.

Наивная вера, но все-таки вера, темные, детские убеждения, но все-таки это были убеждения! Прочитайте у Мельникова те главы, где он рисует прелестный, истинно женственный и величавый образ матери Августы, игуменьи Шарпанской обители. Пошли уже по обители смутные, сполошные слухи; пишут Дрягины, пишут Громы: быть беде. Матери совещаются, матери убирают скитское добро в безопасные места, матери соборуют о грядущей невзгоде. Идет гроза от столицы на керженские тихие пустыни... Идет, и уже слышны ее раскаты...

Но мать Августа не желает совеща́ться, отказывается принимать участие в соборах, а, на соборное постановление — «изнести» икону в безопасное место — отвечает холодно и спокойно:

— Апричь воли господней ничьей над собою воли не знаю...

Среди раскатов надвигающейся грозы, среди всеобщего шатания и малодушия — ее спокойные глаза устремлены на порученную ей охране икону. В этом взгляде — безмятежная вера, ясное упование, вся пламенная любовь горячего женского сердца. Зачем ей предосторожности, зачем ей спасение и тихие пристанища? Пока стоит мир — стоит и ее знамя. А как только владычица допустит ему склониться и пасть, — «не укусит господь положить предел временам и летам»...

Так рисует Мельников, — злой разоритель, но вместе крупный художник, — мать Августу, шарпанскую настоятельницу. Вот какая любовь и какая вера покоилась на иконе «высокого письма», которую показал мне отец Стахий! А ведь Мельников, как известно, писал с натуры...

И вот икона, вместе с другими обломками, уцелевшими от невзгоды, — в руках единоверцев... А времена и лета стоят, как стояли, мир остается на своих устоях, «падает усердие» и время бесстрастно стирает мертвящей рукой самую память о прошлом процветании благочестия...

Старицы, оставшиеся еще в живых, приезжают в единовенческую обитель и, выждав, когда монахи отправят свою службу, приходят к иконе, зажигают свои свечи, поют свои молитвы, вспоминают и плачут...

Да, пусть темны скитские взгляды, пусть их убеждения — не наши... Но чувства этих старик, плачущих у плененной святыни, среди равнодушного мира, найдут отклик во всяком сердце, а их судьба — судьба многих убеждений, с тех пор, как люди борются за мнения, а мир стоит, храня безмолвно важнейшие тайны жизни и смерти...

Когда мы кончали осмотр, к отцу Стахию подошел молодой послушник. Это был почти еще юноша, худощавый, с глубокими черными глазами, как на византийской иконе.

— Благослови начинать, отче... — сказал он, остановившись и не глядя на нас.

— Бог благословит, начинайте, — сказал отец Стахий торопливо и с оттенком присущей ему стыдливой робости.

Послушник не двигался и как будто ждал чего-то... В тени дерева, у кельи отсутствующего настоятеля, на столе кипел хорошо вы-

чищенный самовар, только что принесенной послушником. Лучи солнца, прорываясь сквозь листву, играли пятнами на самоваре, на стаканах, на скатерти, которая в тени казалась фиолетовой, на розовой бутылке наливки, которую мой племянник вынул из нашей дорожной сумки.

— Может быть, отец Стахий, откушаете с нами? — предложил я.

— Спасибо, — отвечал отец Стахий. — Если предложите... не откажусь... Ну, иди, иди! — сказал он послушнику, темная фигура которого рисовалась в стороне резким силуэтом... Молодой человек мгновение колебался, потом повернулся и пошел к открытой двери церкви.

Мы расположились под деревом, и у нас началась благодушная беседа. После первой же рюмки наливки отец Стахий оживился, с него сошли признаки угнетения и робости, и он оказался очень приятным собеседником... Благодушное настроение его омрачалось только от времени до времени появлением в нашем уголке темной фигуры послушника, который подходил, останавливался сумрач-

ною тенью в стороне и произносил сурово:

— Отче... начали без вас.

В другой раз:

— Отче... Отчитали... Вам возглашать...

Отец Стахий досадливо отмахивался и говорил:

— Продолжайте... Ладно... Приду, возглашу!

Послушник стоял некоторое время, как будто ему было трудно оторвать ноги от земли, но потом уходил. И в его походке чувствовалась укоризна...

Мы продолжали мирную беседу, под звуки нескладного столпового напева, доносившегося из открытых дверей храма. Пели два — три голоса в унисон и несколько гнусаво...

— Скажите, пожалуйста, — спросил я у отца Стахия, — монастырь ваш штатный или общежительный?

— Общежительный, — ответил он и вздохнул. — Хотели жалование положить от синода... Да вот видите... настоятель у нас человек строгий... Отказался.

— Отчего?

Отец Стахий налил на блюдечко чай, долго

смотрел на него и потом ответил, тонко улыбнувшись:

— Видите... нецыи и без того утверждают, будто единоверие — ловушка, а мы, дескать, попались в нее по неразумию и... ох-хо-хо-о... прости господи, по немощи... Так вот... не очень это уважают, что единоверцам пользоваться еще и награждением... Поняли?..

— А добрыхотных пожертвований мало?

— Мало, — сказал он.

Я ждал обычного конца подобной фразы и дождался:

— Усердия мало в нонешнем народе, — добавил отец-казначей со вздохом и торопливо опрокинул свою чашку на блюдечко, положил наверх кусочек сахара и отодвинул от себя.

К нам вновь приближался суровый молодой послушник... На этот раз фигура его была вся — безмолвная укоризна. Остановившись опять в нескольких шагах, он сказал с особенной суровостью:

— Кончили, отец Стахий... Благословите запирать церковь?..

Отец Стахий с стыдливой поспешностью



поднялся с места:

— Иду, иду... Не запирай...

Он торопливо попрощался с нами и пошел к паперти. Мрачный юноша следовал за ним.

Со стола убрали. Мои племянники стали укладывать котомку, а я зашел перед отъездом в церковь...

Она была пуста... Молящихся не было; вечерня отошла при пустом храме, и теперь немногие, участвовавшие в ней, уходили... Только мрачный послушник стоял неподвижно на клиросе, и отец Стахий возглашал, уходил в алтарь, появлялся оттуда, кадил перед иконами и опять возглашал один, предоставляя господу богу привести это в должный порядок... яко же ты, господи, веси.

Взглянув на меня, отец Стахий отвернул глаза и «завозглашал» торопливее.

Мы плыли уже по реке, а передо мною все носился образ сурового послушника, отдельная могила каменного старца и растерянно просящий прощения взгляд отца Стахия:

— Охо-хо-хо!.. Немошь человеческая... Не осудите... Осуждать грех, — слышалось мне под суровый шопот темнеющих керженских

лесов...

Но керженские леса, помнящие крепкое стояние древних подвижников, как будто осуждали... [10]

## VII

### Ночная буря. — Лесные люди

— До Лыкова в час один сомчитесь, — говорил нам в монастыре отец Стахий. — Там найдете спокойный ночлег и самоварчик.

Но отец Евгений смотрел на низкое солнце и сомнительно качал головой.

— Навряд, что доехать. Пожалуй, ночевали бы лучше у нас... Солнце-то низко, да и облака туманятся, — не быть бы грозе...

Мы не послушались, и вот плывем долго, а Лыкова все не видать. На реке смеркается. Сначала темнеют отражения лесов, и под берегами трудно уже разглядеть изменнические карши, если только их не выдаст серебряная струйка течения. Потом одеваются густым сумраком самые леса, берега, мерцающая глубина реки... На небе с одной стороны

угасает зарево заката, с другой — из-за гребней леса медленно разворачивается туча. Из-под нее дохнул ветер, и вместе с тенями пробежали по лесу пугливые шорохи, то замирая вдали, то кидаясь с одного берега на другой и провожая нашу лодку.

Потом и ветер стихает. Леса не шелохнут листом, и торопливые удары наших весел одни отдаются эхом от берегов. Лодка тяжело режет воду, вода кипит под килем, и кажется, будто даже наша кривобокая ладья торопливо рвется вперед из-под каждого взмаха весел...

Первая зарница еще неуверенно вспыхивает далеко за гребнем лесов и пробирается ввысь по грядам облаков... За ней другая, третья... Карши, торчащие из черной речной глубины, встают ясно все до одной...

Леса взглядывают на мгновение, бледные от испуга, — и все опять гаснет... Мы плывем наудачу, так как темнота кажется после зарниц еще гуще. Потом уже настоящие молнии вспыхивают где-то за лесами, пробивая в них пламенные просветы, и после этого островерхие ели смыкаются в таинственную еще бо-

лее темную массу...

Мы налегаем на весла, — авось, за ближайшим мысом блеснут огни Никольского-Лыкова. Но лодка все вьется из кривули в кривулю, наудачу минуя карши, ломы, задевы, а перед нами только темные стены лесов, да река, озаряемая синими вспышками. Туча развертывается все шире... Ее движения не видно, но мне чудится какой-то особенный тихий шорох; светлые клочки неба исчезают одни за другими; мерцает еще одна яркая звезда на юго-западе, в той стороне, где, быть может, в эту минуту кто-нибудь вспоминает о нас, не подозревая, с какой лихорадочной торопливостью наша одинокая лодка мчится под вспышками синих зарниц... На реке черно, как в могиле. Глаз жадно ищет огонька, но каждый поворот обманывает наши надежды... Лапы затонувших деревьев бьют порой по лицу. Со дна глухо стучаются в лодку то опасный «кобел», задерживающий даже плоты в полую воду, то поперечный «задев», то песчаная мель.

Вдруг лодка натывается на что-то. Молния освещает бревно, другое, целые плоты, раз-

брошенные в беспорядке и загромождающие русло; я сворачиваю, но лодка продолжает стукаться носом в бревна, как муха, попавшая на стекло; при свете молнии я направляю ее в проток; минута, — и лодка наша с тихим шипящим вздохом садится на песчаную мель.

Очевидно, прохода нет, а буря близится. Сзади движется уже даже не туча, а какая-то бесформенная мглистая тьма, кипящая огнями...

В дальних лесах стоит глухой гул, какое-то неразборчивое бормотание...

Я отправляюсь на поиски прохода, выхожу на какие-то острова, пробираюсь сквозь кусты, всхожу на бревна плота, надеюсь найти свободную дорогу нашей лодочке. Сгоряча, прыгая с бревна на бревно, пробегаю на середину плота и вдруг совершенно неожиданно погружаюсь в воду: ничем не связанные бревна разошлись под моими ногами, и кругом меня стоит тревожное движение... бревна колеблются, сдавливают, толкают, вертятся, ускользают из-под рук, мешают выбраться... Намокшая одежда тяжела, а под ногой не чувствуется дна... Кругом замолкший лес, ввер-

ху — тьма и угроза... Из какого-то дальнего уголка души ползут суеверные представления; мне кажется, что все это — и река, и бревна, и тучи, и черные ели насторожились и злорадно следят за мною...

К счастью, вода тепла. Через минуту, я все-таки взбираюсь на бревна, осторожно переползаю к берегу и иду к лодке... Первый недалний гром с треском разрывает мгlistую тучу... За ним слышится дальний шум, точно лес сразу закричал тысячами голосов, и что-то гигантское катится к нам по его вершинам.

Это бежит по лесу ливень.

Мы торопливо встаскиваем нашу лодку на покатый берег, поворачиваем ее дном кверху, под ветер, потом подпираем досками от скамеек. Я разыскиваю спички, первые капли дождя грузно шлепаются на песок, когда я под прикрытием лодки развожу костер.

Ливень идет пока еще стороной, и огонь успевает хорошо разгореться. Я выдвигаю костер из-под лодки, разрубая и кидаю в него сломанное весло, заваливаю густо валежником; огонь шипит, трещит, вьется наружу,

разгорается, и когда, наконец, ливень охватывает со всех сторон лес и реку, плещущую тысячами капель, и нашу отмель, и кусты, и дальние изгибы Керженца, и все кругом, — костер горит уже огромным пламенем... Так странно и так приятно смотреть, как он шипит, точно змей, от падающих капель, то припадает низко к земле, то опять рвется огненными языками навстречу дождю, молниям и тьме.

Больше ничего уже случиться не может, худшее позади. Наша верная ладья, защищающая от косого ливня, кажется мне самым уютным убежищем в мире. Я скинул с себя всю мокрую и грязную одежду, и теперь под лодкой от меня идет пар... А кругом шум и раскаты, и крик взволнованного леса, — и разрывающиеся тучи сыплют молниями далеко над лесами и полями, над болотами и непроходимыми чащами, над протоками, шишмарами, логами, над убогими лесными деревнями, над одинокими кордонами лесников, над умершими Шáрпаном и Улáнгером, над умирающими Оленевым, Комáровым, Чернухой, смиренно прислушивающимися к

крикам божией грозы, над избушками Покровского, где Степан, быть может, мокнет на сеже и благословляет долгожданную благодать иссохших полей...

Теперь, когда я заносу эти строки в мою путевую книжку, — центр грозы уже промчался над нашими головами, и тучи тихо громоздятся, уходя дальше... Раскаты смолкают за лесами... и даже одинокая звездочка опять мигает мне с вышины — точно разыскивает в чащах нашу затерянную лодочку...

Наутро солнце светило так ярко и весело, как будто и оно омылось вчерашней грозой; на листьях дрожали капли и, срываясь то и дело, сверкали в воздухе новым дождем. Голоса птиц звенели кругом, как стеклышки, листья шептались без ветра, речная струя посинела, пески резали глаз яркой белизной — всюду трепетала, веселилась, пела переполненная свежими силами, обновленная жизнь, и мы не узнавали тех самых мест, которые вчера казались нам такими угрожающими, враждебными, мрачными.

Принадлежности моего костюма, развешанные на кольях для просушки, длинный



изрытый шагами след на песке от нашей лодки, да кусты, измятые и изломанные вчера, когда я карабкался из воды, — все эти признаки ночной трагедии теперь будили в нас лишь веселые воспоминания.

Часов в семь мы были в Лыкове-Никольском, небольшом селе, на левом берегу реки. Оно стоит на границе обитаемой части Керженца. Далее до самой Волги нам встретятся лишь избушки угольщиков да кордоны лесной стражи. Быть может, этот контраст с прилегающей пустыней придает скромному селу особенное значение в глазах местных жителей, но только вся волость носит, по его имени, название Лыковщины.

Отдохнув и напившись чаю, мы ровно в полдень опять уселись в лодку, и она понесла нас по длинному прямому плёсу. Домики Лыкова скрылись из вида. Теперь только одинокий кордон на речке Пугае, да перевоз Красного Яра у самой Волги, предстоят нам на всем протяжении трех дней и двух ночей нашего плавания до устья.

Опять пустыня, безлюдье и шорох леса по обеим сторонам реки...

Перед вечером, впрочем задолго еще до заката, сзади за нами небольшой точкой на дальнем плёсе мелькнула лодочка. То исчезая за мысами, то теряясь в заводях, под берегами, то опять качаясь на светлой струе, она каждый раз появляется все ближе и, наконец, неожиданно вылетает впереди нас из протока. В узком и замечательно легком ботничке сидит мужик в гречневике, из-под которого глядит несколько комичное лицо, с добродушно расплывшимися чертами, серыми глазами и всклокоченной небольшой бородой. Его ботник, точно нетерпеливый конь, рвется вперед из-под каждого удара широкого одиночного весла, но мужик с каждым взмахом несколько задерживает его бег и держится вровень с нашей тяжелой лодкой. На некотором расстоянии эта фигура производит такое впечатление, как будто гребец сидит прямо на воде, вытянув ноги, и его неуклюжие лапти торчат кверху над бортами.

Поровнявшись с нами, мужик окинул взглядом и наш неуклюжий ботник, и весь его груз. И потом, ничем не выразив удивления или особой любознательности, сказал

благодарно:

— Мир дорогой...

— И вам, — ответил я. — Скажите: далеко еще до кордона?

Лицо незнакомца выразило крайнее огорчение.

— До кордона? — повторил он... — Ах милые... Далече еще до кордона-те... Да-а-лече... А вы думали: близко? — спросил он с любопытством.

— В Лыкове нам говорили, что будем еще засветло.

Он укоризненно покачал головой...

— Не-ет... Завтра дай бог... Завтра — и то к вечеру... Вишь, у вас и лодья-те... Она ничего лодья... Лодья-те гожая... Ну не ранее: к вечеру на кордоне будете...

Он посмотрел на небо.

— Солнце, вишь, невысоко, а до Вишни-реки еще не близко. А вечера-то темные, на реке карши... Ах, милые, вы моё-е...

— А вы до кордона?

— До Вишни я. Ботнички строим мы. Товарищ пешком ушел, лесом, а я, вишь, струмент везу. До Вишни, милые... Ну, дай вам бог в час

добрый!.. У Вишни я вас сожду... Вишню не миновать вам... Там я сожду...

— А до устья, как вы считаете, — спросил я, — далеко еще?

— До устья-то?

И опять он обдал меня взглядом ласкающего сожаления...

— До устья-те не доехать вам ни завтра, ни послезавтрева... в четыре дня дай бог, что доехать вам до устья-те... До-о-лго, милые, до устья.

Он пускает свою лодочку, и вскоре его гречневик, его лапти, его лохматая голова, вся добродушная фигура исчезает, мелькая и уменьшаясь впереди, а мы грустно переглядываемся: четыре дня — перспектива невеселая.

Солнце, действительно низко, ночлег на кордоне — разлетается туманом...

Вечер, опустился теплый, тихий, ароматный; луна тонким золотым; серпом повисла в мягких туманах над верхушками елей; в вышине ласково мигали звезды, — но света было мало, и плыть по темному руслу становилось все труднее. Мы стали уже подумывать о

ночлеге ранее назначенного срока, как вдруг одному из нас показалось, что впереди слышен чей-то голос. Я приподнял весла, и, когда плеск утих, нам ясно послышался призыв.

— Кордон, — сказал один из мальчиков.

— Нет, это давешний мужик зовет нас, — догадался другой, и в его голосе послышалась радостная нота.

Впереди на одной излучине красный отблеск пал поперек реки. Между кустами забелел дымок, огонь замигал трепетными переживаниями. Одинокая темная фигура фантастически рисовалась на светлом фоне.

— Сюда-а... Сюда гребите... А-у-у!.. — кричал мужик и махал нам руками.

— Как он услышал нас? — удивился один из мальчиков. — Лодку совсем не видно...

— Ну, вот слава те, господи, — говорил между тем мужик, принимая нос нашей лодки. — А я уж, я-то стосковался, на берегу сидя: где, мол, друзья моё... Что долго нету?.. Ах, мил-лай, что долго плыли вы? Уж не на карту ли, мол, где сели?.. А то тут заводь еще больно велика живет... Лодка-те у вас грузна, народ, думаю себе — нездешней, непривычной, а я

вас покинул, старый дурак... Ну слава те, господи!

— Ах, милые вы моё, — говорит он опять через минуту, подбросив в костер валежнику и вздыхая с таким облегчением, как будто в самом деле мы самые близкие ему люди, подвергавшиеся большой опасности. — А уж я давно причалил, вылез на берег, пождал-пождал, взял кусок... так нет — и кусок не лезет, что моё друзья не едут, что не едут... Думаю: уж не проехали ли мимо, а я, старый дурак, и спросить-то не догадался: чье вы будете? Вот грех-то! А? Право!..

— А ты как думаешь, дядя, чьи мы?

— А бог вас знает, милые, что вы за человеки. Не видали мы у себя этаких народов... Весной этто, когда вода велика живет, много же народу плавает по реке... Река, что улица, в весеннюю-те пору. Так опять народ все приметной, руськой...

Он прищуривается, взглядываясь в смуглые лица моих юношей, и говорит: — Так думал про себя, что не греки ли... Аль нет?

— Нет...

— Ну, извините, милые. А то грек, он ведь

всюду проедет. Говорят, самой хитрой из всех людей — греческой человек живет. Вот я и думаю: не с товаром ли каким... Или, может, со святостью с Афону... Нет? Ну так... дело, дело... Лонись приезжал тоже такой-то — камни, слышь, все брал, — так тот прямо из Питербурху... А ты бы, милый, лодку-те на берег выволок, или бы в заводь, а то ветром, бывает, отшибет...

Я сталкиваю лодку на воду и долго веду ее вдоль песчаного мыса, ища прохода в заводь. Когда, наконец, я подхожу опять к месту привала, у костра идет оживленная беседа. Мужик рассказывает что-то, молодые люди с удивлением слушают. Глядя из-за своего уголка, затененного ветлами, я вижу, как будто трех ребят, быстро отыскавших какие-то общие интересы.

— Да разве в капканах труднее? — спрашивает один из слушателей. Мужик взмахивает руками.

— И-и... что ты, братец... В капканах уж он тут маху не даст, пря-ама на тебя!.. Да облапить норовит, да под себя, да сичас драть... И такая у него привычка, что драть непременно

с затылка... Ка-ак можно! Оно хоть, скажем, капкан для медвежьего случая делается чижолый... Да ведь иной, матёрый, уволокет и капкан.

— Знаете, кто это такой? — спрашивает старший племянник, когда я подхожу к костру. — Это — Аксен...

— Восемнадцать медведей убил, — прибавляет другой.

— Аксен Ефимов?..

— Верно, — говорит мужик и с некоторым удивлением спрашивает:

— Ништо про меня слыхали?

Мы слыхали об Аксене и в Лыкове, и от лесничего, в Хахалях... но имя упоминалось с оттенком почтения, которое едва ли объяснялось только тем, что он убил восемнадцать медведей...

— Ну, верно, — подтверждает он просто: — счетом всех двадцать. Так и зовут меня Аксен-медвежатник.

В наружности керженской знаменитости нет ничего выдающегося. Фигура скорее невзрачная... Добродушное лицо с жидкой белокурой бородкой, серые ласковые глаза... Но



во всех движениях разлиты какая-то особенная уверенность и спокойствие. Очевидно, что здесь, в лесу, среди этих бесчисленных суводей, заводей, мысов, омутов, песков и лесов — он у себя, дома, что со всем этим он сжился, что его собственный пульс бьется в такт со всеми этими плесками, шорохами, глубокими вздохами невольной пугающей нас ночи... Как прежде лодка, казалось, сама несет его над пучиной, так теперь огонь вспыхивает при одном приближении его руки к пламени, направляя свои языки именно туда, где ему нужно.

— Скипел, — говорит он, поднимая веточкой чайник, который пытит, шипит, фыркает, как живой. — Заваривай!

Я готовлю чай и приглашаю Аксена. Но он спокойно и решительно отказывается.

— Кушайте, — говорит он доброжелательно. — Вы — люди дорожные, самим, смотри, не хватит. Ты вот хотел в день доплыть, а не доплыть тебе, милой, ах не доплыть и в два дня... Смотри, наголодаетесь еще.

Он нарезал мелких ракитовых веток, кинул их на песок, улегся на эту постель под

своим опрокинутым легоньким ботничком и замолк...

Вскоре и мальчики заснули. Пламя костра, быстро уничтожившее мелкий хворост, теперь лениво вьется меж корявых толстых пней, приваленных друг к другу... Темное небо смотрит сверху и будто дышит своими огнями. По временам с яру свалится подмытый песок с медленным шуршанием, напоминающим вздох... Где-то за пределами освещенного пространства береговой лес бормочет и по временам шевелит беспокойно спящими ветвями...

Все эти ночи, которые мы проводим на берегу Керженца, мне не спится, несмотря на то, что дни проходят в довольно тяжелой работе, а по вечерам при свете костров я заносу в книжку впечатления дня. Не спится мне потому, что этих впечатлений слишком много, что даже в тишине ночи они толпятся к костру, обступают меня, носясь смутными образами на пределах темноты и света, заманивая воображение, будя какие-то вопросы... Так все здесь таинственно и в этой таинственности — так полно и цельно. Вот и теперь мне

кажется, что тревожные вздохи леса говорят мне что-то обо всех этих лесных людях, тогда как лесные люди говорили, с своей стороны, о лесах. И то, что днем проскальзывало, проплывало мимо сознания без общей связи, без значения, как эти однообразные берега мимо лодки, — теперь, при свете огня, на песчаной отмели встает в памяти, просит себе места, облекается и значением и связностью.

Почему-то мне вспоминается лесничий, с которым я познакомился в Хахалах. Лесничий — поляк, зовут его Казимир Казимирович, живет в Хахалах давно. Он устроил себе прелестное, уютное гнездышко в своем казенном домике... Домик этот стоит на конце села, на круче. Отсюда видна река, луга за рекой, за лугами леса и леса... Светлозеленые, темные, синие, фиолетовые на дальнем горизонте — они стелются вдаль, скрывая в себе излучины Керженца... Кой-где уверенно прорезали их прямые просеки, правильные рубки легли ровными площадками, молодые поросли, точно подстриженные, плотно примкнули к высокому старому лесу... И когда с бельведера я смотрел на все это, домик лесничего казался

мне центром, откуда исходит и куда стремится весь этот порядок, заметно проложивший свои следы среди первобытного хаоса лесов.

Внутренность этого дома приятно ласкала глаз, усталый от однообразия и пустынной дикости. Старинные картины по стенам, полки с книгами, какая-то особенная тишина, отпечаток уютности и порядка... Умный взгляд и снисходительно-насмешливая улыбка во время разговора тоже очень понравилась мне в лесничем. Он рассказывал о том, как ему трудно было здесь сначала, как мужики не могли свыкнуться с разумными взглядами на лесную собственность, как его предшественнику и ему приходилось здесь бороться с их притязаниями, как, наконец, путем долгой борьбы, настойчивости и системы мало-помалу совершается настоящий переворот во всей этой лесной местности... Какое-то особенное, немного презрительное сожаление слышалось в его голосе, когда он говорил о мужицких взглядах на государственную собственность... Из-за желудей мужику, ничего не стоит, рубить полувековые дубы... Из-за лыка он обдерет сотни деревьев, для расчистки палом

лесной кулиги — сожжет сотни десятин леса. Вот и теперь с Ветлуги на Волгу тянет на десятки верст чадный падымок.

Казимир Казимирович — поляк, и мне казалось, что поляки — отличные лесничие. Немец чиновник — порой высокомерен и жесток. Русский сам слишком близок к взглядам своего народа. Они легко находят отклик в его душе, он рефлектирует... Если он плут, — плутовство его размашисто и недисциплинировано. Если честный человек, — честность его порывиста и беспокойна. Поляк культурнее, выдержаннее, в нем крепче и устойчивее «цивилизованные» взгляды на земельную собственность... И я с некоторым удовольствием выделил среди своих впечатлений фигуру Казимира Казимировича...

Костер начал угасать... Потянуло с реки сырым холодком. Аксен поднялся из-под своей лодочки, повернул пни, и огонь ожил.

— Не спишь? — спросил он у меня, опять ложась на место.

— Не спится, — ответил я.

— Устал, верно, за день-то... Ты вот в Хахлах когда был? Вчера? Не знаешь ли, Казими-

рушка, лесничий, там?

— Там... — ответил я, удивленный этим совпадением наших мыслей, как будто беспокойный шорох леса навеял их на нас обоих. — А что он — хороший человек?

— Казимир? Ничего, хороший. Простой он, даже и разговористой...

И вдруг, без всяких переходов, он прибавил:

— Мягко стелет, да жестко спать.

— Что так? — спросил я...

Аксен не ответил. Он прислушивался к чему-то в смутном лесном шорохе. Через некоторое время и я различил в неопределенных шумах более отчетливые звуки. Кто-то грузно пробирался сквозь чащу к реке... Тяжелый всплеск... Потом другой, третий...

Аксен покачал головой и сказал:

— Медведица это... Сам-третей с медвежатами... За реку перевалилась...

Мне уже ничего не было слышно, но Аксен еще долго прислушивался, выделяя шаги медведицы из лесных шумов.

Мне захотелось расспросить у него о глубинах лесов, в надежде, что тут скажется и

глубина лесной души... Что он думает о боге, о мире?.. Слышал ли о «Святом озере»? Встречал ли в лесах таинственную «нежилую силу»?.. Помнит ли рассказы о подвижниках?..

Но когда в лесу все окончательно стихло и Аксен круто повернулся ко мне, — то в голове его бродили мысли все о том же Казимирушке.

— Ты, Владимир, как полагаешь, — спросил он, — можно нам теперь медведей бить?..

— Отчего же?

— Нельзя, брат... Хошь он тебе навстречу попадись... И будь ты теперича не то что с дробовиком... с ружьем, с настоящим... а тронуть его не моги. Сделайте милость, Михайло Иванович, проходите! Нас только не троньте, а нам не приказано, чтоб вашу милость беспокоить.

Он прислушался, ожидая от меня реплики, и продолжал:

— Ты думаешь, он этого не понимает? Нет, брат, поймет... У-умная тварь, только слов не знает. А и то в лесу слышал я — медведь с медведицей баяли. Веришь совести, ну, вот ровно человеки, только не по-нашему... Понимает

он всякую штучку. Вот в старые-то времена к избам, что есть, вплоть подходили. Мужик запрется, а он, что ты думаешь: дверь ломать!.. Потому ихняя была сила, а мир-от слаб еще был. Ныне мир окреп — ему надо в лесу, да в чапыге коронитьця. Теперича — опять видит, — мир стеснен, — он опять прет из лесу-те. Даром, что животная тварь, а понятие у него есть... Ты не спишь?

— Нет, нет, Аксен Ефимыч! Говорите.

— Что и говорить нам — обижены мы, стеснены. Не то медведя — птицу не устрель, зайца не тронь, лутдху что есть срежешь — сейчас к тебе лесничшко причаливает...

Он сказал последние слова несколько тише и махнул головой в том направлении, где вниз по реке предполагался кордон лесника.

— Нет, ты послушай-ко, что еще безбожные-те люди выдумали. Ежели тебе сейчас о бортях рассказать... Пожалуй, еще и веры-те неймёшь, скажешь — хвастат Аксен-от Ефимыч, зря бает...

Он придвинулся ко мне и поправил костер. Я тоже подвинулся и, опершись на руки, смотрел в простодушное лицо рассказчика,



освещенное огнем.

— Это плыли вы нынче, не видали ли борти над рекой? Видели? Ну, мои — борти. Минуя этих, еще по лесам у меня не мало число есть, кои от родителя еще оставши, кои сам промыслил. Хорошо. Приезжает лонись левизор и созывает нас, стариков, к себе. И Казимируцко тут же. — Ну, старик, есть у тебя борти? — Есть, мол. — А что плотишь? — Три рубля плачу, — ни за што, говорю, ваше благородие. — Теперь, говорит, плати двенадцать!.. — Что, мол, такое? Я ваше благородие, согласен, как прежде, по три рубля попенных платить, а двенадцать за что же? — Нет, говорит, такой ноне закон: двенадцать рублей. — Хорошо, говорю, стало быть, это уже навек, что ли? — Что ты, что ты, старик! На год, на один. — Тут уж я не вытерпел. — Как это, говорю, может быть? Унас не гари, не рамени... На горях — цвету много... В рамени липа цветет... Понос пчелы большой... А тут нешто можно экую махину денег со пчелы согнать... Не согласны мы. — А не согласен, говорит, так вот что: плати три рубля за пень, да убирай его куда хочешь...

Последние слова ревизора Аксен Ефимыч передал с таким замиранием голоса, с таким детским ужасом в лице, точно ему прищлось повторить величайшее богохульство.

— Слышал? Убирай, говорит, куда хочешь. — Ваше благородие, — я говорю, — не может этого быть. Разве вам от великого государя дозволяется это делать? Ведь она, пчела-те, божья тварь; теперича летит она по верх бору, по верх рамени, — ведь ей не прикажешь, куда сесть; ежели она в каком месте села, да сделала занос, то, значит, ей то место богом отведено. Так неужели же вам это дозволяется, что божью тварь зорить, да в друго теперича место ссылать? Н-ну! Вот мое вам последнее слово будет: ежели уж вы от великого государя имеете такое дозволение, что божью тварь нарушить да переместить... Делайте! Делайте, — я им говорю, — а моя рука на это дело не подыметя. — И ушел от них с тем словом. А за мной и другие ушли...

Он перевел дух и титул веткой в огонь. Послушная коряга дрогнула, повернулась, пламя ожило и забегало, приведя в движение массу трепетных теней кругом, и лес зароп-

тал, точно из-за какой-то ограды. Казалось, Аксену нужно было это оживление, чтобы усмирить волнение собственной души.

— А Казимирушка-те, — заговорил он с усмешкой, — хи-и-трой... Стоит рядом тут же, а сам ни слова. Ни супроти начальства не может, ни опять супроти божией твари... Стало быть, есть еще сколько-нибудь совести у Казимирушки-те. Ну, хорошо. Вышедчи я от них — ударился в город, к Семену Миколаичу... Вы Семен Миколаича знаете? Хозяин он по нашему-те уезду...

— Слыхал немного.

Семен Николаевич, о котором говорил Аксен, был довольно известен в Нижнем. Старый крепостник, молчаливый и угрюмый, как Собакевич, он никогда не выступал ни в земских, ни в дворянских собраниях, но его охотно выбирали в предводители лесного уезда, и он тихо, без шума делал какие-то деласolidно стяжательного свойства.

— Харро-ший человек, — продолжал Аксен своим благосклонным голосом... — Простяк. Когда в городе случится быть, завсегда к нему имеем ход. Вот и на тот раз ударился я к нему:

так, мол, и так, вот каки слова нам о бортях сказаны. Сейчас, он дверь в другую избу открыл, а там у него такой сидит, пером поскрипывает... «Эй, ты, перо за ухом!.. Иди сюда! Слушай вот, что мужик бает, да запиши все». Ну, я рассказал, как вот тебе же, а тот все слушает, да на ус мотает. — «Ну, что, — Семен-те Миколаич спрашивает, — слышал? Ступай напиши, да мотри, хорошенька-а! Чтобы добыть мужичкам закон!» Тот и написал, братец мой, да, видно, нацелился в самую точку, к министру по крестьянским делам...

— Такого министра нет, Аксен Ефимыч.

— Ты слушай, — кабы не было, так и ответу бы нам не было... Пришла ведь бумага-те, — ты что думаешь!.. Казимирушка и объявил: плати, старики, три рубля по-старому. Вот то-то. Жив еще бог-те, да и великой государь этого не приказывает, что нарушить, например, весь порядок... Да мы-то, вишь, темные... Охо-хо... А ночи-те много ушло... Спать видно.

Но через минуту он опять заговорил из-под своей лодки:

— А, слышь, плут... Ну, и плут же...

— Кто? — спросил я. — Казимирушка, что ли?

— Не-ет... Семен-те Николаич... — пояснил он неожиданно и, зевнув, продолжал засыпающим голосом:

— Лонись кладнушку мы к Макарью согнали, и довелось мне на Волге на реке вот этак же, как с тобой, с мужиком одним у теплыны ночевать. В губернию мужичок-от валился от обчества с бумагой. Стало быть, надумали они обчеством у помещицы у соседней землицу укупить. И дерни нелегкая — к хорошему человеку за советом пошли, к самому этому Семену Николаичу... У батюшки его крепостные они были... — «Что ж, говорит, мужички! Хорошо, что ко мне заявились. Рад, говорит, я услужить вам. Дайте вы мне доверие, я вам без хлопот землю предоставлю». Мужики дали доверие, радуются, пождут... А барина-те бес-от под ребро и толкни: увидал, что земля гожа и недорога и что нельзя мужикам без таё земли быть, — да слышь ворьским-те манером ту землицу за себя и купи! Теперича и завязалась волокита. Мужики-те на барина в один суд, а барин-те мужиков во другой воло-

кет. Не чают теперь, когда тот грех и прикончится... А хороший человек!.. как это по-твоему выходит?

— Плохо.

— То-то, не больно, — видишь, какая вещь, — хорошо. Времена ноне не простые: развесь уши — наплачешься и с хорошими-те людьми...

Он зевнул еще раз и смолк...

Где-то вдали послышался шорох. Спугнутая кем-то пара уток вылетела поверх леса и, начиная успокаиваться, беспечно спускалась на реку... но тут, поровнявшись с нашим притаившимся огоньком, вдруг шарахнулась в сторону, и долго стоял, замирая вдали, над рекой тревожный свист испуганных крыльев.

Я задремал и проснулся. Кто-то шел из лесу, неся что-то грузное на спине. Большой, мрачного вида мужик подошел к нашему огню, кинул сети, заметив нас, подошел к мальчикам, постоял в недоумелой позе, широко расставив ноги, и, как будто этого было совершенно достаточно для его любознательности, отошел и уже больше не обращал на нас ни малейшего внимания. Он подкинул в огонь

валежнику, посидел около него, то поворачиваясь к пламени мокрой от сетей спиной, с которой тогда начинал валить пар, точно из трубы, то протягивая к огню ноги и руки. Потом он подошел к лодке и, без церемонии взяв Аксена за ноги, повернул его, точно мертвую колоду.

— Ты, Парфен? — спросил тот, пробуждаясь.

— Я.

Аксен переменял положение таким образом, что они лежали теперь головами друг к другу; огонь одинаково освещал мужиков, лодка одинаково прикрывала от ветра. Пришедший буркнул что-то Аксену кратко и угрюмо; Аксен завозился и под лодкой начался разговор; я слышал только отдельные слова: «из городу... в губернском правлении... бумага...». Потом мрачный мужик смолк, повернулся лицом к небу, причем его лохматая борода как будто загорелась сразу, освещенная костром, и, казалось, заснул. Более экспансивный Аксен сокрушенно вздохнул, подсел на корточках к огню и, кинув на меня косой взгляд, тихо спросил:

- Володимир, — мудроно по батюшке-то...  
Спишь ты?
- Не сплю.
- Почто не спишь, аль заботушка?
- Да ведь и ты вот не спишь: тоже, значит, забота?
- Забота и есть... судимся мы.
- Не опять ли о бортях?
- Нет! Дело-то наше теперь побольше бортей будет. Теперича, ежели нам не выстоять, так тут уж весь наш хрещеной мир порушится.
- Как так?..
- Да вот так. Все Казимирушка... Ты, говоришь, сам нижегородской?
- Да.
- В коем месте проживаешь?
- Я сказал свой адрес.
- Так. Доведется мне в Нижний побывать, по своему по хрестьянскому делу...
- Заходи тогда ко мне.
- Аксен, видимо, просветлел.
- Нешто зайти? Может, абвоката бы нам указал... Не знаешь ли вот такового человека?
- Он назвал одного из темных ходатаев, не



имеющего даже права являться в суд.

— Нет, этот не годится.

— Пошто не годится?

— Да ему и в суд ходу нет.

— То-то, бают, нет ходу. Больно дошлый.

Что ни возьмется за дело, то и выправит. Судьи, слышь, осерчали — не берет их сила супротив такого человека, — ну, и отказали ему, что и на глаза им не являться...

Я засмеялся.

— Так как же ему за ваше дело взяться, если в суд не ходить?..

— А он, стало быть, только сам не идет; а человека может поставить на самую, значит, линию... это ничего!

— Пустяки это, Аксен Ефимыч!

— Пустяки-и? — и мужик растерянно повернулся от огня.

— Вам надо настоящего, хорошего человека.

Аксен нахмурился,

— Чего лучше хорошего-те. Да вишь, я тебе скажу, — чужая-те душа больно потемна, не влезешь в ее. Бес-от силен, горами качает, вот какая штука. Больно и от хороших-те людей

нашему брату достается... Вон сказывал я тебе про Семена Миколаевича... Уж вот хороший человек... Медалей сколько... с царем говорил... А сам, вишь, великого-те государя оманывает... А иной раз от проходящего-те шатающего человека такое слово услышишь...

Он помолчал и потом сказал вкрадчиво:

— Послушай, Володимер, что я скажу... Был у нас в городе, в Семенове человек один; так себе человечина, не из больших, маленькой, а разум имел... Говорил он нам в тую пору: «Вот что, говорит, старички. Дело мое сторона, — а только послушайте вы моего совету: землю станут вам отдавать — примайте, земля пойдет от великого государя; а удовольствия своего объявлять никак не можете... А то наплачетесь». Нам бы, — видишь ты, какая вещь, — того человека послушаться, а мы ни к чему... уши и развесили. Как вычитали нам решение: отдать землю, да по урочищам, да по межам обошли, мы и обрадовались. — Довольны, что ль, старики? — «Вполне, говорим, довольны! Можно сытым быть, есть из чего и податями платиться». А тут еще, видишь ты, мужик один с Казимирушкой разболтался,

праздничное дело... — Что, мол, — Казимирушка говорит, — во много ль вы, мужики, теперича, тот лес цените? — Мужику бы, конечно, помолчать — не всяко ведь слово на пользу сказывается, а он, слышь, с дуру-те, как с дубу, и брякни: «Этому мы теперича лесу, говорит, и вовсе цены не полагаем. Прямо считай во сто тыщ!» Видишь ты: единым словом опять весь мир в яму-те и убухал!

— Полноте, Аксен Ефимыч!

— Да уж так, не ко времю сказал! Всяко, брат, слово, и дурное, и хорошее, оно ко времю свою силу имеет. Обмолвился мужичишко глупым словом, а Казимирушка на лету его и подхвати...

Я уставал слушать... История принимала совершенно фантастические, почти волшебные формы, в которых играли роль какие-то «слова не ко времю» и такие же подписи. Казимирушка играл тоже какую-то фантастическую роль, и меня удивляла смесь чрезвычайного благодушия и сдержанного негодования, с которым Аксен отзывался о лесничем... Мне казалось, что это — отношение враждебных отрядов на аванпостах, благодушно разгова-

ривающих в промежутках сражений: лично приятные собеседники, но они готовы вступить в смертный бой при первом сигнале...

— Ты, мол, Казимир Казимирович, кому служишь, — слышу я голос Аксена сквозь дремоту... — Ты, я ему говорю, служишь своему начальству... Так ли? — Верно, говорит... — А ты, я говорю, должен служить большому хозяину... А большой-те хозяин кто?.. — Большой хозяин — казна, говорит... — Казна-а? Нет, не казна... Большой-те хозяин — великий государь, вот кто... Так неужто, по-твоему, великий государь это дозволяет?.. Ежели, например, пчелу не дозволяет зорить, так можно ли этому быть, чтобы весь мир порушить? Теперича в казенной нам лес ходу нету... так?

Я молчал, но мрачный мужик, которого я считал спавшим, буркнул со своего места мрачным басом:

— Само собой...

— И в мужицкой тоже не пускают... Куда податься миру-те? А мир от лесу только и жив... Ты что не баешь нам, Володимер? Ай заснул, — притомился?..

Я не спал, но мне не хотелось говорить. Я

чувствовал, что, если начинать разговор, то он затянется до свету: мы заговорим на разных языках. Потому я не ответил.

— Дрыхнет! — презрительно сказал мрачный мужик.

— И то, слышь, — умаялись они. Не с привычки, — благодушно заступился Аксен.

— Что за люди? Чьи такие?

— Из городу.

— По каким более делам?

— Кто знает. Без дела, слышь... реку нашу посмотреть. Ученые, полагаю я.

— Подлецы какие-нибудь, — предположил мрачный мужик довольно-таки решительно. — Шататели.

— Полно тебе, Парфен, ругаться-то! Пошто зря ругаешься, ничего не видя?..

Я слышал, как оба опять полезли под лодку, но заснули не сразу. Под треск теплины и сонный шопот леса до меня еще некоторое время долетали их тихие разговоры.

Потом оба смолкли... Тихо плескалась струя Керженца. Шептал лес...

Мой сон улетел... Мне опять вспоминались разговоры на балконе лесничего и его расска-

зы о планах «рационального лесоустройства». Выходило так, что весь этот лесной мир, растилавшийся под моими ногами, туманившийся и синевший по широкому горизонту, спокойно, величаво и закономерно поворачивается около центра, стройно двигаясь от хаоса к порядку и гармонии. Здесь же, на песчаной отмели, под страстные речи Аксена поворот казался мне уже не таким стройным... Под осями что-то стонало и билось, просеки прорубались по живой целине исконных народных понятий.

Вот летит поверх леса рой божией твари... Где она сядет? «Ей не укажешь», — говорит лесной человек. Ей отведено место чьей-то невидимой рукой, таинственным законом, царящим и над лесом, и над тварью.

Не так ли и лесной мир: как эта божия тварь, он оседал среди дебрей, без руководства и указки, основывался, роился, связанный условиями своего быта тысячью невидимых нитей... Но вот по стволу борти стучит топор казенного полесовщика, и трудолюбивая тварь жужжит, тревожится, волнуется. Над понятиями лесного мира тоже занесен

топор, и дикая, стихийная, непосредственная лесная правда, родившаяся где-то в бессознательной древности, протестует во имя стихийных, правящих в лесном царстве законов... А так как лесным людям и весь божий мир представляется только лесом, где всякая божия тварь должна роиться по простейшим законам, одинаковым и для лесной борти и для лесной общины, то теперь лесному человеку кажется, что «Казимирушка» посягает на целый мировой порядок...

Лесной мир выдвигает против преступного нашествия идею «великого государя»... Это его понятие, обвеянное мечтательным обаянием, неопределенно, романтично, смутно и в значительной степени анархично. «Великий государь» этой лесной легенды — прежде всего враг наличного, конкретного государства, враг всего чиновничества и находится с ним в постоянной борьбе... Победа пока не за ним, но все же это таинственная безличная сила, которая в любой момент и по любому поводу может быть приведена в движение и заступиться за мужиков. Дойти до нее трудно, но есть какие-то особенные «слова», которые

ее приводят в действие. И те «слова», как волшебные заклинания, не всегда знают мудрейшие и ученейшие. Отставной солдат, бредущий на родину из Питербурху, порой просто неведомый «проходящий человек» кинут порой такое вещее «слово», и пойдет оно перекатываться от деревни к деревне, от мира к миру, пробираясь, как лесное эхо, в самые глухие уголки русской земли, где всего живее полумистические суеверные понятия... И по дорогам к Питербурху потянутся мирские ходоки, уверенные, что от проходящего человека они получили самую настоящую формулу заклинания... Теперь, при тусклом свете костра на пустынной отмели, лесные люди — я знал это — предполагают и во мне такого «проходящего», владеющего, быть может, тайной вещего слова... И я знал также, что разговор наш должен перейти неизбежно в столкновение двух мировоззрений...

\* \* \*

Еще пара уток со свистом вылетела из-за леса, но теперь они уже не испугались: костер чуть дымился, мы все лежали неподвижно. Птицы грузно шлепнулись на воду, и вскоре



их довольное крякание присоединилось к многочисленному хору утиных голосов, с некоторых пор раздававшемуся на темной реке. Тут было и тихое воркование, и удалые по-свисты, и хрюканье, и будто даже собачий лай... Шла какая-то оргия птичьей породы... А около костра слышалось дыхание четырех спящих. Я с невольной улыбкой смотрел на них, и мне казалось, что это четыре ребенка спят у огонька на отмели. Самый наивный из них был, на мой взгляд, знаменитый медвежатник и ходатель за мирское дело — Аксен...

## VIII

### На кордоне. — Лесная пустыня. — Волга

**Я** проснулся от холода перед самой зарей... На деревьях висела и качалась туманная пелена; разрывалась клочками, уходила в чащу и все двигалась вдоль узкого русла вниз по течению. Слышался треск. Это угрюмый Парфен удалялся на озеро, нагруженный ворохом сетей. Аксен бродил по берегу, подбирая на белом песке черные коряги для потух-

шего костра.

— Спи-лежи, — сказал он, подойдя к теплице и разворачивая голыми руками притаившийся под золою огонь... — Рано еще, вишь, не вовсе и ободняло.

— А вы куда, Аксен Ефимыч? — спросил я, видя, что он натягивает зипун, которым был накрыт ночью.

— На озеро... Рыбки наловить на уху... потом за работу.

— Ну, значит, прощайте... В городе будете — заходите.

— Ну? — обрадованно спросил Аксен. — Нешто зайти?..

— Конечно... Я помогу вам найти верного человека.

— Спаси бог, добрый человек... А где ж нам тебя разыскать будет?

Я записал на листке адрес. Аксен тщательно свернул бумажку и сунул ее в пехтерь. Затем он догнал своего мрачного товарища, который, обогнув отмель, мелькал между стволами сосен. Оба они остановились, и я догадался, что благодушный Аксен опять старается восстановить мою репутацию. Потом оба

исчезли в чаще...

Часа через три мы подплывали к кордону на речке Пугае. В этой части Керженца все чаще темная островерхая ель сменяется стройной сосной. Кордон стоял на опушке прекрасного задумчивого бора. Просторные новые избы с пристройкой весело отражались в реке... Две сильно разошедшиеся шестивесельные лодки, в которых в большую воду лесничие совершают свои объезды по Керженцу, теперь сиротливо лежали на песке. Старая дворняга встретила нас хриплым лаем, который гулко отдавался и перекачивался под густыми вершинами сосен, и на эти звуки из окна выглянуло лицо старухи.

Спокойно, должно быть, протекает жизнь в этих лесных избушках, среди тишины, нарушаемой разве стрекотанием на разные лады нестройного хора лесных жителей, которому могучий камертон звенящего бора придает смысл и общую гармонию... Спокойно и скучно!

Старуха, жена лесника, встретила нас с спокойной приветливостью. Мне показалось что-то знакомое в красивом лице, в светящей-

ся улыбке, в лучистых глазах, глядевших с печальной лаской. «Такова, вероятно, будет Марья из Покровского, когда состарится», — подумал я.

Старуха захлопотала у самовара, а я сел у окна в чистой горнице и стал смотреть в лес. Узкая тропка шла между стволов и терялась в бору. По ней приближалась к кордону корова, помахивавшая головой и лениво останавливавшаяся, чтобы отогнать оводов. За ней так же вяло шла молодая девушка, по временам похлестывая ее хворостиной... Она была недурна собой, но во всей фигуре виднелась какая-то унылая опущенность, и апатия. Взгляд ее бессознательно и лениво скользил по давно знакомым стволам и по просветам, которые золотыми пятнами тлели на густом пологе сосновой хвои...

Но вдруг девушка увидела нашу лодочку, меня в окне и незнакомую фигуру одного из моих юношей. Мгновенно что-то пробежало искрой по всей фигуре молодой девушки. Апатичные, будто заплывшие от вечной скуки черты оживились... Она обернулась, запахнула расстегнутый ворот и стыдливо окинула

взглядом изорванное и засаленное на груди ситцевое платье городского покроя. Я увидел, что в сущности она хороша, почти как мать... Только дочери лес не дает, очевидно, того, что он дал матери: красоты спокойствия, гармонии душевного строя с этой лесной тишью...

Принарядившись в боковушке, девушка вошла в избу и, искоса стреляя красивыми глазами, сменила старуху у самовара. Последняя присела на лавку и с словоохотливостью отшельницы, редко видящей чужих людей, стала рассказывать о своей жизни в лесу, отвечая на мои вопросы.

— ...Медведи?.. Нет, медведи ничего. Правда, в других местах, бывает, заходят даже в деревни, особенно по зимам. А на кордоне не бывали еще... Звери не беспокоят... А вот когда темною ночью или особенно зимой, в метель и вьюгу, услышишь, как в лесу тюкают топоры... И лесник выходит, вскинув ружье на плечи... Вот когда жуть берет... Лесные миры — страшнее кордонным жителям, чем лесной зверь.

Она печально покачала своей красивой головой и сказала с какой-то особенной гру-

СТЬЮ:

— И то надо сказать, батюшка... Мир-от стеснен... Тоже и людям податься-те некуда... А леснику что делать... Служба... Нанялся, продался...

Этот мотив об утеснении лесного мира сменил для меня в пустынных низовьях Керженца обычный припев скитских и монастырских разговоров о том, что в нынешнем мире «мало усердия»... Здесь выступала другая, тоже глубокая драма...

По лесенке послышались шаги. Высокий пожилой лесник, с ружьем на перевязи, вошел в избу. Старуха смущенно замолчала. Мужик, вешая ружье на колышек и кланяясь нам, пытливо посмотрел на нее. Вероятно, он слышал конец разговора... Должно быть, такие разговоры были нередки у него с женой, сохранившей на кордоне живые мирские симпатии... Мне невольно вспомнился тургеневский «Бирюк», и я с сожалением взглянул на печально примолкшую женщину...

Да, есть свои проклятые вопросы и в глубине этих лесов... Мир знает свое. Лесник знает службу и исполняет приказы Казимируш-

ки... Дело, на взгляд женщины, не без греха...  
А впрочем, господь разберет все...

Прощаясь, я дал старухе пятиалтынный. Она с недоумением посмотрела на монету и сказала:

— Сдачи-те у меня нету...

— Да что ты, матушка!.. Какая сдача!

Но старуха также просто сказала:

— Много будет... Молоко-те, — что оно стоит?.. Труды, — какие же труды поставить самовар... — Деньги, оказалось, можно взять только за десяток яиц... Яйцы и им случается продавать на Волге...

И она взяла пять копеек.

— Далеко еще до Волги, матушка?

— Далече. Весной, в большую воду, одним днем всплываем. А теперь... Никто, вишь, и не плавает об эту пору.

— А жилья так и не будет?.. Вот тут у меня на карте показана деревня.

Старуха с любопытством посмотрела на карту.

— И, батюшка... Какая тут деревня. Сроду не бывало.

— Называется «Красный Яр»...

— А! Красный Яришко! — сказала она с пренебрежением... — Так это уже у самого устья... Да он, Яришко-то, в стороне — и не увидите... Перевоз тут живет. Дорога пролегла... Вишь, и Яришко приписали... Чудное дело.

В час дня мы опять сели в свою лодку. И пока она тихо сплывала прямым плёсом — на берегу виднелась на взгорке фигура молодой девушки, провожавшей нас долгим взглядом. Потом кордон скрылся за поворотом, и только протяжный редкий лай кордонной себаки еще долетал к нам из-за мыса.

Шум, глубокий и почти музыкальный, предупредил нас о близости порогов, носящих странное название «Кремянские Кочи». Впереди показались черные, обнажившиеся из-под воды камни, между которыми вода бьет-ся, пенится, бурлит и бушует... Шум несется далеко по глубокому руслу, и высокие берега, покрытые сосновым лесом, отражают его, точно в трубе, придавая звукам глубину и своего рода мелодичность. С высоких яров могучие сосны глядели вниз на нашу утлую лодочку... С перерывами в течение целого часа



мы пробирались опасными «Кочами».

Наконец грохот остался позади и только порой еще на повороте напоминал о себе разорванными клочками звуков, точно от отдаленного оркестра... Кругом нашей лодки стояла тихая, глубокая, пустынная тоска.

Если вы посмотрите на карте нижнее течение Керженца, то увидите огромную пустую площадь, по которой вьется зигзагами река. Ни сел, ни деревень, ни одной надписи на карте... Кой-где проведены речки, больше наудачу, чтобы заполнить чем-нибудь эту пустоту. В натуре — это настоящая пустыня на всем пространстве между Керженцем и Ветлугой... Леса, лесные речки, лесные озера, болота. Нужно быть очень опытным, чтобы ходить по этой пустыне... То незаметная *вадьа* чвокает под ногой, то заманчивая *чаруса* — зеленая полянка, затянутая свежей чудесной травкой, заманит вас в непроходимую гибельную топь... Кой-где в дремлющей чаще попадаются могилы старцев и стариц, «иже за веру убиенных» или «приявших добровольное огненное венчание» в срубе. До сих пор указывают в Керженских чащах места,

где подвизался знаменитый в расколе суровый Софонтий, который вел борьбу даже с приверженцами Аввакума (онуфриянами), и где Варлаам, с благословения того же Софонтия, приял страшную огненную кончину вместе с двенадцатью попами, «не восхотевше Никоновых новшеств прияти»... Каменный столбик с обомшелой двускатной крышей и восьмиконечным крестом... Тихий шорох леса, и все реже и реже — две-три фигуры усердных, ревнителей, пришедших на поклонение мученическому праху.

Южнее лесной речки Люнды, почти на середине между двумя реками — Керженцем и Ветлугой — стоит среди лесов село Нестиар, над озером того же имени. Оно составляет крайнее поселение на рубеже сплошного лесного царства. Есть поверье, что некогда из Васильсурска церковь с иконой Варлаама Хутынского двинулась с крутого берега и, проносясь над лесами, невидимо стала над озером и стоит до сих пор, и из озера слышен бывает звон, как из Светлояра.

Странны эти звенящие озера лесной стороны! Впрочем, гр. Толстой, своеобразный мест-

ный писатель пятидесятых годов, рассказывает другое поверье: в прежнее время старики и молодые выходили в ночь перед пасхой на холм в лесу, около Нестиара, и тихо ждали благовеста. В тот час, когда в «жилой стороне», в старом Макарье, ударяли в большой колокол, нестиарцы слышали будто тихие отголоски этого звона. Местные жители объяснили это тем, будто их озеро сообщается подземными истоками с Волгой, и гул передается водой. Сам Толстой допускал возможность заноса ветром макарьевского большого звона по просекам и ветроломам. Как бы то ни было, это жадное ожидание в глухой лесной деревушке отголосков отдаленного мира — очень поэтично и характерно, и я невольно вспомнил его теперь, когда сам испытывал тяжелую лесную тоску...

Пенякша... Ялокша... Ламна... Ржавые, бурые эти речки тихо вливаются в Керженец... Мы отмечаем их по нашей карте, и каждый раз, как мы провожаем глазами новое устье, становится скучнее...

Зайцы глядят на нас с берега наивными круглыми глазами. Черными точками вы-

плывают из-за лесов дикие коршуны и носятся кругом, то появляясь над рекой в поле нашего зрения, то исчезая; тревожно кричат вороны, как базарные торговки, сзывая товарок на защиту; какая-то птица следует за нами, звонко спрашивая о чем-то из глубины леса...

Вот впереди, нагнув толстую ветку своею тяжестью, сидит на прибрежной сосне над яром какая-то громада, отражаясь в потускневшей реке. Я кидаю весла; наша лодка тихо сплывает по течению, не производя ни малейшего шума. Поровнявшись с деревом, я прицеливаюсь из револьвера. Гулкий выстрел раскатывается над рекой, будя в чащах тревожное эхо. Громадный орел тяжело расправляет рыжие, пятнистые крылья и скользит в воздухе над нашими головами. Одно мгновение он будто останавливается над лодкой. Хвост опущен, чтобы задержать на секунду полет, круглая голова свесилась книзу, и два острых глаза смотрят на меня с удивлением и злостью... «И что тебе вздумалось, право?» — как будто недоумевают старый великан дикого керженского леса. Он делает несколько кругов и улетает вперед. А еще че-

рез четверть часа отчаянные стоны какой-то пичуги оглашают реку, и ветер несет с берега растрепанные перья... Но все же мой озорной выстрел кажется мне чем-то, нарушающим законы леса. Убивать, чтобы есть, — таков царящий в лесу главный и, пожалуй, единственный закон, — а я... зачем бы я убил старую птицу?..

Смеркается... Сумрак кроет небо, застилает реку, туман залегает в лощинах, и лапы умерших деревьев тянутся со дна, то и дело хватая, толкая, поворачивая нашу лодку.

Следы еще одной керженской драмы, безмолной, ответной, стихийной...

Вот с берега свесилось вершиной в воду еще зеленое подмытое дерево. Как грустно шевелит оно в волнах своими ветвями, как тревожно шепчут над ним ближайшие соседи, которым грозит та же участь! Часть корней еще в почве и истощают последние усилия, чтобы поддержать гибнущую жизнь...

Вот мертвая ель с ветками в два ряда, точно лапы гигантской сороконожки, утонувшей спиной книзу. Вот огромная «вискарья» с нелепыми, точно от судороги сведенными ла-

пами корневища; вот две сосны, выросшие, жившие и погибшие рядом, как две сестры. Они и теперь лежат, переплетясь корнями и ветками, прямые, стройные, красивые даже и в смерти... Вот замытый илом торчащий с глубокого дна по течению «кобел», невидимый, изменнический, опасный, способный остановить целый плот и доставлявший нам в пути немало затруднений...

Жутко от непрерывного зрелища этого кладбища деревьев.

И так хочется встретить живое человеческое лицо, и так рад, когда среди этого хаоса мелькнет правильный ряд рыбацких кольев. Кой-где на мели виднеется опрокинутая лодка — значит ее хозяин недалеко подрубает дерево или ставит на лесном озере сети. Но может быть также, что озеро далеко или мужик побрел в чащу за ухажьями лесной пчелы, и ботник прождет здесь хозяина дня два или три...

Эти строки я заношу в свою записную книжку при свете костра на ночлеге. Где-то надо мной шумит сырыми ветвями темный лесище. Вправо — плещется река, подымается

ветер, насыщенный сыростью, несущий бесформенные тучи. Какая-то птица мрачно ухает в чаще, меняя места, точно играя с кем-то в прятки; другая все надрывается и стонет, как будто у нее отняли детенышей. А на реке, которой я не вижу в темноте, вот уже раза два грузно бухалась над омутом какая-то неведомая громадина... Не опять ли медведи?.. И мне невольно вспоминается отзыв Аксена, убежденного, что медведь «понимает всякую штуку»... Может быть, он понимает также, что мы здесь беспомощны у костра, с жалким револьвером...

Да, теперь я отлично понимаю, что, называя друзьями нас, первых встречных, — лесной человек Аксен говорил не пустую фразу.

Среди этих темных молчаливых лесов, наполненных жуткими воспоминаниями и могилами убиенных и принявших огненное венчание, над рекой, усеянной трупами деревьев, под шум перекликающихся непонятными голосами лесных вершин — встретиться с человеком, у которого в нужде найдешь сочувствие и помощь, с которым поговоришь на языке людей, а не леса, — да это в самом

деле нечто больше наших пустых встреч и шапочного знакомства. Я так ясно представляю себе, как Аксен Ефимыч «ждал-пождал», вглядываясь в темноту, не мелькнет ли наша лодка. Я тоже ждал бы, если бы надеялся дождаться чьей бы то ни было лодочки. А если бы вдобавок из нее вышел не незнакомый пришлец, а Аксен, то это была бы поистине встреча двух давних приятелей...

Но ждать было некого, и я тревожно заснул, прислушиваясь к диким крикам какого-то лесного хищника, к жалобным воплям его жертвы, к робкому шороху дождя, нерешительно ударявшего по листьям...

Во весь следующий день только один ботничок на песчаной косе напомнил о человеке.

— Эй, кто живая душа? — крикнул я. Но лесное эхо вернуло мертвое подобие моего оклика, да осинки на берегу залопотали что-то совсем непонятное.

И еще целый день тоски и одиночества. Солнце садилось. Мы со страхом думали, что еще одну ночь придется провести на песке. Как вдруг...



Один из мальчиков радостно вскрикнул. По яру над самым берегом ехал мужик в телеге! Вскоре перед нами мелькнула избушка перевоза... Это «Красный Яришко».

Еще четыре версты веселой работы веслами — и нашу лодку едва не кинуло на столбы старой, разрушенной мельничной плотины, перегородившей с берега на берег все устье Керженца. Пришлось раздеваться и с большим трудом спускать на руках лодку по этому «шуму». Когда это кончилось, впереди перед нами было устье. Большой песчаный остров загоразживал волжское русло, и над обрезом острова, над кустами тальника, мелькая живым белым пятнышком, несясь взвиваемый ветром флаг над мачтой невидимого для нас парохода... Тот, кто провел долгие дни и ночи в пустынных местах, поймет наши ощущения. Взгляд, так долго стесненный стенами глухих лесов, теперь радостно разбежался по необозримому, величавому простору. Далекие Волжские горы, с селами и куполами церквей по склонам, чуть-чуть задернулись тонким туманом, сквозь который освещенные окна сверкали блестками расплавленно-

го золота. Церкви и стены старого «Макарья на желтых водах» утопали в розовой дымке, и грузный паром отваливал с лысковской стороны с народом, с возами сена, с лошадьми, которые рисовались на ясном небе выгнутыми спинами и раскоряченными ногами. И такой же паром, с выгнутыми лошадиными спинами и торчащими кверху оглоблями, плыл, отраженный отчетливо и ясно в глубине реки...

Не хотелось грести, не хотелось спешить, не хотелось отрывать глаз от могучей, плавной красавицы-Волги, с ее пламеневшим закатом, с ее зелеными горами и деревнями, погружавшимися уже в предвечернюю дремоту. Но появившийся вдали и, очевидно, бежавший к песчаной отмели у села Исад пароход напомнил нам, что мы можем опоздать, и поэтому пришлось опять налечь на весла.

Еще через час, под гул первого свистка, мы стрелой подлетели к кашинскому пароходу, опять разводившему пары. Публика, свешиваясь к бортам, встретила любопытными взглядами конец нашей экспедиции, и нас охватил говор, толкотня, крики грузчиков,

спешивших по узким сходням с тюками на дюжих плечах.

Пароход отвалил и быстро побежал между высоким берегом, с погорелым селом в половине горы и песчаными отмелями, мимо которых мы с такими усилиями неслись час назад на своей лодочке.

Свисток, поворот, волна, шипя, набежала на песок отмелей, толкнула и закачала небольшую кладнушку, у которой, причаленная к корме, трепетала наша верная лодочка, сданная мною для доставки в Нижний... И мне стало немного грустно расставаться с доброй «посудинкой», служившей нам столько дней, укрывавшей нас столько раз от холодного ночного ветра и от ливня в темную, грозную ночь...

Лунный свет бесконечным столбом лег сзади по широкому руслу Волги, и золотая рябь прыгала, сверкала, переливалась расплавленным золотом за колесами парохода.

Несмотря на усталость, я не уходил с верхней палубы. Мне хотелось еще раз кинуть взгляд на керженское устье и попрощаться с пустынной рекой, оставившей в душе столь-

ко своеобразных впечатлений.

Вот уже Макарий назади, и его купола, его старые стены, его кресты выделяются на потемневших горах противоположного берега. Вот последний паром скользит в светлом тумане от лысковской пристани. Вот чуть видные притаились в ложбинках Татинец и Слопинец, старинные разбойничьи села, о которых говорит до сих пор недобрая поговорка: «Татинец и Слопинец — вора́м кормиле́ц!»

А вот направо и остров... Жадно взгляд проникает сквозь тонкий туман. Вот завешенные прозрачною мглой дремлют две горы, и тонкая расщелина, пронизанная лучом, чуть-чуть брезжит между ними... Это устье и «шум» старого Керженца.

И невольно воображение летит за этой полоской тонкого лунного сияния, все далее, по изгибам и кривулям пустынной реки, и картины недавнего пути встают одна за другой... И видится мне наша лодочка, скользящая между «задевами» и скрюченными лапами лесных мертвецов...

Остров остался позади, исчезли, как мечта, очертания керженского устья, гудят свистки,

какие-то огни летят на нас, валится мимо шум и грохот, и, ломая широкую гладь волжского простора, мчится весь освещенный огнями гигант «Кавказ и Меркурий». Я устал, мне грустно, и кажется мне, что так же быстро бежит наша жизнь, что прошлое так же исчезает в тумане воспоминаний.

Пора! Я кидаю еще один взгляд назад, в неопределенную синюю даль... Исчез уже и Макарий... Огоньки, мглистое сияние, слабые трепетные отражения... Потом столб лунного света и одинокая баржонка сонно качается над засыпающим простором могучей реки...

*1890*

## Иллюстрации



**П**оля Нижегородской губернии (1891–1892)  
Волжская пристань. 1898



**Волжский вид. 1888**

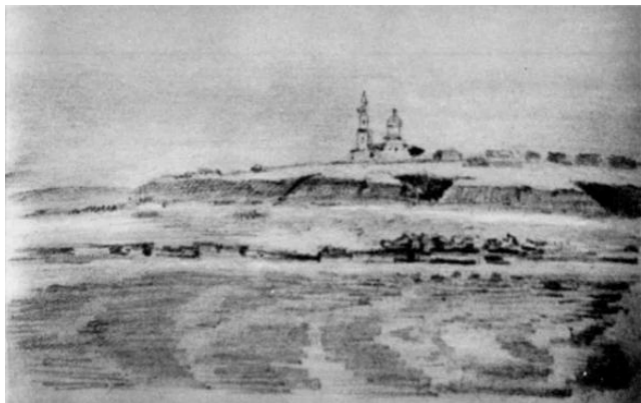


**Волга. Перед Красновидовым. 1888**  
**На Волге. 1888**

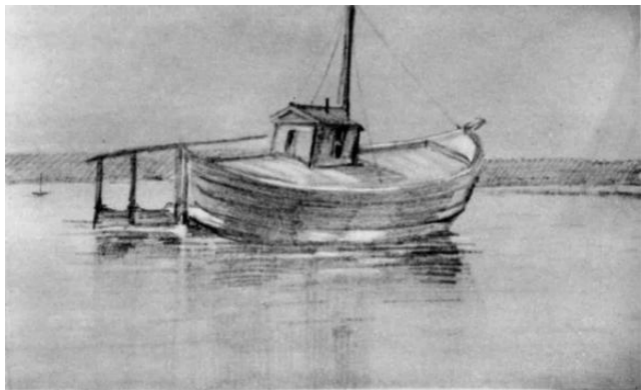




Yellow 88  
DK



**Из путешествия по Волге. 1888**



**Барка на Волге. 1888**



**Озеро Светлояр. 1890**

**На Светлояре. 1890**



## Река играет

(Эскизы из дорожного альбома)

Проснувшись, я долго не мог сообразить, где я.

Надо мной расстилалось голубое небо, по которому тихо плыло и таяло сверкающее облако. Закинув несколько голову, я мог видеть в вышине темную деревянную церковку, наивно глядевшую на меня из-за зеленых дере-

вьев, с высокой кручи. Вправо, в нескольких саженьях от меня, стоял какой-то незнакомый шалаш, влево — серый неуклюжий столб с широкою досчатою крышей, с кружкой и с доской, на которой было написано:

*Пожертвуйте проходящий  
на колоколо господне.*

А у самых моих ног плескалась река.

Этот-то плеск и разбудил меня от сладкого сна. Давно уже он прорывался к моему сознанию беспокоящим шепотом, точно ласкающий, но вместе беспощадный голос, который подымает на заре для неизбежного трудового дня. А вставать так не хочется...

Я опять закрыл глаза, чтоб отдать себе, не двигаясь, отчет в том, как это я очутился здесь, под открытым небом, на берегу плещущей речки, в соседстве этого шалаша и этого столба с простодушным обращением к проходящим.

Понемногу в уме моем восстановились предшествующие обстоятельства. Предыдущие сутки я провел на Святом озере, у невидимого града Китежа, толкаясь между наро-

дом, слушая гнусавое пение нищих слепцов, останавливаясь у импровизованных алтарей под развесистыми деревьями, где беспоповцы, скитники и скитницы разных толков пели свои службы, между тем как в других местах, в густых кучках народа, кипели страстные религиозные споры. Ночь я простоял всю на ногах, сжатый в густой толпе у старой часовни. Мне вспомнились утомленные лица миссионера и двух священников, кучи книг на аналое, огни восковых свечей, при помощи которых спорившие разыскивали нужные тексты в толстых фолиантах, возбужденные лица «раскольников» и «церковных», встречавших многоголосым говором каждое удачное возражение. Вспомнилась старая часовня, с раскрытыми дверями, в которые виднелись желтые огоньки у икон, между тем как по синему небу ясная луна тихо плыла и над часовней, и над темными, спокойно шептавшимися деревьями. На заре я с трудом протолкался из толпы на простор и, усталый, с головой, отяжелевшей от бесплодной схоластики этих споров, с сердцем, сжимавшимся от безотчетной тоски и разочарования, — по-

плелся полевыми дорогами по направлению к синей полосе приветлужских лесов, вслед за вереницами расходившихся богомольцев. Тяжелые, нерадостные впечатления уносил я от берегов Святого озера, от невидимого, но страстно взыскуемого народом града... Точно в душном склепе, при тусклом свете угасающей лампадки, провел я всю эту бессонную ночь, прислушиваясь, как где-то за стеной кто-то читает мерным голосом заупокойные молитвы над заснувшей навеки народной мыслью.

Солнце встало уже над лесами и водами Ветлуги, когда я, пройдя около пятнадцати верст лесными тропами, вышел к реке и тотчас же свалился на песок, точно мертвый, от усталости и вынесенных с озера суровых впечатлений.

Вспомнив, что я уже далеко от них, я бодро отряхнулся от остатков дремоты и привстал на своем песчаном ложе.

## II

Дружеский шепот реки оказал мне настоящую услугу. Когда, часа три назад, я укладывался на берегу, в ожидании ветлужского па-

рохода, вода была далеко, за старую лодкой, которая лежала на берегу кверху днищем; теперь ее уже взмывало и покачивало приливом. Вся река торопилась куда-то, пенилась по всей своей ширине и приплескивала почти к самым моим ногам. Еще полчаса, — будь мой сон еще несколько крепче, — и я очутился бы в воде, как и эта опрокинутая лодка.

Ветлуга, очевидно, выиграла. Несколько дней назад шли сильные дожди: теперь из лесных дебрей выкатился паводок, и вот река вздулась, заливая свои веселые зеленые берега. Резвые струи бежали, толкались, кружились, свертывались воронками, развивались опять и опять бежали дальше, отчего по всей реке вперегонку неслись клочья желто-белой пены. По берегам зеленый лопух, схваченный водою, тянулся из нее, тревожно размахивая не потонувшими еще верхушками, между тем как в нескольких шагах, на большой глубине, и лопух, и мать-мачеха, и вся зеленая братия стояли уже безропотно и тихо... Молодой ивняк, с зелеными нависшими ветвями, вздрагивал от ударов зыби.



На том берегу весело кудрявились ракиты, молодой дубнячок и ветлы. За ними темные ели рисовались зубчатою чертой; далее высились красивые осокори и величавые сосны. В одном месте, на вырубке, белели кладки досок, свежие бревна и срубы, а в нескольких саженях от них торчала из воды верхушка затонувших перевозных мостков... И весь этот мирный пейзаж на моих глазах как будто оживал, переполняясь шорохом, плеском и звоном буйной реки. Плескались шаловливые струи на стрежне, звенела зыбь, ударяя в борта старой лодки, а шорох стоял по всей реке от лопавшихся то и дело пушистых ключев пены, или, как ее называют на Ветлуге, речного «цвету».

И казалось мне, что все это когда-то я уже видел, что все это такое родное, близкое, знакомое: река с кудрявыми берегами и простая сельская церковка над кручей, и шалаш, даже приглашение к пожертвованию на «колоколо господне», такими наивными каракулями глядевшее со столба...

*Все это было когда-то,  
Но только не помню когда*

невольню вспомнились мне слова поэта.

### III

— Гляжу я, братец, вовсе тебя заплескивает река-те. Это домой ходил. Иду назад, а сам думаю: чай, проходящего-те у меня поняла уж Ветлуга. Крепко же спал ты, добрый человек!

Говорит сидящий у шалаша на скамеечке мужик средних лет, и звуки его голоса тоже мне как-то приятно знакомы. Голос басистый, грудной, немного осипший, будто с сильного похмелья, но в нем слышатся ноты такие же непосредственные и наивные, как и эта церковь, и этот столб, и на столбе надпись.

— И чего только делает, гляди-ко-ся, чего только делает Ветлуга-те наша... Ах ты! Беды ведь это, право беды...

Это перевозчик Тюлин. Он сидит у своего шалаша, понунив голову и как-то весь опустившись. Одет он в ситцевой грязной рубахе и синих пестрядиных портах. На босу ногу надеты старые отопки. Лицо моложавое, почти без бороды и усов, с выразительными чертами, на которых очень ясно выделяется особая ветлужская складка, а теперь, кроме того, видна сосредоточенная угрюмость добродуш-

ного, но душевно угнетенного человека...

— Унесет у меня лодку-те... — говорит он, не двигаясь и взглядом знатока изучая положение дела. — Беспременно утащит.

— А тебе бы, — говорю я, разминаясь, — вытащить надо.

— Коли не надо. Не миновать, что не вытащить. Вишь, чего делает, вишь, вишь... Н-ну!

Лодка вздрагивает, приподнимается, делает какое-то судорожное движение и опять беспомощно ложится по-прежнему.

— Тю-ю-ю-ли-ин! — доносится с другого берега призывной клич какого-то путника. На вырубке, у съезда к реке, виднеется маленькая-маленькая лошаденка, и маленький мужик, спустившись к самой воде, отчаянно машет руками и вопит тончайшею фистулой:

— Тю-ю-ю-ли-ин!..

Тюлин все с тем же мрачным видом смотрит на вздрагивающую лодку и качает головой.

— Вишь, вишь ты — опять!.. А вечер еще, глико-ся, дальше мостков была вода-те... Погляди, за ночь чего еще наделат. Беды озорная речушка! Это учнет играть и учнет играть,

братец ты мой...

— Тю-ю-ю-ли-ин, леш-ша-а-ай! — звенит и обрывается на том берегу голос путника, но на Тюлина этот призыв не производит ни малейшего впечатления. Точно этот отчаянный вопль — такая же обычная принадлежность реки, как игривые всплески зыби, шелест деревьев и шорох речного «цвету».

— Тебя ведь это зовут! — говорю я Тюлину.

— Зовут, — отвечает он невозмутимо, тем же философски-объективным тоном, каким говорил о лодке и проказах реки. — Иванко, а Иванко! Иванко-о-о!

Иванко, светловолосый парнишка лет десяти, копает червей под крутояром и так же мало обращает внимания на зов отца, как тот — на вопли мужика с того берега.

В это время по крутой тропинке от церкви спускается баба с ребенком на руках. Ребенок кричит, завернутый с головой в тряпки. Другой — девочка лет пяти — бежит рядом, хватаясь за платье. Лицо у бабы озабоченное и сердитое. Тюлин становится сразу как-то еще угрюмее и серьезнее.

— Баба идет, — говорит он мне, глядя в

другую сторону.

— Ну! — говорит баба злобно, подходя вплоть к Тюлину и глядя на него презрительным и сердитым взглядом. Отношения, очевидно, определились уже давно: для меня ясно, что беспечный Тюлин и озабоченная, усталая баба с двумя детьми — две воюющие стороны.

— Чё еще нукаешь? Что тебе, бабе, нужно? — спрашивает Тюлин.

— Чё-ино, спрашивает еще... Лодку давай! Чай, через реку ходу-то нету мне, а то бы не стала с тобой, с путаником, и баять...

— Ну-ну! — с негодованием возражает перевозчик. — Что ты кака сильна пришла. Разговаривашь...

— А что мне не разговаривать! Залил шары-те... Чего только мир смотрит, пьяницы-те наши, давно бы тебя, негодя пьяного, с перевозу шугнуть надо. Давай, слышь, лодку-те!

— Лодку? Эвон парень тебя перемахнет... Иванко, а Иванко, слышь? Иванко-о!.. А вот я сейчас вицей его, подлеца, вытяну. Слышь, проходящий!..

Тюлин поворачивается ко мне.

— Ну-ко ты мне, проходящий, виццю дай, хар-ро-шую!

И он, с тяжелым усилием, делает вид, что хочет приподняться. Иванко мгновенно кидается в лодку и хватает весла.

— Две копейки с нее. Девку так! — командует Тюлин лениво и опять обращается ко мне:

— Беда моя: голову всеё разломило.

— Тю-ю-ли-ин! — стонет опять противоположный берег. — Перево-о-оз!..

— Тятька, а тятька! Паром кричат, вить, — говорит Иванко, у которого, очевидно, явилась надежда на освобождение от обязанности везти бабу.

— Слышу. Давно уж зеват, — спокойно подтверждает Тюлин. — Сговорись там. Может, еще и не надо ему... Может, еще и не поедет... Отчего бы такое голову ломит? — обращается он опять ко мне тоном самого трогательного доверия.

Угадать причину не трудно: от бедняги Тюлина водкой несет, точно из полуштофа, и даже до меня, на расстоянии двух сажен, то и дело доносятся острые струйки перегару, сме-

шиваясь с запахом реки и береговой зелени.

— Кабы выпил я, — говорит Тюлин в раздумье, — а то не пил.

Голова его опускается еще ниже.

— Давно не пью я... Положим, вчера выпил...

И опять Тюлин погружается в глубокое раздумье.

— Кабы много... Положим, довольно я выпил вчера... Так ведь сегодня не пил!

— Так это у тебя, видно, с похмелья, — пробую я вывести его на настоящую дорогу.

Тюлин смотрит на меня долго, серьезно и чрезвычайно вдумчиво. Догадка, очевидно, показалась ему не лишеною основания.

— Разве-либо от этого. Ноньче немного же выпил я.

Пока таким образом Тюлин медленным, мучительным, но зато верным путем подходил к истинной причине своих страданий, мужик на той стороне окончательно лишился голоса.

— Тю-ю-ю... — чуть слышно летело оттуда, из-за шороха речных струек.

— Разве-либо от этого. Это ты, братец,

должно быть, верно сказал. Пью я винище это, лакаю, братец, лакаю...

#### IV

Между тем тщетно вопивший мужик смолкает и, оставив лошадь с телегой на том берегу, переправляется к нам вместе с Иванком, для личных переговоров. К удивлению моему, он самым благодущным образом здоровается с Тюлиным и садится рядом на скамейку. Он значительно старше Тюлина, у него седая борода, голубые, выцветшие, как у Тюлина, глаза, на голове грешневик, а на лице, где-то около губ, ютится та же ветлужская складка.

— Страдаешь? — спрашивает он у перевозчика с улыбкой почти сатирической.

— Голову, братец, всё разломило. И от чего бы?

— Винища поменьше пей.

— Разве-либо от этого. Вот и проходящий то же бает.

— А лодку у тебя, гляди, унесет.

— Как не унести. Просто-таки и унесет.

Оба смотрят несколько времени, как вздрагивает, точно в агонии, опрокинутая



лодка.

— Давай паром, што ли, — ехать надо.

— Да тебе надо ли еще ехать-то? Чай, в Красиху пьянствовать?..

— А ты уж накрутился...

— Выпито. Голову всё разломило, беды! А ты, может, лучше не езди.

— Чудак! Чай, у меня дочка там выдана. Звали к празднику. И баба со мной.

— Ну, баба, так, стало быть, не миновать, ехать видно. Э-эх, шестов нет.

— Как нет? Чё хлопаешь зря? Эвона шесты-те!

— Коротки. Двадцати четвертей надо. Чать, видишь: приплескиват Ветлуга-те.

— А ты что же, чудак, шестов не запас, коли видишь, что приплескиват?.. Иванко, стоняй за шестами-те, парень!

— Сходил бы сам, — говорит Тюлин, — тяжёлы вить.

— Ты сходи, — твое дело!

— Не мне ехать, — тебе!

И оба мужика, да и Иванко третий, спокойно остаются на местах.

— Ну-ко я его, подлеца, вицей вытяну... —

опять произносит Тюлин, делая новый опыт примерного вставанья. — Проходящий, да-ко ты мне вицю...

Иванко с громким гнусавым ревом снимается с места и бежит трусцой на гору, к селу.

— Не донесет, — говорит мужик.

— Тяжелы вить! — подтверждает Тюлин.

— А ты бы добежал хоть встречу-те, — советует мужик, глядя на усилия муравья Иванка, появляющегося на верху угора с длинными шестами.

— И то хотел сказать тебе: добеги-кось.

Оба сидят и глядят.

— Евстигне-е-й! Лешай!.. — слышится с той стороны пронзительный и желчный бабий голос.

— Баба кричит, — говорит мужик с некоторым беспокойством.

Тюлин сохраняет равнодушие: баба далеко.

— А как у меня мерин сорвется да мальчонку с бабой ушибет... — говорит Евстигней.

— А резва лошадь-то?

— Беды.

— Ну, так очень просто может ушибить. Да

ты бы, послушай, тово... назад бы. Что тебе ехать-то, кака надобность?

— Ах, чудак! Да нешто не видишь: с бабой собрался. Как можно, что не ехать!

Иванко, выбиваясь из сил, приволакивает, наконец, шесты и с ревом кидает их на берег. Все готово. Тюлину приходится приниматься за работу.

— Эй, проходящий! — обращается он ко мне как-то одобрительно. — Ну-ко, послушай, и ты с нами на паром! А то, видишь вот, больно уж река-те наша резва.

Мы все взошли на скрипучий досчатый паром; Тюлин — последний. По-видимому, он размышлял несколько секунд, поддаваясь соблазну: уж не достаточно ли народу и без него. Однако, все-таки взошел, шлепая по воде, потом с глубокою грустью посмотрел на колья, за которые были зачалены чалки, и сказал с кроткой укоризной, обращенной ко всем вообще:

— Э-эх! Чалки-те, чалки никто и не отвязал. Н-ну!

— Да ведь ты, Тюлин, последний взошел на паром. Тебе бы и надо отвязать, — протек-

стю я.

Он не отвечает, косвенно признавая, быть может, всю справедливость этого замечания, и так же лениво, с тою же беспросветною скорбью, спускается в воду, чтоб отвязать чалки.

Паром заскрипел, закачался и поплыл от берега. Перевозный шалаш, опрокинутая лодка, холмик с церковью мгновенно, будто подхваченные неведомою силой, уносятся от нас, а мысок с зеленою подмытою ивой летит нам навстречу. Тюлин поглядел на мелькающий берег, почесал густую шапку своих волос и перестал пихаться шестом.

— Несет вить.

— Несет, — ответил мужик, с натугой налегая на чегень правым плечом.

— Пылко несет.

— Да ты что стал? Что не пхаешься?

— Поди пхнись. С левого-те борту не маячит.

— Ну?

— То-то и ну!

Мужик ожесточенно сунул свой шест и чуть не бултыхнулся в воду, — его чегень то-

же не достал до дна. Евстигней остановился и сказал выразительно:

— Подлец ты, Тюлин!

— Сам такой! Пошто лаешься?

— За што тебе деньги плочены, подлая фигура?

— Поговори!

— Пошто длинных шестов не завел?

— Заведёны.

— Да что нету их?

— Дома. Нешто мальчонка приволокет... двадцати-то четвертей?

— Говорю: подлой ты человек.

— Ну-ну! Не скажешь ли еще чего? Поговори со мной!

Спокойствие Тюлина, видимо, смиряет возмущенного Евстигнея. Он снимает грешневик и скребет голову.

— Куда ж мы теперича? К Козьме Демьяну (в Козьмо-Демьянск) сплывем, аль уж как?..

## V

Действительно, резвое течение, будто шутя и насмехаясь над нашим паромом, уносит неуклюжее сооружение все дальше и дальше.

Кругом, обгоняя нас, бегут, лопаются и пузырятся хлопья цвету. Перед глазами мелькает мысок с подмытою ивой и остается назади. Назади, далеко, осталась вырубка с новенькою избушкой из свежего лесу, с маленькою телегой, которая теперь стала еще меньше, и с бабой, которая стоит на самом берегу, кричит что-то и машет руками.

— Куда ж мы теперича? Эх беды, право беды, — безнадежно, глядя на бабу, говорит Евстигней.

Положение действительно довольно критическое. Шест уходит вглубь, не маяча, то есть не доставая дна.

Тюлин, не обращая внимания на причитания Евстигнея, серьезно смотрит на реку. Для него опасность всех больше, потому что придется непременно подымать паром против течения. Он, видимо, подтянулся, его взгляд становится разумнее, тверже.

— Иванко, держи по плёсу! — командует он сыну.

Мальчишка на этот раз быстро исполняет приказ.

— Садись в гребни, Евстигней!

— Да у тебя еще есть ли гребни-то? — сомневается тот.

— Поговори со мной!

На этот раз слова Тюлина звучат так твердо, что Евстигней покорно лезет с помоста и прилаживается к веслам, которые оказываются лежащими на дне.

— Проходящий, лезь и ты... в тую ж фигуру.

Я сажусь «в тую ж фигуру», что есть прилаживаюсь к правому веслу так же, как Евстигней у левого. Команда нашего судна, таким образом, готова. Иванко, на лице которого совершенно исчезло выражение несколько гнусавой беспечности, смотрит на отца заискрившимися, внимательными глазами. Тюлин сует шест в воду и ободряет сына: «Держи, Иванко, не зевай мотри». На мое предложение — заменить мальчика у руля — он совершенно не обращает внимания. Очевидно, они полагаются друг на друга.

Паром начинает как-то вздрагивать... Вдруг шест Тюлина касается дна. Небольшой «огрудок» дает возможность «пихаться» на расстоянии десятка сажен.

— Вались на перевал, Иванко, вали-ись на перевал! — быстро сдавленным голосом командует Тюлин, ложась плечом на круглую головку шеста.

Иванко, упираясь ногами, тянет руль на себя. Паром делает оборот, но вдруг рулевое весло взмахивает в воздухе, и Иванко падает на дно. Судно «рыскнуло», но через секунду Иванко, со страхом глядя на отца, сидит на месте.

— Крепи! — командует Тюлин.

Иванко завязывает руль бечевкой, паром окончательно «ложится на перевал», мы налегаем на весла. Тюлин могучим толчком подает паром наперерез течению, и через несколько мгновений мы ясно чувствуем ослабевший напор воды. Паром «ходом» подается кверху.

Глаза Иванко сверкают от восторга. Евстигней смотрит на Тюлина с видимым уважением.

— Эх, парень, — говорит он, мотая головой, — кабы на тебя да не винище — цены бы не было. Винище тебя обманывает...

Но глаза Тюлина опять потухли, и весь он



размяк.

— Греби, греби... Загребывай, проходящий, поглубже, не спи! — говорит он лениво, а сам вяло тычет шестом, с расстановкой и с прежним уныло-апатичным видом. По ходу парама мы чувствуем, что теперь его шест мало помогает нашим веслам. Критическая минута, когда Тюлин был на высоте своего признанного перевознического таланта, миновала, и искра в глазах Тюлина угасла вместе с опасностью.

Около двух часов поднимались мы все-таки кверху, а если бы Тюлин не воспользовался последним «огрудком», паром унесло бы на узкий прямой плес, и его не достать бы оттуда в двое суток. Так как пристать в обычном месте было невозможно, — мостки давно затопило, — то Тюлин пристаёт к глинистому крутояру, зачаливая за ветлы. Начинается спуск телеги. Мы с Евстигнеем хлопочем около этого дела. Тюлин равнодушно смотрит на наши хлопоты, а баба, давно истратившая на ветер все негодующие слова, сидит, не двигаясь, на возу, точно окаменелая, и старается не смотреть на нас, как будто все мы опостытели ей

до самой последней крайности. Она точно застыла в своем злобном презрении к «негодьям-мужикам» и даже не дает себе труда сойти с ребенком с телеги.

Лошадь пугается, закидывает уши и пятится назад.

— Ну-ко, ну-ко, хлесни ее, резвую, по заду, — советует Тюлин, несколько оживляясь.

Горячая лошадь подбирает зад и прыгает с берега. Минута треска, стукотни и грохота, как будто все проваливается сквозь землю. Что-то стукнуло, что-то застонало, что-то треснуло, лошадь чуть не сорвалась в реку, изломав тонкую загородку, но, наконец, воз установлен на качающемся и дрожащем пароме.

— Что, цела? — спрашивает Тюлин у Евстигнея, озабоченно рассматривающего телегу.

— Цела! — с радостным изумлением отвечает тот.

Баба сидит, как изваяние.

— Ну? — недоумевает и Тюлин. — А думал я: беспременно бы ей надо сломаться.

— И то... вишь, кака крутоярина.

— Чё ино! Самая така круча, что ей бы сломаться надо... Э-эх, а чалки-те опять никто не отвязал! — кончает Тюлин с тою же унылой укоризной и лениво ступает на берег, чтоб отвязать чалки. — Ну, загребывай, проходящий, загребывай, не спи!

Через полчаса тяжелой работы веслами, криков: «навались», «ложись в перевал» и «крепи», — мы, наконец, подходим к шалашу. С меня пот льет, от непривычки, градом.

— Проси с Тюлина косушку, — говорит, полусхрюпывая, Евстигней.

Но Тюлин, видимо, не расположен к шуткам. Долговременное пребывание на берегу безлюдной реки, продолжительные унылые размышления о причинах никогда не прекращающейся тяжелой похмельной хворости — все это, очевидно, располагает к серьезному взгляду на вещи. Поэтому он уставился в меня своими тусклыми глазами, в которых начинает медленно проблескивать что-то вроде глубокого размышления, и сказал радушно:

— Причалим, — поднесу... И не одну, слышь, поднесу, — добавляет он конфиденциально, понижая голос, причем в лице его яв-

ственно проступает если не удовольствие, то во всяком случае мгновенное забвение тяжелых похмельных страданий.

А с горы, по неудобной дороге, уже сползают два воза.

— Едут... — скорбно говорит перевозчик.

— Да еще, может быть, не поедут, — утешаю я, — может быть, у них не важное дело.

Я иронизирую, но Тюлин не понимает иронии, быть может потому, что сам он весь проникнут каким-то особенным бессознательным юмором. Он как будто разделяет его с этими простодушными кудрявыми березами, с этими корявыми ветлами, со взывавшею рекой, с деревянной церковкой на пригорке, с надписью на столбе, со всею этой наивною ветлужской природой, которая все улыбается мне своею милою, простодушною и как будто давно знакомою улыбкой...

Как бы то ни было, но на мое насмешливое замечание Тюлин отвечает совершенно серьезно:

— Ежели без товару, само собой обождут. Неужто повезу? — голову всё разломило...

Парохода все нет. Говорят, за час до прихода он будет еще «кричать» где-то, на одной из вышележащих пристаней, но когда, часа через три, пошатавшись по селу и напившись чаю, я подхожу опять к берегу, о пароходе ничего не известно. Река продолжает играть и даже разыгралась совсем не на шутку. Тюлин тащится к своему шалашу по колени в воде, лениво шлепая босыми ногами по зеленой потопшей траве; он весь мокрый, широкие штаны липнут к его ногам, мешая идти; сзади, на чалке, тащится за Тюлиным давешняя старая лодка, которую, согласно предсказанию знатока-перевозчика, унесло-таки течением.

— Что, Тюлин, здоров ли?

— Слава богу. Не крепко чтой-то. Давай на ту сторону поедем.

— Зачем?

— Вишь, склёка вышла. Плоты Ивахински река разметывать хочет.

— Тебе-то что же?.. Разве забота?

— А гляди-ко, Ивахин четвертуху волокет. Да что четвертуха! Тут, брат, и полуведром поступишься...

К берегу торопливою походкой приближался со стороны села мужчина лет сорока пяти, в костюме деревенского торговца, с острыми, беспокойными глазами. Ветер развевал полу его чуйки, в руке сверкала посуда с водкой. Подойдя к нам, он прямо обратился к Тюлину:

— Что, приплескиват?

— Беды! — ответил Тюлин. — Чай, сам видишь.

— А плотишки у меня поняла уж?

— Подхватыват, да еще не под силу. А гляди, подымет. Лодку у меня даве слизнула, — в силу, в силу бегом догнал за перелеском...

— Ну?

— То-то. Вишь, вымок весь до нитки.

— Ах ты! — отчаянно сказал купец, ударив себя по бедру свободною рукой. — Не оглянесья, — плоты у меня размечет. Что убытку-то, что убытку! Ну, и подлец народ у нас живет! — обратился он ко мне.

— Чего бы я напрасно лаял православных, — заступился за своих Тюлин. — Чай, у вас ряда была...

— Была.

— На песок возить?

— То-то на песок.

— Ну-к на песке и есть, не в другом месте.

— Да ведь, подлецы вы этакие, река песок-то уж покрывает!

— Как не покрыть, — покроет. К утру, что есть, следу не оставит.

— Вот видишь! А им бы, подлецам, только песни горланить. Ишь орут! Им горюшка мало, что хозяину убыток...

Оба смолкли. С того берега, с вырубки, от нового домика неслись нестройные песни. Это артель васюхинцев куражилась над мелким лесоторговцем-хозяином. Вчера у них был расчет, причем Ивахин обсчитал их рублей на двадцать. Сегодня Ветлуга заступилась за своих деток и взыграла на руку артели. Теперь хозяин униженно кланялся, а артель не ломила шапок и куражилась.

— Ни за сто рублей! Узнаешь, как жить с артелью! Мы тя научим...

Река прибывала. Ивахин струсил. Кинувшись в село, он наскоро добыл четверть и поклонился артели. Он не ставил при этом никаких условий, не упоминал о плотах, а толь-

ко кланялся и умолял, чтобы артель не попомнила на нем своей обиды и согласилась испить «даровую».

— Да ты, такой-сякой, не финти, — говорили артельщики. — Не заманишь!

— Ни за сто рублей не полезем в реку.

— Пуцдай она, матушка, порезвится да поиграет на своей волюшке.

— Пуцдай покидат бревнушки, пуцдай поразмечет. Поди собирай!

Но четверть все-таки выпили и завели песни. Голоса неслись из-за реки нестройные, дикие, разудалые, и к ним примешивался плеск и говор буйной реки.

— Важно поют! — сказал Тюлин с восторгом и завистью.

Ивахину, кажется, песня нравилась меньше. Он слушал беспокойно, и глаза его смотрели растерянно и тоскливо. Песня шумела бурей и, казалось, не обещала ничего хорошего.

— Много ли недодал вчера? — спросил Тюлин просто.

Ивахин почесался и, не отрывая беспокойного взгляда с того места, откуда неслись



нестройные звуки, ответил так же просто:

— Об двух красных спорились.

— Много же, мотри! Как бы, слушай, бока не намяли.

По лицу Ивахина было видно, что предположение не кажется ему невероятным.

— Хошь бы плоты-те повыволокли, — сказал он с глубокою тоской.

— Чать, выволокут, — успокоил Тюлин.

— Поговори им, — заискивающе сказал торговец. — Мол, боле не приплескиват, назад, мол, к ночи пойдет.

Тюлин ответил не сразу; взгляд его приковался к посудине, и, помолчав, он сказал сластолюбиво:

— Другую четверть волокешь?

— Другую.

— Спойшь и третью. Перевезти, что ль?

— Вези!

Лодка была на середине, когда ее заметили с того берега. Песня сразу грянула еще сильней, еще нестройнее, отражаясь от зеленой стены крупного леса, к которому вплоть подошла вырубка. Через несколько минут, однако, песня прекратилась, и с вырубки слышался

только громкий и такой же нестройный говор. Вскоре Ивахин опять стрелой летел к нашему берегу и опять устремился с новой посудой на ту сторону. Лицо у него было злое, но все-таки в глазах проглядывала радость.

К закату солнца вся артель «убилась» за ивахинскими плотами. Под звуки унылой дубинушки бревна выкатывали на берег и руками втаскивали на подъемы. Скоро весь ивахинский лес высился в клады на крутояре, недоступный для шаловливой реки.

Потом опять загремела песня. Мокрые, усталые артельщики допивали последнюю четверть. Ивахин, потный, злой, но все-таки еще более довольный, переправился в последний раз на нашу сторону и умчался к селу; ветер размахивал полами его сибирки, а в обеих руках были посудыны, на этот раз пустые.

Тюлин, еще более унылый, провожал его долгим взглядом.

— Ну что, побили? — спросил я у него.

Он перевел взгляд на меня и спросил:

— Кого?

— Да Ивахина.

— Не, что его бить...

Я с удивлением посмотрел на Тюлина, и в моем уме блеснула внезапная и неожиданная догадка: физиономия Тюлина припухла, а под глазом стоял фонарь, очевидно, новейшего происхождения.

— Тюлин, голубчик!

— Ну, что?

— Отчего у тебя синяк?

— Синяк... Да отчего ему быть синяку?

— Да ведь тебя, Тюлин, должно быть, били.

— Кто меня бил?

— Артельщики.

Тюлин задумчиво посмотрел мне прямо в глаза и сказал:

— Разве-либо от этого... Да, слышь, и били-то не очень шибко.

Пауза, взгляд на меня, и во взгляде мелькающая догадка:

— Разве-либо не Парфен ли это меня саданул?

— Пожалуй, что и Парфен, — опять помогаю я медленному процессу нового приближения к истине.

— Беспременно Парфен. Такой, скажу тебе, вредный мужичишко — завсегда норовит как

бы нибудь человека испортить...

Вопрос оказался достаточно разъясненным. Мне, правда, очень хотелось еще разузнать, каким образом гнев артели так неожиданно изменил свое направление, и артельная гроза, вместо Ивахина, обрушилась на совершенно нейтральную тюлинскую физиономию, но в это время с другого берега опять слышался призыв:

— Тю-ю-юли-ин!..

Тюлин не повернул даже головы и лениво направился к шалашу, сказав мне на ходу:

— Кличут. Смахать бы тебе, а? Живым бы духом.

Но вдруг он насторожился, повернулся и ожил. На берегу, несмотря на сумерки, можно было разглядеть красные рубахи. Это артельщики звали Тюлина и, кажется, самым заманчивым образом махали руками.

— Зовут ведь? — радостно сказал он, вопросительно глядя на меня.

— Разумеется, зовут. Опять побьют, пожалуй...

— Не, што ты, бог с тобой. Не может быть! Угостить меня артели желательно, вот што!

На мировую, значит...

И Тюлин с удивительною живостью кинулся к берегу. Связав зачем-то две лодки, нос к корме, — он сел в переднюю и быстро отпихнулся от берега, не оставив на этой стороне ни одной.

## VII

Я понял эту невинную хитрость, когда услышал в сумерках скрип воза, съезжавшего с горы. Воз неторопливо подъехал к реке. Лошадь фыркнула несколько раз и, откинув уши, уставилась с удивленным видом на изменившуюся до неузнаваемости смиренницу Ветлугу.

От воза отделился мужик, подошел к самой воде, посмотрел, почесался и обратился ко мне:

— Перевозчик где?

— Вон... — указал я на светлую полосу, взрезавшую темную поверхность реки уже на середине.

Он взгляделся туда, опять помотал головой, прислушался к песням васюхинцев и стал поворачивать воз:

— И подлый же мужичок здешний пере-

возчик живет, — сказал он, впрочем, довольно спокойно. — Гляди, ведь и лодки все уволок... Всю ночь его теперь отсюда не достанешь.

Отведя лошадь, он подошел ко мне и поклонился.

— Проходящие будете?

— Проходящий.

— Не с озера ли?

— С озера.

— Так. Много теперича народу идет. Завтра, что есть, и то еще пойдут. Эх, как река-то пылит, беды! Ежели теперь нам с вами на паром... Да нет, не управиться... Ночевать, видно. А вы не к пароходу ли?

— К пароходу.

— Ну, на заре, раньше не будет. Ночевать, видно, и вам. — Он поставил за шалашом телегу и пустил на береговой откос стреноженную лошадь. Через несколько минут за шалашом закурился дым.

Тюлин, очевидно, приучил свою публику к терпению.

Солнце давно спряталось за горами и лесами, над Ветлугой опустились сумерки, синие,

теплые, тихие. Наш огонек разгорался, дым подымался прямо кверху. Было как-то даже странно это спокойствие воздуха, наряду с торпливым и буйным движением на реке, которая все продолжала приплескивать. С того берега все неслись песни, и мне казалось, что я различаю фистулу Тюлина в общей разногласице. На одном из недалних холмов один за другим вспыхивали огни соседней деревеньки. Днем я не замечал ее, — так ее серые избы и темные крыши сливались с общими тонами пейзажа... Теперь она выступила красивой стайкой огоньков на темной верхушке холма, и кое-где четырехугольники крыш вырезывались в синеве неба.

Это — деревня Соловьиха. Мой новый знакомый, от нечего делать, рассказал мне некоторые небезынтересные черты из жизни ее обитателей. Народ в Соловьихе живет предприимчивый и гордый; в окрестностях соловьихинцы слыгут «воришканами». Случилось моему новому знакомому остановиться в селе Благовещении, у дьячка. Дело было зимой, к вечеру. Сидят за столом. Вдруг кто-то стук-стук в оконце. Выглянул дьячок: стоит за

окном Иван Семенов, сосед-старичок, и на ночь просится. «Да что ты, чай тебе до дому всего с версту?» — «С версту, мол, с версту, да мимо Соловьихи идти. Как бы опять к пролубли не свели».

Оказалось, что между этим старичком и соловьихинцами установились совершенно своеобразные отношения. Как только старик разживется деньгами, так непременно напьется на селе, а как напьется, так и начнет хвастать: имею у себя «Катеньку» в кармане. Пойдет после этого домой, его соловьихинцы и переймут на реке, да прямо к проруби.

— Хошь в пролубь?

Ну, разумеется, не хочет. Они и не неволят — отдай только им «Катеньку». Он отдает, делать нечего. Они опять:

— Хошь в пролубь?

— Не желаю, братцы.

— Так никому, гляди, не бай. Не скажешь, что ли?

— Не скажу!

— Заклянись!

— Чтоб мне, — говорит, — на сим месте провалиться, коли скажу единой душе.



И не говорит. Сколько раз этак его ловили, — надоело ему, перестал вечером мимо Соловьихи ходить, особенно когда выпивши, а не сказал никому. «Водили, — говорит, — к пролуби соловьихинцы», а кто именно — ни за что не скажет.

После этого рассказа я с особым любопытством взглянул на деревеньку «воришканов». Ну, где, думалось мне, кроме Ветлуги, встретите вы такую непосредственность и простоту приемов, и такое благородное доверие к чужому слову, и такую простодушную уверенность в возможности «провалиться на сим месте», в случае нарушения клятвы?.. Мой новый знакомый, сам — «ветлугай», уверял, что другой этакой деревни нет нигде больше по всей реке. В Марьине промышляли года три назад «красноярками»[11], — ну, это дело другое. А положите в незапертой избе деньги, уходите на сутки, — никто не тронет.

— Как же все-таки соловьихинцы?

— Такой у них, позвольте сказать, обычай...

Ну, где еще, думалось мне опять, найдется такая терпимость к чужим обычаям?.. И

огоньки Соловьихи мигали мне приветливо и простодушно: «нигде, нигде»...

— Вот и у Тюлина, — сказал я, улыбаясь, — тоже обычай.

— Верно! Подлец мужичок, будь он проклят! А и то надо сказать: дело свое знает. Вот пойдет осень или опять весна: тут он себя покажет... Другому бы ни за что в водополь с перевозом не управиться. Для этого случая больше и держим...

— Мир беседе!

— Милости просим!

К нашему огоньку с берестяными кошелками за спиной, с посошками в руках подошли два странника. Один из них, скинув котомку, внимательно поглядел на меня и сказал:

— Этого мы человека видели.

— Немудрено, — ответил я.

— На Люнде были?

— Был.

— Там и видели. По усердию или обет был даден владычице?

— По усердию. А вы?

— Мы к празднику ходили, стало быть, к

сродникам.

— Что ж, садитесь к огоньку.

— Да нам бы на перевоз, — до дому недалеко. К утру и дошел бы я.

— Да, на перевоз!.. — вмешался мой знакомый. — Тюлин последнюю ладью уволок. На пароме разве?..

— Где!.. Больно река взыграла.

— Да и шестов длинных нет.

Другой из новоприбывших подошел усталым шагом к берегу, и тотчас же над рекой раздалось громко, протяжно:

— Тю-ю-ли-ин! Лодку дава-а-ай!

Отклик покотился по реке, будто подхваченный быстрым течением. Игривая река, казалось, несет его с собой, перекидывая с одной стороны на другую меж заснувшими во мгле берегами. Отголоски убегали куда-то в вечернюю даль и замирали тихо, задумчиво, даже грустно, — так грустно, что, прислушавшись, странник не решился в другой раз потревожить это отдаленное вечернее эхо.

— Шабаш! — сказал он и, махнув рукой, вернулся к нашему огоньку.

— А парню-то и до дому рукой подать, —

сказал первый из моих знакомых, — и всего-то версты четыре, из Песошной! Слыхали про песочинцев? — спросил он с лукавой усмешкой.

— Нет, я в здешних местах не бывал.

— У них, у песочинцев, тоже опять свой нрав. Что ни город, то, говорят люди, норов, что ни деревня, то обычай. Соловьихинцы, — я вот рассказывал, — любят так, чтоб чужое взять, а уж песочинцы — те свое беречь мастера. Это годов, может, пять назад, пошли семеро песочинцев в село Благовещение железо чинить: лемеха там, сошники, серпы и прочее деревенское орудие. Ну, починили, идут назад к реке и сумы с железом в руках несут. А река, как вот и теперь же, приплескивает сильно, играет, да еще ветер по реке ходит, волну раскачал. А лодка-то, известно, верткая. «А что, братцы вы мои, — говорит один, — как лодку у нас ковырнет, ведь железо-то, пожалуй, утопнет. Давай, робяты, кошельки к себе привяжем, кабы железо не потопить». — «И то, мол, дело!» Так и сделали. К реке шли — железо в руках несли; в лодку садиться — давай на себя навязывать. Выехали

на середину, река лодку-те и начни заливать, лодка и опрокинъся. Ну, железо-то крепко к спинам привязано — не потерялось. Так вместе с железом хозяевы ко дну и пошли, все семеро!.. Что, парень, аль не правду я баю?

Песочинец не возражал, и, при свете огонька, на всех трех лицах моих собеседников лежала одна и та же добродушно-насмешливая улыбка, с особенною ветлужскою складкой, живо напоминавшею мне Тюлина.

— Ну, а вы-то откуда? — спросил я у старика, который видел меня на Люнде.

— А я, господин, сам по себе. Без роду-племени, бездомный человек, солдатская кость.

— А все-таки, родом с Ветлуги?

— С нее, матушки. Не одну путину сгонял по ней смолоду. Да и после царской службы вот уж пятнадцатый год околачиваюсь.

Солдатского в этом старике было очень мало: только разве некоторая спокойная уверенность речи, да еще старый, засаленный картуз с какими-то едва заметными кантами и большим надорванным козырем. Из-под козыря глядели и искрились порой серые глаза, а около усов ютилась чуть заметная улыбка.

Голос у старого солдата был очень приятный, грудной, с «перекатцем», выдававшим прежнего лихого песельника, но теперь уже значительно осипшим от старости, от речной сырости, а может и от «винища». Как бы то ни было, слушать этот голос с юмористической ноткой и глядеть на ветлужскую усмешку старого солдата было очень приятно, и я вспомнил теперь, что действительно мы встречались с ним на озере. В разгар самого горячего спора на тему: «с татем, с разбойником, кольми паче с еретиком не общайся», — когда обе стороны засыпали друг друга текстами и разными тонкостями начетчицкой диалектики, — этот старичок, с надорванным козырем и искрящимися глазами, вынырнув внезапно в самой середине, испортил всю беседу, рассказав очень просто и без всяких текстов простой житейский случай. Рассказ произвел на большинство сильное отрезвляющее впечатление; начеткики отнеслись к нему с явным пренебрежением. Как бы то ни было, беседа была решительно испорчена, и толпа разошлась, унося, быть может, не одно проснувшееся сомнение...

— Помилуйте, бабий разговор, просторечие, — сказал мне с неудовольствием один из начетчиков. — Нешто это от писания?

— Да это кто такой, не Ефим ли? — спросил другой, подошедший к концу разговора.

— Он.

— Пустой мужичонко, ветлугай. В работниках у нас живал. Писания не знает. Евангелие одно читал... — и говоривший махнул рукой.

Ефим-ветлугай только улыбался своею особенною улыбкой, неизвестно к чему относящеюся: к предмету ли разговора, к слушателям или, быть может, к самому ему, пустому мужичонку, бездомнику, солдатской косточке... Как бы то ни было, мне казалось, что в рассказе ветлугая я слышал первое еще на Светлояре живое слово.

Теперь мы опять завели разговор на ту же тему: о Люнде, о Светлояре и Китеже, об уренивцах. Среди многочисленных и разноверных групп, собирающихся на Светлояре, приносящих туда, каждая, свои книги, свои напевы и свою веру, в особенности выделяются уренивские начетчики, устраивающие каждый год свой алтарь под одним и тем же ста-

рым дубом, на склоне холма. В то время как около австрийского священника, в полуманатейке и с длинными косами впереди ушей, едва-едва набирается десяток молящихся, — около уреневского дуба стоит тесная большая толпа. Меня поразили суровые, надменные лица этих начетчиков. Тут были женщины в темных скитских платьях, какой-то очень длинный субъект с резкими чертами, молодой мальчишка с сумой нищего, с лицом, покрытым оспой, и лохматый юродивый... Они читали и пели по очереди, однообразными, гнусавыми голосами, совершенно притом не обращая внимания на все окружающее. Между тем как представители других толков охотно вступали в споры, — уреневцы держались свысока, пренебрежительно и на вопросы совсем не отвечали. Казалось, для них во всем мире не существовало уже ничего заслуживающего хотя бы малейшего снисхождения и вся святость сосредоточивалась на этом небольшом островке, занятом их тесно сомкнутыми «стриженными гуменцами» и оглашаемом их унылыми напевами.

— Очень уж высоко сами себя держат, —



говорил Ефим. — Народ, нечего сказать, про- сужий, трезвый народ, а только нашему брату у них неловко.

— Почему это?

— Тоскливо. Наша вера, прямо сказать, много веселее, — ответил за Ефима хозяин во- за.

Молчавший до сих пор песочинец при этих словах улыбнулся как-то радостно и ска- зал:

— Бывал ведь я у них. Больно, братцы, чуд- но!

— А что?

— Да так. Этно нанялся я у них зимусь к од- ному: брусу из лесу выволочки. Приехали мы с молодым хозяином на моей лошаде ночью. Наутро проснулся я, а темно еще — дело зим- нее. Гляжу: старуха светец засвечает, потом молиться хочет образам. Образа-те хорошие, крашоные. Ну, думаю, и мне пора; помолюсь, дай-ка, и я, да лошадь пойду снаряжать. Лезу тихонько с полатей, стал за ей, давай себе креститьця. Как тут она обернись. Увидела меня и руками замахала: «Ты, — говорит, — что это делаешь?» — «А что, мол, — молитыця

было похотел». — «Погоди», — говорит. — «Чего годить? — самая пора». — «Погоди, мол, после». Ну, после, дак и после, опять я полез на полати. Отмолилась она, свечи погасила, убрала; гляжу опять: малое время погода, старче с печки лезет, свою икону тащит на божницу, свою и свечку зажигат. Я опять с полатей. Думаю, теперь и мне можно. Только нацелился лоб перекрестить, старичишка меня за руку лап! «Ты што это?» — «На вот!.. да я, мол, было молитыця целился». — «Погоди, — говорит, — не годится тебе». Вот оказия! Опять, видно, на полати лезть. Ну, чего будет!.. Тут опять молодица слезат, с молодым хозяином в боковушке свечку затеплили. У тех икон нету — одно распятье. Я живым духом к ним, опять себе нацеливаюсь. Давай, думаю, хоть на распятье помолюсь.

— Ну, допустили, что ль? — спросил один из заинтересованных слушателей, видя, что рассказчик остановился.

— Не! Што вы думаете? — и тут не допустили! Отмолились сами, потом зовут: теперь, говорят, иди, молись себе. Взошел я в боковушку, а там голые стены. Они и распятье-то уво-

локли... Ах ты, шут вас задави! Что мне тут с вами грешить, думаю себе. Не надо! Я лучше, коли так, дорогой поеду, на солнышко господне помолюсь.

— Три веры в одном доме! — заметил солдат.

— Три и есть. Обедать время пришло. Ну, посадили меня, доброго молодца, честь-честью. Опять старики с дочкой вместе, нам с молодым хозяином на особицу, да еще, слышь, обоим чашки-те разные. Тут уж мне за беду стало. «Ах вы, — говорю, — такие не эдакие. Вы не то што меня бракуете, вы и своего-то мужика бракуете». — «А потому, — старуха бает, — и бракуем, што он по Русе ходит, с вашим братом, со всяким поганым народом нахлебается...» Вот и поди ты, как они об нас понимают!

— Д-да, — подтвердил хозяин воза, лежавший уже с руками, заложенными за голову. — Видишь ты, каке грозны живут... А сами-те, бесстыдники! Тепериче у нас, поблизу, в деревне два брата; один, стало быть, в солдаты ушел, другой его бабу к себе взял. Это невестку-то, стало быть, да еще чижолую. Другой со

службы вернулся, тоже долго не думал: родную-те сестру прежней жены к себе. Да слышь: два брата на двух сестрах женаты, да мальчонке-то солдат и дядей родным, да чуть ли и тяткой не приходится. Так вот этим не брезгают. Охо-хо-хо-о... Не спать ли пора?

Водворилось ненадолго молчание.

— Смешица по Русе пошла, — раздался через минуту простодушный голос песочинца.

— Давно уж это, — сказал, укладываясь, солдат, — не со вчерашнего дни.

— Чё не давно? Вот теперича молокана опять...

— Ну, эти иная статья, другого роду. Спи-ложись, пустого не бай!

Но песочинец, объятый размышлением о «смешице», которая пошла «по святой Русе», долго еще не мог улечься. Он сидел, ковырял веткой в огне и, увидя, что я тоже не сплю, кивнул лукаво в сторону Ефима и произнес:

— Особа статья, говорит... Чего не особа статья! Сам с ними водитця, богам нашим молитця не стал, молоко по пятницам жрет. Сам видывал, а то бы и баять не надо...

И он тоже стал прилаживаться на песочке.

## VIII

Я поднялся и посмотрел кругом.

Река скрылась в темной синеве вечера. Луна еще не подымалась, звезды тихо, задумчиво мигали над Ветлугой. Берега стояли во мгле, неясные, таинственные, как будто прислушиваясь к немолчному шороху все прибывающей реки. Поверхность ее была темна, не видно было даже «цвету», только кое-где мерцали, растягивались и тотчас исчезали на бегущих струях дрожащие отражения звезд, да порой игривая волна вскакивала на берег и бежала к нам, сверкая в темноте пеной, точно животное, которое резвится, пробегая мимо человека...

Артель все еще бушевала на другом берегу, но песня, видимо, угасала, как наш костер, в который никто не подбрасывал больше хворосту. Голосов становилось все меньше и меньше: очевидно, не одна уж удалая головушка полегла на вырубке и в кустарнике. Порой какой-нибудь дикий голосина выносился удалее и громче, но ему не удавалось уже воспламенить остальных, и песня гасла.

Я тоже улегся рядом со спящими ветлуга-

ями, любуясь звездным небом, начинавшим загораться золотыми отблесками подымавшейся за холмами луны. А с горы, тихо поскрипывая, спускался опять запоздалый воз, подходили пешеходы и, постояв на берегу или безнадежно выкрикнув раза два лодку, безропотно присоединялись к нашему табору, задержанному военною хитростью перевозчика Тюлина.

Огни в деревушке на холме давно погасли один за другим. Столб с надписью то выделялся, окрашенный огнем костра, то утопал в темноте.

На той стороне, за рекой, запевал соловей.

— Перево-оз!

— Перевоз, перевоз, перрево-о-оз!

— Эй, перевоз-чик, живей — э-эй!

— Го-го-го-го-о-о!..

Громкие крики, раздавшиеся шумно, внезапно, резко и звонко, точно труба на заре, разбудили меня и весь наш табор, приютившийся у огонька. Крики наполняли, казалось, землю и небо, отдаваясь в мирно спавших ложницах и заводях Ветлуги. Ночные странники просыпались и протирали глаза; песочинец,

которого вчера так сконфузил его собственный скромный оклик заснувшей реки, теперь глядел с каким-то испугом и спрашивал:

— Что такое? С нами крестная сила, что такое?

Начинало светать, река туманилась, наш костер потух. В сумерках по берегу виднелись странные группы каких-то людей. Одни стояли вокруг нас, другие у самой воды кричали перевозчика. Невдалеке стояла телега, запряженная круглою сытою лошадыю, спокойно ждавшею перевоза.

Я тотчас же узнал уреневцев... Тут были и третьеводнишние скитницы в темных одеждах, и длинный субъект с мрачным лицом, и рябой нищий, и лохматый «юрод», и еще какие-то личности в том же роде.

Теперь они стояли вокруг нашего, лежавшего вповалку, табора, глядя на нас с бесцеремонным любопытством и явным пренебрежением. Мои спутники как-то сконфуженно пожимались и в свою очередь глядели на новоприбывших не без робости. Мне почему-то вдруг вспомнились английские пуритане и индепенденты времен Кромвеля. Вероятно,

эти святые так же надменно смотрели на простодушных грешников своей страны, а те отвечали им такими же сконфуженными и безответными взглядами.

— Эй, вы, ветлугай-водохлёбы! где перевозчик?

— Перевоз, перевоз, перре-во-оз!..

Можно было подумать, что целая армия вторглась в мирные владения беспечного перевозчика. Голоса уреневцев гремели и раскатывались над рекой, которая теперь, казалось, быстро и сконфуженно убегала от погрома, вся опять желтовато-белая от цвету. Эхо долго и далеко перекатывало эти крики.

«Ну-ка, — думалось мне, — устоит ли и теперь тюлинский стоицизм?»

К моему удивлению, взглянув на реку, я увидел в утренней мгле лодочку Тюлина уже на середине. Очевидно, философ-первозчик тоже находился под обаянием грозных уреневских богатырей и теперь греб изо всех сил. Когда он пристал к берегу, то на лице его виднелась сугубая угнетенность и похмельная скорбь; это не помешало ему, однако, быстро побежать на гору за длинными шеста-



ми.

Наш табор тоже зашевелился. Хозяева ночевавших возов вели за челки лошадей и торопливо запрягали, боясь, очевидно, что уреневцы не станут дожидаться, и они опять останутся на жертву тюлинского самовластия.

Через полчаса нагруженный паром отвалил от берега.

У потухшего костра мы остались вдвоем с Ефимом, который разгребал пальцами золу, чтобы закурить угольком носогрейку.

— А вы что же не переправились заодно?

— Ну их, не люблю, — ответил он, раскуривая. — Мне не к спеху — пойду себе по росе... А вот вам так, пожалуй, пора собираться: слышите, пароход сверху бежит.

Через минуту и я мог уже различить гулкие удары пароходных колес, а через четверть часа над мысом появился белый флаг, и «Николай» плавно выбежал на плёсо, мигая бледнеющими на рассвете огнями и ведя зачаленную сбоку большую баржу.

Солдат услужливо подал меня в тюлинской лодочке на борт парохода, и тотчас же

сам вынырнул в ней из-за кормы, направляясь к тому берегу, где грузный паром высаживал уреневцев.

Солнце давно золотило верхушки приветлужских лесов, а я, бессонный, сидел на верхней палубе и любовался все новыми и новыми уголками, которые с каждым поворотом щедро открывалась красавица-река, еще окутанная кое-где синеватою мглой.

И я думал: отчего же это так тяжело было мне там, на озере, среди книжных народных разговоров, среди «умственных» мужиков и начетчиков, и так легко, так свободно на этой тихой реке, с этим стихийным, безалаберным, распущенным и вечно страждущим от похмельного недуга перевозчиком Тюлиным? Откуда это чувство тяготы и разочарования, с одной стороны, и облегчения — с другой? Отчего на меня, тоже книжного человека, от тех веет таким холодом и отчужденностью, а этот кажется таким близким и так хорошо знакомым, как будто в самом деле.

*Все это уж было когда-то,  
Но только не помню когда*

Милый Тюлин, милая, веселая, шаловли-  
вая взыгравшая Ветлуга! Где же это и когда я  
видел вас раньше?

*1891*

# В облачный день

## Очерк I

Был знойный летний день 1892 года. В высокой синеве тянулись причудливые ключья рыхлого белого тумана. В зените они неизменно замедляли ход и тихо таяли, как бы умирая от знойной истомы в раскаленном воздухе. Между тем кругом над чертой горизонта толпились, громоздясь друг на друга, кудрявые облака, а кое-где пали как будто синие полосы отдаленных дождей. Но они стояли недолго, сквозили, исчезали, чтобы пасть где-нибудь в другом месте и так же быстро исчезнуть...

Казалось, у облачного неба не хватило решимости и силы, чтобы пролиться на землю... Тучи набирались, надумывались, тихо разворачивались и охватывали кольцом равнину, на которой зной царил все-таки во всей томительной силе; а солнце, начавшее склоняться к горизонту, пронизывало косыми лучами всю эту причудливую мгlistую панораму, усиливая в ней смену света и теней, при-

давая какую-то фантастическую жизнь молчаливому движению в горячем небе... Во всем чувствовалось ожидание, напряжение, какие-то приготовления, какая-то тяжелая борьба. Туманная рать темнела и сгущалась внизу, выделяя легкие белые облачка, которые быстро неслись к середине неба и неизменно сторали в зените, а земля все ждала дождя и влаги, ждала томительно и напрасно...

По тракту лениво прозвонил колокольчик и смолк. Потом неожиданно заболтался сильнее, и с холма меж рядами старых берез покатился в клубке белой пыли тарантас с порыжелым кожаным верхом, запряженный тройкой почтовых лошадей. Вокруг тарантаса моталась плотная пыль, лошадей густо облепили слепни и овода, увязавшиеся за ними от самой станции. От станции же путников сопровождал печальный и сухой шелест усыхающих нив. Роясь тихо качалась, шуршала и будто жаловалась впросонках на этот зной и на эти раздражающие туманные грезы, залегающие на горизонте обманчивыми признаками дождей...

Было скучно. В густой листве придорож-

ных берез шевелились порой какие-то вздохи, а из села, колокольня которого осталась позади, за холмом, слышался редкий, надтреснутый звон.

— Осокинцы молебствуют, — сказал, ни к кому не обращаясь, ямщик. — Беда ведь: жар да сухмень... Гнев господень... Икону подняли, — что-то господь даст. Эх, вот прежде поп у них был, Василий. Насчет чего прочего не больно дохваляли, а что касаясь дождя, — ну, дошлый был! Как, бывало, пройдет по межам, даром что пьяненький, шатается, — отколь и возьметса, братец мой, туча... И отколь тебе ни возьметса туча...

Никто не ответил, и ямщик смолк. На меже действительно мелькали ризы сельского причта, почерневшая парча двух хоругвей болталась в ясном воздухе, и пение незатейливого клира носилось какими-то обрывками. Раскатится густая диаконская октава и рассыплется горошком где-то совсем близко, смешавшись с шелестом ржи, между тем как высокая фистула дьячка беспокойно летает над березами и будто мечется, и кого-то ищет, и зовет кого-то напрасно. Потом все стихнет,

и весь пейзаж опять безысходно томится и будто еще усиленнее чувствует тяжесть бытия. А неподвижный воздух опять густо насыщен ожиданием и смутными, раздражающими грезами...

Вместе с пылью и слепнями это ощущение безнадежной тоски нависло, очевидно, и над тарантасом, тихо катившимся по тракту. Коренник лениво месил ногами, пристяжки роняли морды чуть не в самую пыль дороги, тарантас расслабленно дребезжал плохо пригнанными частями, ямщик видимо придирался к одной пристяжке, наделял ее по временам язвительными эпитетами самого оскорбительного свойства.

Впрочем, если кто еще не вполне поддался расслабляющему влиянию этого томительно-го дня, то это именно ямщик. Это был человек небольшого роста и довольно невзрачный в своем порыжелом кафтане и в шляпенке неизвестного происхождения, неопределенной формы и цвета. Нос у него был несколько набекрень, бороденка выгорела от солнца, но глаза, синие и глубокие, глядели живо, умно и несколько мечтательно...

Это была личность, популярная по тракту, и кому часто доводилось ездить этими местами, тот непременно замечал и помнил Кривоносого Силуяна, с его синими глазами, глубоким голосом и бесконечными рассказами. Были седоки, которые, приезжая на станцию, спрашивали у содержателя: «А что, Силуян тут?» — «Балагур, — говорили про него другие ямщики. — С ним, конечно, седоку не скучно». Зато и сам Силуян любил седока внимательного, бывалого и разговорчивого. Он умел говорить, но любил и послушать. Он охотно отдавал дороге все, что накопил в памяти. Но и дорога, в свою очередь, наделяла Силуяна такими сведениями, которые только и можно подхватить на бойком тракту от проезжего, бывалого и видалого человека. В таких случаях Силуян жадно прислушивался, повернувшись с облучка назад, а потом, возвращаясь на обратной один, легкой рысцей, в сумерки или темною ночью, когда чуть видные березы глухо шумели вдоль темного тракта, — он перебирал в уме слышанное за день. А так как в душе он поэт, наделенный беспокойным и подвижным воображением, к



тому же темные ночи, звон колокольчика и шум ветра в березах отражаются по-своему на работе ямщицкой памяти, — то не мудрено, что уже через неделю-другую сам проезжий рассказчик мог бы выслушать от Силуяна свой собственный рассказ как очень интересную новость... И ему не удалось бы даже убедить Силуяна, что это он, проезжий, сам и рассказывал ему, только совсем иначе. Силуян повернется, посмотрит и покачает головой.

— Нет, то был другой и личность другая.

И действительно, то был другой, потому что темные ночи и ямщицкая память совершенно преображали человека, неизвестно откуда приехавшего и неизвестно куда ускакавшего по тракту в неведомый свет, — преображали до такой степени, что и фигура, и лицо, и голос, и самый рассказ подергивались особым налетом ямщицкой фантазии... Так рождалось на А-ском тракту много былин, а так как их некому было записывать, то они тут же на тракту и умирали, если, впрочем, исправник Полежаев, большой любитель рассказов Силуяна, не повторял их где-нибудь в

грязном номере уездной гостиницы перед скучающей уездной публикой...

— Да ты, Силуян, смотри, не все болтай зря, — говорил иногда исправник. — Как бы иной раз и не того... и не нагорело за твои сказки...

— Убей меня бог, Степан Митрич, — отвечал Силуян с убеждением и совершенно искренно. — От проезжего барина слышал, от генерала. Чай, не станет врать...

Вообще много странного можно было услышать о белом свете от ямщика Силуяна, обычно знавшего, впрочем, каждый пенек на А-ском тракте.

## II

Теперь он был слегка раздражен и недоволен. Изменчивые облака (овес сохнет!), жар, слепни, лукавство пристяжки, которая все норовит «обмануть» его, но самое неприятное — молчаливые, разваренные седоки... Их двое: молодая девушка и пожилой барин. Барин сидит совсем осовелый и клюет носом. Ямщик давно махнул на него рукой и все внимание обратил на девушку. Но та сначала забилась в угол тарантаса и все глядела в одном направ-

лении упрямо и жадно, не видя ничего в отдельности и только поглощая глазами синюю даль. Потом она заснула, не переменив положения: белокурая головка беспомощно моталась на жесткой коже тарантаса, платок с головы съехал назад, волосы сбились, а на лице блуждало странное выражение, как будто и во сне она глядела на что-то вдали и старается что-то угадать.

Силуяну стало жаль ее, и он поехал тише, но пристяжка воспользовалась его снисходительностью до такой степени нагло, что он не выдержал и резко вытянул ее кнутом. Недобросовестный конь дернул сразу, тарантас охнул, и девушка проснулась.

— И подлый же конь этот, — сказал ямщик виновато, указывая на пристяжку кнутом. — Коренная, например, старается, без облыни, а этому подлецу только бы оммануть. Вот, воо-о-т, во-ат, гляди на него, на ш-шельму.

Кнут несколько раз взвизгнул в воздухе и шлепнул по мокрым бокам коня. После этого пристяжка, казалось, поняла цену добродетели, и ямщик успокоился. Он поглядел на небо

и, широко взмахнувши по воздуху кнутовищем, как бы погоняя тучи, сказал:

— Облака-те набираются все. Не даст ли господи милости хресьянам... Айда, айда к нам, на Липоватку.

Он остановился с ожиданием. Теперь по-настоящему седокам следовало бы спросить: «А ты сам разве из Липоватки?»

И он бы тотчас ответил:

— Ну! Из Липоватки, из самой! Липоватовых господ, может, слыхали? Богатеющее имение было.

Да тут же, кстати, спросил бы и сам:

— А вы чьи будете, из какой стороны? Не видывали мы вас что-то, здешние-то господа у нас на примете.

Он жадно насторожился, но никто ничего ему не ответил. Господин по-прежнему тускло глядел вперед и тихонько потряхивался на сидении («точно мешок с мякиной», — сказал про себя ямщик), а барышня опять уставилась глазами на дальнюю рощу, грузно и сине легшую по «вершинке», на фоне желтой нивы.

Ямщик досадливо поправился на облучке,

уселся плотнее и обратился к березам, которые что-то зашептали ему, как старому знакомому, будто приглашая к беседе с ними, вместо неприветливых седоков.

— И-эх березыньки!.. — любовно протянул он нараспев, и тихая песня понеслась среди мертвого жужжания оводов. Он пел приятной фистулой, обладавшей общим свойством ямщицких голосов: песня звучала будто откуда-то издалека, точно ветер наносил ее с поля.

*И э-э-эх-да-э-эх... Да Аракчеев гос-  
подин...  
Да Аракчеее-е...*

Так как лукавый пристяжной конь видимо замедлил ход, чтобы лучше слышать пение хозяина, то ямщик опять резко вытянул его по заду, — а песня не прерывалась, будто в самом деле ее пел кто-то другой, в стороне. Она тягуче и тихо, но как-то особенно плотно и грустно лилась нота за нотой... Есть что-то особенное в этих ямщицких песнях, которые поются вполголоса на облучке под топот копыт и монотонное позванивание колокольчика. Не удаль и не тоска, а что-то неопреде-

ленное, точно во сне встают воспоминания о прошлом, странном и близком душе, увлекательном и полузабытом... Барышня шевельнула бровями.

*Да Аракчеев-господин,  
Да ен всё дороженьку березкой  
усадил...*

Воспоминание становилось определеннее. Слова выходили из звучного жужжания ясные, с понятным смыслом. Барышня совсем оторвала глаза от рожи, и господин переставал безжизненно встряхиваться на своем сидении.

*Да он тебя, дороженька, березкой  
усадил...  
Да всё Расеюшку в разор разорил!..  
И-э-э-эх, моя березынька, дороженька моя...*

Последний стих прозвенел и потерялся в воздухе, покрытый явно сочувственным шорохом берез, шевеливших на легком ветру нависшими ветками. Ямщик, казалось, забыл уже о седоках, и через минуту песня опять тя-

нулась, отвечая шороху деревьев:

*И-й-эх, моя березынька, дороженька моя...*

*И-й-эх, ты, мать Расеюшка, хрянская земля...*

*Да э-эх, Ракчеив наш, Ракчеив-генерал,*

*На тую ль на дороженьку... хрян выгонял...*

*Да й-э-э-эх...*

Шепот деревьев, шорох хлебов, звон колокольчика, и опять песня.

*Тая ли дороженька-а-а да кровью полита!..*

Вместе с определенностью мотива определялось и выражение на лицах седоков. Лицо молодой девушки стало печально, глаза округлились. Это заметил проснувшийся господин и сказал с неудовольствием:

— Ну, ты! Что такое, — распелся! — говорил он слегка дребезжащим голосом, в котором силилась пробиться какая-то твердая нота.

Ямщик невольно оглянулся. Седок уже не встряхивался, а сидел «своей волей», нахму-

рив брови, и на лбу его ямщику только теперь резко кинулась в глаза кокарда. «Должно — начальство новое», — подумал Силуян, обрывая песню, и обиженно задергал вожжами.

Но в голове его шевелились вольные мысли:

«Ишь ведь, прости господи, идол навязался! Не важивали мы начальников, что ли? Вон Полежаев, исправник, или опять Талызин, Василь Семеныч, даром што генерал полный, а, бывало, подавай ему Силуяна, с другим, говорит, и не поеду...»

Эти воспоминания ободрили ямщика, и он прибавил вслух:

— Низвините, ваше благородие, — песня такая поется старинная, про Ракчеива, значит.

— То-то песня, — брезгливо и как-то слегка в нос сказал седок. Он, видимо, старался говорить строго, но твердая нота все не налаживалась. — Песня! Песни тоже всякие бывают...

Впрочем, лицо его опять начало расплываться, обрюзгло, и туловище опять пассивно поддалось влиянию тарантаса: господин опять стал потряхиваться, а глаза его потуск-



нели. Из опасения, что разговор, хотя несколько неприятный, угаснет, ямщик прибавил раздумчиво, после короткой паузы:

— Ракчеив... Стало быть, помещик был в нашей стороне. Годов, сказывают, со сто, а то, может, и всех два-ста будет. Важнеющий был генерал у царицы, у Екатерины.

Господин слегка очнулся.

— То-то вот! — все еще несколько сонным голосом ответил он. — «Два-ста»... У Екатерины... в вашей стороне! Ничего-то вы, мужики, толком не знаете, а туда же, «в разор разорил»... Распустились!

— Песня, господин, она, как сказать... — возразил Силуян, — она ведь исстари идет... От народу взялась... Старинная это песня... Ежели ее голосом настояще вывести...

— Ну-ну! Будет уж, не выводи! Слыхали.

— Как угодно! — Ямщик окончательно обиделся.

— Что ты это, папочка, отчего? — спросила девушка. Она, казалось, не сразу вслушалась в содержание разговора и только задумчиво ждала продолжения песни. Когда все смолкло и продолжения не было, — она только тогда

поняла причину.

— Ах, Леночка, — ответил господин, — ты этого не можешь понять. Это не Петербург, и здесь я не могу смотреть на себя, как...

— Как на что? — лениво спросила дочь.

— Как... на частного человека! Пожалуйста, Лена, не вмешивайся в мои... распоряжения.

— Не буду, папочка, — так же лениво обещала девушка.

Ямщик излил свои ощущения усиленной игрой на вожжах и усердным употреблением кнута. Однако чуткое ухо уловило кое-что в разговоре. «Вишь ты, — подумал он, — начальник и есть. Строг, а, кажись, отходчив. Ну, да мне-ка что! Наше дело ямщицкое!»

Опять наступила тишина и дорожное томление. Барышня смотрела вдаль, господин потряхивался и ритмически покачивался на сидении, а глаза его, все еще открытые, стали так тусклы, как будто на них насада пыль. Колокольчик бился, взвизгивал и подвывал какому-то своему неисходному горю. Потом он всем надоел, прислушался и сразу исчез из слуха и сознания. Зато в тишине полей ожи-

вало какое-то тревожное, пугливое трепетание, и порой чудилось, что диаконский бас, давно оставленный назади, опять увязался с тучами оводов за тарантасом и все догоняет и сыплется по сторонам горошком.

Но это был только слуховой призрак, вставший среди чуткой атмосферы, наэлектризованной томлением и испугом иссыхающей земли...

### III

В голове пожилого господина бродили мысли, призрачные, как эти мгlistые тучи... Обрывки прошлого, обрывки настоящего и туманная мгла впереди. Все громоздилось в голове, покрывало друг друга. Общий фон был неясен, зато отдельные мысли выступали порой так раздражительно ярко, что однажды он сказал громко:

— Да... вот... А теперь что же мы видим?..

— Ничего, ничего, Лена, — застыдившись, ответил он тотчас же на вопросительный взгляд девушки. — Я подумал... о прошлом...

Действительно, он думал о прошлом, и призраки его молодости тянулись к нему невидимыми руками от этого истомившегося

простора. Тарантас тихо тарахтит по пыльной дороге, а Семен Афанасьевич Липоватов видит себя юным помещиком... Когда н-ское дворянство, первое из великорусских, обратилось с известным адресом об эмансипации, имя Семена Афанасьевича стояло под этим адресом. Как это все было... как бы сказать... блестяще, что ли!.. Подъем духа, разговоры, ожидания, тревоги... Казалось, будто вся жизнь поворачивала куда-то на новую дорогу и гремела, и сверкала на этом повороте. Почему теперь так не блестит уже ничего в жизни? Потом, когда виднейшие дворяне, спохватившись, начали горячую борьбу «за интересы сословия» и подали контрадрес, — имя Семена Афанасьевича каким-то образом очутилось и на контрадресе. Странно, — но и тут опять было что-то блестящее, что-то кипучее и особенное, окрашенное колоритом того времени...

И какого времени!.. Какой энтузиазм, какие речи, какой пыл, какая самоуверенность, какие надежды! Где теперь все это, — то есть даже не эти факты, а этот особенный тон жизни, этот аромат бытия? Казалось, по всему ли-

цу русской земли были расставлены какие-то особые рефлекторы и резонаторы, придававшие силу каждому звуку, сияние каждому явлению. Неужели это только молодость? Нет, старики тогда тоже становились молодыми, вот что удивительно... Вдруг прославится смоленское дворянство! Вдруг лукояновское общество сельского хозяйства открывает новые горизонты! Вот Семен Афанасьевич подписался под одним адресом — и его имя передается из края в край, становится достоянием даже заграничной прессы. Блеск, гул, сверканье! Но разве не было блеска и в этом протесте нотаблей против эмансипации, в этом столкновении «знамени освобождения» со «старыми дворянскими традициями»... И опять его имя становится достоянием прессы, и опять его приветствуют, — только уже с другой стороны... А там опять восторги и ожидания, потом земство, новые суды, egalite!.. [12] Вот тут-то, когда воспоминания дошли до этого пункта, — у Семена Афанасьевича и вырвалось восклицание:

— Да! а теперь... Что же мы видим?

— Поле, папочка, и мостик, — ласково

улыбнулась дочь.

Семен Афанасьевич вздохнул и оглянулся... Да, поле, дорога, березки, и стая ворон кружится над колеблющейся рожью. Должно быть, во ржи они заметили умирающего зайца или подстреленную птицу...

А между этим ярким и далеким прошлым и этим уголком дороги — целая полоса...

Что это было, как было? Выкупную сделку взял на себя старший брат, человек суровый и не скрывавший своего презрения к либеральным увлечениям Сенечки. Семен Афанасьевич только слышал о каких-то замешательствах и столкновениях брата с крестьянами, потом все как-то уладилось, потом получены выкупные, потом Семен Афанасьевич дрался на дуэли из-за m-lle Стратилатовой, первой красавицы в губернии, дочери его соседа по имению. Он был ранен (легко), потом женился, потом уехал за границу. Выкупные таяли быстро, брат писал нравоучения («помни, что ты истощаешь жизненные нервы будущего хозяйства»), и Семен Афанасьевич вернулся в Петербург. Это было время оживления промышленности, железнодорож-

ная горячка, хорошие дворянские имена ценились и котировались бойко. Семен Афанасьевич опять увлекся. Заседания, речи, надежды, сближение с этими замечательными истинно русскими людьми, прицеплявшими звезды поверх синих кафтанов или прятавшими их под окладистыми бородами, акции, облигации, борьба в собраниях, обеды и спичи, в которых Семен Афанасьевич обнаруживал недюжинный талант и упоительное красноречие... В результате он два раза был близок к обогащению, три раза разорялся, один раз получил наследство (после умершего брата), и все это как-то пассивно, как будто все это делали за него другие. Да, пожалуй, оно так и было. «Русские люди» выплывали, — поднимался с ними и Семен Афанасьевич; русские люди утонули в пучине какого-нибудь краха, — утонул и Семен Афанасьевич. А иногда, и даже чаще, бывало и так: они выплывают, а Семен Афанасьевич утонет. В это время умерла жена, кротко выносившая все увлечения мужа. У ее роскошного гроба Семен Афанасьевич в первый раз почувствовал, как у него тягуче и сильно сжа-

лось сердце, и в первый еще раз, оглянувшись назад, на свою молодую любовь, на свои клятвы и на эту исчезнувшую жизнь, которой он никогда уже не в состоянии вернуть иллюзию счастья, предложил себе этот вопрос, который потом все чаще и чаще вырывался у него как-то механически, порой совершенно неожиданно и нередко вслух — в минуты раздумья:

— А теперь... что же мы видим?..

Дорога, поле, шелест листьев, легкий звон придорожного телеграфа... Жизнь все более тускнела и как-то даже пачкалась. Резонаторы убраны, блеск исчез, и даже застольные спичи на железнодорожных торжествах потеряли былую поэзию. Он чувствовал, что жизнь начинает мчаться мимо, как поезд, на который он не успел вскочить вовремя, заболтавшись на станции. Дела становились все мельче, «хорошие имена» теряли цену, нужны были «хорошие связи», а он как-то растерял их одну за другой. Появилась седина, обрюзглость... подошла старость, и Семену Афанасьевичу захотелось куда-то «домой», для покоя и отдыха...



В это именно время подросла новая реформа, и Семена Афанасьевича озарило новое откровение. Да, это как раз то, что нужно. Пора домой, к земле, к народу, который мы слишком долго оставляли в жертву различных проходимцев и хищников, Семен Афанасьевич навел справки о своем имении, о сроках аренды, о залогах, кое-кому написал, кое-кому напомнил о себе... И вот его «призвали к новой работе на старом пепелище»... Ничто не удерживало в столице, и Семен Афанасьевич появился в губернии.

Здесь его встретили радушно. Губернатор пожимал руки, губернский предводитель обнимал, молодежь толпилась в номере, поглядывая на хорошенькую дочь и поздравляя отца с «возвращением к настоящей живой работе». Семен Афанасьевич кланялся, благодарил, говорил, что он тронут, даже пролил слезу и начинал искренно увлекаться. Как старый боевой конь, он почувствовал, что тут где-то, вероятно, опять начнется какое-то оживление, откроются горизонты, пойдут обеды и речи. Но первое же собрание в губернаторском доме, в котором он принял уча-

стие в своем новом мундире, его как будто несколько озадачило и разочаровало. Было холодно, тускло, неопределенно... Здесь, между прочим, к нему подошел старый, седой господин, его сверстник и друг его юности...

— Василий?

— Семен?

Они взялись за руки и посмотрели друг другу в глаза...

— Неужели это ты?..

— Как видишь.

Встреча выходила какая-то унылая. Первый, впрочем, отряхнулся Семен Афанасьевич. Он был человек нервный и притом долго жил в Петербурге, где есть слова на все случаи жизни.

— Узнаю моего Василия. Седые волосы, правда, «Но и под снегом иногда бежит кипучая вода»[13]. Не правда ли: где благородное дело, там и ты!

— Узнаю и тебя, ты не забыл стихов...

— Итак, ты с нами... Меня очень интересовал вопрос, как ты отнесешься к реформе?

Старый господин, повинный некогда в ярком либерализме, ответил уклончиво:

— Хочется все-таки хоть что-нибудь делать.

— Что-нибудь! Да ведь тут работы непочтый угол. Не правда ли, вспоминаются молодые годы? Посмотри на эту молодежь. В свое время мы так же окружали наших стариков. У меня кровь начинает быстрее обращаться в жилах (глаза его действительно начинали слегка сверкать). Ну, скажи, какие тут у вас возникают проекты, вопросы...

Седой господин смотрел устало и грустно.

— Вопросы? Как тебе сказать. Вот сегодня в заседании обсуждался вопрос о смурыгинских березках.

— Березках?

— Ну да! Молодой земской начальник Смурьгин для блага вверенного участка приказал с первых же дней обсадить березками все проселочные дороги.

— Да? Вот что?.. березками... А знаешь, ведь это хорошо. Это, конечно, не «широкие задачи», в этом нет полета, но прямая практическая польза... нельзя отрицать и этого, мой старый друг.

— Про-се-лочные — пойми! — с удивлени-

ем глядя ему в глаза, повторил седой господин. — Ты, кажется, забыл совсем условия деревенской жизни.

Семен Афанасьевич смутился. Он действительно не вполне ясно представляя себе, в чем дело, но уверенный тон старого товарища сбил его с толку.

— Про-селочные! Да, конечно, это крайность... Но молодость — всегда молодость... Ведь и мы увлекались в свое время. Почему ты не хочешь признать за молодым поколением?..

— Чего?

— Права на увлечение...

— Да, ты вот о чем!.. Посмотри вон туда, у портрета... Группа молодых людей, и в центре... Узнаешь ты этого господина?..

— В очках... густые волосы с проседью?..

— Да. Это известный Заливной.

— А! — ответил Семен Афанасьевич. — Я его лично не знал... это было уже после меня, но как же, помню по газетам!.. Радикал, энтузиаст... Ведь это он требовал когда-то фортепиано для школ? Крайность, конечно, но... крайность, согласишься сам, симпатичная... И

если теперь он внесет свой энтузиазм...

— Внес уже, — ответил Василий Иванович. — Теперь он требует полного закрытия школ...

Семен Афанасьевич заморгал от неожиданности и растерянно посмотрел на приятеля.

— Ты шутишь... Как же это... то есть я хочу вам сказать: как примирить...

— А очень просто... отстал ты от духа времени. Есть, брат, такие субъекты... Наш генерал — он у нас большой шутник — называет их породой восторженных кобелей... Видел ты, как порой резвый кобель выходит с хозяином на прогулку? Хозяин только еще двинулся влево, и уже у кобеля хвост колечком, и он летит за версту вперед... Зато — стоит хозяину повернуть обратно, — и кобель уже заскакивает в новом направлении...

— Ха-ха! Резко, но остроумно... Действительно смешная крайность...

— Крайность, конечно, но вовсе не смешная. Земству теперь едва удастся отстоять свои школы от резвого натиска... Да, брат, вот тебе и увлечение. Прежде мы смеялись над

фортепиано, но жизнь шла к просвещению, к равноправию, к законности...

— А теперь?

Василий Иванович посмотрел на Семена Афанасьевича своим умным и несколько печальным взглядом и ответил задумчиво:

— И теперь жизнь... идет к тому же... Но мы-то идем ли с нею?.. вот вопрос...

— И с такими взглядами, — растерянно спросил Семен Афанасьевич, — ты все-таки... пошел?..

— Пошел, брат... Двадцать лет я был мировым судьей в своем участке... И мне не хотелось, чтобы тут же... у меня... на моей ниве Смурыгин насаждал свои березки или Заливной закрывал мои школы...

— До этого не дойдет! — сказал Семен Афанасьевич горячо.

— Может быть... — вяло ответил седой господин и отвернулся. А в это время к ним подошел губернатор и опять стал пожимать руки Семена Афанасьевича и поздравлять с «возвращением к земле, к настоящей работе»... Но умные глаза генерала смотрели пылливо и насмешливо. Семен Афанасьевич

немного робел под этим взглядом. Он чувствовал, что под влиянием разговора с приятелем юности мысли его как-то рассеялись, красивые слова увяли, и он остался без обычного оружия...

И он чуть было не выпалил прямо в лицо подошедшему:

— Да, вот... А теперь, — что же мы видим?

Поле, дорога, звон проволоки, зной и обрывки ленивых мыслей тянутся, как облака, друг за другом... Путаются, сливаются. Опять прошлое, потом туман, из которого выплывает кусок тракта, обсаженного березками. Плотное заросло травой, пыльная узкая лента как-то осторожно жметя то к одной стороне, то к другой, — видно, что весной здесь езда самая горькая... И в уме Семена Афанасьевича возникает вдруг четверостишие старого «земского поэта»:

*Земство, с нас налоги  
Ты дерешь безбожно;  
Почини ж дороги;  
Ездить невозможно...*

Он долго повторяет стихи под стук колес и потряхивание тарантаса. К этому времени та-

рантас тихонько спускается в дол и стучит по мосту, а мысль седока так же тихо переползает дальше.

«Мост новый, вообще мосты, кажется, стали лучше, а все-таки! Земство, земство! Кричали, горячились. Между тем, что же из этого вышло?.. Мосты лучше, и только. Нельзя же, в самом деле, все одни мосты да мосты! Нужно что-нибудь живое. Школы еще? Народное образование?.. Да-а... конечно, нельзя не отдать справедливость... Но, однако... вот Заливной против школы. Это странно, разумеется, но если хорошенько подумать... Это тоже своего рода течение... Что такое эта земская школа? Полузнание, а ведь в самом деле полузнание хуже незнания... Да, да, возможна и та точка зрения, возможна, возможна... А кто бы мог подумать это, когда сам Заливной требовал фортепиано... Да, скучная эта дорога, когда она кончится?.. Опять мосток... Скоро ли станция?.. Да, вот... что же из всего этого вышло?»

Летят облака, шуршат колеса, старый господин начинает потряхиваться, точно мешок с мякиной, его глаза закрываются...

Старый господин засыпает...



## IV

Девушка не спит, и у нее в голове свои мысли.

Она — одна дочь у отца. Как цветок из семени, занесенного вихрем на чуждую почву, — она как-то неожиданно для рассеянного Семена Афанасьевича родилась в швейцарском отеле, первые годы жизни провела за границей, потом попала в отель на Малой Морской, откуда ее мать вынесли в белом гробу, чтобы увезти на кладбище в деревню. После этого девочка росла у бабушки в Финляндии, и это было самое счастливое время ее жизни. За этим она вспоминает скучные годы и казенные дортуары института, а потом, — так как бабушка умерла, — несколько лет с отцом. Это было самое тяжелое время ее жизни.

Молиться учила ее старая няня Анфиса, выносившая еще ее мать. Она складывала ей пальчики для крестного знамения еще там, в швейцарском отеле; на Малой Морской она выучила ее «Богородице» и заупокойной молитве по матери, которую научила любить и помнить... В то время как подруги предава-

лись обожанию учителей, Лена Липоватова лелеяла в душе культ умершей матери. Это было настоящее обожание, мечтательное, страстное, полное грусти и какой-то странной надежды. Она выучилась рисовать, чтобы рисовать портреты матери, она с захватывающим интересом читала старые повести и романы, где изображался быт того времени, когда жила ее мать, та обстановка, в которой проходили ее молодые годы. Это были не всегда хорошие романы, но она читала между строк, и на нее веяло с пожелтевших страниц особенной поэзией дворянской усадьбы, жизни среди полей, среди народа, доброго, покорного, любящего, как ее старая няня... среди мечтательного ожидания... И в то самое время, когда ее отец собирал у себя несколько сомнительное «блестящее» общество, — девушка забивалась со старой няней в дальние комнаты и под жужжание речей и тостов, доносившихся сквозь стены, слушала старые седые предания о тех годах, когда мать ее бежала по аллеям старого барского дома, окруженная, как сказочная царевна, заботами нянек и мамок... У нее не было для сравнения ничего,

кроме отелей и института, — она принадлежала к поколению, родившемуся после исхода из Египта и не достигшему никакой обетованной земли, росла в случайной обстановке, совершенно лишенная в действительности того, что мы называем «средой». Мудрено ли, что она создавала себе среду в юном воображении из обрывков воспоминаний о матери, получаемых от старой няни.

Молодость романтична... А что может быть романтичнее исчезнувшей старины, которая была настоящим для наших матерей и отцов. Девушка жадно слушала, как шамкали старые нянины губы о ее красавице маме, которую унесли в белом гробу из противного петербургского отеля в родную деревню... И прошлое вставало перед ней с какой-то манящей прелестью, то прошлое, когда в усадьбах вырастали заколдованные царевны, ждавшие своих героев, когда в них жили блестящие господа, когда они съезжались в прекрасных домах, окруженных парками... В парках звонко гудят рога, появляются и исчезают блестящие тени, сверкают глаза... Любят, страдают, вздыхают, дерутся на дуэлях (как некогда

отец... когда он был совсем другим). Порой ей казалось, что она видит все это: так живо действовали эти рассказы... Белая стена дома, темная, мечтательная зелень деревьев, по которым любовно скользят серебристые лучи месяца, красноватые снопы света из окон, причудливая балюстрада балкона, заглушенные звуки штраусовского вальса. Дверь открывается, в фантастическом двойном освещении появляется «она», ее мама, а может быть... и она сама... Она глубоко вдыхает в себя ароматный воздух ночи, а около нее сидит ее избранник, такой, каким проезжий живописец изобразил отца на юном портрете масляными красками... Мечтательные глаза, мягкие усы колечком, стройный стан, и что-то фантастическое перекинуто через левое плечо.

Лена очень обрадовалась, узнав, что теперь подошла новая реформа и ее отца зовут опять туда, где родилась, где жила, где любила ее мать, где она лежит в могиле... Лена думала, что она тоже будет жить там и после долгих лет, в которых, как в синей мреющей дали, мелькало что-то таинственное, как об-

лако, яркое, как зарница, — ляжет рядом с матерью. Она дала слово умиравшей на Песках няне, что непременно привезет горсточку родной земли на ее могилу на Волковом кладбище.

В это время в Петербурге давали драму, в которой чуткий к современным веяниям драматург вывел нового героя — «молодого земского начальника». Над драмой смеялись, но Лена приехала домой в опьянении. Герой приезжает из недр деревни, чтобы отыскать в Петербурге правду для обиженного «народа». Они были крепостные его отцов, холодный, суровый закон против них, — но он, благородный сын благородных родителей, повинувшись лишь указаниям благородного сердца, поклялся защитить их во что бы то ни стало от сурового закона, которым всегда пользуются дурные люди. С этой целью он обивает пороги «высокопоставленных лиц», ходит по канцеляриям, заводит нужные знакомства и даже в бальной зале, под звуки оркестра, выделывая ногами изящные па кадрили и красиво перегибая тонкий стан в изящном фраке, он говорит «ей», уже любимой, о них, о бедном,

добром, страдающем народе...

Она вернулась домой влюбленная. В кого? Конечно, не в актера, исполнявшего благородную роль, а в свою мечту об этом герое, воплотившем для нее все то неясное, что рисовалось ей назади, в этом романтическом прошлом. И когда ее кузен, либерал и скептик, позволил себе посмеяться над пьесой и над романтическими мечтами Лены, она спорила долго, горячо, чуть не до слез.

— Вы не знаете, — закончила она. — Сам народ думает так же... Жаль, что вы не знали мою няню...

И вот она с отцом в губернском городе, где его задержали какие то хлопоты по утверждению в должности и еще что-то такое неприятное в банке. Грязный номер грязной гостиницы, скука и непонятные разговоры. Порой к отцу собирались его старые знакомые, порой приходили новые сослуживцы, толковали о статьях, о положении, о размере прав и обязанностей, о жаловании и разъездных, о смурыгинских березках. О последних говорили так много, что Лена заинтересовалась самим Смурьгиным. Впрочем, она была разочарова-

на, когда отец представил ей «нашего молодого деятеля». Он был тощ, со впалыми щеками и впалой грудью, с тонкими ногами, которыми все как-то сучил, даже стоя на месте. За обедом он сказал речь, которую начал, обращаясь к Семену Афанасьевичу, словами:

— Ма-адое поколение, Семен Афанасьевич...

Он говорил еще что-то, потом чокался с Леной, но она ответила ему с непонятной для нее самой холодностью. Как будто этот господин претендовал на что-то такое, чего Лена инстинктивно ему не уступала. Нет, наверное, там, на месте, найдутся еще другие... Они окружают ее отца, они будут все вместе советовать, как помочь доброму народу, как защитить его от сурового закона и злых людей... И папа никогда уже не будет возвращаться домой усталый и немного неприличный, как это бывало после этих противных «деловых» обедов и ужинов в петербургских ресторанах.

И вот она едет и жадно вглядывается в даль и ищет: где же эти таинственные «усадыбы» и парки, где эта обетованная земля, на которой воочию предстанет перед ней мечта ее

жизни... Поля, колокольчики, порой засинеет лесок, облака двигаются бесшумно, с какой-то важной думой, а отец, вздрагивая, спрашивает:

— Да. А теперь — что же мы видим?..

## V

Дороге, казалось, не будет конца. Лошади больше махали головами по сторонам, чем бежали вперед. Солнце сильно склонилось, но жар не унимался. Земля была точно недавно вытопленная печь. Колокольчик то начал биться под дугой, как бешеный и потерявший всякое терпение, то лишь взвизгивал и шипел. На небе продолжалось молчаливое передвижение облаков, по земле пробегали неуловимые тени.

Тарантас взобрался на пригорок, скатился с него, застучал колесами по гулкому мостику. Теперь у самой дороги, взрытой до горизонта, как бархат, лежал черный пар. Недопаханные, лишь кое-где зеленели еще узкие полосы. Одна из них подходила к дороге, но и она становилась все уже: на ней вихлялись за сохами две серые, лохматые и запыленные мужицкие фигуры. Один из пахарей удалял-



ся, наискосок от тракта, другой подходил к проселку, лицом к нашим путникам. Его лошадь, надсаживаясь, дотягивала борозду, а пахарь внимательно поглядывал вперед.

Вдруг лошадь стала выходить из борозды: прямо перед ее мордой оказалось небольшое, тощее, очевидно недавно посаженное деревцо, с верхушкой, уже наполовину увядшей. Пахарь дернул вожжой, придержал соху, деревцо втянулось под гуж, изогнулось, попробовало вынырнуть меж оглоблей и вдруг сиротливо свалилось, подрезанное железом. Еще около сажени тянулось оно, зацепившись веткой, наконец осталось на пыльной пашне. Мужик оттолкнул его лаптем и стал вытряхивать лемех.

Силуян, с любопытством глядевший на все это, придержал лошадей.

— Ты что ж это, дядя... больно смело ее выволок? — сказал он с какой-то особенной нотой в голосе. — Ай отменили?

Мужик поднял кверху красное потное лицо и усмехнулся... Но, увидев на проезжем барине кокарду, стал вдруг серьезен и задергал лошадь, не дав ей щипнуть былинку у доро-

ги... Вдоль проселка лежали вывернутые сохой березовые саженцы... Только пять-шесть еще сиротливо стояли, наклонясь и увядая...

Силуян вынул из кармана кисет и, скручивая сигарку из газетной бумаги, сказал как бы про себя, качая головой:

— Отменили, видно... А ведь что склеки-то было... Не приведи господи...

— Обрадовались... дураки! — проворчал Семен Афанасьевич с удовольствием. — Ну, поезжай, что ли.

— Что это, папочка? — спросила Лена, удивленная тем, что отец и ямщик говорят об этой немой сцене, как о чем-то понятном для обоих. Сама она не умела читать эту огромную книгу с синей далью, с летучими тенями облаков, с разноцветными лоскутами полей, по которым там и сям ползали люди и животные... Крик вороны, щебетанье жаворонка, шорох берез, медленное движение облаков, надрывающиеся на пашне лошади, мужики с потными лицами, в грязных рубахах, земля, чернеющая следом за сохой, беспомощно падающие деревца — все это сливалось для нее в общий фон, все казалось одинаково на сво-

ем месте, навевая только какие-то смутные ощущения, но не мысли...

— Оно, скажем так, ваше благородие, — говорил ямщик, обмусоливая свою сигарку, — оно ведь и дуракам своего-то жалко...

— Что это, папочка? — спросила опять Лена, вглядываясь, как мужик повернул соху и стал удаляться, ведя новую борозду по другому краю полосы. Новое деревцо, уже наклонившееся к земле, попало под железо, судорожно метнулось, задрожало и тихо свалилось на пашню...

— Это... — ответил Семен Афанасьевич на вопрос дочери, — те самые... ну, что в городе говорили: смурыгинские березки.

— Так точно, барышня, — пояснил и ямщик, равнодушно чиркая спичкой по облучку.

Лена с интересом оглянулась на полосу пара. В городе ей надоели разговоры об этих березках, о том, имел или не имел права Смурьгин садить их по дорогам, правильно ли поступило какое-то присутствие, отменив его распоряжение. Теперь все эти отвлеченные разговоры приняли осязательную форму: чер-

ная полоса, ряд срезанных березок, фигуры пахарей, с каким-то ожесточением выворачивающих неповинные деревца, и насмешливое злорадство в голосе ямщика.

Лене стало жаль и деревьев, и молодого Смурьгина, которого она видела в последний раз несколько сконфуженным.

— Зачем же они это делают? — спросила она в недоумении.

— А потому, — пояснил уверенно Силуян, собирая вожжи, — что никак невозможно. Выходит — нет такого закону... Закон, значит, милая барышня, на хресьянскую сторону протянул...

Семену Афанасьевичу не понравилось что-то в словах ямщика, и он сказал с непонятным Лене раздражением:

— За-акон! То-оже законы разбирать стали? Вот ты про Аракчеева пел... Он бы вам показал законы.

— Верно! — одобрительно сказал ямщик. — Тот сурьезный был.

— То-то сурьезный!.. С вами, подлецами, иначе и нельзя...

— Ах, папочка! — сказала Лена укоризнен-

но. Ей не нравился этот тон: в Петербурге она никогда не слышала от отца ничего подобного, наоборот, он был истинный джентльмен в обращении с «низшими». Но он легко перенимал, и она подумала с неудовольствием, что он вывез этот тон из города, от этих господ, с которыми вел частые беседы. Конечно, с березками мужики поступают нехорошо. Но ведь это только по невежеству. Им надо растолковать... Вообще там, в Петербурге, она иначе представляла себе будущие отношения к «доброму народу», и тот «местный колорит», который приобрела так скоро речь ее отца, резал ее чуткое ухо.

— Прости, Леночка, но... я не могу говорить об этом спокойно, — сказал Семен Афанасьевич и, понижая голос, прибавил: — Ну, он, конечно, увлекся... Укажи, сделай молодому человеку дружеское замечание... На это есть предводители. Но нельзя же так... ронять авторитет власти... Раз уже сделано...

И, опять повысив голос, явно для ямщика, он сказал с новым раздражением:

— Зимой сам же б-болван поедет пьяный с базара, в метель... так, по крайней мере, не со-

бьется куда-нибудь в овраг.

— Зимой, ваше благородие, это не ездют, — спокойно ответил Силуян. — Зимой другая у них дорога живет, прямиком через реку.

Семен Афанасьевич заморгал глазами, как всегда, когда бывал в затруднении, но Лене стало обидно за отца, и она не хотела сдаться.

— Ну, хорошо, — сказала она. — Что же им все-таки помешали деревья? Раз они уж посажены.

— Посадишь, милая барышня! Тут что греха-то было, не приведи бог! Старшин по семи ден каталажил, а старостов этих и не есть числа...

На лице Лены выразилось напряжение, а Силуян, придержав лошадей, указал на узенькую ленту проселка, казавшегося белой полоской на матовой черноте пара.

— Э-э-вона, — сказал он своим певучим голосом, — во-он куда она, матушка дорожка-те, вдарила во всю тебе степь.

Брови девушки поднялись еще выше...

— Ну, так что же все-таки?..

— Да ведь земли-то, ты подумай, сколько

под ее нужно. А ведь она, земля-те, хрестьянину дороже всего. Клади хоть по саженке, да длиннику эвона. Ведь она, дорога, не гляди на нее... встанет, до неба достанет!.. Так-то. Да еще деревина-те в силу взойдет, — опять корнем распялится. Обходи ее сохой!.. Да нешто это мыслимо...

— Папочка? — полувопросом кинула девушка, но отец не ответил.

— Так отчего же они ему не сказали?

— Чего это?

— Да вот, что ты говоришь... Они бы так и сказали Смурьгину...

— Как поди не сказывали! Да вишь, — он все за бороду...

— Папочка!

Старый господин сидел с закрытыми глазами. Лошади немного припустили с горки, тарантас покатился быстрее, и опять за ним увязался клуб белой пыли, в котором толклись овода, и опять потянулась пустота, томление, зной... Старый господин вскоре действительно заснул.

## VI

— Далеко ли еще, ямщик?

— Верстов еще с десяток будет.

— А дождем нас не промочит?

— Дай-то господи! Солнышко-то, вишь, в хмару садиться хочет... Прогневался господь на православных. Прошлый-те год измаялся народишко, беда! А ноне, гляди, еще хуже будет. Хлеб горит. Вот кабы помиловал господь, — да нет, только дразнит... Ходят тучи, слоняются по небу, а что толку.

Он поглядел кругом и вдруг, сняв шапку, перекрестился.

— Кажись, в нашей стороне пало уж... Умолили, видно... Э-э-вон, гляди, потемнело... В аккурат над Липоваткой придется...

Силуян не заметил, как лицо девушки вспыхнуло и опять побледнело.

— Липоватка?.. там?.. — спросила она. — И ты оттуда?..

— Оттеда... Липоватовские мы, господские были...

Широким жестом он взмахнул кнутовищем, как бы охватывая взмахом весь видимый простор, и сказал:

— В старые-те годы этто все — помещичье было. Что видишь поле, что видишь леса и



луга, все было ихнее... Бестужевы — в Бестужевке, Кроли — в Анучине, Липоватовы на Липоватке, Егоров на Осиновке, Медигорский в Елховке...

Лена с удивлением оглянулась кругом... Певучий голос ямщика мгновенно населил этот пустой простор целым роем знакомых ей с детства имен. И Кроли, и Анучины, и Медигорские — все это жило в рассказах няни, все эти имена она знала по семейным преданиям, видела их портреты, знала их характеры и семейные отношения. Где же они? На равнине где-то далеко белела усадьба, где-то еще чернела деревенька, казавшаяся просто кучкой темных пятен, синели остатки вырубленных роц... Было тихо и пусто, но ей казалось, что эта чуткая пустота оживает, что вот сейчас Кроли поедут в Липоватку и Бестужевы в Анучино и встретятся ей на дороге, веселые, оживленные, радостные... Но она протираала глаза и не могла понять, — где же все это потерялось в этом молчаливом просторе...

— А ты... Елену Степановну знал? — тихо и как-то застенчиво спросила она.

— Это младшего-то барина, Семена Афона-

сьевича, жену? Помним. Красавица была, царствие небесное... Померла. Давно. Вот уж жалости было, как на деревню ее привезли... Бабы, что есть, голосом голосили...

У Лены на глазах показались слезы. Вот то, чего она ждала, прозвучало наконец в словах простого, доброго человека! У нее на мгновение захватило горло, и только через минуту, справившись с волнением, она спросила застенчиво и тихо, чтобы не разбудить отца:

— Значит, они... хорошие были? И вам было хорошо?..

Ямщик помолчал, ласково погладил кнутом коренника и ответил:

— Господа ничего... что ж господа... известно... Бурмистры вот шибко примучивали!

— При-мучивали? — спросила Лена, пораженная неожиданным выражением.

— И-и, беда! не дай бог, как мучили.

Он слегка повернулся, свободно отпустил вожжи и задумчиво, как будто не обращаясь к Лене и отдаваясь воспоминаниям, говорил своим выразительным, слегка растроганным голосом:

— Женщина, например, тетка, у меня бы-

ла, безмужняя, вдова. Муж у ней, значит, по-мер, скончался. А ребят полна изба. Встанет, бывало, до свету божьего, — где еще зорька не теплится... А летняя-то зоря, сама знаешь, какая! Бьется, бедная, бьется с ребятами, а где же управиться... За другими-те и не поспеет.

— Куда не поспеет? — простодушно спросила Лена.

— А на барщину... Значит, на господ работали... Царь Александр Николаевич уничтожил. Вот хорошо: запоздает она, а уж нарядчик и заприметил... докладывает бурмистру... «Поч-чему такое? А?..» — Да я, ваше степенство, с ребятами. Неуправка у меня... — «Ла-адно, с ребятами. Становись. Эй, сюда двое!» И сейчас, милая ты моя барышня, откуль ни возьмись, два нарядчика. И сейчас им, нарядчикам, по палке в руки, по хар-рошей. Дать ей, говорит, десять... или, скажем, двадцать...

— Папочка, — раздался тихий голос, как будто искавший защиты.

Силуян оглянулся.

— Спит, не трог. Дело старое. Ну, хорошо — дать ей двадцать. Сейчас она, милая моя, стоит; один нарядчик с одной стороны, другой,

например, по другую сторону и накладывают ей между спины наотмашь.

Он неторопливо поднял кнут и показал Лене кнутовище.

— Между спины-те рубцы вот в это кнутовище. Ну, ступай теперь, милая, становись в череду, работай, жни.

— Жни? — машинально повторила девушка и беспомощно оглянулась кругом. У дороги опять шептала рожь, и томительная печаль, нависшая над всем этим пейзажем, казалось, получала свой особенный смысл и значение... Эти поля видели это... Лена глубоко и тяжело вздохнула, как человек, который хочет проснуться от начинающегося кошмара.

Ямщик услышал вздох и, повернувшись, поглядел сочувственно на бледное лицо девушки. Ему захотелось ее утешить. А так как он был поэт, то чувствовал, что это в его власти.

— Постой, что я тебе скажу. Терпели православные, верно, что терпели. Так ведь господь-то батюшка, он-то ведь не терпел этой пакости! На немилостивых-те людей у него, барышня моя, есть сделанной ад-тартар...

Он взмахнул рукой, проваливал немилостивца в тартар, но лошади поняли иначе это движение, и пристяжка первая рванулась так нервно, что чуть не оборвала построжки. Тарантас дрогнул, в лицо девушки пахнул поднявшийся ветер, пробежавший над побледневшими полями.

— Гляди, потемнело, — сказал Силуян, — никак в самом деле дождь идти хочет к вечеру. Вишь, и солнца не стало, и все парит, ровно в печи... Ну, мил-лые... иди ровней! Раб-ботай...

Тарантас встряхнулся, заболтал колокольчик, лошадиные спины заскакали живее. Между тем на небе, казалось, действительно что-то надумано. На горизонте все потемнело, солнце низко купалось в тучах, красное, чуть видимое, зенит угасал, и туманы взбирались все смелее и выше. Шептали березы, шуршали тощие хлеба, где-то в листве каркала одинокая ворона.

Девушка сидела задумчивая и побледневшая. Она не могла хорошо разобраться в своих ощущениях, но ее неудержимо тянуло к разговору. Силуян, как это тоже часто бывает

у поэтов, почувствовал каким-то инстинктом, что он имеет успех: лицо у него стало уверенное и довольное. Он замедлил ход тройки и повернулся опять.

— Прокатил бы я тебя, милая барышня, — место ровное, да папашка-те у нас спит. Вишь, разомлел.

Он как-то оскорбительно фыркнул на спящего. Фигура и голос его показались Лене неприятными и наглыми. Но через короткое время она вспомнила, как была тронута его рассказом о похоронах матери, и ей захотелось вернуть это мелькнувшее впечатление.

— А что же она... тетушка твоя, господам не жаловалась?

Ямщик лукаво покачал головой.

— Да, вишь, они, господа-те, в этаже жили, высоко...

— В этаже?

— То-то в этаже. Людишки-те толкуются внизу, он и не видит... А может, и видит. Хитрые они тоже, господишки-те.

Он засмеялся, как показалось Лене, довольно противно, в бороду, и покачал головой в скверной шляпенке.

— Хит-рые? — переспросила девушка упавшим голосом.

— Хи-итрые! Что ты думаешь, — ответил Силуян простодушно. Он чувствовал, что овладел слушательницей, и, соответственно с этим, в нем самом выросло вдохновение былинщика...

— Послушай, милая барышня, — заговорил он после короткого молчания. — Я тебе снисходительно расскажу, какое у нас дело вышло... Стало быть, перед волей это было, не в долгих годах, — триденную барщину издела-ли: три дни чтобы на барина работать, три дни на себя, воскресное дело — господу богу. Хошь — молись, хошь — кверху брюхом лежи... Вот, милая ты моя, хорошо. Значит, люди по всем местам так по три дня и работают. А нас в Липоватке все по четыре дня гоняют... Гоняют, милая ты моя, да мучат... Бурмистры да нарядчики...дохнуть не дают...

...Говорил я тебе ай нет про Деминых? Два брата были: варвары, тираны, немилостивцы, хррапоидолы! И, стало быть, за тиранство за свое получали от господ всякое удовольствие. Дети на барщину не ходят, да еще по два тяг-

ла мужиков на них, на варваров, радели... Помирать аспидам не надо. Ну, и старались. Семен это — который женщину в два кнута тиранил. Другой брат, Василий, тот больше по лошадиному делу докучал. Выгонит зимой или осенью молотить в три часа, да до самого вечера все молотим. Об себе не столь тужили, сколь много лошадьми убивались. Вот возьми соломки ей да тут же и присыплешь. Сейчас увидит нарядчик — к Ваське Демину... Тот тебе двадцать...

...Ну, хорошо. А село наше, знаешь, на большой дороге, на Саровской, идут богомольцы богу молиться, — все мимо нас. Зайдут в поле или на ригу посмотреть, только головами качают. Потому что — странный человек по свету ходит, понимаешь ты, знает всякую штуку. Жалели нас, конечно. Что такое, — в прочих местах, например, один закон, у вас другой. Ну, мол, потерпите. Скоро этому делу конец видится. А мы, милая барышня, что коняга заморенная, которая, например, из борозды не выходит, не могли верить: пустяки, мол, все, дело это вековечное, и детям терпеть же надо... Ну, только братану



моему, Николаю Перцеву, да еще Ивану Егорову и запади те людские речи прямо на сердце. Вот, милая, один раз... выгнали по три дня на барщину, по четвертому гонют, да раным-рано, до солнечного восходу. А братан с Егоровым, как вышли в поле, стали посередь миру и говорят: стой, миряна, никто за работу не берись, смотри, что будет... Ну, мир стал, нарядчики туда-сюда, никто ничем... все сгрудились, стоят в сумерках; и расходиться не расходятся, и работать не работают, — как вот все равно стадо перед грозой... Слышишь, милая, какое дело?

Напоминание было лишне. Девушка слушала с затаенным дыханием, и в ее воображении, под влиянием этого выразительного грудного голоса, рисовалась картина: на таких же широких полях, в темноте, перед рассветом, стоят кучки людей и ждут чего-то. Она еще не знает чего, но чувствует, что ждут они какой-то правды, которая не имеет ничего общего с миром ее мечтаний...

— Слышу, — ответила она тихо.

— Ну, стоят... Что, мол, будет?.. Как тут стало и солнышко подыматься... Показалось из-

за лесу... Все глядят: что же, мол, еще?.. А братан мой, Перцев Николай, да Егоров Иван вышли, покрестились на свет божий и говорят: «Смотрите, мол, миряна: вот солнышко всему хрещеному миру засияло, как, например, прочим селам с деревнями, так и нашей Липоватке... Так ли, мол, миряна?» Ну, все, конечно, говорят: — Так! Это есть справедливо! — «Почему же такое для всех закон триденная барщина, а нас все по-старому гонят». Да как гаркнет вдруг: «Не ходи, миряна, в нашу с Иван Егоровым голову, — не ходи на четырехденку!» Миряна поглядели на солнышко, а уж оно, милое, и вовсе из-за лесу выходит. «Кабыть, говорят, Перцева да Ивана Егорова правда. Всем солнышко божие светит, всем и закон дается». Вот как солнышко-те все выкатилось, мир, знаешь, и качнулся. Не идем на четырехденну барщину. Айда по своим полосам! Нарядчики туда-сюда! «Что вы, миряна, бунтуете, что бунтуете?» — А то и бунтуем, что нет вам закону! — Ну, сейчас нарядчики к бурмистрам, бурмистры к барину, так и так: Перцев да Егоров народ взбулгачили. «Падать их сюда, па-адлецов эдаких!»

Лена вздрогнула. Дребезжащий, хотя и высокомерный тон, каким была произнесена последняя фраза, не оставлял сомнения, кому принадлежал этот голос, хотя она слышала его только раз, в Петербурге, незадолго до смерти дяди.

— Ну, взяли моего братана с Иваном, скрутили хорошим манером, да на поселение... Вот-те и солнышко! Конечно, стало быть, и пошло у нас по-старому, и не стали мы странников даже и слушать... Только через год ли, два ли приходит от братана письмо. Что же ты думаешь: требует к себе на поселение законную супругу. Это, говорит, у вас Сибирь, а не здесь. Я, говорит, владаю себе, например, землей, сколь вспашу, лес, что вырубил — мое! Коси, куда сама коса пойдет. Посылайте мне, говорит, сюда законную супругу Евдокею, и вот шлю, примерно, столько-то бумажек. Тут уж что у нас подеялось, и сказать тебе не могу. Качнулся тут мир опять: не идем да не идем на четырехденку. Всех на царское поселение отправляй, к Перцеву! Ну, уговаривали, молодой барин приезжал, Семен Афанасьевич...

Лена со страхом оглянулась на отца. Он спал, прислонившись к сидению.

— Чудной! — усмехнулся Силуян. — Вышел на крылец, поклонился на все стороны. «Я, говорит, православные, во всякое время, говорит. Я за вас, говорит, и бумагу подписал, а что касающее этого дела, — не могу. Старший брат у меня...» Так ни с чем и отчалил. Ну, да мы все-таки отбились... Вот видишь ты, милая барышня, господь-то чего удумал. Они, значит, так полагали: пропал Перцев, а Перцев-то во! Жену вытребовал... А вот вороги-те наши извелись... Пришла, значит, воля, народу свет открылся, а Демина Семена паралик расшиб, налетной. Все одно — вихорь!.. Другого брата, Василия, который насчет лошадей тиранил, лошади же и прикончили. Пошел с базару пьяный, да вот, никак, здесь же на этой дороге упал, уснул. Народ идет, песни поют, праздничное дело веселое. Кто лежит? Васька Демин лежит. Не трог, лежит. Ну, приходит вечер. И приходит, милая ты моя, вечер, — откуда тут ни возьмись, вон с пригорочка, с этого — трри трройки! Летят, все одно тот же вихорь. И ведь подумай ты себе: ло-

шадь, она ведь тварь разумная, — человека обегает. А тут, гляди ты, на него пррям-ма! Копытом в голову, рраз! Колесом кованым па морде. Разбили, раздребе-шили — умчались. Вот смотри же ты, пожалуйста: от лошадей идол сам себе получил дурную смерть на дороге, об вечерней поре. А ночью-те буря, да ветер, да стон тебе, да свист. И-и! Что было. А наутро пошел народ, глядит: лежит Васька, демоны и душу вынули. Стали спрашивать, стали сыскивать, чьи да чьи тройки? И троек таких тыщу верст на примете не бывало. Поняла ты эту причину?.. И семя поганое тоже опять извелось... Н-но, дьяволы!..

Он тряхнул вожжами, но как-то так, что лошади нисколько не прибавили шагу. А сам опять повернулся и, указывая кнутом вдаль, где под лесом белели здания чьей-то усадьбы, сказал:

— Э-вон, Осиновка... Перфильева барина была когда-то... Ну, немилостивец тоже был... У этого у живого живот лопнул.

Лена встрепенулась. Подавленная печальными видами и мрачными рассказами, она вдруг как бы очнулась от гипноза.

— Про какого Перфильева ты говоришь?  
Ивана Павловича?

— Верно... Он самый!

— Ну, значит, неправда, — волнуясь, заговорила Лена. — И, значит, все ты неправду говоришь.

— Убей меня бог... Кого хошь спроси...

— И неправда... и не клянись... Я сама Перфильева помню, и ничего этого не было, и умер он просто от тифа... И было это не очень давно...

Лена говорила горячо и с таким убеждением, что Силуян невольно покорился. Он с некоторой досадой подхлестнул пристяжку и потом спросил:

— А где его хоронили, когда вы знаете?

— А хоронили в имении.

— Ну, верно.

Он грустно помолчал и сказал с убеждением:

— Ну, стало быть, у мертвого у него живот расперло, вот как, милая: у мертвого. Это верно!

Лена беспомощно откинулась на подушку. Она была глубоко оскорблена и обижена, и ей

хотелось плакать. Она еще не сознавала ясно, что у нее так болит и какие опустошения произошли в стройном мире ее фантазий. Ей казалось только, что она оскорблена за отца, за дядю, за фамильярность, с какой ямщик отсылался о спящем, наконец за ту возмутительную ложь, на которой она его поймала...

И ей показалось, что самая природа насупилась и загрустила еще больше. Черта между землей и небом потемнела, поля лежали синие, затянутые мглой, а белые прежде облака — теперь отделялись от туч какие-то рыжие или опаловые, и на них умирали последние отблески дня, чтобы уступить молчаливой ночи. Они тихо сгущивались, вздымались, громоздились в возрастающем беспорядке и тревоге. Кое-где, как будто в изнеможении, шевельнулись еще столбами последние лучи солнца и угасли, закрытые туманными массаами, поднявшимися до самого зенита. Мглистые тучи колебались, меняя очертания, живые, изменчивые, зловещие.

И вдруг откуда-то издали отрывисто и глухо раскатился гром.

Ямщик остановил лошадей, сволок свою

шляпенку и перекрестился. Лошади стригли ушами, отдельные тренькания колокольчика боязливо и жалостно тонули в ближней ложине, стая ворон молчаливо пронеслась над березками тракта, и Лена глядела, как черные точки слились с низкою тучей. На побледневшей зелени, на потускневших очертаниях полей лег отпечаток общего испуга и ожидания... Семен Афанасьевич сидел с открытыми глазами, как будто вовсе не спал, но ни Лена, ни ямщик этого не заметили. Тройка опять тронула по дороге. Слепни и овода исчезли. Седок опять закрыл глаза.

В расколыхавшемся воображении Силуяна пробегали образы, на которые пала теперь угрюмая и мрачная тень этого вечера, сменявшего томительный день, и он не хотел упустить из своей власти внимательную слушательницу.

— Ну, хорошо, — сказал он, не поворачиваясь, — а с-под Илевого заводу барина, Панкратова, слышали?

Лене было знакомо и это имя. В богатой семейной хронике, которую она заучила от няни, была — правда, на дальнем плане — и эта



фигура. Панкратов приходился дальней родней по матери, и Лена слышала о нем от отца и от няни. Хотя няня, тоже поэт в душе, клала на все самые мягкие краски, выделяя лишь светлые образы дорогого ее крепостническому сердцу прошлого, но и в ее передаче эта фигура рисовалась некоторой тенью... Панкратов был когда-то заметным в столице красавцем, из тех, которым, по странной игре судьбы, не везет, несмотря на все внешние шансы, именно у женщин. В Петербурге невеста отказала ему перед самой свадьбой, чтобы выйти потом за самого заурядного фата. Тогда он уехал в деревню и здесь, частью по любви, частью из гордости и мести, женился на крестьянке-красавице, своей крепостной. Через два года она изменила ему с доезжачим... Он хотел убить обоих, но нашел в себе силы простить ее, а доезжачего только отдал в рекруты. Неблагодарная красавица, не выдержав и года после этого, убежала с ремонтером...[14] Тогда Панкратов возненавидел людей, стал мизантропом и всю свою нежность отдал животным. Перед эмансипацией у него было какое-то бурное столкновение с крестьянами,

сущности которого Лена не знала, и администрация прибегала к практиковавшемуся тогда выселению из имения до окончания выкупа. Тогда он совсем оставил Россию и умер старым мизантропом в Ментоне. Лена видела его портрет: лицо, как у мумии, и черные, горящие каким-то особенным блеском глаза. Она прощала ему человеконенавистническое выражение этих глаз. «У него было нежное сердце, оскорбленное людьми, — говорила она, — и он много страдал».

— Он очень любил животных, — сказала она на вопрос ямщика.

— Вот, вот. Удивительное дело: животную тварь любил, а людей тиранил.

— Люди сделали ему много зла, — сказала Лена мягко.

— Люди? Нет, люди ничего. Жена сбежала, это верно. Крестьянку взял, крепостную, а она, значит, с офицером укатила. Правда, с этих пор озверел. «Я, говорит, ее из низкости вывел... Когда так, говорит, то я всему ее племю себя покажу. Хуже собак мне мужики теперь...» Ну и верно, что хуже собак сделал. Псарню построил вроде господского дома. И

которые были у него самые любимые десять сук, и принесут, напримерно, щенят, и сейчас он раздает их по крепостным женщинам. Которая, понимаешь, принесла ребеночка и имеет в грудях молоко, — сейчас ей собачары приносят щененка, стало быть, для воспитания...

— Неправда! — вскрикнула Лена, точно ужаленная.

— Убей меня бог, — равнодушно вставил ямщик и опять обратился к рассказу. — Ты вот послушай, что дальше-то, как господь батюшка распорядился: через этого человека всем православным воля вышла... Вот был у этого барина крепостной человек на оброке, Алексеем звали. Уж вот был мужик разумный, да красивый, да удачливый, просто по всей вотчине молодец первейший. И имел у себя молодую жену. Он-то красив да пригож, а сна и того лучше, — поищи этаких двух по всему свету белому, ан и не сыщешь. Имуществом тоже бог не обидел: из хороших семей оба, достаточные. Ну, только имел этот Алексей в себе маленичко гордость. Вот приходит ему, Алексею, в дальний извоз итить, а жена

у него остается на сносях. Делать нечего. Идет он с извозом, знаешь, по степе. Идут, ночное дело, возы скрипят, обозчики, разный народ, со всех, может, мест, рядом идут да промежду себя разговор ведут. Известно, — дело дорожное, как и мы вот сейчас: где какие, например, народы проживают, где какой обиход, ну и все такое прочее. А он, Алексей, идет с возами, все молчит, что туча. Вот у него другие и спрашивают: «Ты это что же, молодец, в товарищах идешь, а с нами, товарищами, разговаривать не хочешь? Аль сам об себе высоко понимаешь, а нами брезгуешь?..» — «Нет, говорит, товарищи милые, сам я об себе не высоко понимаю и вами, товарищами, не брезгую. А то я, говорит, невесел по степе иду, что дома жену оставил, а помещик у нас больно лют. Бьют, колотят, только душу не вынимают. Ну, да это все ничего, до меня бы не касающееся, а что вот завел дурную моду — щенят женскими грудями воспитывать». Вот и стали те люди, по степе идучи, то дело обсуживать. А в степе-то, знаешь, все вольные люди: который у себя дома, может, и крепостной, и тот в степе вольным казаком объявля-

ется. Попадается, конечно, и служивый народ, отставные солдаты. Вот и говорят те люди Алексею: «Дураки, видно, в вашей деревне живут. Этого и закону-то, покуль свет стоит, не бывало, чтобы животную тварь женским молоком воспитывать. Этого и господь не может терпеть, так может ли барский закон стать выше божьего?»

Вот и запади опять те речи Алексею. Идет с обозом, дорога под ним горит, а сам все думает: нет закону, да и нет закону! Хорошо! Приезжает, ночное дело, домой, жена его не встречает, огня не вздувает, темно в избе, как в могиле. Входит в избу, младенец у него в зыбке плачет, а в углу щеняты скулят. — Эт-то что такое? — «А это, — жена говорит, — сына бог дал». — А в углу что? — «А в углу щеняты, сам понимаешь...» — Ты-то понимаешь ли сама! Я этого терпеть не могу! Давай собачат сюда! — взял одного в руку, другого в другую, примял, да опять положил на место. — Ну, говорит, молись богу за свой грех великий да бери младенца. Вишь, он у тебя в зыбке кричит.

А наутро нарядчики приходят, собачары:

«Анна, — показывай щенят, здоровы ли они у тебя!» — Да они, мол, с чегой-то поколели. — «Как, оба?» — Оба, мол, и поколели. — «Что за причина? Ну, дело не наше, барину доложим». А тут Алексей в избу входит: «Что вам надо? Зачем пришли? Где закон? Ребенок в зыбке кричи, а щеняты у женщины груди сосут. Прочь из избы, чтобы мне вас, собачаров, и не видать!» — А ты, Алексей, — собачар ему говорит, — больно-то не кричи. Не от себя пришли, барину доложим. — Ну, конечно, пошли, господину и обсказали. Что же ты думаешь: велит он сейчас тех щенят на холсты положить, как упокойников. Принесли их на холстах — ощупал. «Убиты, говорит, злодеем твари невинные». И заплакал. Потом позвал собачьих поваров, велит для псарни овсянку готовить покруче. Все, бывало, так: овсянку готовили для всей псарни, ведер на сорок и более: овсянку сготовят, станут собак кормить, а он тут же в стулу сидит, смотрит, да из своих рук подкармливает. Вот и на тот раз, сел у котла, щенят на холстах рядом положил. «Позвать Алексея!» Пришел Алексей. «Видишь, говорит, невинно убиенных?» — Вижу,

мол. Да что ж, барин, на человека и то причина бывает, не то что на тварь животную. — «Ты им конец сделал, варвар?» — Я им конца не делал, а что вот вы не по закону поступаете. Ребенок, хоть и мужицкое дите, все у бога человеческая душа считается. И должен он в зыбке лежать, а вы у бабы груди псиной пакостите... Передохни они все у вас. И то народ глуп: всех бы передавить надо! — Как он эти слова скачал... снялся, милая ты моя, барин Панкратов со стула...

Он повернулся весь на козлах и впился своими глубокими глазами в испуганные глаза девушки... Она чувствовала какой-то надвигающийся ужас и хотела бы защититься от него, но была бессильна...

— Снялся он со стула, да ка-ак толкнет этого Алексея в грудь... Упал тот навзничь, да прямо... голубушка ты моя! Барышня милая! Прямо головой-те... в котел...

— Ну? — вся вздрогнув, спросила Лена.

— Да что! Пикнуть не успел... Кинулись собачары, вытащили... весь обварился... Пошел по собачарам шум, пошла по дворне булга. А один собачар тому Алексею брат был... Кинул-

ся в хоромы, схватил ружье... Барин к дворне, а уж дворня, понимаешь, волками смотрит. Вскипело холопье сердце...

— Папочка! — слышался надтреснутый, слабый голос Лены. Семен Афанасьевич очнулся и с удивлением взглянул на дочь.

— Папа, — со слезами в голосе заговорила девушка, — ведь он, Панкратов, в Ментоне умер? Ведь это... ведь это все неправда... Вот он говорит: убили его... и он сам...

Семен Афанасьевич вдруг накинулся на ямщика:

— Что ты тут наболтал, па-адлец! Вот погоди, вот я тебе покажу болтовню. Поезжай скорей, ска-атина!

Ямщик, удивленный неожиданным оборотом дела, подобрал вожжи, и опять левая пристяжка первая почувствовала на себе перемену в его настроении.

Тарантас задрезжал и быстро покатился по потемневшему тракту. Колокольчик залился не на шутку, пристяжки изогнули головы, как змейки, березки убегали назад одна за другой, а между ветвей виднелись по сторонам те же поля, те же тучи... Кой-где в сумер-



как зажигались дальние огоньки...

Лена ничего не думала. Отец видел только ее бледное лицо и большие глаза...

## VII

К станции они подкатили во всю мочь. Ямщик в эти полчаса обдумал все происшедшее и теперь старался угодить разгневанному барину. «Видишь, вот угодить хотел, а она и нажалуйся», — с горечью думал он про Лену. Со стуком и звоном тарантас подлетел к полосатому столбу, на котором висел зажженный фонарь, и лихо остановился на всем скаку.

— Пожалуйте, ваше сиятельство, — сказал Силуян подобострастно, соскочив с козел.

Станция была освещена, а окна открыты. В окна виднелся самовар, какой-то военный надевал шинель и собирался: у крыльца его ждала тройка.

Лена прошла сначала в комнату хозяйки. Когда она вошла с красными глазами в станционную комнату, ей прежде всего бросилась невзрачная фигура мужика, стоявшего у порога. Он был низок ростом, с короткими кривыми ногами, в старом армячишке. Он в замешательстве отряхнул от пыли свою шляпен-

ку и переминался с ноги на ногу. Семен Афанасьевич нервно ходил по комнате, а военный господин сурово молчал, укоризненно глядя на мужика. При входе Лены военный поднялся с места и бойко щелкнул шпорами. Это был бравый мужчина, с густыми, торчащими волосами и прекрасными баками, искусно разделенными на две части. Он еще раз разгладил их обеими руками и, держа пальцами концы бакенов, низко поклонился:

— Честь имею представиться. Исправник Полежаев. Очень сожалею, что этот каналья ямщик доставил вам огорчение, хотя признаюсь... не знаю, чем могу... Власть Семена Афанасьевича... тут роль исправника прекращается... Если могу так выразиться...

Лена с удивлением посмотрела на него, потом на мужика у порога. Неужели это он, этот ничтожный мужичонка, довел ее чуть не до кошмара, неужели это у него такой выразительный, сильный, могучий голос... И эти мрачные рассказы... неужели тоже его?

— Ах нет, ничего, — застенчиво и торопливо заговорила она, поняв сразу смысл этой сцены. — Папочка, ради бога... Не надо, не на-

до...

Исправник окинул ее умным взглядом. Он вообще довольно холодно встретил нового «начальника» и держался сдержанно. Поэтому он воспользовался настроением Лены.

— Ваше желание — закон... А ты, сказочник, пошел вон, да смотри у меня в другой раз!.. Теперь позвольте вас оставить, меня ожидает тут важное дело... Имею честь откланяться.

Через минуту Лена смотрела в открытое окно, как исправник уселся, причем какая-то темная небольшая фигура противно суетилась около тарантаса. Лошади взяли с места, и тарантас покатился между рядами берез в том направлении, откуда только что приехали наши путники. Скоро он превратился в темную точку, и только меланхолический звон колокольчика как будто перекликался все, подавая голос издали, из темноты, на освещенную станцию.

А в вышине все ходили тучи, в темноте пробравшиеся кверху и занявшие все небо... Но дождя все не было, чувствовалось только медленное передвижение, тревожная суэта и

все то же бессилие. Порой только вспыхивала синеватая зарница, падая на уходящую вдаль дорогу с рядами бледных берез. Одна из таких зарниц осветила невдалеке старый запущенный сад, густая зелень которого будто грезила о чем-то в тишине этого загадочного вечера, в виду надвигающейся грозы. Над зеленью возвышался только мезонин старого, брошенного дома. Короткая вспышка еще раз осветила провалившуюся крышу, изломанную решетку балкона и открытую, может быть, давно сорванную с петель дверь мезонина.

Лена отчего-то вдруг вздрогнула и отвернулась. Подойдя к отцу, она обняла его и припала головой ему на плечо.

— Папа! Папочка! Ничего нет... ничего, ничего этого нет.

— Ты устала, Лена.

Семен Афанасьевич глядел растерянно и печально.

Хозяйка внесла свежий самовар и закрыла окно.

1896

# Художник Алымов

(Из рассказов о встречах с людьми)

I

Солнце уже село за синие вершины береговых гор, когда наш пароход, гулко шлепая колесами, прошел так называемые «Самарские ворота» и пошел Жигулями. Публика толпилась на правом борту, разглядывая в бинокли причудливый Царев-Курган, точно каравай хлеба, разлегшийся в широкой лощине. Вот и он остался позади, затягиваясь холодно-ватую вечернюю мглю, и шум пароходных колес отдавался близким эхом от подступившей к самым бортам Соколовой горы.

«Стрела» бежала из всех сил против течения. В то время отчаянные гонки пароходов были на Волге самым обычным явлением. Поволжские газеты были полны негодующими описаниями всевозможных столкновений, поломок и аварий, а порой какой-нибудь особенно громкий взрыв котла, сопровождаемый человеческими жертвами, отдавался отголосками даже в столичной прессе. Но ничто не помогало. Пароходные расписания были

составлены таким образом, что с каждой значительной пристани отваливало одновременно по несколько пароходов. Стоило раздаться свистку на одной из пристаней, как тотчас же гудели другие, капитаны, угрюмо посматривая на соперников, торопили погрузку, пароход отваливал за пароходом, и дымок за дымком исчезал в речной дали, точно летящие вперегонку птицы. Все дело было в том, чтобы первому достигнуть следующей пристани, где уже нетерпеливо ожидают толпы пассажиров, вглядываясь навстречу. Стоило показаться из-за извилистого яра первому дымку, первой мачте, первому флагу, лишь только первый торжествующий свисток прокатывался над безмолвной рекой, как уже на пристанях начиналось движение: публика сразу узнавала победителя и тянулась к одной пристани, на которой весело взвивался флаг, Все это было, пожалуй, довольно интересно и красиво со стороны, но на этой почве разыгрывались порой безобразные и даже трагические эпизоды. Случалось, что в пылу состязания противники кидались друг на друга, точно в морской баталии.

Теперь за нашей «Стрелой» гнался «Коршун». Оба парохода были неважные, и у обоих силы были почти равны, поэтому состязание имело характер особенно напряженный и неприятный. Команда была сосредоточенна и зла, капитан неприветлив, публика скучна и недовольна. «Коршун» то и дело наседали на нас, и перед каждым перекатом, где мы поневоле замедляли ход, его нос среди белой пены появлялся вплоть за нашей кормой. Тогда «Стрела» начинала «рыскать», загоразживая узкий фарватер, и капитан советовался с лоцманами: его тактика состояла в том, чтобы каким-нибудь способом «отжать» соперника на мель. Такие же христианские намерения до очевидности ясно обнаруживалась и в тактике противника. Порой капитаны вооружались рупорами и обменивались такими сочными и здоровыми непечатными приветствиями, что, казалось, вся пустынная река, сжатая с обеих сторон зелеными горами и темными ущельями, внезапно оживала. Как будто в каждой лощине — и вблизи и вдали, и вверх и вниз по течению — стояло по такому же капитану с рупором, и все они обстре-

ливали узкое русло своими гулкими ругательствами.

Порой с какой-нибудь отмели или с встречного каравана отделялась лодочка и робко выбегала на русло. С лодочек махали картузами и платками, прося, очевидно, захватить пассажиров. Но пароход только отмахивался и летел дальше, сердито качая лодку разбежавшимся валом. Можно было видеть, как злополучные пассажиры повторяли ту же попытку и с таким же успехом назад: «Коршун» тоже проносился мимо, и лодочка опять сиротливо направлялась к берегу или к каравану барок, тянувшихся между пустынными берегами.

Наконец «Коршун» начал сдавать. Может быть, машинист был более осторожен, или публика более настойчиво грозила протоколом, но только «Коршун» отстал и долго шел, прижимаясь к крутояру, так что казалось, будто он бежит по самому берегу.

Правда, порой он отделялся от гор, выказывая намерение кинуться наперерез, и вообще держался настороже, карауля каждый промах противника, но все же расстояние между па-



роходами понемногу растягивалось, и напряжение гонки слабело.

На мачтах зажглись огни, так как день, видимо, угасал. По временам на длинных прямых плесах нам еще видно было солнце, висевшее в пылающем багровом облаке, насыщенном огнем и золотом. Но сзади нас догоняли холодные сумерки, быстро поглощавшие все краски угасающего дня; сумерки же выползли на реку из-за каждого уступа, из каждого ущелья, ютились в молчаливых расщелинах и долинах, спускались неуловимой для глаза сеткой сверху.

Река в этом месте удивительно молчалива и пустынна... Кой-где клочок тумана над болотом, кой-где дымок деревеньки, или новая труба затерявшегося в Жигулях алебастрового завода, кой-где рыбацкая лодка и костер на песке... И опять безлюдие, тишь, мерное колыхание реки, чуткое эхо, смена синих и зеленых теней, и какие-то неясные, неуловимые, но манящие и беспокоящие воспоминания, реющие в сумерках над великою рекою, колыбелью нашего русского романтизма... Вскоре угасли и пылающее облако и Волга. На

закате недолго тлели еще несколько узких облачков, но и они быстро остывали и меркли. Река похолодела, потемнела, черта берега исчезла и потерялась между темными силуэтами Жигулей и повторившим их в задумчивой реке колеблющимся отражением. Казалось, вершины опрокинутых гор тихо дремлют внизу, а между ними узкой полоской светится там, в глубине, другое, далекое, угасающее небо... Только порой колыхание и трепет, пробежавшие по заснувшей поверхности, взламывали этот мираж, отделяя неподвижную действительность от хрупкой иллюзии... И все это тихо выступало из сумрака, надвигалось, проплывало мимо и поглощалось мглой назад.

Было что-то почти томительное в этой немой, чарующей красоте, заснувшей или мертвой. Какие-то бесформенные образы вставали, теснились, дразнили чуткое воображение и проносились, не давая ни разгадки, ни удовлетворения... Волга, Волга!.. Есть что-то особенное, какое-то ей только свойственное ощущение, неопределенное и, однако, необыкновенно сильное, неясное и, одна-

ко, замечательно цельное, которое охватывает душу только на ее просторе... Вся печаль и все обаяние родной земли, вся ее скорбная история и ее смутные надежды нигде не овладевают сердцем так полно и властно, нигде с такой щемящей настойчивостью не просят образа и выражения, как на Волге, особенно в тихий, сумрачный, немного мгlistый вечер, с догорающим закатом и с надвигающейся из-за дальних вершин холодной, темной, быть может, грозовой тучей.

## II

Однако несколько дней среди молчаливых красот волжского пейзажа все-таки утомляют. Слишком мало определенных впечатлений, и слишком много неясных, туманных, призрачных, не успевающих пробиться к сознанию. Точно та самая дымка, что заволакивает волжские берега, ложится также на воображение и на сердце. Что-то в ней шевелится, и мелькает, и дразнит, но что именно — сказать трудно. А пароход все идет, все так же глухо шумит машина, все так же тянутся берега, и маленький пловучий мирок двигается, весь обвеянный особенной, щемящей ску-

кой...

В этот вечер я долго не мог найти себе места и шатался по пароходу. В третьем классе при слабом свете между колонками и тюками товара виднелись обычные фигуры и слышалось жужжание обычных разговоров.

— И воста, например, в виде змия от земли и до небеси. На небеси жена рождает младенца, а змий простресь его поглотити. И увидевши гадину, ангел...

В первом классе ужинает какой-то желчный господин, страдающий печенью и предпринявший поездку по Волге для здоровья; запах рыбной селянки гонит меня и из второго класса, где несколько молодых людей пьют пиво и играют в карты. На галлереях видны полоски света из окон, за которыми тоже пьют чай или ужинают. Трепетные огоньки чуть освещают бегущую воду внизу, и та же тоска неопределенного очарования глядит отовсюду. Я спасаюсь наконец на верхнюю площадку и сажусь у капитанской рубки...

Здесь тихо и спокойно. Чуть виднеются две молчаливые фигуры лоцманов, то и дело пошевеливающих штурвальное колесо, а из

глубины по временам доносится невнятный, как будто сонный, басок капитана. Он говорит что-то один, лишь изредка старший лоцман подает короткие реплики... Но вот понемногу монолог переходит в диалог, постепенно приобретающий все большее оживление.

— Да тут Морщиха-то еще далече, что ли? — говорит капитан с оттенком неудовольствия.

— Эво! Морщиха-то верст еще с десять. А тут только горы да буераки...

— Да верно ли, что спускают?

— Погляди хоть сам...

Капитан неохотно привстает, и на минуту в рубке все смолкают.

Я посмотрел вперед, но ничего не видел. Горы совершенно потемнели, узкая полоска реки чуть светилась, сзади из-за гор тихо разворачивались бесформенные тучи, покрывая реку еще более густой тенью.

Через минуту, однако, я различил между горами и их отражением несколько огоньков, двоившихся и вздрагивавших у самого берега. Можно было угадать, что это двигается вереница плотов...

— Спустили, подлецы, верно! — сказал капитан с неудовольствием, откладывая бинокль. — Не приму я... Отмахни, Степа, налево.

Младший лоцман взял зеленый фонарь с кожуха и, став на боковом мостике, замахал им в воздухе. В то же время резкий свисток грянул среди молчаливого вечера, будя гулкое эхо.

— Выгребают на стрежень, — сказал опять лоцман.

Я взгляделся и только теперь наконец заметил, что один огонек, отделившись от остальных, двигался по реке наперерез нашему пути. Вот он достиг края совершенно черного отражения гор, и вдруг темной полоской лодочка вырезалась на фоне узкого просвета реки.

— Клади право, — сказал капитан. — Чай, обойдем.

Загремела штурвальная цепь, корма сильно подалась влево, нос поворачивался к правому берегу. Пароход, видимо, старался обойти эту искорку, качавшуюся на светлой полоске.

— Подгребают, — сказал опять лоцман уверенно.

— Может, все-таки проскочим.

— То-то вот, проскочим ли, Степан Евстигнеевич? Отчаянные какие-то, или уж вовсе без понятия...

Несколько отрывистых, громких свистков опять неприятно и гулко покатались над рекой... Не довольствуясь этим, капитан схватил рупор и крикнул:

— Лодка — дол-лой!..

Река опять ожила, опять заговорили вверх и вниз чуткие ущелья... «Коршун» внезапно отделился от яра, выровнялся, и его два разноцветные огня уставились на нашу «Стрелу», точно глаза просыпающегося чудовища. Когда эхо затихло, можно было расслышать издали торопливые удары его колес, точно частые взмахи крыльев тревожно летящей птицы.

— Ах, подлецы, чего делают, — произнес капитан встревоженным голосом и, наклоняясь к говорной трубе, скомандовал:

— Средний ход.

— К-куда вас несет, еретики проклятые? —

крикнул он опять в рупор и тотчас же опять нагнулся к трубе:

— Тихий ход, стоп машина.

Пароход осел и стал как-то вздрагивать изнутри. Наступила тишина, короткая и зловеющая, потом поднялось движение. Выбегали из кают пассажиры с салфетками в руках, на ходу вытирая губы, внизу забегали матросы, прибежал помощник капитана и тотчас же стремглав кинулся опять вниз, капитан выскочил на боковой мостик и совсем повис в воздухе, ухватившись за перила. Лодка, между тем, оказалась уже совсем близко и, как будто подхваченная какой-то невидимой струей, полетела нам навстречу и исчезла из пределов зрения, скрытая бортами и обносом парохода.

Несколько секунд прошло в томительном ожидании, и затем снизу кто-то сказал грубым, сердитым голосом:

— Давай легость, — принимайте, что ли, дьяволы...

Вслед за этим решительным окриком что-то взвилось в воздухе, и тонкая «легость» с гирькой на конце шлепнулась около лодки в



воду.

Все вздохнули с облегчением.

— Кто такие? — спросил с недоумением капитан, видимо, озадаченный.

— Так какие-то, — ответил снизу матрос.

— Какое имеют полное право останавливать пароход? — постепенно закипая, продолжал капитан и, вдруг вскипев окончательно, крикнул:

— Не давай мостков, не принимаю. Пусть к «Коршуну» пристают.

Внизу началась легкая возня. Матросы начали отталкивать лодку, и неизвестно, чем бы окончилось оригинальное столкновение, если бы снизу не раздался вдруг новый голос:

— Пойдите, да никак это «Стрела». Степан Евстигнеев, это вы, что ли, на мостике?.. Мое почтение, милейший Степан Евстигнеев!..

Голос был звонкий и приятный, с какими-то смешливо-ласкающими нотами. Капитан, человек простодушный и не особенно быстрый на заключения, видимо вновь был настигнут самым искренним недоумением.

— Что еще? — спросил он с неудовольствием. — Кто меня величает по батюшке?

— Я это, Степан Евстигнейч, вас по батюшке величаю, я, Алымов. Неужто забыли?

— Ксенофонт Ильич?

Внизу радостно замелькала светлая фетровая шляпа.

— Именно, именно, он самый. Прикажите скорее спустить мостки. Право, «Коршун» нагоняет.

— Ах ты, б-боже мой!

И вдруг, чтобы дать исход смешанным ощущениям, волновавшим его простую душу, капитан неистово накинулся на матросов:

— Что рты разинули, дьяволы! Давай мостки, живо! Что вы со мной делаете, черти болотные?

— Есть!

Инцидент казался законченным. Публика уходила в каюты. От скуки я сошел вниз, где матросы при свете фонаря принимали новых пассажиров.

Лодка колыхалась внизу, нос ее мне не был виден, и только на корме, в полосе света выделялась фигура рулевого, рослого, угрюмого человека в широкополой шляпе и шведской кожаной куртке, короткой и узкой. Я за-

метил энергичные черты, слегка тронутые оспой, и угрюмый взгляд глубоко сидевших глаз. Должно быть, это он так сердито требовал «легость».

Из темноты лодочник подавал наверх багаж пассажиров. Сначала появился дорожный саквояж, довольно щегольского вида, за ним последовал полированный ящик, с какими странствуют художники-пейзажисты, за ящиком — переносный мольберт и зонтик. Очевидно, в лодке находился художник. Но вслед за этим полетел узел, увязанный простыней, за ним — чемодан с распертыми боками и плохо увязанный бечевкой. Из чемодана, а также из следующего узла что-то шлепнулось в воду, и какой-то белый предмет начал тонуть, увлекаемый течением. За ним последовала самоварная труба, выпавшая из какой-то прорехи...

Наконец, за последним узлом появилась фетровая шляпа, покрывавшая красивую голову, с русыми кудрявыми волосами. Большие голубые глаза, щеки с густым загаром, небольшие усы, не покрывавшие полного, несколько чувственного, но очень красиво

очерченного рта, небольшая курчавая борода и какое-то открытое, слегка насмешливое выражение делали очень приятной всю эту фигуру, облеченную в сиреневое, немного выцветшее пальто... Ксенофонт Ильич Алымов остановился на середине лесенки и заботливо протянул руку навстречу подымавшейся за ним новой фигуре.

Это была молодая девушка с миловидным, несколько застенчивым или испуганным лицом, в простом платочке. Она как будто колебалась секунду, но затем протянула Алымову руку и неловко поднялась на лесенку, как человек, не привыкший к подобной помощи.

— Скоро ли? — раздался сверху голос капитана, проникнутый выражением глубокой тоски.

— Поторопитесь, пожалуйста, Романыч, — сказал Алымов с оттенком легкого раздражения в голосе. Человек в шведской куртке неторопливо расплачивался с лодочником.

— Ну, прощай, Филипп Романович, — сказал тот добродушно, приняв бумажку. — Не поминай лихом, добром, видно, не помянешь. А я тебе скажу по-божецки...

Угрюмый человек, собравшийся уже ступить на лесенку, резко повернулся.

— Свое получил? — спросил он грубо.

— Получил, — ответил мужик, принимаясь прилаживать весла.

— Ну и проваливай.

— Что т-там еще? — послышался с капитанских мостков совсем уже умирающий голос. — Скоро ли?

— Готово.

— Вперед до полного!

Внутри парохода что-то прокатилось от носа к корме, из-под колеса широко хлынула светящаяся белая пена.

— Што вы, черти, потопите ведь! — крикнул лодочник, но в голосе его слышалось скорее веселое возбуждение, чем страх. Матросы, скаля белые зубы, смотрели на затруднительное положение волгаря. Глубоко захваченный колесом, темный вал кинул лодку чуть не вровень с обносом парохода, потом она резко мотнулась книзу, и я одно мгновение считал ее уже опрокинутой. Но на следующем валу она колыхнулась уже с поднятыми в ключинах веслами, точно птица с расправ-

ленными крыльями, готовая к полету.

— Прощай, барин Алымов, до свидания, — весело крикнул лодочник и прибавил еще что-то, но слова уносило уже назад вместе с лодкой.

— Прощай, Михайла, — ответил Алымов. Его выразительные глаза сверкали живым любопытством художника. Казалось, он старается запомнить этот сердито катящийся вал, освещенную огнями белую пену, лодку, наполовину повисшую в воздухе, лохматую, ничем не покрытую голову и широкую фигуру волгара, уверенно взмахивающего веслами над темною глубиной.

— Пожалуйста за билетами в кассу, — сказал матрос, сдвигая борты.

— Я возьму всем? — сказал Алымов тоном вопроса.

— Не надо, — пробурчал Романыч, и они вдвоем отправились к кассе. Но, отойдя несколько шагов, Романыч вернулся и, остановившись около девушки, спросил, угрюмо потупясь и как-то вбок:

— Вам куда?

Девушка, как мне показалось, сильно по-

бледнела. Что она сказала, я не слышал.

### III

Когда я взошел наверх и опять поместился у капитанской рубки, мимо нас огромный и весь в огнях, точно буря, неся «Коршун». Пока «Стрела» успела забрать полный ход, он вынесся вперед, и вскоре висевшая над его кормой, освещенная фонарем, лодка покачивалась иронически в воздухе, над клокотавшей пеной, в нескольких саженьях перед нами. Впереди мелькали огоньки переката...

— Кончено, — сказал капитан с унылой злостью.

— Да, теперича уж он выскочил, по всем пристаням дойдет обирать, а в Ставрополе у нас никак погрузка.

— Нанесло их, чертей, — сказал капитан и запнулся. У самой рубки забелела фетровая шляпа Алымова. Он без церемоний открыл стеклянную дверь и вошел в рубку.

— Ругаетесь? — сказал он беспечно.

— Не ругаемся, — ответил капитан не особенно приветливо, но все-таки подвигаясь, чтобы дать подле себя место пришедшему. — А что хорошего мало, это верно.

— А ловко мы вас взяли на абордаж, — не правда ли?

— Мало ли что. Это ведь отчаянность, — ответил капитан холодно и прибавил с внезапной злобой:

— Лодочника, подлеца, в каторгу мало! Ну, потопили бы вас, кто в ответе?

Алымов звонко засмеялся.

— Капитан в ответе. А теперь, спрашивается, за что? Когда же я отмахиваюсь вон еще отколе. Можете вы это понимать?

— Право, могу, — ответил Алымов смиренно.

— Плохо понимаете, видно... Вам вот все смех... К «Коршуну», небось, не пристали, — прибавил он с такой горькой укоризной, что Алымов совсем откинулся, заливаясь своим красивым звенящим смехом. Повидимому, это неуместное веселье грозило окончательно испортить отношения, но беспечный художник внезапно остановился и сказал совершенно другим тоном:

— Правда, что вам от правления поднесен серебряный рупор?

— Правда, — неохотно ответил капитан.



— Это вы в него так громко кричали? Чорт знает, точно из пушки.

Капитан промолчал.

— Ну, не дуйтесь. Хотите, я завтра с вас портрет нарисую?..

— Ну-у? — протянул капитан с оттенком радостного сомнения.

— Верно. Хотите с рупором?

— Нет, — скромно ответил тот. — Для чего еще с рупором. Хоть так бы.

— С рупором и во всей форме. Мне это ничего не стоит, — сказал Алымов с великолепной небрежностью. Повидимому, произошло полное примирение.

— Вы билет-то взяли? — спросил капитан ласково.

— Взял второго класса.

— Ну, зачем второго? Можно бы и третьего. А место я вам дам в первом. Тут в четырехместной всего один какой-то пассажир едет, просторно. Откуда бог несет?

— С Архиерейской ватаги.

— Это пониже Ставрополя? Что-то больно далеко. Сюда-то как попали?

— Сплыли на рыбацкой лодке, потом на

плотах плыли. Стали уху варить, ан вы тут и покажись. Уху бросили.

— Плотовщики съедят за ваше здоровье, — усмехнулся старший лоцман, налегая на колесо.

— А это с вами какие народы? — спросил опять капитан.

— Погорельцы, — серьезно ответил Алымов.

— Не похоже. Как же это?..

— Вот посмотрите, мимо побежим. Может, разве потухло, а то еще и теперь, пожалуй, тлеет.

— От Сенькина буераку отсвечивало... Тут ведь лоцинкой-то прямо видать, — сказал опять лоцман.

— Да вот как, — сказал капитан в раздумье. — Так они как же?

— Да, так вот, уложили рухлядишку и едут... собирать на погорелое место.

В рубке опять раздался звонкий смех, и затем Алымов сказал, подымаясь с места:

— Пойдем, что ли, Степан Евстигнейч, выпьем по маленькой. — Скучно что-то...

Капитан тоже поднялся.

— Тут прямо, — сказал он, как бы в оправдание перед кем-то.

Оба ушли. Некоторое время слышно было только шуршание штурвальной цепи.

— Хм, — вдруг смешливо фыркнул младший лоцман.

— Только помани, — пояснил пренебрежительно старший.

— Что за народ? — еще через некоторое время лаконически кинул в пространство младший. — Смотри, еще полиция хватится...

— Алымов с ними, — сказал старший. — Положим, человек легкий, со всякими водится.

— Дело не наше, — заключил он, опять помолчав, и затем только шуршание цепи выдавало присутствие обоих в рубке. Лоцмана вообще народ мало разговорчивый. В течение семи месяцев в году, вглядываясь во все изгибы реки, во всякий выступ берега, во всякую заводь и береговую отмель, — они привыкают ограничивать свое внимание пределами видимого русла реки, жить и думать только глазами.

Через несколько времени пришел снизу

капитан, обтирая на ходу усы рукавами, уселся на своем месте и, помолчав, сказал с выражением живейшего удовольствия:

— В прошлом году с зевекинского капитана ландшаптик снял. Живой, так и глядит.

Лоцмана не ответили. Пароход пробирался среди темноты, которая стала еще гуще от надвигавшейся из-за гор мгlistой тучи. Впереди тревожно мелькали еще две-три звезды, но невидимые на темном небе, ключья тумана гасили их одну за другой. Полоса на реке тоже исчезла... Горы сменяли свои причудливые очертания, среди которых, лишь когда пароход подходил совсем близко, можно было порой различить то серую скалу, торчащую среди зелени, то узкие долины и ущелья. Изредка слышался шорох лесных вершин, как будто вздрагивавших под надвигавшейся холодной тучей.

Замелькали живые огоньки. Пароход шел у правого берега, а на левом открылась широкая лощина, охваченная уступами гор. В лощине приютилась деревушка. Кое-где ее огоньки лепились и по уступам, перемежаясь с темными пятнами кустарника. На одной из

площадок, у самой стены темного леса, уходящего далее к вершинам, светилось полупотухшее широкое огнище; по временам оно почти совсем угасало, и только дыхание порывистого ночного ветра опять раздувало его. Тогда как-то зловеще начинали сверкать угли, обрисовывались черные бревна, низко стлался освещенный дым — и казалось, будто какое-то огненное чудовище шипит, извивается и дышит над тихой ложиной и скромной деревенькой. Красные отсветы ложились на крыши изб, разливались по ближним склонам холмов, падали на реку и опять тихо гасли...

Пароход долго обходил песчаную отмель против самой деревни, и она была вся как на ладони. В крайней избе, над небольшой кручей, открылась дверь, и казалось, что кто-то стоит в освещенном квадрате и смотрит на темную реку и на осторожно пробирающийся по ней пароход. Внизу на песчаной отмели курился рыбацкий огонек. Сделав большой круг, пароход стал удаляться, и я как-то невольно прошел и остановился у кормы, провожая взглядом исчезающую деревень-

ку...

Внизу под моими ногами кто-то свистнул. Я взглянул туда и увидел у казенки всю интересовавшую меня компанию. Алымов примостился в беспечной позе на связке косяка и покачивался, охватив руками колени. Девушка сидела у самого борта и, казалось, плакала; лица ее не было видно, так как голову она положила на руки. Широкая черная шляпа Романыча виднелась тут же.

Пароход опять повернул; гора закрыла лоцину и сама стала удаляться. Новый поворот, опять пятно света вдали, все слабее, все меньше, и скоро уже трудно было угадать самое место, где находилось ущелье и деревенька. Жигули разворачивали все новые, однообразные очертания, молчаливые, безлюдные и пустые.

А назади ночная мгла стирала последние признаки оставленных мест.

— Да-да, вот она, полоса жизни! — раздался вдруг в темноте задумчивый и выразительный возглас Алымова.

Его спутники не ответили. Было что-то невыразимо грустное в этой полоске берега,

все более поглощаемого мглой...

Некоторое время на корме длилось молчание. Потом Алымов встал и подошел к девушке.

— Фленушка, Флена Ивановна, — заговорил он нежно, наклоняясь над ней. — Ну, не плачьте, голубушка, художник Алымов не может видеть ваших слез, ну, право же, право, у художника Алымова поворачивается сердце...

Он еще ниже наклонился над девушкой.

— Вы не верите, вы думаете, что Алымов только и умеет смеяться... Ах, Фленушка, Фленушка! Если бы вы могли заглянуть Алымову в душу... Но вы не хотите, вам это зрелище не интересно... Бог с вами. А я все-таки скажу вам то, что хотел сказать еще утром. Если бы вы... когда-нибудь... Нет, не выходит, — прервал он себя грустно. — Ну, все равно. Когда-то, Фленушка, вы, кажется, считали меня другом. Так вот, на правах старого друга я скажу вам: всего лучше было бы вам бросить Романыча на произвол судьбы и итти себе своей дорогой.

Романыч желчно засмеялся.

— И смеется-то скверно, — кинул в его сто-

рону Алымов. — Ну, вспомните, голубушка, оглянитесь хоть немного. Ведь он вел себя с вами как последний дурак и тупица: ломит под пароход, о вас думает столько же, сколько о самоварной трубе, которая нашла вечное успокоение в пучине.

До сих пор Алымов говорил серьезно. Но воспоминание о печальной участи трубы, по-видимому, представило слишком сильное искушение. Он захохотал, откинув голову, и потом сказал виновато и грустно:

— Опять этот проклятый смех... Это прямо несчастье моей жизни! Ну, до свидания, дети мои. Все я говорил не то, что нужно. Берите у жизни, что дается, и... примите благословение художника Алымова... Об Алымове же ведайте, что его, в случае надобности, найдете в буфете.

Он засмеялся совсем весело, и его шляпа исчезла из пределов моего зрения.

— Шут гороховый, — злобно сказал Романыч, в свою очередь подходя к девушке. Я слушал, улыбаясь, полугомические объяснения Алымова, но теперь дальнейшее подслушивание мне показалось неуместным, и я отошел



от кормы. Когда, пройдя вдоль палубы, я опять подошел к этому месту, у казенки никого уже не было.

#### IV

Зато на пароходе ясно сказывалось присутствие живого и беспокойного человека. Через несколько минут Алымов сошелся с компанией молодых людей, вяло изнывавших во втором классе, появился с ними у буфета и организовал на корме импровизированный хор. Концерт вышел довольно оригинальный. На небольшом пространстве, освещенном электрической лампочкой, теснилась кучка молодежи; на фоне темной реки рисовались широкие шляпы, форменные фуражки, порой старое пальтишко, то опять молодежато выпяченная грудь с блестящими пуговицами. Молодые голоса летели в темноту и отдавались в сонных ущельях, а ритмический плеск воды за кормой аккомпанировал пению...

В боковых галлерейках толпилась заинтересованная публика, выползло даже несколько фигур из третьего класса. Два торговца, говорившие недавно о змее, уселись поблизости, прислушиваясь к пению. Только

Алымов был, повидимому, недоволен, нервно обрывал песню за песней и начинал другие.

— Давайте, господа, «Волгу-матушку».

«Во-олга ма-атушка бурлива, говорят», — начинал он высоким, довольно приятным, хотя и слабым тенором.

«Под Самарою, — подхватывал хор, — разбойнички шалят».

— Нет, не выходит, — нетерпеливо махал он рукой. — Давайте другую.

— Да что вам нужно? — спрашивали у него. — Ведь не опера.

— Давайте что-нибудь попроще: «Сердце ли бьется». «Ноет ли грудь», — послушно и стройно летело опять над Волгой:

Пей, пока пьется,

Все позабудь...

«Пей, тоска пройдет!» — прозвенело уже совсем хорошо, но Алымов опять остался недоволен.

— Давайте, господа, лучше выпьем в самом деле, — сказал он наконец. — Чорт знает, выдохлись, что ли, волжские песни. «Стружок — стружок»... «Сорок два молодца», «В Самаре девицы хороши!» Уж вот можно ска-

зять... Чорт с ними, со всеми сорока двумя и их девицами. Нужна новая жизнь, не правда ли, господа?

Повидимому, он уже успел выпить. Молодежь разошлась вяло и среди взаимного охлаждения, а Алымов вскоре вернулся опять из буфета и стал нервно ходить взад и вперед по палубе.

Два торговца-слушателя продолжали сидеть на том же месте, и один из них остановил проходившего Алыпина за полу пальто:

— Барин, Алымов, — сказал он. — Присядь к нам, мы тебя знаем.

— Ну, так что же? — спросил Алымов сердито.

— Ты у нас в Синюхе бывал. Картины писал, песни записывал.

— А ты меня к становому на веревочке представлял?

— Было кому и без нас. Да ты, если умен, так на нас, дураков, не сердись. Не знали тебя.

— Ну, не сержусь, так что же дальше?

— Присядь вот тут. Понравился ты мне: правду насчет песни нонешней говоришь. Сам я, барин, любитель большой, только на-

ша песня, сказать, старинная. Нонче песня под ножку поется...

— Под ножку? — переспросил Алымов.

— Да, ноге под нее плясать хочется. А старинная песня, настоящая, велась протяжно... Заведут-заведут, и-и! слеза шибает. У нас вот, в Синюхе, про разбойницу жену песня поется старинная. Ты слышал ли?

— Нет, не слышал.

— Ах, и хороша песня. Кум Елизар, подтянешь, что ли?

— Ну тебя, — угрюмо буркнул кум Елизар.

— Ничего, барин простой, давай подтягивай... Это, стало быть, «Собиралась Машенька за разбойника замуж».

— И никогда так старинные песни не начинаются, — сказал капризно Алымов.

— Ты слушай.

Одноглазый певец хлопнул себя по колену и, слегка запрокинув голову, запел о том,

*Как со вечера разбойник  
Собирался на разбой,  
Со полуночи разбойник  
Начал тракты разбивать.*

Одноглазый пел гнусавым фальцетом, Ели-

зар поддерживал баском. Это была известная, значительно опошленная искажениями песня о разбойницкой жене, которую, уже, очевидно, от себя, синюхинцы называли Машенькой. На заре она слышит, как брякнет кольцо, — значит, муж приехал с промысла, привез подарок. Жена разворачивает мужнин подарок и падает на него грудью. «Что ты сделал, — стонет она, — вор-разбойник, отца родного убил!» Отвечает вор-разбойник горько плачущей жене: «Как попался в первую встречу, — и отцу я не спущу...»

Боковой свет лампочки освещал мрачные силуэты певцов, с хищными носами, птичьими длинными шеями и торчащими вперед бородами. Лица были темны, носы угреватые, незрячий глаз одного из них отсвечивал порой мертвым блеском. Невольно приходил в голову вопрос: что общего у этих «любителей» с поэзией и тоской песни?

Впрочем, и трудно было на этот раз уловить ее выражение: и тоска и поэзия, повидимому, совершенно отсутствовали в песне. Но все же было в ней что-то, привлекавшее какое-то жуткое внимание: что-то гнусливое,

жалобно скрипучее и дикое. Такие звуки слышатся иногда бог весть откуда в сонном кошмаре. Но все-таки это было так своеобразно, ни на что не похоже и вместе так характерно, что казалось каким-то чудом, сохранившимся отзвуком мрачной и леденящей старины... Не так ли, в самом деле, были эту песню, под скрип и визг метели, те «настоящие» люди, для которых эта песня была действительно-стью, а нехитрый мотив — ее непосредственным выражением?

При последних нотах песни Алымов торопливо набрасывал в свой карманный альбом.

— Записал? — спросил певец самодовольно.

— Записал, — сквозь зубы ответил Алымов, но для меня лучи лампочки ясно освещали страницу, на которой резко выделялся эскиз двух фигур.

— Хороша ли песня?

Алымов спрятал альбом в карман и сказал разносчикам как-то капризно:

— Др-рянь ваша песня... Для почину отца убил... И напев, чорт вас знает, волчий какой-то.

Он повел плечами, как будто от озноба, отошел несколько шагов и остановился у перил, глядя на реку...

Я тоже поднялся. Волга потемнела совершенно, и даже вблизи вода угадывалась только по движению валов, глухо шумевших внизу. Впереди одиноко светился кузов «Коршуна», точно светляк, вяло ползающий в огромной чернильнице. В рубке осторожно шуршала цепь, и слышались отрывочные замечания лоцманов, чутко и тревожно пронизывавших глазами ночную тьму. Пассажиры разошлись по каютам, окна, выходящие на галлерейку, гасли одно за другим, официанты подсчитывали сдаваемую буфетчику выручку, общие комнаты опустели. Только один Алымов еще появлялся то здесь, то там, точно беспокойный трутень в засыпающем улье.

Я тоже вошел в каюту и улегся, не зажигая огня. Окно было полуоткрыто и едва отличалось от темных стен. Ленивый и влажный ветер, врывавшийся снаружи, плохо разгонял духоту, скопившуюся за день от раскаленных крашенных стенок парохода. За тонкими перегородками были слышны вздохи и нетерпе-

ливая возня. Мой сосед, страдавший печенью, повидимому, томился еще бессонницей.

По галлерее кто-то ходил, и темный силуэт мелькал мимо окон. Потом кто-то уселся недалеко на скамейке, и до меня донеслось тихое пение. Я осторожно поднялся и подошел к окну. Очень близко от него, облокотясь на белый крашенный столик под стенкой, сидел Алымов. Его шляпа лежала на столике, он проводил рукой по лбу и волосам, как будто стараясь прогнать этим движением что-то неприятное, потом стал тихо напевать. Зеленоватый свет фонаря полоской падал на палубу и на переплет перил, отделяя от остальной темноты уголок, в котором уютно примостился Алымов... Он, вероятно, отдавался этому ощущению одиночества, и его песня крепла. Он часто возвращался к началу, как будто подыскивая не вполне дававшийся ему мотив, замолкал, опять нервно проводил рукой по лбу и опять начинал. Едва ли когда-нибудь песня бывает непосредственнее и искреннее, чем в такие минуты, когда она просится из души, в темноте и одиночестве. Здесь порой даже человек, никогда не поющий, находит



вдруг какие-то неожиданные тихие и искренние звуки, которые могли бы тронуть даже взыскательного слушателя. Очевидно, это была одна из таких минут для господина Алымова.

Я стоял у своего окна точно очарованный... И слова, и мелодия, и голос певца, которому он не давал воли, звучащий будто где-то далеко, — все сливалось в удивительно цельную гармонию с этой темной и загадочной волжской ночью, с туманными призраками гор, с таинственным эхом ущелий, с мерным колыханием валов, даже, казалось мне, с недавней ужасною песнью синюхинских прасолов.

Наконец певец как будто нашел свой мотив, и песня зазвучала яснее:

*Уж пойду ли я, уж пойду ли я  
Под Новгород, —*

*Пойду,*

*Под Новгород пойду!*

*Разнесу ли я, разнесу ли я*

*Стены каменны, —*

*Разнесу!*

*Кузнецов лихих, весь искусный люд*

*Я к себе в Москву*

*Заберу!  
А всю земщину-деревенщину  
По святой Руси  
Размечу! [15]*

Смысл песни был, конечно, ясен. Это московский князь идет под Новгород и похваляется разнести каменные стены... Балахна и Городец, и многие места по Волге, и утрюмая Кама, и дикая Вятка, и вологодские леса, и тихие архангельские реки видели у себя новгородских насельников, и даже среди простого народа до сих пор живы предания о грозе, разметавшей из Великого Новгорода земщину-деревенщину, опальных бояр и зольных посадских людей...

*«Уж я вольницу-своевольницу»,*

— продолжает московский князь, —

*Смертью лютою  
Показню!  
Я крамольников-своевольников  
В омутах-реках  
Потоплю!  
Не звонить тебе, не звонить те-  
бе,  
Буйный колокол,*

*Не звонить...*  
*Буйный колокол...*  
*Не звонить...*

Алымов смолк и довольно долго сидел, опустив голову на руки. Повидимому, песня была кончена, но я все стоял под обаянием глубокой и искренней тоски, прозвучавшей при последних словах в голосе странного певца... Точно в самом деле с кидаящею в дрожь непосредственностью живого ощущения из темноты волжской ночи, из шума валов и шороха невидных лесов встал этот умерший отголосок исторического стога и несется, как призрак, за бегущим в темноте пароходом...

В угловой каюте, направо, в окне, совсем низко уставившемся в Алымова, шевельнулась и затем осторожно отодвинулась занавеска. Так как окно было под прямым углом, то мне было видно, как в нем мелькнуло женское лицо с темными, густыми, беспорядочно распущенными волосами. Но Алымов сидел в полоборота и ничего не видел. Он опять провел руками по лбу и волосам, — и мне показалось, когда он запел опять, что это уже другая песня, — столько в ней было мягкой жалости

и тоски, в противоположность похвальбе и угрозе предыдущей. Но мотив оставался тот же:

*Ах, по Волге ли, ах, по реченьке  
Плывет стружок,  
Плывет...  
В той ли лодочке, как лебедушка,  
Красна девица  
Слезы льет...*

Кто-то опять мягко, ласково и задушевно утешает плачущую:

*Эх, не плачь-ка ты, не горюй-ка  
ты,  
Красна девица,  
Перестань!  
Будем соль варить, торговать  
зачнем,  
Лихо-весело  
Заживем!  
Лихо-весело заживем!*

Какая-то горькая удадь, которую, вероятно, и искал недавно Алымов в хоре, теперь звучала ясно, сильно и полно в его негромкой песне. И тотчас опять только тоска и слезы... Это, должно быть, отвечает плачущая девушка:

*Ах, и золото, ах, и серебро,  
Золота казна  
Нипочем...  
Золота казна нипочем,  
Коли волюшку свою вольную  
Не воротим мы,  
Не вернем...*

— Не вернем!.. не вернем, — еще несколько раз тихо повторил Алымов, все ниже опуская голову и опять возвращаясь к последним нотам.

Стукнуло еще одно окно; на этот раз над самую голову Алымова.

— Конец, что ли? — спросил недовольный и резкий голос моего страдавшего печенью соседа. «Не вернем, не вернем и не вверррнем!» — ведь это чорт знает что такое, наконец. Надо же дать людям заснуть... Пишут в газетах: поездки! Для здоровья! Какое тут к чорту здоровье...

— Ах, извините, пожалуйста, — ответил Алымов, как будто испуганный внезапным нападением, и быстро вскочил с своего места. Окно захлопнулось, задернулась также занавеска в угловой каюте, но за ней еще раз

мелькнуло в темном квадрате бледное женское лицо, которому этот сумрак придавал какую-то особенную, грустную и заманчивую прелесть.

— Mersi, m-sieur Алымов [16], — сказал красивый, несколько разнеженный и приятный бархатный голос.

Алымов удивленно повернулся. Занавеска еще колыхалась, но окно было темно и пусто.

— Глуб-боко тронут, сударыня, — тронут и очарован, — сказал Алымов, ломаясь и школьничая. Теперь я заметил ясно, что частые посещения буфета оказали на г-на Алымова сильное действие.

— К услугам вашим, готов петь хоть до зари, если бы не боялся вот этого господина...

— Сударыня! — сказал он затем тихо, и вдруг опять громко рассмеялся, стал в позу и, перебирая пальцами, как будто играя на гитаре, запел вполголоса:

Что же, слышит, иль не слышит,  
Спит она, или не спит?..

— Не-ет, не спит, стоит за занавесочкой и слушает. Ай-ай-ай, не хорошо подслушивать, сударыня... Впрочем, — спокойной ночи...

К тебе я буду прилетать,  
Гостить я стану до денницы.

— Ха-ха-ха! — И художник Алымов, смеясь, поплелся по галлерее, пробуя в темноте то одни, то другие двери. Некоторое время все было тихо.

Только сосед за перегородкой с ожесточением кидался на своей койке.

Еще через минуту в пустой общей зале, в которой горела одна только лампочка, послышались шаги, кто-то откинул ногой стул, потом резко затрещал электрический звонок. Г-н Алымов требовал себе рюмку коньяку.

— Никак невозможно, — говорил с каким-то почтительным неудовольствием полусонный лакей, вероятно, дожидавшийся с нетерпением, пока уляжется беспокойный пассажир, чтобы погасить последние огни и улечься наконец самому.

— Никак невозможно-с. Второй час на исходе-с.

— Ну, черт с тобой, — сказал Алымов капризным и обиженным тоном. — Где тут мое место?

— Пожалуйста, тут вот, в общей... Сделайте

ваше одолжение, потише. Тут господин спит уже...

— И пусть спит, чорт с ним. Мне какое дело. Постой, скажи: что за человек? Купчина какой-нибудь, на ярмарку?

— Не могу знать, а не похоже, что купцы. Пожалуйте...

— Чиновник?

— Не могу знать, а не похоже опять. В шляпе. Пожалуйте!

— Постой, погоди, успею. Офицер?

— Не офицеры. Пож-жалуйте, будьте настолько добры. Не хорошо: разбудите.

Щелкнула ручка двери, и слабая полоска света влетела в мою каюту. Алымов заглянул в эту щелку, приложившись к ней лицом, и, опять повернувшись к лакею, спросил шопотом:

— Симбирский помещик?

— Не похоже.

— Опять не похоже! Нет, Илюша, это, наконец, невозможно. В России непременно или купец, или чиновник, или офицер... Ведь не мужик, наконец, пойми, Илюша. Мужики в первом классе не ездят.



— Как можно, помилуйте.

— Ну, вот видишь. Кто же еще? Пстой, пстой! Вот мы сейчас с тобой припомним.

И господин Алымов стал декламировать из Некрасова.

*Довольно с нас купцов, кадетов,  
Мещан, чиновников... двор-рян,  
Довольно даже и поэтов...  
Но нужно, нужно нам граждан.*

— Так вот он кто еще: почетный гражданин какой-нибудь. Говори, Илья: почетный гражданин, что ли?

— Не могу знать, верьте совести. Едут от Астрахани, от самой, а на вопрос, например, кто такие, — не соответствуют. В Сарепте рыбак Иван Семеныч спрашивали... «По своему собственному делу», — говорит, больше ничего.

— Видишь! А ты меня, к несоответствующему человеку посылаешь. Неси рюмку коньяку для храбрости, а то не иду.

— Буфетчик спит, Ксенофонт Ильич, — невозможно. И рад бы, да нельзя... Пожалуйте.

— Ну, черт с тобой, пожалуйю. А в случае че-

го, помни: ты, Илья, не знаю, как тебя по фамилии звать, за художника Алымова в ответе. Помни, Илья, ну, с богом! Отворяй. Э! Постой. Это еще что?

Г-н Алымов остановился в отворенной двери. Между тем в зале появилось новое лицо: при слабом свете лампочки, точно полуночный призрак, проследовала неизвестно откуда появившаяся дама. Она была высокая, роскошная брюнетка, сильно напомнившая мне неясный образ, мелькавший в угловом окошечке. Она пожималась, как будто от холода, и на красивом лице видно было как будто неудовольствие, что ей мешают спать. Но было и еще что-то. Алымов засмеялся с несколько дерзким видом и захлопнул дверь.

Струя воздуха кинулась от окна, хлопнул конец занавески, г-н Алымов очутился в темноте и не совсем верными стопами прошел через каюту. Он шумно приподнял занавеску, стуча медными кольцами... Потом стал у окна и закурил папиросу. Я тоже чиркнул спичкой.

Алымов быстро повернулся.

— Я вас опять разбудил. Впрочем, какое мне дело? Кюта общая. Вхожу я в общую ка-

юту и ни о чем не забочусь. Вам не нравится мое пение. Правильно: А курить в каюте имею право. Не хочу спать.

— Совершенно справедливо, и потому не возражаю, — ответил я улыбаясь.

— Какого чорта вы смеетесь? — сказал он с неудовольствием, заслышав улыбку в моем ответе.

— Какое вам дело? — ответил я ему в тон; меня это начинало забавлять. — Смеюсь в общей каюте — и кончено.

— Гм... удивительно, — сказал Алымов в каком-то раздумье. — Однако как вы разговариваете! Постойте-ка...

Он пошарил по стенке и отвернул кнопку электрической лампочки. Комната осветилась, и мы оба некоторое время шурились от непривычки. Алымов первый, бесцеремонно оглядев меня, вдруг рассмеялся и сказал:

— Нет, это не вы меня обругали за пение.

— Действительно, я вас не ругал.

— Вы кто такой?

— Пассажир.

— Глупо! Почему в самом деле не ответить на вопрос.

— Какая надобность предлагать такие вопросы?

— Гм... Удивительно, — опять повторил Алымов и сказал затем: — Чисто русская бесцеремонность, верно! Русский человек не может успокоиться, пока не узнает доподлинно, чем кормится его ближний. Ну, и я — русский человек, и притом еще наделенный экстренной любознательностью... Да, да, да! Постойте, ведь это вы там внизу так бесцеремонно присматривались, когда мы приставали к пароходу.

Я засмеялся.

— Согласитесь, что у меня были для этого любопытства некоторые основания.

— Какие, любопытно, основания?

— Да хотя бы и в экстренном способе вашей посадки на пароход. Приятно видеть такую удаль.

— Кой чорт удаль! Сумасшествие! — сказал Алымов с неудовольствием. — Вы думаете, это мы нарочно? Просто оказалось, что наш рулевой не умеет править. Если бы не молодчина гребец — чорт знает, что бы вышло. Я что! Я наблюдатель... потонул бы из любопыт-

ства, с некоторым удовольствием. А ведь с нами была девушка, она жить хочет. Постоянке, тише, тсс...

Г-н Алымов вдруг замолчал и прижался к стене. Мимо окна промелькнула какая-то тень. Алымов высунулся в окно и долго смотрел кому-то вслед.

— Кто это ходит так поздно? — спросил я.

Алымов не ответил. Он закурил новую папиросу и полулег на скамье в задумчивой и мечтательной позе.

— Alte Geschichte [17], — сказал он, пуская кольцо дыма. — Поздравляю, г-н Алымов! Ваши добрые знакомые у пристани.

— О ком вы говорите?

— Вам какое дело? Кстати: вы писатель?

Я невольно сделал легкое движение, Алымов громко засмеялся.

Сосед за стеной опять бешено завозился на своем страдальческом ложе. Алымов равнодушно повел в ту сторону глазами и сказал в высшей степени хладнокровно:

— Чорт с ним! А я, согласитесь, угадал вашу профессию.

— Допустим, но по каким это призна-

кам? — спросил я. Алымов опять засмеялся и спросил в свою очередь:

— Скажите, отчего это: купец, чиновник, даже живописец и актер сразу отвечают на вопрос о своей профессии; торгую, имею собственное имение в Самарской губернии, двадцатого числа получаю из казначейства. Только писатель непременно замнется. Ха-ха! Точно или боится ослепить слушателя, или опасается, что его сочтут прохвостом...

— Ну, полно! Это было, да прошло.

— «Ну, полно», — передразнил он. — Не бытовое вы явление, господа, на Руси, вот что! Еще в столицах — так. А вот здесь, на Волге, скажите вы хоть тому рыбнику, который вас допрашивал в Сарепте: дескать «пишу». А он посмотрит, что на вас пальто приличное, и спросит: «А служите где?» Или: «А из буфета даром, что ли, тебе отпускают?»

Он залился опять звонким смехом и спросил добродушно:

— Не обижаетесь?

— Нимало.

— И отлично, а то я бы сейчас лег спать, а уснуть ни за что не усну. Заметили вы, какой

подлый сегодня был день и ночь?

— День как день, а вечер действительно темный.

— Темный; не в этом дело, — сказал Алымов с нотой раздражения. — Нет, такие подлые вечера, к счастью, выдаются не часто: слишком горячий закат и ужасно холодные тоны на востоке. С одной стороны природа горит, с другой — зябнет. Брр... чистая лихорадка для нервов... Ужасно раздражает.

— Вы художник?

Алымов вдруг насторожился, услышал опять шаги на галлерейке. Он поднялся с места, подошел на цыпочках, к кнопке и осторожно завернул ее. Огонь погас, и скоро опять две фигуры мелькнули мимо окна. Алымов опять проводил их глазами, высунувшись наружу, и затем, сев попрежнему, ответил на мой вопрос:

— Художник, соперник Репина. Вы видали репинских бурлаков?

— Конечно, видел.

— Конечно, видели. А заметили там на первом плане песчаную отмель и старую, расстрепанную корзину, вернее — снасть для рыб-

ной ловли, замытую песком.

— Да, помнится что-то.

— Ну вот, моя специальность — такие от-  
мели и такие корзины...

Он засмеялся, впрочем, как-то грустно, но  
тотчас же овладел своим выразительным го-  
лосом и продолжал уже совсем весело:

— Да, мы с Репиным давние соперники. У  
него гораздо лучше выходят бурлаки, а у меня  
корзины и лапти... Вы на N-ской выставке не  
были?

— Был и очень хорошо помню ваши эски-  
зы.

— «Старую корягу у устья Керженца»?

— Видел и корягу. Коряга, действительно,  
замечательная.

— Я и говорю: куда Репину! Только и умел  
написать бурлаков, вода — точно с синькой;  
песок не волжский... а уж о корзине и гово-  
рить нечего! — В каюте опять зазвенел его от-  
крытый, заразительный смех.

## V

Я задумался... Имя художника Алымова  
было мне уже раньше известно из поволж-  
ских газет. Местная пресса гордилась им, как



своей областной известностью, и авторы заметок всегда прибавляли к его имени эпитеты: «наш» Алымов, или «наш известный пейзажист». Немного странно было то обстоятельство, что при этом почти всегда выходило разноречие в определении его специальности. Одни считали его «нашим известным пейзажистом», другие называли его поволжским жанристом, третьи считали Алымова художником-этнографом и, наконец, «художником бытописателем Поволжья».

Незадолго до описываемой встречи в городе N состоялась «первая», чуть ли не с самого основания Руси, областная художественная выставка. Это было нечто отчасти интересное, отчасти печальное, отчасти трогательное и в значительной мере курьезное. Тут были копии масляными красками с известных олеографий. Патер, смеющийся над рюмкой вина, патер, плачущий над разбитой рюмкой, патер, у которого на нос села муха. Были тут наивные барашки в золоченых рамах, почтительно выставленная пачкотня добрейшей NN, местной меценатки (что делать — областное искусство так нуждается в сильном

покровительстве)... Среди этой мелюзги чуть не целую стену занял художественный левиафан, академическая конкурсная тема, написанная около полустолетия назад рисовальным учителем кадетского корпуса, в то время еще мечтавшим завоевать и карьеру и славу при помощи тщательно выписанных спин, бедер и торсов. Были сильно потемневшие «дубликаты» Рембрандтов и Ван-Дейков, об удивительном способе приобретения которых и о несомненной идентичности местные любители-коллекционеры пространно поведали в газете. И что всего удивительнее, пройдя почти всю выставку, я нигде не встретил ничего подлинно местного, близкого, областного. Казалось, все это искусство, преклонявшееся перед экспрессией олеографий и в лучших представителях погружавшееся в смутное воспоминание о блеске академической натуры, — брезгливо сторонится от всего близкого, как будто эти примелькавшиеся поля и воложки, эти острова с осокорями, печальные горы, растрепанные избушки и их грязные обитатели, привозящие художникам в базарные дни молоко и яйца, — как будто

вся эта близкая действительность стоит неизмеримо ниже местного таланта...

Только в последней, неудобно освещенной комнате я вдруг наткнулся на приятное исключение. Огромный экран, затянутый темным кретоном, был усеян клочками холста, картона и бумаги с эскизами Алымова. Тут были карандаши, blanc et noir [18], масляная краска. Все это жило и сверкало, было насквозь проникнуто каким-то своеобразным чутьем местного колорита и давало впечатление несомненного таланта, беспокойного и яркого, но целиком разрешавшегося в этих беглых, незаконченных, схваченных на лету и сторяча эскизах Поволжья. В одном месте волна набегаёт на длинную песчаную косу, в другом — занесенная песком, разошедшаяся лодка, далее — остов баржи, оставшейся на крутояре после весеннего ледохода, с кокорами, торчащими кверху, точно ребра какого-то чудовищного скелета... На многих клочках были нарисованы обломки досок или старое пнище, или просто лапоть, черневший пятном на сверкающей полоске песков... Порой — три полосы, в которых трудно было

даже угадать рисунок реки и береговой дали. Но стоило отойти немного — и с холста началось светиться небо, дышащее истомой, мгла начинала сгущаться в облако, и в далях чувствовался набирающийся дождь... И все эти пятна воды, клочья облаков, небесная синева, луговые дали, откосы, отмели, островки и заводи, разбросанные яркими лоскутками на темном фоне огромного экрана, производили не то манящее, не то беспокоящее впечатление, в душе набиралось какое-то сильное настроение, оставшееся неразрешенным... Несомненно было, с одной стороны, присутствие таланта, не лишенного искренности и проникнутого какой-то особенной правдой: в каждом самом мелком наброске чувствовалась именно волжская мель, волжский воздух, волжский лапоть, оброненный именно волжским бурлаком на волжском песке. Впрочем, среди видов реки и воды попадались и другие мотивы: лесные перекрестки с чуть тронутыми вечерним солнцем верхами сосновых стволов; густые чащи с таинственным молчанием; на перекрестках — раскольничьи иконы со старыми ликами, с боковых

дорожек выбегают тройки с седоками, возвращающимися из каких-нибудь лесных скитов. Разбитые ветром крыши степных уметов, телега в степи с приподнятыми над огоньком оглоблями, странник у монастырских ворот, с посохом в руках и с котомкой на согнутой спине, темная лента переселенческого обоза на прямой дороге, засыпающей где-то под дальнею тучею. Вечер, ворон над болотом, перевоз через узкую лесную речку, рыбак, склонившийся над той же речкой за ночную ловлей «на сеже». Но все-таки преобладали отдели, волны на излете, всасываемые прибрежным песком, обрывки дождевых облаков, несущихся над глинистыми ярами, «сторожевые бугры», которых так много на Волге, одинокие осокори, брошенные лодки, развешанные рыбацкие сети, искорки вечерних огней в неопределенном сумраке, землянки бакенщиков, и лапти, корзины, коряги, и опять корзины и лапти...

## VI

— Вы мне скажете правду? — спросил вдруг Алымов после короткого молчания, во время которого я вспоминал все эти впечат-

ления.

— Относительно?

— Ну, да... относительно моих работ.

— Отчего же. Мне показалось это очень интересным. Разумеется, интереснее всего, что было на выставке.

— Неужели, — засмеялся Алымов, — интереснее даже патера с мухой?

— Простите, я сказал банальную глупость. Ну, хорошо, я постараюсь выразить то, что чувствовал перед вашей витриной. Во-первых, все это очень ярко и правдиво, все настоящее, дышит и светит...

— Но?..

— Но... не закончено и разбросано. Как будто материал для ненаписанной картины... Все это напоминает как будто...

— Разбитое зеркало? — подсказал Алымов живо.

— Именно, — вырвалось у меня невольно.

— Именно, именно, — подхватил Алымов, приподымаясь на своем месте. — Знаете, это сравнение пришло мне в голову в первый же раз, как я увидел свои эскизы собранными вместе. До тех пор я набрасывал их в разное

время, в разных местах, под различными настроениями, и сам не придавал им никакого значения. Иное писалось между прочим, иное — с намерениями, но все-таки так, «пока и в ожидании». Так и прошли года... Наброски да наброски... А тут эта выставка... Отобрал я свои эскизы, нужно сказать, очень тщательно, только то, где действительно искренно отразился кусочек души. Устроил мне это все приятель, старый художник, а я даже вошел в зал уже вместе с публикой. И знаете, сначала даже не узнал своих работ... Бывает это: подойдешь к себе точно со стороны и смотришь, как на чужого. Таковую минуту я пережил в N-ской зале. Чорт возьми, думаю, ведь в самом деле все они правы. А уж в это время в N создавался некоторый шумный успех, присяжные ценители успели провозгласить меня своим областным Рафаэлем... Ведь и в самом деле, думаю, — светится все это, точно окна какие-то прорезаны в темном кретоне... Ну, а в общем... стало мне в ту минуту ужасно жаль чудака, который написал все это. Кажется, и все правда, будто на негативе. Нет, никакому негативу не передать та-

кой правды. Скорее — зеркало, в котором отразились солнце и небо, и бегущая волна, и пролетающая птица, и проходящий странник... Отразились, да так и застыли, в движении и красках... Вы не находите, что я преувеличиваю?

— Нет, — именно это чувствовал и я...

— Да?.. то же и вы чувствовали? Так... ну, а дальше что же вы чувствовали?

— Вы скажете лучше сами...

— Ну, а дальше — тоска! Как будто все эти волны, и облака, и пятна хотят сойтись, слиться в одну картину, полную настоящей шири, света, воздуха, жизни, глубокого смысла... Но...

Г-н Алымов помолчал.

— Зеркало разбито, — сказал он таким голосом и с такой нотой, какой я даже не подозревал в этом веселом человеке. — Разбито и развешано по клочкам... и так грустно светит кусочками своей яркости и веселья... Верно это?.. — спросил он как-то устало.

— Пожалуй, верно... Но...

— Нет, не пожалуй, а действительно верно. «Но» — хотите вы сказать — зеркало еще мо-



жет собраться. Знаете, я ведь то же думаю! Что ж, в самом деле, — еще молод, все эти тучи, и волны, и странники еще ходят в душе... Ну, а иногда мне кажется, что так все и останется клочками... Кажется даже, что и всюду клочки... Вы беллетрист?

— Беллетрист.

— Роман написали?

— Романов не писал.

— Почему?

— Не знаю, право, — не задавал себе этого вопроса.

— Ну, врете, батюшка! Просто не хотите пускаться с пьяным Алымовым в откровенности. И чорт с вами, молчите себе... А уж я разболтался, так и стану продолжать, пока терпите. Да вот, подите, порой мне начинает казаться, что не один беспутный Алымов — разбитое зеркало, а все кругом, все наше поколение — такая же интересная коллекция. Большие клочки, маленькие клочки, клочки прозрачные, как воздух, клочки запыленные и перекошенные... Возьмите хотя вашу область — литературу: стоит посередине огромное великолепное трюмо старой, еще доре-

форменной работы, остальное... Впрочем, извините, может быть, я и совершенно не прав, — сказал он и опять засмеялся своим веселым смехом. — Только у меня своя теория на этот предмет. Нет устойчивой светотени... Представьте себе, что вы рисуете пейзаж в ветреный облачный день. Облака вверху плывут и плывут, свет и тени бегут по земле пятнами, появляются, исчезают, меняются сами, меняют все, что вы видите. Что еще за минуту резало глаз светлым пятном, то теперь спряталось в глубокой тени, тут появилось вдруг озеро, которого совсем не было видно, а где сейчас целое село играло на солнце, — нет ничего... Как вы станете рисовать?

— Рисуют, однако.

— Именно рисуют. Только что же для этого нужно? Нужно, чтобы вся эта светотень застыла, что ли, в душе, в мозгу, в памяти, в сердце, ну, черт ее там знает где еще... Выражаясь высокопарно, нужно, чтобы свое солнце светило в душе. Зажмурился — готово.

— Пожалуй, — сказал я, невольно улыбаясь.

— Да! Вот у нас долго светило крепостное

солнце... Видели вы когда-нибудь рисунки Боклевского к «Мертвым душам»? Нет? Будете в N, посмотрите нарочно. Вот, батюшка, настоящий талант, никогда ничего больше не создавший, правда... но его карандаши — это, это... Ну, право, это равно Гоголю. И вот когда впервые мелькнула у меня моя теория... Посмотрите, — ведь не боялся человек шаржа: Петр Петрович Петух — ведь это настоящая тыква. Видали вы тыквы на бахчах в хорошее, постоянное жаркое лето: нальется так — целая гора. Вот, думалось мне, Петр Петрович Петух: такие запасы жиру и характерности могли налиться только в долгое, устойчивое лето... Ну, и нагляделись на них при устойчивой погоде наши дореформенные мастера: тоже зажмурится — готово. Так целый огород и возникает сразу: и огромные тыквы, и огурцы, и баклажаны, и наливное яблочко, и малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, и даже репей, и лопух у забора — по закону контраста. Представляете? Так все и режется: тыква — вот она, не спрячешь! Чертополох — вот его скоро выполнят... Все ясно, определено, все на своем месте, под ров-

ным и определенным светом... Да если еще оторваться на время и посмотреть заграничные огороды, а потом опять вернуться к своему... да если еще скажут тебе, что это свое, родное скоро перепашут до подпочвы... Боже мой, с какой любовью все это врежется в памяти... Тыква, голубушка, скоро тебя не будет...

Он опять засмеялся и спросил:

— Вам понятно?

— По-моему, несколько парадоксально.

— Ну, все равно. Теперь представьте, что и там, в душе, тоже вдруг все вздрогнуло и понеслось. Так же вот, как в облачный день, — все изменчиво, так же несется что-то, перекрывает, меняет, обманывает... Что вчера казалось ослепительно сияющим, то сегодня стало тьмою, что вчера было самой мрачной тенью, — вдруг сегодня, если не совсем посветлело, то по крайней мере принимает приличные серые оттенки... Что тогда?

Я промолчал, не желая нарушать течения его причудливой мысли.

— Остается, батюшка, ловить клочки. Разбитое зеркало. А ведь все наше поколение

именно таково: дрогнуло что-то и несется, и летит. Туча не туча, облако не облако... Где-то будто гремит, а больше все-таки мгла какая-то... Несется, закрывает, открывает... Да вот вам: давно ли мы любили народ и верили в него, как сорок тысяч братьев любить и верить не могут. Точно двери какие-то открылись, повалил в них мужик и занял всю арену российского внимания; бурьян из-под заборов забрался на первые гряды. Куда ни повернись — всюду он, и притом в самом лучшем виде... Господи боже! Как мы его, голубчика, любили и как уважали. Где только ни встретим — привет и почет. Говори, голубчик, выскажись! И высказывался! Вон сидит у тракта в будочке «поскотник». Обязанность, можно сказать, самая ничтожная: сиди у ворот, Да глупых телят на улицу обратно загоняй, разве еще когда начальству поскотину отопри. А подойдите-ка к нему: философ глубочайший! Беспортошные, безоброшные — все философы. Порток не имеет, оброку не платит, а поучить нас, бедных, может, потому что и в беспортошности его смысл глубочайший. А уж про выставки и говорить нечего: по всем сте-

нам в золоченых рамках все он был. И ведь не то чтобы какое-нибудь частное увлечение, кружок какой-нибудь. Все общество — сверху донизу обожало. Ретрограды и радикалы одинаково. Одни говорят: он умник, он мудрец, в нем наше спасение, он всю эту фантазмагорию устранил и прежнюю светотень опять наладит; ему ведь, милому, у забора, по его мудрости и смирению, — самое надлежащее место. Другие радостно суеются: погодите, вот он придет, и все станет совсем по-новому. Я лично из-за него на несколько лет краски и палитру бросил, не пошел в академию, метил в сельские учителя, и, наконец, чорт его знает по какой уж равнодействующей, попал в адвокаты.

— Вы адвокат? — удивился я.

Г-н Алымов расхохотался так звонко, что сосед счел необходимым трижды стукнуть кулаком в стену.

— А ведь в самом деле, это с нашей стороны свинство, — сказал Алымов. — Ну, хорошо, стану говорить тише. Да, батюшка, рекомендую: адвокат Казанского округа. Благоклонные ко мне поволжские газеты порой

так и называют меня: известный адвокат-художник. Причем, как водится, адвокаты слово «известный» относят к художнику, художники — к адвокату... А бывает и так. Говорят: вон на песочке адвокат Алымов этюдики пишет, или: сегодня художник Алымов в суде бродягу защищает. И чорт его знает: сам я путаюсь, потому что действительно бродяга на скамье передо мною сидит и бродяга у меня на этюде... Тише, пожалуйста, тише: сосед опять недоволен... Да, так я к тому, что из-за него, меньшого брата, одно время я даже этюды бросил, перестал думать красками, да что! Ей-богу, политическую экономию изучал... К чему, думалось тогда, наше искусство? Вот он, младший-то, придет и все картины сразу пиному перепишет. Краски даже другие с собой принесет, видеть иначе научит: полнее и глубже! И куда ни посмотришь, все в этом уверены: в театрах, в музеях, в литературе, в поэзии, на выставках... Помню, как-то на пароходе по Волге случилось ехать. Пароходишко маленький, меж ближними пристанями шмыгает; на мостках, гляжу, компания: судебный следователь, исправник из бывших ка-

занских студентов и уездный полицейский врач. Сидят за столиком, солнце их жарит, поют «Есть на Волге утес», слезами так и истекают... Ей-богу! Правда, выпито было изрядно, а все же, как хотите, замечательно! И было это, знаете, пониже Царицына, есть там этот знаменитый Стенькин утес:

*Из людей лишь один  
На ут-есе том был...*

Понимаете, это уездный врач — тенорком, — и вдруг исправник октавой:

*На-а Ма-аскву своротить он ре-  
ши-иился!*

— Ой, батюшки, не буду, — спохватился г. Алымов, оглядываясь на стенку, и, подвинувшись, продолжал:

— Ну, я, понимаете, человек свежий, только что сел на пароход, не успел еще приобщиться к их настроению, — и потому невольно приведен был в изумление. «Что вы это, говорю, госрода, делаете, побойтесь бога. И утешко-то, во-первых, самый ничтожный, а, во-вторых... Ну, вы только представьте себе: вдруг он-то оттуда в самом деле выползет.



Ведь вы тогда меры обязаны принимать... Хлопот не оберетесь: не мертвым телом, неизвестно кому принадлежащим, пахнет». Так ведь как обиделись: стол опрокинули. Исправник в грудь себя вилкой тычет. «Молодой человек, — говорит, — вы, может быть, па-ла-гаете, что если на мне вот этот проклятый мундир, так уж я народа не люблю. Ашиба-е-тесь...» Насилу усмирил, и то лишь тогда, когда опять столик наладили, и я в свою очередь приобщился к настроению. Тут, конечно, все забыли. Судебный следователь, человек, трепетавший перед прокурором, но, в сущности, большая умница, объяснил мне на мировую, что и песня-то, говорят, прокурором написана и напечатана была в самом благонамереннейшем журнале [19]. «Мы, говорит, молодой человек, свои юные годы вспоминаем. А служебным действиям это ни в коем случае помешать не может». Смешно ведь, правда? А как вам кажется, кто был всех смешнее?

— Я думаю, исправник.

— Ошибаетесь — художник Алымов. Я, положим, над ними смеялся, а ведь если был человек, искренно веривший, что он, тот, кто

из-за утеса, со своей мудростью российского Барбароссы, действительно может оттуда вылезти, — так это был именно я. Над исправником смеюсь, а сам на утес с замиранием поглядываю: выйди, голубчик, выйди, милый. И себя, понимаете, считаю уже сообщником, чуть не обладателем тайны, в душе зреет картина... Такая картинища, я вам скажу. Немного фантастическая, а, ей-богу, мне кажется порой, что стоит бурлаков...

— Какая, если можно спросить?

— Не знаю, сумею ли теперь рассказать... Кажется, так уж это давно было, и так вся эта светотень изменилась. Не хотелось бы смеяться над тем, над чем когда-то, право же, плакал... Ну, попробую, однако. Видели вы на моей выставке маленький такой этюдишко: «Утес — Два Брата»?

— Да, помню.

— Заметили? Помните там что-нибудь такое... своеобразное, что ли?

— Позвольте: утес освещен последними лучами, река внизу, уже в сумраке, по реке пароход бежит... два огня...

— Ну-ну?.. — насторожился Алымов.

— В отдалении, в ущельях мигают две деревеньки...

— Татинец и Слопинец. Именно, — это пониже Работок. Говорят, в старину было опаснейшее место. На утесе два брата-атамана, в Татинце — тати, ну, и Слопинец — от слова «слопать».

— Неужто есть такие деревни?

— Есть и не такие. Так вы заметили этот этюд. Да, искрится в нем это нечто, искрится. Помните, огни у парохода? Смотрят! Грозят! Дымище сзади тащится. Змей Горынич, не правда ли?.. А Татинец со Слопинцем мигают, бедные, так смиренно и жалостно.

— Это верно!

— То-то! И вы думаете, я это как-нибудь там подмалевывал тенденциозно? Уверяю вас, нет: прямо с натуры. Сел на одном обрыве, посмотрел вниз, на эту матушку-Волгу, — так вся душа и вспыхнула тоской и грустью... А пароходище ползет, дымит, глазами сверкает, купчина на нем едет... Луговой остров, подлец, у Татинца со Слопинцем оттягал... Я же и процесс начинал, да потом товарищу более искусному отдал. Испугался купчины —

силища! С простыми ходатями, а так орудует, — чистое дело, только мигни, проиграешь. Ну, зато уж в картину я все это вложил. Стала она у меня в душе расти и шириться. Всю Волгу исходил и изъездил, бугров этих сторожевых да берегов затуманенных набрал видимо-невидимо, в архивах копался, у лоцманов да у рыбаков обрывки преданий собирал, — и все так к своему месту ложится. Чувствую — растет! Светотень в душе установилась ровно: солнце вечернее по утесу скользит, река так вот и льется вниз, глубоко в сумраке, огни так и таращатся, дымище, как хвост, вьется, на отмели бурлаки, как мураши, стоят, смотрят, побросали лямки, баржонка прижалась к мели, — все уступает, все сторонится перед Змеем Горыничем. Понимаете — капитал совершает торжественное вступление на Волгу... Летит, свистит, распугивает свистом бурлацкие песни... А на утесе группа стоит, пятном в последних лучах так и режется... Удалые молодцы, мирские защитники, гроза крапивного семени, носители таинственной политической мудрости российских барбароссов из-под Стенькиных утесов... Ах, вы предста-

вить не можете, сколько я в эти фигуры вложил любви, тоски, ожидания и страсти...

— Вы их написали? — спросил я с интересом.

— К чорту! — сердито ответил Алымов и засмеялся. — Обманул меня подлец-атаман, недаром Хлопушей называется.

— Хлопуша — ведь это пугачовец.

— Чорт его знает, может, и тот. Шатались ведь они, подлецы, повсюду, а может быть, и нарицательное: хлопать зря — значит лгать, хвастать... Впрочем, он ли один тут виноват, право, не знаю! В неделю картину не напишешь. Собирался, все приготовил, между тем в первой инстанции дело-то мы проиграли. Купчина принялся круто, на месте пошли недоразумения, ну, тут за мной немного не присмотрели, я впутался глупейшим образом. Вышла история, а купчине только и надо было: губернатор — человек энергичный... Потом товарищи едва-едва успели все-таки поправить дело, а я уехал на время в некоторые северные города.

— И это было? — спросил я.

— Было, — ответил Алымов, слегка как

будто застыдившись. — Уж именно, что печальное недоразумение. Собственно, за тем-перамент. Положим, недоразумение рассеялось сравнительно благополучно, а все же залегла, полоска... Вернулся — и тот, да не тот, и застал уже не то.

— Что же, собственно, изменилось?

Алымов помолчал и вдруг опять спросил:

— Хотите тему для рассказа?

— Непрочь, хотя чужие темы вообще плохо годятся.

— Ну, я расскажу вам небольшой эпизод... Охотно уступлю вам, тем более, что у меня, пожалуй, ничего не выйдет.

— Пойдите, да разве вы еще вдобавок и пишете?

— Пишу, — рассмеялся он, — впрочем, только в N-ском листочке. Видели такую газету?

— Не помню.

— Напрасно. Самая колоритная газета в России. Издается местным купцом — мучник из Царицына. Начинает всегда тропарем дня. Продолжение составляет акафист местному начальству, конец — что-нибудь о патриотиз-

ме. Понять ничего невозможно, а читателей слеза прошибает.

— А вы тут что же?

— А я — что хотите: путевой набросок, что-нибудь по местной истории. Сливаюсь со средой — это всегдашняя моя мечта. «Бытовое» — это моя стихия. Недаром вот и вы признаете, что моя коряга — настоящая керженская, волжская. Знатоки признают даже тину, которой она затянута, а какой-нибудь лапоть возбуждает географические споры... Ну, вот и настоящий, местный бытовой редактор прельстил меня. Скоро, пожалуй, умрет старина, — исчезнет последняя оригинальная газета на Руси. Сын — из второго класса прогимназии, ходит уже в спинжаке и пишет светским стилем. Те же акафисты, но уже не шевелят сердца...

## VII

— Вы говорили о теме.

— Да, как вам нравится заглавие «В споре с меньшим братом»? А мне кажется, что лучшего заглавия для современного рассказа не придумать. Охватывает все сверху донизу: и художника Алымова, и его приятеля мещани-

на Романыча, и правый, и левый фланги... Отовсюду теперь выгнали меньшого брата. Одни — потому, что оправдал их надежды, ну, и попал на конюшню! Другие — потому, что обманул ожидания. Не вышел своевременно на арену истории. Да, холодность теперь к нему необыкновенная... И драм на этой почве совершалось у нас, я вам скажу, без числа. Все только драмы какие-то незаметные, подпольные, что ли... Вот и сегодня, видели вы наш отчаянный абордаж. Это тоже последний акт такой же драмы. В лодочке сидят все исполнители: начиная с художника Алымова и кончая бедной Фленушкой, которая ни с кем, впрочем, не ссорилась; все имеем к меньшему брату более или менее серьезные иски... Недоумеваете, а между тем это так. Начнем с меня: вы согласитесь, что пострадал и хотя отчасти из-за собственной глупости и темперамента, но все же частью и из-за меньшого брата...

— Он-то об этом не просил?

— А почему вы знаете? То-то что просил, а потом на попятный. А из-за этого обе мои карьеры — и адвокатская и художественная —



временно приостановились. Далее-с... Я потерял невесту. Ну, тут, положим, влияние меньшого брата только косвенное, и от этой части иска отказываюсь. Я никогда не пользовался успехом у женщин. Кажется, я вам сказал, что не могу сегодня спать от погоды. Налгал: не сплю от ревности. Не смейтесь, пожалуйста, мне, право, не до смеха.

И, как бы в доказательство, в каюте зазвенел его заразительный хохот.

— Странный вы, право, человек, — сказал я.

— Да, странный. Веселый меланхолик, существо парадоксальное, пожалуй, уродливое. Мне, знаете, кажется иногда, что природа намеревалась вылепить меня самым веселым человеком в России, но по разным обстоятельствам я ей не удался. Вышел только эскиз веселого человека, а внутри-то трещина. От этого меня так раздражают и такие парадоксальные вечера, как сегодняшней. У самого в душе с одной стороны светится что-то, а с другой — такой холодище ползет, брр... зуб на зуб не попадает... Однако возвращаюсь к теме. Женщины, как вам известно, не ценят эс-

кизов. Мы иногда удивляемся пошлейшему выбору умной и развитой женщины. А секрет простой. Им хоть маленькое зеркальце подавай, пяточковое, да цельное... Эта мысль, с тех пор, как я ее понял, совершенно лишает меня бодрости...

— Мало вероятно, — сказал я, улыбаясь, — особенно если вспомнить про угловое окошечко.

— Ну, — сказал Алымов брезгливо. — Я не об этих лубочных эскизах любви говорю. Поймите: в моей душе живет стремление к цельности, к полной картине... Между тем, когда, отчасти тоже благодаря меньшому брату, выяснилось, что я в адвокатуре — художник, а в искусстве опять остановился на корзинах, — дело мое и расклеилось. Осталась одна надежда на будущую картину... С этой надеждой я и жил там, где встретил Романыча...

— Это ваш мрачный приятель?

— Да, он.

— А он — цельное зеркало?

— Какое там! Тоже осколок. Но это человек особенный... Счастье за ним гонится само, потому что он от него убегает. Есть что-то уди-

вительно привлекательное в отречении. Не знаю, как вы, а для меня, грешного художника и грешного человека, просто недурное лицо кажется неотразимо привлекательным в монашеском клобуке... Кстати, кто он по-вашему?

— То есть?

— То есть просто: какого звания человек?

— Кто его знает.

— Вот то-то. Даже я, знающий каждую щепку в этих местах, если бы встретил такую фигуру на Волге, — стал бы втупик. Ну, хоть какой народности?

— Похож на хохла.

— Замечательно! Все в один голос говорят это, а между тем он только жил одно время в К. Родом из Тулы, происхождением деревенский мужик, образования нигде не получил, а между тем читал Куно Фишера, Спенсера и Маркса и обо всем, о чем мы сейчас говорим с вами и еще будем говорить, во всей этой игре ума может легко принять участие на равных правах. Но... пишет плохо, с ошибками, и в конторчики, например, не годится.

— Что за парадоксы?

— Да, и вдобавок, сам мужик, а между тем совершенно не понимает мужика и даже говорить с ним понятно не умеет. Одним словом — тоже парадоксальный эскиз новейшего времени: настоящий представитель бродячей интеллигенции, вышедший из народа, странствующий в пустыне и взыскующий града. Представляете вы эту фигуру?

— Пожалуй, но как же это вышло?

— А вышло просто: родился в деревне, потом ребенком попал в К., где отец приписался в мещане. Потом отец умер, а мальчик попал в сидельцы какой-то мелкой лавочки. Жизнь эта для детей — известно, каторга. Подростком уже сошелся с каким-то студенческим кружком, мечтавшим о слиянии с народом. Они и повели его развитие так быстро, что он стал читать и понимать Спенсера, не успевши выработать почерк. Вы понимаете, что для лавочного сидельца, сохранившего воспоминания о детстве в деревне, теории народного кружка молодежи явились настоящим откровением, вернее — осуществлением мечты. Они, конечно, были уверены, что в его лице навстречу их теориям идет настоящий

«Опыт» человека из народа, а между тем — он-то и был самый мечтательный из всех этих молодых мечтателей... Ну, потом, разумеется, все оказались более или менее причастными к какому-то довольно фантастическому плану обновления, причем я сильно подозреваю, что самый план покоился в значительной степени на опыте «человека из народа». Ну, а затем... мы и встретились в северных городах... Я уже говорил вам, что прожил там недолго, но, право, крепко полюбил этих ребят. Народ горячий и нетерпеливый, но, в сущности, золотые сердца и даже недурные головы. Теперь легко смеяться над всем этим, но ведь они только делали выводы из посылок, признанных тогда всеми... Меня они тоже, кажется, любили, хотя при этом мне приходилось выносить изрядную дозу снисхождения. Решили, в конце концов, что я свободный художник и, как сосланный за темперамент, имею право даже вести дружбу с начальством. А я, при моей склонности к бытовому, без этого не могу. И притом тоже ведь, по-своему, ребята попадались хорошие, а у одного квартального такая оказалась рожа ти-

пичная, что мой этюд обратил в свое время внимание и даже попал в коллекцию к Н. Только я тогда по разным обстоятельствам не подписал своей фамилии и пропустил случай прославиться.

— Но вы...

— Опять уклоняюсь. Да, так вот. Романыч показался мне самым интересным. Читал он страшную массу, можно сказать — ломил через всю эту премудрость, точно медведь сквозь чащу. Многое понимал своеобразно, но, в конце концов, понял все не хуже других, одолел даже до известной степени философскую терминологию. Пробелы, разумеется, остались у него огромные. Ну, да ведь и мы тоже все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Интереснее всего в нем все-таки было это изумительное упрямство. При моей слабости к бытовому я помирился с ним именно на этой черте. Я, признаться, не люблю оборотней, с вылинявшей природной окраской, и часто ловлю себя на некотором инстинктивном нерасположении ко многому «новому». Умом-то, пожалуй, и признаю и содействовать готов, а в сердце — копошится

какое-то сожаление к уходящему с его определившимися, устоявшимся бытовыми формами. Не могу, например, подумать без некоторого щемящего сожаления о том, что скоро на Волге исчезнет последняя коноводка, а когда представлю себе, что и Волгу когда-нибудь схватят в каменные берега, скучно становится... Должно быть — консерватизм художественной натуры. Поэтому некоторое время с Романычем нас разъединяла какая-то взаимная антипатия. Вероятно, я казался ему слишком уж «тонким», а он мне — опустошенным и обезличенным, лишенным всякой непосредственности. Я, верно, чувствовал в нем «ненастоящего» мужика, а он был уже настолько ненастоящий, что его это сердило. Однако скоро я увидел, сколько еще осталось своего, мужицкого, в этом неуклюжем обломе, с такой свежестью непочатого ума и с такой нерастраченною энергией ломившего через дебри науки... А главное, что меня к нему окончательно привязало, это то обстоятельство, что из всех этих фантазеров, мечтавших о полном слиянии с народом, он был самый мечтательный, самый фантастический...

Г-н Алымов задумался. Лица его я не видел, но мне казалось, что на этом лице должна была бродить улыбка.

— Все они или почти все были с сильной трещиной. Это тоже меня к ним привязывало, — эта черта русского интеллигентного человека по преимуществу. Вы понимаете, о чем я говорю?

— Не совсем.

— Кто-то, помнится — Гейне, выразил это очень красиво: мир дал трещину, и эта трещина пришлась мне как раз по сердцу...

— Как видно, — засмеялся я, — специально русскую черту выразил немецкий еврей...

Он тоже засмеялся.

— Правда! Ну, мне все-таки кажется, что мы это чувствуем яснее. Трещина эта отделила нас от нашего народа, а при отсутствии у нас разных закрывающих ее исторических сооружений она зияет как-то разительнее. — Француз, немец, англичанин находит себе все-таки много утешений, ну, наконец, они хорошо строят мосты... А у нас нет всех этих украшений. Трещина сочится и беспокоит, а в молодости особенно. Помните, у того же Гей-



не: «Кто скажет, что у него сердце цельное, — у того дряблое, прозаическое сердчишко...» Ну, вот у них сердца были не дряблые, и они все копошились, как муравьи, чтобы найти путь через трещину к своему народу... Ах, черт возьми, как я их и теперь люблю за эту черту, хотя она стоила мне очень много... Вы не заснули от моей философии?

— Нет, пожалуйста, продолжайте.

— Теперь естественно возникает вопрос, — как быть с трещиной и чем ее заделать... Тогда это казалось близким и возможным. Одни полагали, что он, то есть мужичок, устроит это как-то сам. Он лучше знает. Другие махали рукой — все равно нам, негодьям, пропадать на этом берегу. Третьи, наиболее решительные, прыгали прямо туда, к меньшому брату, но все были согласны, что исцеление именно в меньшем брате... У него все, — у нас одна гибель... Вы были когда-нибудь на Святом озере в Семеновском уезде?

— Не бывал.

— Интересно. Я был. Небольшое такое озерко, глубокое, чистое, как слеза. Крутом холмики, на холмиках деревья, часовенка

стоит старенькая — и над всем витает чудная легенда. Народ уверен, что в озере и кругом озера стоит невидимый город, исчезнувший по молитве старцев перед нечестивыми полчищами Батыя. Два раза в году по лесам и тропам из дальних мест, говорят, даже из Вологды и с Урала, пробираются туда сотни людей, «взыскующих града» в буквальной и в переносной смысле этого слова: чистые сердцем, проведя сутки в посте и жаркой молитве, ложатся на берегу, и на закате солнца начинают для них берега озера зыблиться и колебаться, из глубины слышится звон, а кругом все — и толпа, и холмики, и деревья — все исчезает, и стоит на месте этой призрачной действительности фантастический город Китеж с церквями и монастырями. Я был на озере, видел эту верующую толпу, и среди нее два раза попадались мне фигуры (оба раза это были женщины) с застывшим созерцанием в лица, со счастливыми слезами на глазах! Они — видели, понимаете, видели собственными глазами. Чаще всего, однако, слышал звон и бывал в граде взыскуемом полуслепой и совершенно глухой старец, живший в землянке на самом озе-

ре. Он мне все это рассказывал, во всех подробностях.

— Интересно.

— Еще бы! Любопытно, однако, что град этот построен в чисто историческом стиле: тут вот, говорит, монастыри, тут собор, тут ограда, тут боярские и купеческие хоромы стоят, тут мелкому мастеровому люду жилье, а вот там, говорит, подалее, крестьянские избы построены. А кресты, говорит, все о восьми концах. Великолепно, не правда ли? — спросил г-н Алымов со своим характерным смехом.

— К чему вы это вспомнили, однако?

— Видите ли, — вот, значит, меньшей брат как себе град взыскуемый представляет?

— Ну, это только тот, кто ходит по святым озерам.

— Ну, там как бы то ни было, а и мои приятели представляли себе будущее в этом роде. Может быть, несколько игнорировали бояр и купцов, а все внимание обращали на избы, — это правда. Но зато в пределах деревни — все точь в точь! В той сияющей перспективе, куда они устремляли свои взоры, виделась

именно наша теперешняя деревня: та же улица, только пошире, те же избы, только из хороших бревен, те же крыши, — пожалуй, только тес вместо соломы (эх, и это жалко), ну, и тот же мужик в той же одежде, с той же иконописной бородой и с той же таинственной мудростью. Есть, конечно, и счастливейшие из интеллигентов, но они слились, исчезли, потонули в общей окраске... Правда, среди моих тогдашних приятелей мираж этот уже сильно дрогнул. Знаете, бывает это: день совершенно еще ясен, а уж чувствуется, что на все ровно и незаметно для глаза уже легла какая-то дымка. А там клочок тумана уже ясно осел в воздухе — и пошло нестись и меняться. А этот народ удивительно чуток. Право, очень жаль, что эта полоса жизни у нас оставалась как-то не изученной и не отраженной. Мне иногда кажется, что все эти молодые люди были только птицами буревестниками, отмечавшими своими беспокойными движениями глубокие изменения общественных настроений. Теперь вот мы уже понимаем, что все это мираж, что трещина ушла еще очень далеко в будущее, в какую-то неведомую нам

страну, в которой не осталось ни одной из наших бытовых форм. Это будущее не получит уже ни одного бревнушка из современной деревни и не увидит ни одной черты из теперешней беспортошной таинственной мудрости. Теперь, когда я вижу пиджак в деревне, я говорю себе: вот шаг к будущему. Не смейтесь, это именно так. Ведь теперь у нас даже в среде великороссийского племени по меньшей мере четыре нации, отличающиеся и по языку, отчасти, и по верованиям, значительно сильнее, и по одежде (совершенно)! Ну, а в будущем, конечно, это исчезает, и в конце трещины стоит незнакомец, всего вероятнее, в немецком пиджаке, которого, впрочем, чорт его побери, я никак не могу себе представить вполне ясно и к которому, грешный человек, никакого христианского чувства не питаю.

— Правильно ли это, г-н Алымов?

— Разумеется, неправильно, — захохотал он. — В свое время и с него, вероятно, будут писать этюды. Но что хотите, я люблю свою натуру теперешней: потому что она уже мне выросла в душу. Помните у Лермонтова: «Люблю я родину, но странною любовью... Люблю

дымок спаленной нивы... дрожащие огни убогих деревень». Ведь, в сущности, убожество-то любить, пожалуй, и не похвально. А что станете делать. Когда-нибудь, может быть, их за это и в самом деле не похвалят: им, по их варварским понятиям, скажут, растрепанные крыши нравились лучше железных. Ну, а у меня сердце бьется при виде растрепанной крыши и слепого окна, а на железную крышу и не глядел бы. На этом-то вот мы с Романычем сошлись вплотную. Среди остальных начиналось смятение и споры: субъект в пиджаке и железная крыша уже выступали из тумана будущего и возбуждали значительную тревогу. Многие отступали более или менее спешно, отдавая в жертву незнакомцу — кто общину, кто артель, кто еще разный багаж в этом роде. Были и такие, что уже провидели реабилитацию «кулака», как неизбежного и даже прогрессивного элемента. Только мы с Романычем не сдавались... Однако знаете что? Ведь это я вам начинаю целую историю. Вы, кажется, одеты?

— Да, я и не раздевался.

— Ну, вот что. Если вам не спится и охота,

пойдем на палубу. У меня угар из головы вышел, и мне совестно перед соседом.

Я охотно согласился, и мы вышли.

## VIII

Мы вышли в зал, почти совершенно темный. Одна лампочка освещала скучным светом ближайшие предметы: часть стола с белой скатертью, горку с бутылками, несколько апельсинов в стеклянной вазе. Далее только слабые искорки на гранях стекла обозначали перспективу темного зала, казавшегося как-то фантастически длинным. В конце совершенно черные окна изредка освещались снаружи слабыми вспышками зарниц... Откуда-то из глубины парохода неся стук машины, ровный и глухой, точно биение пульса у спящего... В такт этому стуку жалобно отзывалась какая-то стеклянная подвеска.

— Не хотите ли пройти по нижней палубе? — спросил Алымов. — Вы увидите — это интересно.

Мы спустились по лесенке и открыли дверь на палубу. Она была сильно загружена. Тюки, обшитые рогожами, бунты шкур, издававших неприятный запах, корзины, коробка,

ящички, мебель, коляски... Все это фантастическое собрание разнообразнейших предметов, наваленных в беспорядке и как будто удивленных своим случайным соседством, слабо освещалось кое-где висевшими лампочками. Между тюками, на лавках и на полу лежали пассажиры, женщины с грудными детьми, мужики в овчинных тулупах, несмотря на лето. Густое сопение и храп носились среди полутьмы, примешиваясь к плеску воды и стуку машины.

На одной из лавок, на грязной подушке спал наш знакомый, синюхинский певец. Его некрасивое, злое лицо налилось кровью, губы были искривлены, из горла вырывалось неровное, прерывистое хрипение.

Алымов остановился над спящим с видом холодного любопытства.

— Дедушка душит, — сказал он мне, указывая на синюхинца. — Субъект это, я вам скажу, интереснейший. Кулак, начетчик, признает только старинную книгу, поет только старинную песню, держит в руках всю Синюху и замучил двух жен. Теперь вот на него надел домовой; небольшой старикашка, с длин-



ной бородой и в тулупе навыворот, измельчавшее отродие какого-нибудь грозного божества, которому его предки когда-то приносили умилоостивительные жертвы.

Спящий тяжело перевел дух, сел на лавку и некоторое время безжизненными глазами озирался вокруг. Что-то вроде ужаса изобразилось в них, когда он увидел над собой фигуру Алымова. Впрочем, сон не вполне выпустил его из своих рук; он повел глазами, попытался перекреститься и опять повалился на подушку.

— Пойдемте, — сказал Алымов. — Завтра он припомнит это мгновение, и если у него затоскует утроба, он будет уверен, что мы, два полуночника, приходили нарочно, чтобы его испортить. Знаете, мне вот приходит в голову: что, если бы все сонные грезы, которыми полны теперь эти истомленные мужицкие головы, можно было облечь в видимые формы... Господи боже! Каким удивительным сборищем наполнилось бы пространство между палубой и потолком парохода. Ведь если этот синюхинец живет чувствами Никиты Пустосвята, то вот те — плотовщики, возвра-

цающиеся на свою Унжу или Ветлугу, — прямо вышли из дебрей пятнадцатого века. К ним в лесные тущобы и теперь еще прилетают огненные змии.

Шагая через ноги в лаптях и туловища в посконных рубахах, мы прошли мимо машинного отделения, зиявшего отблесками огней и наполненного диким движением стали. За ним на корме было что-то вроде правильно устроенных в два этажа лавок, где пассажиры разместились с некоторым удобством. У одного из таких отделений Алымов резко остановился. Я увидел здесь обоих его спутников. Суровый человек в шведской куртке спал в углу, прислонясь головой к деревянной стене, в самой неудобной позе. Было видно, что он долго охранял сон прислонившейся к его плечу девушки и заснул сам, не смея пошевелиться.

Алымов постоял несколько мгновений, с некоторой нежностью глядя на успокоившееся лицо девушки, и пошел дальше.

На самой верхней площадке нас обдало тихим ночным ветром. Должно быть, заря была недалеко, по крайней мере на одной стороне

неба, в поредевших облаках, бродили уже слабые просветы. Зато набиравшаяся с вечера громовая туча вся перевалила за Волгу и стояла за Жигулями вся черная, изредка вспыхивая синими зарницами.

Алымов прошелся взад и вперед, вдыхая свежий ночной воздух и разминаясь. Он подошел к рубке и что-то спросил у лоцмана.

— Вон, в конце плеса, — ответил тот. Алымов подошел ко мне.

— Посмотрите, вон Хлопков бутор. Именно здесь моя картина, как я говорил вам, разлетелась вдребезги.

Нос парохода все клонился вправо, и перед нами — черная и грузная — выросла большая гора, между тем как темная туча, лежавшая за нею, казалось, быстро опускалась книзу... Чуткое эхо торопливо отдавало шум паровых колес, но когда мы подошли еще ближе, нам был ясно слышен тревожный шорох деревьев. Над нами висела лысая вершина, с которой открывались оба плеса... К таким именно горам народные Предания любят приурочивать станы волжских атаманов. — Здесь вот жил мой Хлопушка. Видите, вон

чуть заметно вьется трава, лес тут пониже. Я был на вершине. Какие-то ямы еще до сих пор сохранились. Видно, — было тут в старину какое-то становище, или уже после кладоискатели ископали. Очень меня соблазняли для картины «Два брата», но и это местечко тоже хорошо. А главное, подлинность, дух, так сказать, витает. Стою, бывало, на вершине этой и проникаюсь... Ну, когда вернулся опять на Волгу, сейчас, разумеется, к этим местам. Шатался, то пешком, то в легкой лодке, два раза меня меньшей брат, как человека подозрительного, в станovou квартиру представлял... Подлая это тоже черта у меньшого брата, чуть не понял какого-нибудь человека, сейчас волокет к попечительному начальству. Разумеется, тотчас же отпускали с извинениями: «Ах, эти невежи, это они г-на Алымова на веревочке привели. Извините, пожалуйста. Как же, читали в „Листке“...» Ну, во время одного из таких приключений схватил какую-то гадость. Сел на пароход в Ставрополе вечером; думаю, отлично — наутро буду в Морщице, там лодочников найму, подымусь к бугру... А самого знобит, и на душе такая тоска ле-

жит, — туча! Ничего, думаю: вот картину начну, и вся эта светотень опять наладится. Не подозреваю, что уж в душе не то солнце светит, и светотени прежней следа не осталось... Еще там, в северных городах, это началось.

Вот плыву по Волге, ночь такая же точь в точь, темная, густая, томительная. Жигули точно потонули в чернилах. Зарница вспыхнет, осветит мертвым светом ущелья и горы и опять погаснет... Грустно необыкновенно. В душе ползет что-то, тянет, щемит, не дает покоя. Прошое затягивает свою песню, будущее темно, и пустота какая-то в глубине... Ехал тут со мной купец царицынский, дубина ростом в сажень, сила непомерная и столь же непомерная непосредственность. И разразить готов, и обнять согласен, и слезу прольет бог весть о чем, и физиономию ближнему тоже, здорово живешь, испортит. Видит, кручина у человека, — выпьем да выпьем. Попробовал я, — нет, только еще хуже. Ушел на палубу, скрылся от него на самый нос, сижу в темноте. Вдруг будто меня толкнуло. Зарница вспыхнула, смотрю — место знакомое: лысый бугор, тропочка, лодочка внизу стоит. Ну, вот

тут... объясняйте, как хотите... потерянное равновесие, начинавшаяся болезнь, Царицынский купец, бенедиктинский ликер... Только все это я видел, как вот вас вижу... Просто стыдно рассказывать.

— Однако.

— Да что! Вспыхнула одна зарница — вижу, стоит вся моя группа на самой вершине... Те-емная вся, мрачная... Осветило ее и погасло. А пароход так и мчится к горе. Помню, хотел капитану крикнуть, чтобы повернул, а уж гора вплоть над головой, вот как теперь. И там вот, на песочке, вижу, суетится кто-то с лодочкой... Режется лодочка по волнам, еще минута, стоит передо мной, как лист перед травой, атаман и те. «Ну, что ж, говорит, паренек! Пиши, что ли, атамана Хлопушу... Я самый!».

— Что же, — сказал я, смеясь. — Для художника и не нужно лучшего случая. Вы могли разглядеть вашу натуру очень близко.

— То-то вот и есть! Посмотрел я на него и просто плюнул. Харя грубая, сапожки на нем сафьяновые, рубаха шелковая, опоясана по-выше брюха, на голове казацкая шапка набе-

крень, и подковки кудрей из-за шапки лезут. Сила, положим, есть, зарезать готов во всякое время, но мне-то, художнику Алымову, она совсем не сродни... Красота тоже, может быть, есть, — опять не моя... «Ты, говорю, подлец, теперь в Лыскове за стойкой стоишь, да бурлаков сивухой спаиваешь...» И пошел тут у нас диалог. Капитан после рассказывал: «Удивлялись, говорит, с лоцманами. Сидит барин Алымов на корме, лопочет что-то, руками машет». А это я все Хлопушу отчитывал... «Понимаешь ли ты, скверней, что весь ты не стоишь моей художественной поэзии... Ведь меня бы, говорю, за тебя, дурака, во всех газетах превознесли, за границу бы тебя повез... Ведь мой вымысел дороже всей твоей дурацкой ватаги...» А он, подлец, стоит, ухмыляется, и с каждым взглядом на эту несуразную фигуру прежние мои представления улетают одно за другим, как вспугнутые птицы... Дальше уж и не помню. Помню какая-то свалка. Царицынский купец после жаловался: «Я, говорит, его, как доброго человека, в буфет зову, а он меня ка-ак схватит об это место. Звезды из глаз посыпались...» В Самаре прямо в боль-

ницу сдали. Горячка!

— Позвольте, однако, — сказал я. — Все это совершенно понятно. Но каким образом болезненный бред мог помешать вам дописать картину, когда вы выздоровели?

— Бред... — сказал он задумчиво. — Нет, я вот и до сих пор от него не могу отделаться... Вы говорите, когда выздоровел! Ну, и я так же думал. Вернулся домой, растянул большое полотно, осветил, поставил этюды... Думаю, будет уж эскизы собирать, вот у меня все тут: и краски и формы. С этого эскиза — фигура, с этого — другая, а с третьего — светотень. Вот он утес, вот река, вот пароходище... А потом постоял, постоял перед полотном и спрашиваю себя: «Хорошо, друг мой, художник-Алымов. А правда где же? Правда-то, пожалуй, там осталась, в этой ночной галлюцинации... Ведь в самом деле, твои мирские заступники — только стихия... Били, как гром: в дерево, так в дерево, в хижину, так в хижину, в хоромы, так в хоромы. В хоромы чаще, потому что хоромы выше, а случилось — и с мужика шкуру спускали да солью посыпали. Постой, Алымов, надо с этим делом разобраться. Дай



почитаем получше историю». Стал читать, боже мой — какой мрак! Стеньки, эти, Булавины, Пугачевы... Ни малейшего проблеска творческой идеи, стихия — и только... И чем больше изучаю, тем больше вся светотень в душе меняется. Отчаяние меня просто взяло. Подойду к полотну, стану краски класть. Нет, не то... Вы знаете, что значит с этюда картину писать? Ведь это нужно опять все возобновить в душе, нужно, чтобы вся эта гамма опять заиграла. Ну, а для меня уж это конечно, *überwundener Standpunkt* [20], все стало иное. Смотрю на пароход и думаю: а ведь это культура на подлеца — Хлопушу идет. Смотрю на бурлаков — надо же было когда-нибудь прекратить это безобразие. На Хлопушу взгляну — так шельмецу и надо. Не крикнешь теперь «сарынь на кичку!» Одним словом, все по-иному вижу... А по-иному — значит, и начинать надо сызнава... Опять этюды, опять осколки, а зеркало все-таки... разбито!

Мы помолчали... Пароход давно обогнул мыс, и Хлопков бугор затянулся густою мглой. В воздухе заметно светлело.

— Метался я после этого довольно долго.

Бродил по Волге, смотрел и слушал, рисовал и записывал, в архивах рылся... Все хотелось этот образ восстановить. Не Хлопушу, разумеется, чорт с ним. А тот, другой, великий образ, который мы все-таки любили. Нет! Мелькают какие-то черты и тотчас исчезают. А между тем и кругом уже эта тревога становится заметнее: ссора с меньшим братом все разгоралась... Арена пустела, пустела, да так и остается пустой... Иногда мне кажется, что и будет она пустой до тех пор, пока так или иначе мы вновь не определим своих отношений к меньшому брату на каких-нибудь твердых основаниях... Ну, да ведь это еще долго?

Он резко поднялся и стал ходить по палубе, изредка подходя к лоцманам. Он задавал им какие-то вопросы, но порой отходил, не получая ответа. Вообще было видно, что его что-то беспокоит и раздражает. Наконец он опять замурлыкал свою песню:

*В той ли лодочке, как лебедушка...*

Потом сел, опустил голову, надвинул шляпу, и на некоторое время у нас на палубе во-

дворилось полное молчание...

## IX

Сонный капитан вдруг привстал в рубке, и свисток, гулкий и как будто охрипший за ночь, прокатился над Волгой. Назади его лениво повторило эхо Жигулей, но впереди виднелся уже широкий разлив; с одной стороны, освободившийся от гор над низким темным крутояром, стоял звездочкой фонарь на рейке, над пристанью, а другой огонек покачивался вниз, как маятник. Пароход поворачивал к Ставрополю. Впрочем, город от реки далеко, и одинокая пристань ютилась под пустынным обрывом. На берегу стояли две тройки. Поджарые лошади рисовались странными силуэтами на темном еще небе... По мосткам сошли только двое пассажиров. Это был человек в шведской куртке и его спутница, севшие на пароход вместе с Алымовым. Алымов подошел к перилам и крикнул:

— До свиданья, господа.

Оба оглянулись. Человек в шведской куртке кивнул головой, девушка поклонилась приветливо и радушно. Еще через минуту мостки сняли, в темную воду шлепнулась тя-

желая чалка, и пароход отделился от пристани. Скоро самая пристань исчезла в темноте, только некоторое время доносилось треньканье колокольчика. Вдоль берега трусила одинокая тройка...

— Это ваши знакомые? — спросил я у Алымова, задумчиво вглядывавшегося в темноту.

— Да, знакомые, — ответил он. — И тоже имеют к меньшому брату немалые иски. Вы помните деревушку, мимо которой мы прошли ночью?

— Морщиха?

— Да, Морщиха. Он прожил там три года, все стараясь перетащить ее из семнадцатого столетия в двадцатое. Ну, а вот теперь и его картина разлетелась вдребезги. Эту историю я вам теперь рассказывать не стану, поздно. Может быть, когда-нибудь сам опишу ее в «Нском Листке», если пропустит губернская цензура. Да, впрочем, вы легко себе это представите... Одно знаю наверное: в душе у этого человека такая в настоящую минуту вражда к меньшому брату, — просто буря!

— Вольно же, — сказал я, — строить воздушные замки.

Алымов резко повернулся.

— Да, воздушные замки. Правда! Он хотел для начала завести общественную потребительную лавку, а она — школу. И решили, когда эти две ступеньки будущего рая в Жигулях осуществляются, — они устроят и свое гнездо, слившись с морщихинским народом. Смешно? Положим. А почему, позвольте спросить, мне не строить воздушных замков, если я это делаю на собственный счет и страх и из собственного материала? В праве ли кто бы то ни было притти и разрушить мои замки только потому, что я не хожу в баню, как все, по субботам, и жить хочу на свой лад?

— Конечно.

— То-то, конечно! А семнадцатое столетие этого не понимает. Умиляться за это перед ним?

Г-н Алымов был, видимо, не в духе.

Над Волгой занималось утро, мглистое и туманное. Над самой рекой стлался тонкий пар, под которым шевелились волны, белые, как молоко. Несколько уток, испугнутых шумом колес, потянулись низко, оставляя длинный след, как будто они прилипли к воде или

запутались крыльями в туманной паутине. Несколько ворон грузно пронеслись в вышине и исчезли назад, направляясь к оставленным нами Жигулевским горам. Алымов лениво проводил их потускневшими глазами.

Вдруг из-за дальнего облака, сзади, упали первые лучи, расцвечивая туман, и воду, и выступы берега. Казалось, от них пар сразу заколебался, река ожила, и даже шум парохода стал бодрее и сознательнее.

— Как хорошо, — сказал Алымов, потягиваясь, и лицо его опять оживилось улыбкой. — Как хорошо! И что еще нужно? Нет, конечно!

— Что именно?

— Все эти сложные истории... Выселяю из души меньшого брата. Не платит за постой! Что в самом деле, я дворянин и художник... Адвокатуру тоже по боку: в гражданских делах — грязь, да и не смыслю; уголовные — баловство и притом мешают чистоте впечатлений... Полный переворот в жизни. Раскрою глаза и душу навстречу одним нейтральным впечатлениям. Ах, как хорошо! Спокойствие, благодать! Светит солнце, блещет река, горы

в дымке, барочка качается, даль широкая, красивая, свободная, чайка над водой вьется, крылом задевает... И я та же чайка. Летаю себе, без заботы... Вечное, чистое, святое искусство! Художник Алымов раскрывает тебе на встречу свои объятия. Вы, кажется, смеетесь?

— Нет, мне показалось, что смеялись вы.

— Нисколько! Только так и можно что-нибудь сделать. За пейзаж возьмусь, каждый год у передвижников стану выставлять по десятку картин. Они, кажется, тоже от меньшого брата уже избавились. Человек — только украшение природы. Красивое пятно на превосходном фоне. Что мне, наконец, до него за дело? Хорош он, дурен, мудрец, кретин, идиот, подвижник... Ну, и отлично. А солнце-то одинаково на нем свои блики кладет... Вы не согласны?

— Да нет же, сделайте одолжение.

— Да-с! Будет! Исцелиться хочу, уродство из себя выгнать... Песня, давайте мне звуки, положил на ноты, гармонию уловил, — спокоен! Увидел розовый закат, — на полотно! Пожалуйста дальше. Баба на коленях стоит, плачет и молится... Какими мускулами пользуется-

ся для выражения экстаза? Больше ничего знать не хочу! Что там такое с ней, кому молится, о чем, дойдет ли молитва, или не по адресу направлена, может быть, по невежеству к святой Пятнице обращается? Не мое дело! Я художник и столбовой дворянин, Ксенофонт Ильич Алымов. Возвращаюсь в свою среду и отдаюсь свободному влечению художественной натуры. Конец романтизму... Красоту мне нужно и ничего более... Что вы говорите?

— Ничего.

— А думаете?

— Я думаю, что у вас именно это и выйдет тенденциозно...

Алымов резко отвернулся.

— Пора спать, — сказал он сердито.

Сходя вниз, я на мгновение остановился на площадке. Солнце гнало туман, и назади, точно вырезанный, стоял последний из Жигулей, Сторожевой бугор, смело отбежавший от остальной стаи.

Капитан тоже уходил с ночного дежурства и крестился на поднимающееся над Жигулями солнце.



Поднявшись часа через три, я не увидел Алымова в каюте. Оказалось, что он, бледный, с застывшим лицом, сидел на верхней площадке со своим походным ящиком. Перед ним на боковом мостике, в мундире с медными пуговицами, в фуражке с галунами, в ослепительно белой манишке и с рупором в руке стоял капитан, позировавший для обещанного портрета. На его полном, лоснящемся лице застыло выражение торжественной неподвижности. В будке дежурил молодой помощник. Лоцмана не глядели на своего начальника и, повидимому, молчаливо порицали его тщеславие.

Через некоторое время лицо капитана побагровело, в глазах проглядывало характерное выражение мучительной неподвижности.

Алымов спокойно взглядывал на него, брал с палитры краску, и лицо на его полотне тоже багровело. Потом он пробежал по всему полю картины, и на ней то вспыхивали пуговицы, то проступала складка, то начинал сверкать золоченый рупор. Затем тяжелый взгляд Алымова опять останавливался на ли-

це бедной жертвы, которое к этому времени багровело еще больше. Сходство было поразительное, — но казалось, что еще немного, и с моделью случится удар.

— Вы, кажется, начинаете осуществлять свою вчерашнюю программу, — сказал я, улыбнувшись.

Алымов очнулся и застыдился.

— Благодарю вас, Степан Евстигнеевич, — сказал он, — дома я dokonчу и пришлю вам.

— Можно взглянуть? — радостно спросил освобожденный капитан.

— Нет, после, — ответил Алымов, укладывая этюд в ящик и уходя вниз. Через несколько минут из люка показалась ночная незнакомка, а за нею, с оживленной улыбкой, с какой-то шуткой, только что сорвавшейся с губ, опять вышел Алымов. Он держал себя как старый знакомый, только возобновляющий давнюю фамильярность. Дама принимала это с той свободой, какая дается пароходными условиями среди встречных людей, до которых нет дела.

Между ними завязывалась какая-то искрящаяся перестрелка, и «эскиз мимолетной

любви» набрасывался, повидимому, бойкими, уверенными штрихами.

Впереди показался караван барок. Высокие, стройные, вытянувшиеся в линию мачты покачивались в синем небе, барки быстро сплывали навстречу.

— Это караван Чернобаева? — спросил Алымов у капитана.

— Его.

— Крикните, пожалуйста, лодку.

— Уходите?

— Да. Мне тут нужно Селиверстова, водолива.

Пароход задержали, вызвали лодку, и через несколько минут светлая шляпа Алымова виднелась на барке, а матросы подавали ему его ящички. Вскоре барки скрылись из виду, увозя моего беспокойного соседа.

— Что за странный человек! — говорила красивая дама, прохаживаясь теперь под руку со стройным седым господином в судейской форме.

— Да, странный. Адвокат и художник.

— Хороший?

— Как вам сказать? Мы, прокуроры, его бо-

имся. В нем есть какая-то особенная непосредственность, действующая на присяжных. Впрочем, в нашем мире он считается дилетантом. Его картин я не видел, но они пользуются некоторой известностью. Его портреты иногда, говорят, превосходны.

В рубке тоже говорили об Алымове.

— Всегда так — появится нивесть откуда и вдруг пропадет, — сказал молодой помощник.

— Какого только народу нет у белого царя, — прибавил с своей стороны лоцман, но тотчас же оба насторожились.

За поворотом мы увидели неожиданно вчерашнего соперника — «Коршуна». В Ставрополь он пришел раньше, но там, видимо, перегрузился и теперь шел тяжело, точно под ним была не вода, а патока.

— Ишь, насосался, — радостно сказал помощник и, нагнувшись к трубе, скомандовал:

— Прибавь!

«Стрела» дрогнула. Опять начиналась вчерашняя гонка, и все, что я видел и слышал ночью, казалось мне теперь странным сном.

## XI

Прошло несколько лет. Мне часто прихо-

дилось вспоминать господина Алымова, так как то, что он называл «ссорой с меньшим братом», продолжалось. Прошел «голодный год» с беспримерными толками о коварстве и развращении народа. Прошла холера с дикими стихийными вспышками — и доставила старшему брату, поспешившему с помощью и страданием, еще несколько весьма основательных поводов для «иска» к младшему... «Областная полуизвестность Алымова», как ее называл он сам, за это время все росла. У передвижников он выставлялся, положим, редко, но говорили, что адвокатуру бросил. Затем его имя то и дело появлялось на страницах газет, — и с этим именем связывалось представление о человеке беспокойном и беспокоящем. Наконец судьба опять столкнула меня с ним — и опять случайно.

Сильные дожди задержали меня к ночи на одной из волжских пристаней. Мне нужно было на станцию железной дороги, но говорили, что ливнями снесло мосты и размыло проселки. Пришлось поневоле ночевать.

Вечер был теплый, и хотя дождь, не переставая, поливал темную реку, барабанил по

крыше, но на пристани окна были открыты. В одно из них несся густой гул голосов. Там была компания, возвращавшаяся со съезда, и разговор шел об одном громком деле, сильно занимавшем общественное мнение, Повидимому, все были согласны, оппонировал только один голос, что-то мне смутно напоминавший.

— Вспомните холеру! — кричали одни.

— Вспомните убийство колдунов!

— Знаем мы вашего меньшого брата.

— Бросьте, господа, давайте в карты!

Хлопнула дверь, кто-то вышел из общей каюты и прошел несколько раз мимо моего окна, под навесом пристани, а затем уселся на скамье, вероятно, любуясь величавой картиной дождя на широкой темной реке. Через некоторое время из темноты до меня донесся знакомый мотив. Мне сразу вспомнилась «Стрела» и ночь в Жигулях.

— Ксенофонт Ильич, — окликнул я, высываясь в окно. Он вздрогнул и поднялся.

— Почему вы меня узнали? Я вас не могу узнать в темноте, — спросил он.

— По вашей песне.

— А! не правда ли чудесная песня! Жемчужина, — говорил он, входя в комнату. — И главное, кажется, подлинная: еще в двадцатых годах пели балахнинские солевары. А, вот это кто! Помню, помню. «Стрела», Жигули, капитан Евстигнеев и ночной разговор?

Он весело засмеялся знакомым мне смехом.

— Вы опять о чем-то спорили?

— А все об этом известном деле... Чорт знает, как легко верят теперь всякой нелепости, если она касается мужика. В прежние времена вся печать поднялась бы на защиту... А теперь!.. Мы забываем даже о простой юридической справедливости. А вот собирались написать картины.

— Да, кстати, как ваши картины?

— Теперь — напишу, непременно. Вот только с этим проклятым процессом разделюсь... Вот вы увидите, вот увидите. Однако постойте, кажется, пароход...

Действительно, по темной реке надвигалась на пристань кучка огней, и гулкий свист огласил воздух.

— Напишу, непременно, — кричал мне

Алымов через пять минут, махая шляпой с галереи отвалившего парохода. — Вот только с этим делом... Такая картина, я вам скажу!..

Пароход тихо отвалил от пристани.

*1896*



# Смиренные

## (Деревенский пейзаж)

### I

Верстах в тридцати от большого губернского города N есть станция Чернолесье, любимое дачное место губернских жителей, над Окой. Несколько поездов соединяют его с городом, что позволяет даже сильно занятым людям приезжать сюда по окончании занятий, чтобы провести вечер с семьей, погулять при луне, полюбоваться горами отдаленного берега и причудливыми излучинами реки, а наутро, к началу службы, поспевать опять в N-ск. К приходу каждого поезда на дебаркадер скромного вокзала собирается самая изящная публика, пестрят дамские костюмы, вызывают восторг и зависть шляпки последнего фасона, у стволов ближней рощи дожидается всегда несколько прислоненных к деревьям велосипедов, и почта каждый день выбрасывает здесь целые кипы газет.

Одним словом, место совсем культурное, напоминающее дачные места где-нибудь под Петербургом или Москвой.

Но если вы захотите нанять, копеек за сорок, одну из таратаек, тесно запружающих небольшой дворик вокзала, то она доставит вас, так сказать, «в глубь страны». Это будет прежде всего Раскатово, приютившееся в том месте, где река, стесненная горами, делает крутой поворот. Раскатово уже значительно отзывается деревней. Из дачников здесь устраивается публика попроще, желающая хоть на лето избавиться от конкуренции костюмов и шляпок и поэтому установившая свои собственные летние законы: барышни гуляют здесь без зонтиков, в белых платочках на голове и часто босые и купаются прямо с берега, вступая иногда в препирательства с деревенскими мальчишками, не признающими демаркационной полосы. Раскатовцы в большинстве «волгарят», то есть ходят летом в лоцманах, водоливах, помощниках капитанов или даже капитанами на буксирных пароходах... Когда, в праздник, здесь заведут песни и хороводы, то вы можете порой увидеть местного кавалера, в пиджаке и шляпе котелком, в глянцевитых новеньких калошах, надетых на сапоги бураками, — а вокруг

него девицы в шелковых кофтах и с зонтиками чинно ходят с песней и величанием.

Одним словом, и здесь еще не мало культуры, хотя некоторая часть раскатовцев сеют и пашут, снимая для этого землю «волгарей». Но если, пройдя по широкой улице Раскатова, вы выйдете за околицу в противоположной стороне, то увидите поля с колыхающейся рожью, перелески и кусты, потом сосновый лесок по песчаным буграм, а за ним — сплошные нивы, покорно сгибающиеся под ветром. Среди этих нив, над широким прудом, засела деревенька Колотилово, с коренным пахарем, «крестьянином», как его зовут раскатовцы, нанимающие его на свои покосы. Себя, в отличие от пахарей, они называют «хозяевами» и «жителями».

## II

В Раскатове проводил лето Иван Семенович Бухвостов, сотрудник одной местной и корреспондент нескольких столичных газет. Он удалился сюда еще в первый раз, по требованию докторов, так как начинало пошаливать сердце. Человек он был городской по всем привычкам и вкусам, и деревня, даже

такая, дачная, была для него новостью. Пока эта вся новизна была ему интересна, но особенно интересовали его «дали», с которыми он не успел ознакомиться: убогие избы Колотилова за околицей и перелесками... а за рекой, на высоком берегу, среди беспорядочной зелени заманчиво выглядывавшие постройки почти запустелого монастыря. По праздникам оттуда доносился, впрочем, надтреснутый звон, а на перевозе можно было видеть простодушных и не всегда трезвых монахов. И Бухвостову казалось, что все это, — и околица, и перелески, и белые пятна монастырских зданий, и перевоз, нагруженный телегами и мужиками, и монахи в потертых рясах, от которых одновременно несло ладаном и сивухой, — все проникнуто каким-то одним общим выражением... И это выражение было ново, загадочно и интересно. Хотелось разгадать его, как иногда хочется понять физиономию встреченного на большой дороге оригинального человека.

Лето стояло ведреное и знойное. Однажды, в самый полдень жаркого июльского дня, Иван Семенович сидел на скамейке у своей

дачки, как вдруг над сосновым лесом в направлении деревни Колотилова показалась струя дыма. Она поднялась как-то внезапно. Иван Семенович не успел еще отдать себе ясного отчета в ее значении, как огромный столб уже вился, и клубился, казалось, совсем близко, вплоть за лесом, поднимаясь все выше и выше в раскаленной синеве неба и как будто заглядывая из-за леса в тихую улицу Раскатова.

Мирная деревенька закопошилась: вытащили из-под навеса пожарную «машину», мальчишки понеслись на выгон за пожарными лошадьми, какой-то бутуз бежал и падал, путаясь в хомуте и вожжах... Предполагалось, что пожар в Колотилове, а по некоторой междудеревенской конвенции у Раскатова с Колотиловым существовала, так сказать, пожарная взаимность. Минут через двадцать пожарная тройка уже лихо катила по дороге, обгоняя торопившихся баб. День был праздничный, нерабочий, бабы и девки разбрелись по осиннику за ягодами и грибами, и теперь зловецкий столб выгонял их всех на дорогу. Они бежали, спотыкались, причитали и кре-

стились, не зная еще, точно ли над ними разразилась беда, или господь «посетил» кого-нибудь из соседей;

Бухвостов тоже, разумеется, востро почувствовал: нужно было посмотреть деревенский пожар и, может быть, сообщить о нем в газету; да и вообще людям с пошаливающими сердцами не сидится, когда невдалеке происшествие. Он попытался было пристроиться к «машине», но она ускочила раньше, чем он добежал до нее. К счастью, в это самое время с вокзала вернулся Гаврил Пименович, хозяин его дачи, не успевший распредить лошадей, когда произошла тревога, — и через несколько минут оба трусили по дороге вслед за машиной.

Однако по мере того, как тележка подвигалась к Колотилову, столб точно удалялся. Когда же они въехали в околицу, которую открыла для них целая стая деревенских ребят, то уже не было сомнения, что в Колотилове все благополучно. В деревне было тихо и пусто, а темный столб все так же медленно, молчаливо и зловеще клубился впереди, над зубчатой линией, как будто приникшего к земле и побледневшего бора... Колокольцы рас-

катовской машины тренькали уже под самым лесом, но как-то нерешительно и вяло. Очевидно, машина была уже у пределов пожарной взаимности и помышляла о возвращении...

Улицы Колотилова будто вымело. Только из ближайшей избы, высунувшись в окно, глядела по направлению к пожару молодая баба, прикрыв глаза ладонью от солнца. Когда тележка поровнялась с нею, замедляя ход тяжеловатой лошади, Ивана Семеновича поразили странные звуки, несшиеся в открытое окно: какое-то ворчание, дикий рев, звериный вой, обрывки песни, грязные ругательства, и все это в сопровождении металлического лязгания, как будто от цепи... Казалось, за этой бревенчатой стеной кто-то доходил до последней степени иступления, неистовствовал и рвался, лязгая железом... А между тем баба совершенно спокойно глядела на далекий пожар, как будто у нее за спиной не происходило ничего, заслуживающего внимания.

— Что это такое? — спросил Бухвостов у Гаврил Пименовича, еще не отдавая себе, яс-

ного отчета, почему эта волна непонятных звуков прошла по нем такой острой дрожью... Мужик боязливо оглянулся и хлестнул лошаденку, торопясь поскорее проехать мимо.

— Гараська это... Не дай бог, сорвется еще. Видно, пожар зачуял... Помилуй, господи, как ежели сорвется.

— Кто сорвется, откуда?

— Да Гараська. Кому более! На чепи ведь он у них, Герасим-те.

Отъехав несколько сажений, он, видимо, успокоился и, вытянув лошаденку кнутом по заду, пояснил:

— На чепи, как же! Потому что, видите ли, он, Герасим то есть, не в себе, не в формальным, значит, рассудке.

И опять отъехав несколько сажений, он прибавил уже совсем спокойно, как о теме, исчерпанной до конца:

— Лет, никак, уже десять...



Темная полоса дыма, тихо клубившаяся за лесом, вдруг потеряла для Бухвостова прежний интерес и перестала казаться такой зловещей и значительной. Что значит пожар ка-



кой-нибудь избы, да еще среди белого дня и летом, когда вот тут, в нескольких саженьях, в такой же деревенской избе много лет мечется на цепи живой человек, — и никому это не кажется странным... И никто не спешит на помощь, и баба, прикрывая рукой глаза от солнца, с ленивым любопытством следит за дальним пожаром и за фигурой случайного проезжего, даже не оборачиваясь на беснование прикованного человека. Сердце у него забилось тем особенным тревожным боем, который звал на немедленное вмешательство: выскочить из телеги, кого-то позвать, на кого-то накинуться, кого-то непременно обвинить и сразу, сию минуту, немедленно прекратить этот ужас...

Он протянул руку и тронул Гаврил Пименовича за плечо. Лошаденка перестала месить пыль, а старик повернул к нему свои густые нависшие брови, из-под которых вопросительно и недовольно глянули маленькие колющие глаза...

— Что такое? — спросил он.

Спокойная улица Колотилова, казалось, тоже спрашивала у Бухвостова: «Что такое?» и

уже одним своим буднично-равнодушным видом производила на газетчика отрезвляющее впечатление... Кого он позовет и на кого накинется со своей новостью? Перед ним, в непосредственной близости, была спина раскатыльца, запыленная, с пропотевшими пятнами на лопатках... Далее мотался в пыли круп лошади, по сторонам в два порядка стояли новые бревенчатые избы (Колотилово недавно горело); между ними — бледные кудрявые ветлы и солидные темные осокори. Сзади в окне женщина провожала его равнодушным взглядом, и в промежутке между домами и ивами, с холмика, на котором лежало Колотилово, виднелись ржаные поля, покорно склонившиеся под ветром...

Сердце у Бухвостова продолжало тревожно биться и звало на что-то, но обычные рефлексы во все вмешивающегося человека были как будто парализованы... Бухвостов с недоумением оглянулся, точно растерявшись и утратив какую-то руководящую нить к собственным ощущениям... И ему показалось, что на него глядит то самое, загадочное и за-таенное, что он старался уловить в выраже-

нии всего этого пейзажа... Глядит, и под этим взглядом точно цепенеют его привычные чувства.

Между тем треньканье колокольцов становилось сильнее... Это раскатовцы возвращались из лесу с пожарной машиной на своей тройке, со звоном своих колокольцов и бубенцов. Скоро знойный воздух весь переполнился этими суетливыми и крикливыми звуками до такой степени, что Бухвостову хотелось заткнуть уши, а деревенька, казалось, еще смиреннее приникла к земле. Машина бойко промчалась по улицам Колотилова, и хозяин Бухвостова тоже стал повертывать свою лошадь.

— В Гнилицах горит, не иначе, — сказал он, — верст будет еще с десятков. Это из-за лесу кажет так, что близко... А оно, видишь ты, далеко!

Бухвостов не ответил, как будто не слыша в тоне Гаврил Пименовича нерешительного полувопроса. Он, пожалуй, непрочь был бы доставить барина и в Гнилицы, разумеется, за приличное вознаграждение. Но Бухвостов молча глядел на окно, в котором все еще вид-

нелась женская фигура. Машина как раз поровнялась с этой избой. Дюжий парень из раскатовцев, правивший тройкой, повернул к ней потное, лоснившееся лицо и кинул какую-то шутку («непременно сальность», — подумал, пожимаясь, Бухвостов). Баба засмеялась. Она была красивая, по-деревенски — «гладкая», но Бухвостову было неприятно видеть, как на ее крепкозагорелом лице сверкнули белые зубы... А когда грохот и звон машины несколько удалился, на Бухвостова опять хлынула волна прежних звуков: лязгание цепи, вой, хохот и выкрикивание прикованного человека. Спина Гаврил Пименовича опять сжалась, и он поднял кнут с очевидным желанием нахлестать лошадь.

— Постой, — сказал вдруг седок, останавливая его руку.

— Что еще?

— Подожди здесь.

Бухвостов и не заметил, что говорит Гаврил Пименовичу «ты», чего, вообще говоря, не позволял себе ранее ни с кем. В голосе его, кроме того, звучала какая-то чуждая, почти начальственная нота... От раздражающего ли

звона колоколов, или от чего другого, только настроение Бухвостова резко изменилось: гипнотизирующее влияние смиренного «порядка» и волнующихся нив исчезло, он опять как будто нашел руководящую нить в своих ощущениях. И прежде всего очень рассердился...

На кого? На Гаврил Пименовича, не сразу остановившего лошадь, на глупого парня, с его лоснящимся лицом и, наверное, сальной остротой, на бабу, которая неприятно и вызывающе улыбалась парню на фоне этого ужаса, на тихую улицу, которая целые годы слушает вопли и скрежет прикованного человека... Ему казалось вообще, что он нашел или сейчас найдет виноватых и, значит, даст исход томительному и гнетущему ощущению, болевшему в душе и заставлявшему биться сердце.

Спрыгнув с телеги, он быстро обошел стену избы, вошел во двор и поднялся на лестницу. С улицы его провожал удивленный взор раскатовца.

Если бы Бухвостову пришлось сейчас же описывать для газеты то, что он увидел, то

описание вышло бы очень неточно. С первой же минуты, как он вошел, что-то как будто ограничило поле его зрения, и в памяти сохранился только мутный фон с обычной обстановкой избы, режущий свет из окна и безумное лицо мужика с диким и точно насмешливым взглядом. Бухвостову казалось, что безумец протягивал руки ему навстречу. Впрочем, он заметил, что кроме цепи, охватившей прикованного человека в поясе, руки за спиной стянуты веревкой, так что могли двигаться только в локтях. Он глядел на Бухвостова острым, ироническим и пронзительным взглядом, в котором светилась злая радость и какое-то особенное, свое сознание, гордое, страдающее и торжествующее: казалось, сумасшедший ждал его давно, целые годы, и теперь знает, зачем он пришел и... что с ним нужно сделать... И то, что он сделает, будет ужасно...

— Не подходи, господин, — испуганно крикнула баба, повернувшись от окна, быстро соскакивая со скамьи... Сумасшедший, с отвратительным рычаньем и лязгом цепи кинулся к ней, но она ловко увернулась и опять

засмеялась...

Больной вдруг остановился, посмотрел на нее и на Бухвостова, сделал циничное предложение и опять забился на цепи, весь напрягась, с искаженным лицом и выпученными глазами...

В это время вошла другая женщина с охапкой дров. Бухвостов дал ей дорогу, точно оба расходились на краю пропасти. Один неосторожный шаг, и сумасшедший мог схватить ее за руку, за складку платья... Женщина бросила дрова у печки и выпрямилась.

Бухвостов понял сразу, что эта высокая, статная старуха — мать больного. И тут же он заметил, что на безумном надета чистая рубашка, волосы расчесаны и даже смочены квасом (день был праздничный).

— Давно это у вас? — спросил Бухвостов, опять почувствовавший растерянность и чтобы сказать что-нибудь.

— Десятый год маемся эдак... На Миколу зимнего будет десять.

Она говорила просто и спокойно.

В глазах, окруженных сетью морщинок, но живых и выразительных, виднелось то глубо-

кое и спокойное, давнее и давно побежденное страдание, какое бывает уделом только сильных душ. Бухвостов внезапно почувствовал к ней уважение, и в то же время весь его гнев обратился на него самого.

«О, ч-чорт... — подумал он с приливом этой злобы. — Ворвался в чужой дом, неизвестно зачем... Как будто из простого любопытства... Точно, в самом деле, в деревне все можно...»

— Извините, — сказал он и, резко повернувшись, вышел из избы с крепко сжатыми губами и морщиной на лбу. Его проводили удивленные взгляды женщин и резкий хохот сумасшедшего. Он бился особенно сильно, и дробный, порывистый лязг железа точно гнался за Бухвостовым...

А на улице его опять встретил тот же особенный «взгляд пейзажа», пристальный, затененный и загадочный... Он провожал его до дому и потом продолжал заглядывать в его окна сверху, через верхушки леса — беленькой часоуенкой с заокской горы...

#### IV

Вечер после того дня был чудесный. Ущербленная луна стояла задумчивая над об-



резом соснового бора, кинувшего с холма густую черную тень на половину раскатовской улицы. Очертания домов терялись на темном фоне леса, и лишь кое-где смутную темную массу пронизывали освещенные оконца... Лунный свет пересыпал все тонкой золотой пылью, скрадывавшей все резкие очертания, и в этой смеси робкого света и черных теней утопала деревенская улица и ряд летних досчатых кухонек, тянувшихся «для опасности от пожара» по самой ее середине, и кучки раскатовских обывателей, сидевших на скамейках у домов. И даже самые разговоры, журчавшие под покровом этого теплого золотистого сумрака, казалось, как-то расплывались и ступшеывались. Чувались где-то и говор и движение, но где именно движутся и что именно говорят, — разбирать не хотелось...

Бухвостов сидел на бревне у своей дачи... Невдалеке от него поместились тоже на бревнах несколько раскатовских жителей, которые вели здесь свои раскатовские разговоры. Перед мужиками, не смея присесть в ряд с «хозяевами», стояли две женские фигуры в темных сарафанах. На Раскатове, как на боль-

шинстве приволжских сел, лежит печать старинного уклада. Баба берет свое в моленной и в доме; но на улице — обе женщины стояли, подперев щеки руками, точно изваяния, облитые скользким и неопределенным лунным светом, и ни словом не вмешивались в беседу... Впрочем, даже в самом молчании чувствовался глухой бабий протест против каких-то мужицких речей и предполагаемых или уже состоявшихся мужицких решений.

Бухвостов тоже с нетерпением и досадой ждал конца этих разговоров. «О, чорт», — то и дело ворчал он про себя. Он собирался «хорошенько поговорить с господами раскатовскими мирянами».

Злостью раскатовского дня служил покос и расчеты по сенному делу, еще недавно очень интересовавшие Бухвостова. Обыкновенно раскатовские луга за Окой сдавались своим же «крестьянам», которые еще не бросили землю «для реки». Они частью косили сами, частью нанимали косцов «из числа золотой роты». Золотая рота портила луга неряшливой и поздней косьбой, и на этот раз «хозяева» наняли сами настоящих косцов из сосед-

них деревень. Это обстоятельство вызывало необходимость новых сложных расчетов. Рабочих в лугах кормили «по череду»... Иван Максимов дал «своих» три рубля на задаток, Максим Иванов покупал в городе две косы да брусок. Все это теперь клалось на счета, развёрстывалось по известному деревенскому «равнению».

Пока дачники и дачницы гуляли, купались и играли в крокет, коренное Раскатово, казалось, превратилось в одну огромную счетную машину, тупо, с скрипом и со всякими задержками подвигавшую к концу процесс «расчета». Два умные мужика, оба служившие не раз старостами и судьями, по целым часам, сидя на скамейке около единственной местной лавочки, прозванной дачниками «Мюр и Мерилизом» за свою универсальность, — щелкали счетами и выписывали каждому хозяину его расчет на особой бумажке. Получив листки, «хозяева» тотчас же уходили с ними в дома и там обмозговывали их совместно с бабами. Потом они возвращались опять к счетоводам, тыкали, в бумажки заскорузлыми пальцами и предъявляли свои воз-

ражения. Счетная машина скрипела, и порой, вместо цифр, из нее вылетали совершенно неожиданные сюрпризы, не исключая даже упоминования родителей.

Так это дело тянулось уже несколько дней. Сегодня расчеты кончались. Все более или менее поняли главное, более или менее подчинились «миру», более или менее считали себя обиженными или прикидывались таковыми в мелочах.

В этот вечер только еще один старичок с резким протестующим голосом все бултыхался среди общего спокойствия, не признавая себя побежденным и убежденным. А так как сегодня он как раз был караульщиком, то среди тишины спокойного вечера то и дело, то в одном, то в другом месте длинной улицы, вслед за стуканьем колотушки закипали громкие споры.

— Да пойми ты, наконец, садовая голова!..

— Чего понимать? Мы и то понимаем, небось... Вы-то понимаете ли?

— Да ведь он своих два с полтиной давал!

— Ну, дал... Мы, значит, не спорим, что не дал. А трешница-то отколь влетела?

— Опять двадцать пять! Тебе было говорёно.

— Затвердила сорока Якова одно про всякова...

Старику отвечали лениво и неохотно: мнение «мира» сложилось, и на единственного спорщика махнули рукой. Поэтому он отчаянно загрохотал колотушкой и понес свой протест вдоль порядка на другой конец деревни.

Как только строптивный старик окончательно удалился, Бухвостов подвинулся к сидевшим на бревне раскатовцам и сказал:

— Кончили, господа?

— Кончили, слава-те господи, Иван Семеныч...

— Вчистую. Разделились до остатнего.

— Можно теперь о другом поговорить?

— Поговори, Иван Семеныч, ничего, — сказал Савелий Иванов, один из счетчиков, — мужик спокойный, уважающий себя и умный.

— Мы рады, — прибавил Гаврил Пименович, — умный человек слово скажет — нам, дуракам, польза... Вот только, — прибавил он полузаискивающе, полушутливо, — чертыха-

етесь вы... Это мы не любим...

— Ну, так скажите мне, господа жители, — не обратив внимания на слова своего хрзяина, сказал Бухвостов, — зачем это у вас человек на цепи сидит?

— На чеши? — Переспросил Савелий Иванович. — Кто у нас на чеши, братцы? Кажись, такого не бывало...

— Как можно, что он на чеши?

— Что вы это, Иван Семеныч, — укоризненно прибавил Савелий Иванов, — еще не дай бог, в газету напишете. Острамите нашу местность.

— А! это вот что, братцы, — торопливо смекнул Гаврил Пименович, — это он, значит, про колотиловского Гараську...

— А! вот об ком! — засмеялся Савелий. — Так это в Колотилове. То-то я думаю: кто бы у нас на чеши... Будто никого нету...

— Так это же он не в себе...

— Не в полном разуме.

Бухвостов и не заметил, что он ставит в вину Раскатову то, что происходит в Колотилове. Как городскому жителю, деревня представлялась ему чем-то одним, общемуужиц-

ким. Но для раскатовцев колотиловский Гараська был чужой... Их внимание лениво отрывалось от только что законченных «своих» дел...

— Да он теперь разве опять на чепах? — спросил кто-то, позевывая.

— Прежде ходил будто. Только разве когда заблажит.

— Эва! ходил! Когда это было — еще до холеры! — сказал Савелий Иваныч.

Савелий бывал в волостных судьях и знал, что делается в волости.

— Да, годов восемь, гляди!

— Спыхватился! — засмеялся Гаврил Пименович.

— Этакой же Чамра был еще в Гнилицах, — прибавил Савелий Иваныч, — да в Ивановке Федотка.

— Мало ли...

— Отчего в больницу не отправляете? — желчно спросил Бухвостов.

— А кто платить за него станет? — спросил чей-то голос задорно.

— Первое дело — насчет платежу, — спокойно и с обычной разумной деловитостью

пояснил Савелий. — А второе дело... Да вон, кажись, Григорий Семеныч дорогой едет. Он это все может объяснить в точности. Сам колотилковский... Григорий Семеныч, ты это?..

— Я! — ответил мужик с воза. Оставив смиренную лошадь на середине широкой улицы, он подошел к бревнам и поклонился.

— Мир беседе... Надо что, аль так окликнули?

Бухвостов узнал его. Это был мясник, каждое утро объезжавший раскатовские дачи, — мужик солидный, державшийся с большим достоинством по отношению к господам и вследствие своей торговой практики выработавший себе особенный, не совсем мужицкий язык.

— Вот господин антиресуетя насчет Герасима, — сказал Савелий, как показалось Бухвостову, с оттенком легкой насмешки.

Григорий Семеныч повернулся и, взглядевшись в Бухвостова, протянул ему руку:

— Что же именно может быть? Какой антирес?.. Не в своем разуме человек, или сказать: одержимый. Больше ничего...

— Да, вот говорят: как можете вы, колоти-



ловские, на цепи человека держать?..

В голосе Савелия Ивановича насмешка пробилась яснее.

— В газету они напишут, — так, мол, как бы и нам, раскатовским, за вас не влетело...

— Насчет этого я вам могу ответ дать, потому что это дело мне известно. А насчет уголовной, например, ответственности или штрафа, то на этот счет не имеем беспокойства, потому что посадили его неисходно, без отпуска, по приказанию начальства. Как, значит, находит на него по внезапности и невозможно упредить...

— Значит, сейчас и на цепь? На всю жизнь? «Потому что находит по внезапности»... — желчно спросил Бухвостов. Его несколько раздражал насмешливый тон Савелия Ивановича, и, кроме того, ему показалось, что в лице колотивца-мясника он нашел ответчика.

— Зачем сейчас? Терпели не малое время. Меня самого, как я старостой ходил, разов, как-сам сказать... да разов с пять так колошматил, что не чаял я своей жизни сохранить. Грезиться мне по ночам стал, право.

Среди раскатовцев на бревне раздался благодушный смех, еще более раздраживший Бухвостова.

— Пригрезится как раз...

— Ежели, говоришь, колачивал, как не пригрезиться.

— Да как же! Потом на людей стал бесперечь кидаться. На перевозе было дудинского мужика чурбаком ушиб. Ну, все это мы, значит, терпели...

— Что поделаешь?

— Ничего не поделаешь, конечно. Он ведь тоже не повинен тому делу. Сколько раз миром толковали. Мол, он на малых детей не кидается, все только на больших. Ну, большой-то как уж нибудь постоит сам за себя, не подастся... Потерпим... А уж это после, значит, он непорядок сделал: к церкви верхом на чурбаке прикатил, да к самому крестному ходу. Народ за иконами идет, а он давай попа пугать скверно, да песни похабные запел. А на тот случай в церкви становой. «Вы бы, говорит, как-нибудь... Чтобы этого безобразия больше не было...» Ну, и посадили. Миром и ковать довелось...

— Миром? — язвительно переспросил Бухвостов.

— Да, дело такое, сами понимаете, кому охота! Ну, миром-то оно складнее... Этак вот на пояс обруч железный набили, кузнец сковал, потом, значит, за кольцо, да чепью к стене... На грех он в ту пору опамятовался, значит, отошло от него... Плачет, не дается, бабы за ним... Ну, что делать станешь... Заковали. Так, с этих мест и живет неисходно... Когда, бывало, оклемается — и опять ничего: сидит, работает, сапоги тачает. Даже еще хозяин в дому. Ну, только теперь редко... Так и не расковываем...

— Уж и хлыщут же его бабы-те... Бат-тюшки светы! — сказал новый голос, с конца бревна.

Это говорил рыжий портной, человек в Раскатове пришлый. Родом он был из Владимирской губернии, жывал во многих местах, много шатался по свету и, наконец, попав в Раскатово, женился здесь и остался. Но чувствовал себя здесь все-таки чужим и о раскатовских явлениях судил объективно, как бы со стороны. Бухвостову казалось, что этот ры-

жий пришелец, высокий, худой и желчный, сочувствует его обличительному настроению.

— Страсть как колотят... Жена с матерью возьмут по веревке, да с обеих сторон давай хлыстать... А он на чепи-то вертится, ничего не может сделать...

Бухвостов вздрогнул. Ему вспомнилась высокая старуха с печально-спокойными глазами... Рассказ на всех тоже произвел впечатление.

— Да уж им попадись, подлым, — сказал кто-то...

— Они рады над мужиком сердце-то отвести.

— Эх, сорвался бы хоть раз, да хар-рошенько бы...

Но тут внезапно ожили два изваяния в темных сарафанах, стоявшие, как было сказано, недалеко и до сих пор не принимавшие участия в общем разговоре. Видно, однако, и в них тоже накипало, и когда разговор коснулся бабьего дела, изваяния вдруг заговорили.

— Бабы, вишь, виноваты! — сказала одна, слегка отворачиваясь и как будто выражая желание уйти, чтобы не слушать глупых и

несправедливых мужичьих речей.

— А то нет? — слышалось с бревна.

— Кого и обвиноватить вам, ежели не бабу, — задорно и звонко сказала другая и тоже выразила готовность удалиться, очевидно, не надеясь переубедить мужиков. Но Бухвостов остановил обеих.

— Пойдите, — сказал он. — По-вашему, значит, это хорошо: бить связанного беззащитного человека.

— Да ведь они когда его бьют-то, ты спроси... Нешто станут зря. Чай, одна-те мать ему родная.

— Ведь он заблажит, — горячо подхватила другая, выступая вперед, — дни, мотри, на два, на три. А то и на неделю. Спокою нет никому, рычит, кидается, чепью брязчит, то и гляди сорвется. Тут они и похлыщут, конечно...

— Нахлыщут, нахлыщут — тогда уж он спать. Спит сутки, а то и двои, — опять ничего... А то нешто стали бы зря...

Бабы говорили горячо, с нотами женского сочувствия своему бабьему горю. Они, очевидно, ближе мужчин знали это дело, и их го-

рячий протест произвел впечатление.

— Пожалуй, верно, Иван Семеныч, — сказал Савелий. — Потому иначе он не перестанет...

— Сvezли бы в больницу, — сказал Бухвостов. — Там хоть не бьют...

— Где, поди, не бьют, — ответил Савелий с глубоким сомнением.

— Невозможно это...

— Насчет больницы, позвольте вам сказать, — как, значит, я был старостой, — сказал Григорий Семеныч своим убедительным голосом, — был он в больнице, в называемом старом корпусе. Так нешто же это можно сравнить, что, например, дома! Слыхали мы, конечно, что, в бараках хорошо. Ну, что касающееся мужика, то его в бараки не поместят... Там городские...

— Глупости! — сказал Бухвостов резко.

— Нет, не глупости. Был он, говорю, в старом корпусе, да они его взяли обратно. Это верно. Пожалели, как свое, значит, как бы то ни было, родное. Потому что видели своими глазами, как их там щелчат. «Не надо этого, говорят, как ни биться нам, а не дадим этакое

тиранство делать». Привезли обратно, я сейчас к ним, потому что не порядок, самовольство, конечно... «Ежели, говорю, вы стесняетесь насчет платежу, так еще, пожалуй, и не взыщут. А ежели станут взыскивать, я склоню общество так, чтобы миром платить. Потому что может он над вами что-нибудь сделать...» — «На это, — они говорят, — есть божья воля». — «Божья воля, это, говорю, конечно, справедливо. Ну, только за эту Божию волю в ответе никто, а только староста! Он вот, как Чамра в Гнилицах, срубит тебя топором, а старосте это припишется к несмотрению...» Ну, однако, не отдали...

Водворилось молчание...

— А то — бабы! — нараспев и каким-то особенным голосом заговорила опять одна из женщин... Голос у нее стал вдруг звонким, нервным, «истощным». В нем слышалось причитание, закипало изболевшее бабье нутро...

— Она, Акулина-то — кака мало-одка была!.. Краса-а-ви-ца, кровь с молоком... Ей бы за каким соколом быть... Насильно ведь за Герасима-те отдавали... Уж выла, выла, болезная...

— Все вы воете, — послышалось угрюмо и зло из кучи мужиков. — А чего ей выть-то было? Чай, он тогда здоровый был — на свадьбе испортили... Тоже от вашей же сестры, от любовницы, пакость эта пошла...

— Ну, чего там на свадьбе... Чего говорить-то по-пустому, — вступил Савелий. — На стоворе и то уже было заметно, что не в себе.

— Да он парнишкой еще блажил, род у них такой...

— Зачем же она пошла? — спросил Бухвостов и сразу понял, что сказал наивную глупость...

— Да ведь выдали, родимый, как не пойдешь, — сказала баба.

— За кого сироту и выдать-то, — подхватила другая тем же болезненно-звонящим голосом.

— После стовору корову я ночью по лесу гнала — корова у меня потерялась... Только на вырубку-те вышла, — батюшки-светы!.. Сидит кто-то на полянке, на пеньке — воет... С нами крестная сила. Глядь, ан это она, Акулина! «Что ты, говорю, девонька, Христос с то-



бою!..» — «Пропадай, говорит, моя головушка! Что за Гараську, что в омут...»

— Да, сирота была, верно...

— По принуждению, значит, опекунов и тому прочее подобное, — пояснил Бухвостову мясник Григорий Семенович, — у нас, ведь, не как в городах... Ну, однако, по домам пора. Прощайте когда...

Его телега расплылась мутным пятном в дальней перспективе улицы. Среди оставшихся некоторое время стояла тишина, полная мыслей, смутных и неясных, как эта ночь с ущербленной луной...

— И верно, — сказала баба, продолжая, очевидно, думать вслух о бабьей доле... — Кабы вера другая — в омут головой много лучше...

— Что уж за жизнь... Много хуже Гараськиной. Потому — он без понятия...

— К печке пойдет, не остережется, — он уж норовит ее сгрести...

— А ночи-те... господи, страсти какие. Зимой ночи темные, долгие... Не все керосин жечь...

Опять водворилось молчание...

— Ну, будем так говорить: сызмалетства!.. — заговорил, тоже, очевидно, продолжая нить своих мыслей, мужской голос. — А в роду отчего: все то же самое, порча!

— Вот какие люди есть... Что надо: портят человека...

— Даже до седьмого колена.

— Да-а, есть это, есть, — с убеждением сказал Савелий Иванович, поворачиваясь к Бухвостову... И затем прибавил:

— Прощайте, однако. Дома с ужином заждались...

Скоро на бревнах осталась одинокая фигура Бухвостова.

— О, ч-ч-чорт! — вырвалось у него из переполненной груди...

## V

Он знал, что ему не будет покоя. Хотя ночь была чудесная, такая, которая способна взять у человека все его невзгоды и заботы, усмирить тревогу в душе, покрыть всякую душевную боль дыханием своей спокойной красоты, но он чувствовал, что даже ей не победить неопределенной тревоги, которая торчала в нем настоящей занозой...

Он был встревожен и недоволен собой... Утром он видел этот ужас. А к вечеру... Дело было, даже не в том, что он ничего еще не сделал. Но... что осталось от его недавнего определенного и острого чувства?.. Что-то неясное и смутное, как эта ночь с ее пугливыми шорохами. И в конце концов — закончилась «таинственной», безличной и неуловимой «порчей».

Разумеется, если бы что-нибудь подобное он заметил в городе... Тогда бы он знал не только, что ему думать, но и что делать. Он поднял бы весь город на ноги. Телеграмма в столичные газеты... подхватывается всей печатью... «Человек на цепи!» «Человек на цепи в губернском городе!» «Человек, прикованный десять лет в конце XIX столетия!» Да, во всех этих фразах была какая-то ясная, определенная сила, «будящая активные рефлексy»... Бухвостову представилась у соответствующего дома толпа народа. Расторопные околоточные приглашают с тревожной сдержанностью:

— Расходитесь, господа, расходитесь... Ничего особенного...

Но даже по их лицам видно, что случилось именно особенное, небывалое, неблагоприятное...

А здесь?.. Бухвостов сознавал, что здесь даже он чувствует как-то по-иному...

Прежде всего — «десять лет!»

Если десять лет человек сидит на цепи, почему скакать с этим известием именно сегодня, а не днем, не двумя, не неделей позже?.. «Что это? Бухвостов точно и сам с цепи сорвался»... Он видел ироническую умную улыбку, с какой редактор газеты произносит эту фразу.

Да, будь это в городе, — о, тогда другое дело... Его набат был бы именно непосредственным, негодующим, беспокоящим, звонким. И редактор не сказал бы иронической фразы; торопиться пришлось бы уже затем, чтобы другие газеты не перехватили сенсационного известия... Заметка сдается в цензуру... В редакцию, конечно, последует запрос...

— Его превосходительство просит сотрудника NN, написавшего заметку, пожаловать к нему для объяснений.

— Человек на цепи! Что? Как? Где? На ка-

ком основании? Мы сейчас! Сию минуту! Мгновенно, — по телефону! В какой части? Участка? Квартал...

— Не в квартале... В деревне Колотилове...

— А! В деревне!.. Так бы и говорили сразу. Вы говорите, все-таки, десятый год?

Бухвостову представилась зевающая, успокоенная физиономия.

— Петр Иванович, нельзя ли, все-таки, навести справки? Они говорят: десять лет!

— Очень может быть, — сдержанно говорит Петр Иванович. — Губернская больница переполнена. Кроме того, неизлечимых не принимают и по закону... Можно, пожалуй, написать исправнику запрос...

— Да, да, напишите, пожалуйста. Что там у них такое? Потом...

Бухвостову представилась серая дорога, звон колоколов. Запыленная фигура в телеге и поля с ленивым шорохом хлебов. Дальше все как-то терялось, и воображение не подсказывало Бухвостову ничего более...

Все это он думал уже не на бревнах, в Раскатове, а далеко за деревней, среди спящих полей... Он и сам не заметил, как вышел за

околицу, как пошел по дороге, и спохватился только у другой околицы.

Куда он пришел? Перед ним, выделяясь на темной траве, резко отсвечивал свежий сруб, с разбросанными кругом щепками. За околицей виднелась узкая улица... Над тесовыми крышами тихо колыхалась темная зелень старых высоких осокорей. Верхушка одного из них была совсем сухая, на ней виднелись грачиные гнезда. В листве стоял ласковый, тихий, баюкающий шорох.

Деревня уже спала, только в одном оконце, налево, виднелся огонь. Бухвостов вдруг узнал эту улицу, и сруб, и грачиные гнезда. Все это он уже видел сегодня утром, только не обратил внимания на эти мелочи, занятый тем, что его более поразило. А вот это светящееся окно...

Он узнал его и резко остановился. Потом почти инстинктивно подошел ближе и стал в тени толстого осокоря.

Рама была отодвинута. Свет ярко и ровно падал на кусты в палисадничке... Сначала в избе стояла странная тишина. Потом тихо брякнула цепь, и усталый мужской голое ска-

зал:

— Дай водицы испить... Господи, батюшка, царь небесный. Хоть бы уж смерть пришла, что ли...

— Молись, Гарася, молись, сынок... Нагрешил за день-то. Может, и впрямь услышит, смерть пошлет...

И, помолчав, женщина прибавила голосом, в котором слышались страдание и слезы:

— И меня бы заодно с тобою, сынок... На вот, испей кваску.

— А Акулина где? — спросил мужчина, глубоко вздыхая.

В это время из-за угла избы выбежала женская фигура, прислушалась, перевела дыхание после торопливого бега и, постояв немного, пошла в избу...

Цепь забрызчала беспокойно, и злой голос, в котором опять исчезли сознательные ноты, заревел:

— Где была?.. Сказывай сейчас... Сука! Сука, сука!

— Где была, там нету, — ответила женщина с невольным задором... — Собирать ужин, что ли?

— Сука, сука... — говорил Герасим, почти задыхаясь, и слышно было, как он опять начинает метаться...

— Молчи, а ты, Гараня, — заговорила старуха. — Молчи ужо!.. А ты подь, Акулина, корову посмотри, заскучала что-то...

— И то пойти!..

Женщина опять выбежала на улицу. Насторожилась, прислушалась и нырнула в тень...

Бухвостов спохватился, что подслушивает у окна, и быстро отошел...

За околицу его проводила собачонка, долго и жалобно заливавшаяся, пока фигура незнакомого человека не потонула среди перелесков...

## VI

Ночной караульщик, тот самый, который остался недоволен миром, долго и ожесточенно стучал колотушкой перед дачей Гаврил Пименовича, напоминая жильцу, что деревня — давно спит, а у него в мезонине огонь. И Гаврил Пименович тоже долго не засыпал, тревожно прислушиваясь, как жилец мечется наверху, по своей комнате...



— Вот навязался чадушко, прости господи, — ворчал он. — До всего, вишь, ему дело... Народ спит, а он на поди! Ох-хо-хо... И все, гляди, чертыхается, всёё ноченьку... Бесстрашной...

Он зевнул, перекрестил рот и наконец задремал. На улице перед рассветом сгустился сумрак. Караульщик уселся на лавочке у палисадника Гаврил Пименовича, вытянул ноги и тоже задремал, не выпуская из рук трещотки.

Не спал один Бухвостов...

— Кто же, наконец, виноват? — спрашивал он себя в тоске, шагая из угла в угол и чувствуя, как его обступает кругом сплошная невинность... — Не виновата деревня, миром приковавшая на цепь больного... Не все же Григорию Семеновичу терпеть побои и нести ответственность... Не виновата мать, у ней самой изболело сердце. Не виновата Акулина — «дело ее молодое... и горькое...» Не виноваты врачи, земство, поля, перелески, бор, обступивший Раскатово, река, перевоз, мужики с телегами, монахи...

— О, ч-чорт!

Он чувствовал, что эта ночь особенно для него мучительна и что ему никак не заснуть...

За окнами между тем становилось все светлее. Тихо загорелись верхушки бора, косые лучи побежали вдоль широкой росистой улицы, поблескивая на закрытых окнах. Деревня еще спала, только какая-то баба, зевая, гнала тоже будто дремлющую корову. Было спокойно, безмятежно и тихо. Монастырская башенка точно благодушно жмурилась под красноватыми лучами и заглядывала с горы на раскатовскую улицу и на спящего караульщика...

Вдруг караульщик вскочил. Над его головой раздался легкий треск внезапно открытого в мезонине окна. В окно, как в раме, выглянуло желтое лицо странного пименовского жильца. Лицо было усталое, взъерошенное и злое. Он как-то пытливо посмотрел на улицу, на сосновый бор, на избушки с тихо загорающимися окнами, на гору с башенками в зелени...

— О, ч-чорт! — простонал он. — Смиренье проклятое... Ему показалось, что он понял, на-

конец, загадочное выражение раскатовского пейзажа.

Караульщик испуганно ударил в трещотку, но сейчас же оборвал... Спohватившись, что уже белый день и стучит он «без дела», — он утpюмо пошел вдоль порядка.

На другом конце пастух заиграл в рожок и медленно стал приближаться, гоня все увеличивающееся стадо. На середине улицы к нему подошел караульщик. К ним присоединилась баба, гнавшая корову. Стадо тихо побрело вперед, подымая легкую золотистую пыль, а трое людей стояли темным пятном среди улицы. Караульщик жаловался, слушатели часто оглядывались на окно Бухвостова с робкой тревогой.

1899

# Не страшное

(Из записок репортера. Этюд)

I

*«Двадцатому будьте в N-ске. Сессия окружного суда. Подробности письмом. Редакция».*

Я посмотрел на часы, потом справился в путеводителе. У меня была надежда, что я уже не попаду к ночному поезду на станцию железной дороги, расположенную верстах в десяти от города, где я только что закончил другое редакционное поручение. В уме мелькал лаконически-деловой ответ: «телеграмма запоздала, двадцатому не могу». К сожалению, однако, путеводитель и часы говорили другое: у меня было три часа на сборы и на путь до станции. Этого было достаточно.

Около одиннадцати часов теплого летнего вечера извозчик доставил меня к загородному вокзалу, светившему издалека своими огнями. Я приехал как раз во-время: поезд стоял у платформы.

Прямо против входа оказался вагон с от-

крытыми окнами. В нем было довольно просторно, и какие-то господа интеллигентного вида играли в карты. Я догадался, что это члены суда, едущие на сессию, и решил искать место в другом вагоне. Это оказалось нелегко, но, наконец, место нашлось. Поезд уже трогался, когда я с легким багажом в руках вошел в купе 2 то класса, занятое тремя пассажирами.

Я уселся у окна, в которое веяло свежестью лунной ночи, и скоро мимо меня понеслись концы шпал, откосы, гудящие мостки, будки, луга, залитые белым светом луны, — точно уносимые назад быстрым потоком. Я чувствовал усталость и печаль. Думалось, что вот так же быстро бежит моя жизнь от мостка к мостку, от станции к станции, от города к городу, от пожара к выездной сессии... И что об этом никоим образом нельзя написать в газетном отчете, которого ждет от меня редакция... А то, что я напишу завтра, будет сухо и едва ли кому интересно.

Мысли были невеселые. Я отряхнулся от них и стал слушать разговор соседей.

Ближайший мой сосед беззаботно спал, предоставив мне устраиваться, как знаю, у него в ногах. Напротив один пассажир тоже лежал, другой сидел у окна... Они продолжали разговор, начатый ранее...

— Положим, — говорил лежащий, — я тоже человек без суеверий... Однако все-таки... (он сладко и протяжно зевнул) нельзя отрицать, что есть еще много, так сказать... ну одним словом — непознанного, что ли... Ну, положим, мужики... деревенское невежество и суеверие. Но ведь вот — газета...

— Ну, что ж, газета. То суеверие мужицкое, а это газетное... Мужику, по простоте, является примитивный чорт, с рогами там, огонь из пасти. И он дрожит... Для газетчика это уже фигура из балета...

Господин, допуская, что есть «много непознанного», опять зевнул.

— Да, — сказал он несколько докторально, — это правда: страхи исчезают с развитием культуры и образованности...

Его собеседник помолчал и потом сказал задумчиво:

— Исчезают?.. А помните у Толстого: Anne

Карениной и Вронскому снится один и тот же сон: мужик, обыкновенный мастеровой человек, «работает в железе» и говорит по-французски... И оба просыпаются в ужасе... Что тут страшного? Конечно, немного странно, что мужик говорит по-французски. Однако допустимо... И все-таки в данной-то комбинации житейских обстоятельств от этой ничем не угрожающей картины веет ужасом... Или вот еще у Достоевского в братьях Карамазовых... там есть наш городской чорт... Помните, конечно...

— Н-нет, не помню... Я ведь, Павел Семенович, преподаватель математики...

— А, да... Извините... я думал... Ну, я напомним: это, говорит, был какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен лет уже не молодых, с проседью там, что ли, в волосах и в стриженной бородке клином... Белье, длинный галстук, в виде шарфа, все, говорит, было так, как у всех шикаватых джентльменов, но только белье грязновато, а галстук потертый. Словом — «вид порядочности при весьма слабых карманных средствах».

— Ну, какой же это чорт? Просто проходи-  
мец, каких много, — сказал математик.

— То-то вот и есть, что много... Это и  
страшно... И именно потому страшно, что так  
обыкновенно: и галстучек, и манишка, и сюр-  
тучок... Только что потертые, а то бы совсем,  
как и мы с вами...

— Ну, это что-то, Павел Семеныч... это, из-  
вините, какая-то у вас странная философия...

Математик слегка как будто обиделся. Па-  
вел Семенович повернулся к свету, и мне ста-  
ло ясно видно его широкое лицо с прямыми  
бровями и серыми задумчивыми глазами под  
крутым лбом.

Оба помолчали. Некоторое время слышал-  
ся торопливый стук поезда. Но затем Павел  
Семенович заговорил опять своим ровным го-  
лосом.

— На N-ской станции подошел я, знаете, к  
локомотиву. Машинист человек отчасти зна-  
комый... Хронически сонный субъект, даже  
глаза опухшие.

— Да? — спросил собеседник равнодушно  
и не скрывая этого равнодушия.

— Положительно... Явление, конечно, есте-



ственное. Тридцать шесть часов не спал.

— М-м-да-а... Это много...

— Я вот и думаю: мы заснем... Поезд летит на всех парах... А правит им человек некоторым образом совершенно осовелый...

Собеседник слегка завозился на своем месте...

— Да, вы вот с какой стороны!.. Действительно, чорт возьми... Вы бы заявили начальнику станции...

— Что тут заявлять... Засмеется! Дело самое обыкновенное, даже можно сказать — система. В Петербурге в каком-нибудь управлении сидит господин... И перед ним таблицы, в таблицах — цифры. Приход... Расход... И в одной графе расхода есть машинисты. Жалованье — столько-то. Поверстных столько-то. Поверстные, — это пробег поездов, — цифра полезная, доходная, твердая, подлежащая увеличению. А вот жалованье людям — это уже минус... Вот этот человек и ломает голову: взять меньше машинистов, а пробег оставить тот же... Если даже немного увеличить... Происходит, так сказать, стихийная игра цифр... И занимается ею самый обыкновенный господин...

дин... И сюртучок на нем, и галстучек, и вид полной порядочности... Товарищ хороший, семьянин прекрасный... Деточек любит, жене к празднику сувенирчики дарит... И дело его самое безобидное: простейшие задачи решает. А в результате сон у людей убывает... И по полям и равнинам нашего любезного отечества в этакие вот лунные ночи мчатся вот этакие же поезда, и с локомотива глядят вперед полусонные, запухшие глаза человека, ответственного за сотни жизней... Минута дремоты...

Ноги математика, одетые в клетчатые брюки, зашевелились; он поднялся с своего места в тени и сел на скамейке... Его полное маловыразительное лицо с толстыми подстриженными усами было встревожено.

— Ну вас, ей-богу, с вашим карканьем, — сказал он с неудовольствием... — И как это у вас, черт возьми, ощутительно выходит... Только что хотел заснуть...

Павел Семенович с удивлением посмотрел на него.

— Да нет, что вы это? — сказал он... — Бог с вами!.. Доедем, бог даст, благополучно. Я ведь

только к тому, что вот как оно перемешано: страшное и обычное... Экономия — обыкновеннейшее житейское дело... А около нее где-то смерть... И даже подлежит учету по теории вероятностей...

Математик, все еще огорченный, вынул портсигар и сказал, закуривая:

— Нет, это вы верно: действительно, чорт его знает: заснет, каналья, и как раз... Скоты эти железнодорожники... Однако, давайте о чем-нибудь другом. К чорту все эти страхи... Итак, вы все еще процветаете в Тиходоле?.. Давно что-то застряли...

— Да, — ответил немного сконфуженный Павел Семенович... — Такой уж, знаете, город несчастный... Точно в яму какую проваливаешься. Учитель, судебный следователь, акцизный... Как попал сюда, так будто и забыли про тебя и из списков живущих вычеркнули...

— Да, да... Действительно город, чорт его знает. Глухой какой-то... Даже клуба нет. И грязь невылазная.

— Клуб теперь, положим, есть... И мостовые кое-где завелись... Освещение тоже, осо-

бенно в центре... Я, положим, живу на окраине, так мало этими удобствами пользуюсь...

— А вы где, собственно, живете?

— В доме Будникова, на слободке...

— Будников? Семен Николаевич? Представьте, ведь и я жил в этих же местах: у отца Полидорова... С Будниковым. встречался, как же! Прекрасный господин, с образованием и, кажется, немного даже того... с идеями?..

— Да, с некоторыми странностями...

— Нет, что же?.. Я говорю, с идеями. А странности... Какие же? Кажется, ничего особенного.

— Вот именно: особенного ничего, а все-таки... Ценные бумаги, например, хранил в тюфяке...

— Ну, я этого не знал. А так, при встречах производил отличное впечатление. Свежее такое, оригинальное... Домовладелец и вдруг — сам живет в двух комнатках, без прислуги. Впрочем... постойте... Было, помнится, что-то вроде дворника...

— Это, верно, Гаврило...

— Именно, именно Гаврило. Низкорослый такой, белобрысый? Да? Ну, вот... Помню, —

приятно было смотреть на его рожу: добродушнейшее этакое мурло... Бывало думаю: в хозяина и работник... Ну, что он? Все такой же?

Павел Семенович некоторое время молчал. Потом посмотрел на собеседника каким-то помутневшим взглядом и сказал:

— Д-да... Вы правы... И это было действительно так... И Семен Николаевич... И Гаврило... И оба они вместе...

— Ну, да! Я ведь помню...

— Именно свежий был человек для нашего города... Образованный, независимый, с идеями... Был в университете, только не кончил из-за какой-то истории... Сам он мне говорил, будто влюбился несчастливо. «Сердце, говорит, у меня разбито». С другой стороны, мне известно, что он переписывался с каким-то приятелем в местах весьма отдаленных. Значит, было назади что-то такое... Отец у него, говорили, ростовщицеством занимался, хотя не особенно злостно. Так с сыном у него из-за этого ссора некоторая вышла. Молодой студент не одобрял и не прикасался к его деньгам, перебиваясь грошовыми уроками... Ну,

когда отец умер — Семен Николаевич приехал, вступил во владение наследством. Говорил кое-кому: «Не для себя... Считаю это долгом всему обществу»... Потом... дела-то оказались запутанными... Дома там, земля, долгосрочные контракты, тяжба какая-то... Разбирался он во всем этом год, другой, третий, а там и втянулся. Многие еще помнили, как он говорил: «Только бы тяжбу закончить с этими подлецами, да дела устроить... Дня в этой проклятой трущобе не останусь...» Ну, одним словом, — история обычная... Учитель у нас один, зоолог, поступая к нам в гимназию, так прямо и говорил: только бы, говорит, диссертацию написать, и вон из этого болота!

— А, это Каллистов! Ну, что же? — спросил живо математик.

Рассказчик только махнул рукой.

— До сих пор все пишет. Женился. Третьим бог благословляет... Ну, вот так же и Семен Николаевич Будников — все свою, так сказать, жизненную диссертацию писал. Началось, кажется, с того, что увлекся тяжбой. Отзывы эти, протесты, кассации, вся эта игра... И все сам писал, почти не советуясь с адвока-

тами. Потом, — пока что — новый дом стал строить. Когда я с ним познакомился, он был уже благополучным среднего возраста холостяком, с румяным лицом и приятной этакой, спокойной, солидной и сочной речью. И уже тогда были маленькие странности. Приходил иногда ко мне, главным образом в сроки уплаты за квартиру... Мы эти сроки пригнали к двадцатому. Ну, значит, двадцатого он и приходил в восемь часов вечера и выпивал у меня два стакана чаю с ромом. Не больше, но и не меньше! На каждый стакан по две ложечки рому и по сухарю. Я привык смотреть на это, как бы на некоторую приставку к квартирной плате. И у других квартирантов бывало то же, — у кого с ромом, у кого без рому. Сроки найма были все различные, квартир в четырех его домах (один в городе довольно большой) было около двадцати... Итого сорок стаканов чаю... Впоследствии оказалось, что это входило в его бюджет и вписывалось в книги... Иной раз так и стояло: «Не застал такого-то, деньги он принес сам на следующий день. В расход сверх сметы два стакана чаю»...

— Неужели? — засмеялся Петр Петрович. — Вот не думал никак! Откуда же вы узнали?

— Пришлось по одному случаю. Да, это, конечно, черта тоже неожиданная, и, вероятно, в ваше время ее еще не было. Ну, а позже стало заметно. Даже обыватели стали поговаривать: дескать, г. Будников человек с расчетцем. Говорилось это благодушно, даже с одобрением. Это как будто роднило Будникова со средой... Понимаете? Явилась в непонятном человеке какая-то ниточка своя, бытовая, так сказать, понятная... Ну, и стала эта черта все более обозначаться. Считалось, например, что г. Будников не держит почти прислуги: Гаврило был дворником того дома, где была и моя квартира; чистил некоторым жильцам платье, ставил самовары, бегал на побегушках. И бывало так, что хозяин и работник сидят рядышком и чистят сапоги: дворник жильцам, Будников себе... Но потом г. Будников завел лошадь. Без особенной нужды. Маленькая роскошь: ездил он раза два в неделю на загородный хутор. Остальное время лошадь была свободна. У Гаврилы тоже не все



время было занято... Ну, и вышло естественным образом, что лошадь перешла на попечение Гаврилы, и он с нею стал выезжать на биржу. Гаврило против этой комбинации, по видимому, ничего не имел, так как неустанный труд считал своим приятным назначением. Есть, знаете, своего рода талантливость на все, и я думал иной раз, что Гаврило своего рода гений в области мускульного труда... В движениях легкость, беструдность какая-то неутомимая... Иной раз даже ночью... не спится бывало. Взглянешь, в окно: метет мой Гаврило улицу или там канавки подчищает. Это значит — лег спать и вдруг вспомнил: не успел за другими делами мостки дочистить... Идет и чистит. И была в этом положительно какая-то своя красота...

— Да, да! — сказал математик. — Вы очень верно изобразили этого человека. Вспоминаю именно, что на него вообще было приятно смотреть, благообразие какое-то.

— Душевное равновесие всегда красиво, а он исполнял свое назначение, не углубляясь в характер своих отношений к хозяину... И это тоже было приятное зрелище, то есть их вза-

имные отношения. Один красиво играет мускулами. Другой придает этой игре смысл и разумную целесообразность... Увидел, что время не заполнено, — и нашел новое применение... Своего рода гармония интересов, почти идиллия... Чуть свет — Гаврило уж на работе. Г-н Будников вставал тоже рано. Они здоровались с очевидным взаимным расположением. Потом г. Будников или работал в саду, или обходил свое «хозяйство», разбросанное в городе: беднота-то поднимается рано, он и заходил утром в квартирки, занятые беднотой... Потом возвращался и говорил:

— Ну, ты теперь, Гаврилушко, запрягай, пожалуй, а я за тебя тут дочищу... Как раз чиновники в канцелярии идут. Может, кто и попадется...

Себя он считал в то время не то толстовцем, не то... опростившимся, что ли... Часто заговаривал о ненормальности нашей жизни, о необходимости отдать долг трудящемуся народу, о пользе физического труда. — «Работаю вот, — говорил он, когда кто-нибудь заставлял его за топором или лопатой. — Помогаю ближнему дворнику трудом своим». И трудно

было разобрать в его тоне: ирония это или серьезно... В середине дня Гаврило возвращался и ставил лошадь в конюшню, аг. Будников опять отправлялся по хозяйству, делал жильцам вежливые замечания за изломанный палисадник или обитую детскими мячами штукатурку... Возвращался он порой с каким-нибудь нищим, а то и двумя. Они, значит, попросили на, улице милостыню, а он предложил «трудовую помощь»... Ну, конечно, попрошайки обращались в постыдное бегство; а г. Будников с особенным удовольствием продолжал работать один или с Гаврилой. Вскоре его узнали все нищие в городе и только кланялись с добродушной улыбкой, а денег не просили. — «Как это вы, друзья мои, не понимаете своей пользы», — назидательно говорил г. Будников. И надо сказать, что этот «трудовой» образ жизни ему лично приносил очевидную пользу: румянец у него был прямо завидный, ровный этакий, с здоровым загаром. Выражение лица всегда спокойное, уравновешенное, почти как у Гаврилы... И вот тоже... ничего ведь в этом не было ни зловещего, ни странного.

— Ну, — вы опять свернули на прежнее! — сказал математик, подымаясь и похлопывая собеседника по плечу... — Конечно, ничего страшного... А между прочим, я выйду на этой станции... Восемь минут.

Поезд замедлил ход, потом остановился.

### III

Павел Семенович, оставшийся вдруг без слушателя, оглянулся несколько растерянно... Через некоторое время взгляд его серых глаз встретился с моим. В глубине этого взгляда светилась какая-то упорная мысль, точно у маниака...

— Вы... понимаете? — спросил он просто, не смущаясь тем, что говорит с незнакомым человеком...

— Кажется, понимаю, — ответил я.

— Ну, вот-вот, — сказал он с удовлетворением, потом стал продолжать просто, как будто не замечая смены слушателя...

— Был у меня, знаете, товарищ школьный... Некто Калугин, Василий Петрович. Был он захвачен тогдашними течениями в молодости... а человек был своеобразный. Говорил мало. Больше слушал, что говорили другие, и

наблюдал, как они суетились, пытаюсь, как говорится, повернуть колесо истории. Но в самом молчании чувствовалось восхищение и преданность... И пришел он к заключению: «Все это хорошо и чрезвычайно, благородно, но нет рычага. А рычаг — деньги. За эти дела, говорит, нечего и приниматься без ста тысяч». И успел, знаете, убедить в этом еще несколько товарищей, которые и составили маленький кружок, накопителей, что ли... Ну, из кружка, положим, ничего не вышло: кто просто отстал, кого судьба зашвырнула далеко от источников добывания. А он, Василий Петрович, — выдержал и достиг. Человек был без блеска, но с большим характером, такие в деловых сферах очень ценятся. Поступил для начала в одно учреждение на Волге. Не то, знаете ли, банк, не то касса ссуд. Для великой цели не пренебрег он и этим учреждением, и сразу, как говорится, вдохнул в него новую жизнь. Года через три получал уже тысяч что-то около шести... Тогда он поставил задачу в таком виде: пятью двадцать — сто! На себя, значит, и на прочее — тысяча в год. Пять тысяч на великое дело. «Через двадцать лет —

рычаг готов»... И что вы думаете: достиг. Правда, нужен был характер — прямо самоотверженный. И система!.. Во-первых, во избежание всяких глупых случайностей, — «на время» отошел от прежних товарищей... тех, которые голыми руками за колеса истории хватаются. «У меня, дескать, своя задача... Неблагонадежность там... случайное письмо... сделайте одолжение, не надо»... И это тоже выдержал. Вообще всю жизнь приспособил, все подробности рассчитал. Ничего — кроме накопления! Вставал ежедневно не то что в семь часов, как Будников, а в семь часов без тринадцати минут. Секунда в секунду! От личной жизни отказался... Было у него до того времени увлечение одно: сошелся с одной девушкой и тоже на свободных началах. Дали взаимно слово «не связывать друг друга». Ну, да ведь это глупые фразы; ребеночек-то никому слова не давал... Явился на свет и потребовал свое... Она и рада... А он насупился. Так как, говорит, эта неприятная случайность может повториться, и принимая, говорит, в соображение мою великую цель, то я, говорит, намерен воспользоваться свободой. На ребен-

ночка я, говорит, хотя и в ущерб великой цели... такую-то сумму... Женщина была тоже с характером: денег не взяла ни копейки, захватила ребеночка — и прощайте — навсегда... Как он чувствовал себя после этого — неизвестно, но накоплению отдался без помехи... И вот, после разных удач и неудач, через двадцать лет, проснувшись по обыкновению в семь часов без тринадцати минут, — он поздравил себя с успехом: сто тысяч собраны. На службу явился в обычное время, вошел в кабинет своих принципалов и говорит: «Через два месяца я ухожу». Те и рот разинули. «Да что вы, бог с вами! Может быть, прибавить жалованье? Или процент с дохода?» Нет! Сказал, как отрезал, и через два месяца был в Москве на прежней жизненной точке... И в кармане сто тысяч.

— О-го! — сказал Петр Петрович, вернувшийся в эту минуту из буфета... — Это у Будникова, что ли?..

— Нет, — ответил Павел Семенович. — Это я о другом...

— А! О другом? Ну, все равно... Продолжайте о ста тысячах... Это уже, надеюсь, не страш-

но?..

В его голосе звучала легкая насмешка. Павел Семенович посмотрел на него с наивным удивлением и повернулся ко мне.

— Да, так вот... Приехал он в Москву, то есть, понимаете: к своему прошлому... Думал — жизнь будет его ждать, пока он выполнит великую задачу накопления... И явится он в тот же Газетный переулок, и там застанет те же споры и тех же людей, и так же будут они хвататься голыми руками за колеса истории... Тут он им свой рычаг... «Извольте! У вас великие идеи... А вот мой вклад для осуществления»... Глядь, а предлагать-то уже и некому: в Газетном переулке другие люди, и говорят по-другому. Прежние или погибли под колесами истории, или отстали... Жизнь — это ведь поезд... Отлучился со станции на время, глядь — поезда уже и не видно... А порой не застанешь и станции... Понимаете вы, милостивый государь, какая это трагедия?

— Ну, сделайте одолжение, — сказал Петр Петрович. — Сто тысяч! Свободен!.. Многие согласятся на этакую трагедию...



— Да?.. Но ведь человек-то, я вам говорю, был искренний.

— Ну, и что же?

— Да вот... Бродил он среди старых и новых знакомых, все своего поезда разыскивал. Тоску на всех навел... То, для чего отдал жизнь и свою, и чужую, — уже непонятно: кажется, что там одна пальба идет... а для чего — неизвестно. А то, что понятий, — разные почтенные дела, вроде «народного дома», или газеты, или «идейное книгоиздательство» его, семидесятника, не удовлетворяет... На это он готов, пожалуй, отдать... проценты с капитала...

— Ну, что ж, — шесть процентов, при скромных потребностях... Жить можно! И даже можно часть отдать на доброе дело...

— Да... конечно... Но если взять исходную точку... Ведь это был подвиг... Люди отдавали жизни, и он жизнь отдал... И не только свою... Неужели это можно сделать для одних процентов... А на подвиг-то уже не хватает стимула... Одним словом, в один прекрасный день нашли его в одиноком номере гостиницы — с пулей во лбу... И деньги рассовал кое-

как, наскоро и невнимательно... Накануне еще я его видел в одном обществе... Никто в нем ничего особенного не замечал. Здоровались и проходили мимо, почтенный, дескать, человек. С характером, и намерения наилучшие. Скучный только необыкновенно!

— Гм, да! — сказал математик, — бывают и такие чудачки. — И он стал укладываться. Лицо его с толстыми подстриженными усами опять потонуло в тени, а наружи были видны ноги в клетчатых брюках... — По-моему, — сказал он из своего угла, — уж Будников интереснее... Вы про него не досказали...

— Да... я ведь... извините, — к тому и случай этот привел... Сидел я как-то недавно всю ночь... Переписку Будникова с его этим «отдаленным» приятелем читал. Поверите: оторваться не мог... и представить невозможно, что это писал тот же Семен Николаевич Будников, который у меня чай с ромом пил, Гаврилу на биржу посылал и душа которого незаметным образом, почти на моих глазах, в этом вот нашем дворике выдохлась и опустела... И осталась без всякой, так сказать... ну, одним словом, без всякой святыни...

## IV

Он остановился и посмотрел на меня застенчивым и вопросительным взглядом, почувствовав как будто, что у него вырвалось слово, не совсем обычное для вагонного разговора. И он почти вздрогнул, когда математик, выпустив из своего темного угла густой клуб дыма, — сказал:

— А вы, Павел Семеныч, — я вижу, такой же чудака, право!.. Удивительно! У одного — сто тысяч... Стреляться! Другой живет себе на всей, как говорится, своей воле: здоров, румян... Спокоен духом... Обеспечен... Вам и это странно?.. Ей-богу, это невозможно... Ну, спокойной ночи... Пора спать. Ничего, ничего!.. Вы мне разговором не мешаете... Я не стану слушать...

Он повернулся к стенке.

Павел Семенович стыдливо и вопросительно взглянул на меня наивными серыми глазами и заговорил тише...

— Есть в Тиходоле улица, называется Болотная. Уже при мне на ней построили дом... Новый, из свежего леса... В первый год так и сверкал он, даже глаз резал этой своей свеже-

стью. Потом очень быстро стал покрываться этим особенным бытовым налетом, этими мхами да лишаями и так слился с общим тоном старых сараев и заборов — не отличить. А теперь уже говорят, что там завелись привидения... Так вот и о г. Будникове вдруг стали говорить, что он ограбил одну женщину...

— Ну, это, как хотите, глупости! — отозвался математик, — Никогда не поверю, чтобы Будников был грабитель... Пустили какую-нибудь глупую сплетню.

Павел Семенович улыбнулся грустной и немного растерянной улыбкой:

— Вот именно. Какой грабитель!.. Грабитель — слово такое... определенное! А тут вышла просто некоторая житейская... запутанность, что ли, с расплывчатыми очертаниями... Видите... Должен сказать, что уже после вас в последние годы поселились во дворе мать с дочерью... Женщины были простые, очень бедные, и господин Будников относился к ним покровительственно и великодушно: задолжали они что-то много, и он, — очень аккуратный насчет платы, — тут терпел и даже иной раз помогал деньгами. На

доктора там, улучшенное питание для больной. Потом старушка умерла, и осталась эта Елена круглой сиротой... Господин Будников и тут оказал большое участие: отвел ей уютный уголок, хлопотал насчет работы: шила она, — кое-как перебивалась... Потом стала вроде экономки у г-на Будникова, а там... начали поговаривать, что отношения их стали гораздо ближе...

— А-а... — произнес математик. — Это уж действительно без меня... И красивая?

— Да, пожалуй, красивая, полная, с плавными такими движениями и покорными глазами. Говорили, что глупа. Но если и так, то ведь глупость женская бывает порой особенная... Тут и наивность, и какая-то дремлющая невинность души. Положение свое она чувствовала очень сильно. Как это говорится у Успенского, кажется, — вся была во стыду... Пробовал г. Будников учить ее, подымать, так сказать, до своего уровня. Она оказалась неспособна. Сидит, бывало, над книжкой, водит по-детски указкой, и лицо по-детски напряженное. А при Будникове вся как-то сожмется и оглушеет. Охладел он к этим заняти-

ям, а потом и к Елене, тем более, что возникли некоторые другие виды. А было, должно быть, время, когда он ее начинал любить. Были, вероятно, и обещания какие-нибудь. Одним словом, — доставался ему этот разрыв не так уж легко, — совесть, что ли, была задета... только он старался смягчить разрыв. И между прочим вздумал ей подарить билет внутреннего займа... Призвал ее однажды, вынул три билета, разложил на столе, разгладил рукой и говорит:

— Смотри, Елена. Вот на каждую эту бумажку можно выиграть двести тысяч. Понимаешь?

Она, конечно, понимает плохо. Воображения не хватает на такую сумму. А он продолжает:

— Ну, вот, говорит, — одну я дарю тебе. Сама бумажка стоит, говорит, 365 рублей, но ты ее не продавай... Ну, возьми своей рукой на счастье...

Она не берет, жметя, точно боится. — Ну, хорошо, — говорит г-н Будников. — Дай сюда руку. Вот, пусть эта будет твоя бумага... — Взял один из этих билетов и провел ее рукой

две черты карандашом, резко этак, с нажимом. Видно, что намерение было у человека твердое... Отдал бесповоротно, со всеми, так сказать, последствиями. — «Видишь, — говорит, — это на твое счастье, и если выиграешь 200 тысяч, — тоже твои будут...» И положил опять в стол. А у нее из-за пазухи вынул ладонку и положил туда бумажку с номером билета.

— Ну, и что же? — спросил математик...

— Ну, и вот... Нужно же было случиться, что... работает там эта машина в Петербурге, выкидывает, знаете, номер за номером. Берут их, кажется, детскими руками... И один из этих билетов выигрывает...

— Двести тысяч? — живо спросил математик, очевидно, забывший о сне.

— Двести не двести, а семьдесят пять... Смотрит г. Будников в марте месяце тиражную таблицу и видит: стоит крупный выигрыш против его номера. Нуль, опять нуль... триста восемнадцать и 32. И вдруг вспоминает, что один билет подарил Елене... Он хорошо помнит, что две черты поставил на первом. У него три подряд: 317, 318 и 319. Значит,

триста семнадцатый... Достает билеты, смотрит: две черты стоят на триста восемнадцатом. Выиграла-то Елена...

— Ах, черт возьми, — воскликнул математик и слегка приподнялся. — Вот это штука!

— Да, именно штука, и даже довольно глупая. Черты попали на этот номер, когда он думал, что дарит другой... Ошибка, механический промах руки, пустая случайность... И из-за этой случайности Елена, глупая женщина, которая ничего не понимает и не сумеет даже распорядиться деньгами, возьмет у него... именно у него, у г-на Будникова, отымет, так сказать, крупную сумму! Ведь это нелепость, не правда ли? У него и образование, и цели, или там были когда-то цели... Ну, и опять могут быть. Он эти деньги, может быть, на добрые дела назначит. Опять напишет своему этому приятелю, попросит у него совета... А она — что такое? Животное с округленными формами и красивыми глазами, в которых даже и не разберешь хорошенько, что в них: глупость теленка или невинность младенца, еще, так сказать, не проснувшегося к сознательной жизни... Вы понимаете?.. Ведь это



так натурально... Каждый на месте Будникова... вы... я... вот Петр Петрович почувствовал бы приблизительно то же...

Со стороны Петра Петровича послышался какой-то не совсем внятный звук, который можно было истолковать различно.

— Нет? — сказал Павел Семеныч. — Ну, извините... Говорю, о себе... Мысли или, вернее, поползновения, что ли, такие у меня были бы, может быть, где-то там, в подсознательной, как говорится, сфере... Потому что... сознание и все эти сдерживающие силы, это ведь как земная кора: тонкая пленка, под которой ходят и переливаются чисто эгоистические первобытные, животные побуждения... Найдут место послабее и...

— Ну, хорошо, хорошо, — с снисходительной усмешкой сказал Петр Петрович, и мне показалось, что он подмигнул мне из своего темного угла... — Вернемся к Будникову. Что, же он? Отдал, — и кончено?..

— Да, повидимому, так он и хотел разрешить этот вопрос, и так как, кажется, боялся немного себя, то в тот же день призвал к себе Елену и поздравил ее с выигрышем. И тут же,

при сем случае, желая воспользоваться, так сказать, благоприятными условиями, намекнул: вот, дескать, когда мы разойдемся, ты обеспечена. И при этом все время сердился...

— За что же сердился?

— Я думаю, за то и сердился, что вот ты какая дура. Если бы тогда сама выбрала, — наверное, взяла бы не тот номер. А теперь из-за твоей глупости какая история вышла. Порядочный и умный человек какой суммы лишается. Так я, по крайней мере, представляю себе по рассказу Елены... «Все, говорит, бегали из угла в угол и сердились на меня»...

— Ну, а она что же? Обрадовалась, конечно?

— Н-нет... Спужалась, говорит, очень, и ударила из нее слеза. Он сердится, а она плачет, и от этого он еще больше сердится.

— Действительно, дура!..

— Д-да. Я уже докладывал: умной ее не считаю, но в слезах этих... Нет, это была не глупость... И когда мне после рассказывала... дошла до этого места, взглянула на меня своими чистыми, птичьими глазами и вся всколыхнулась от плача... И вот теперь я не могу

забыть этих глаз... Глупость-то, может быть, и глупость. То есть нет ни ясности сознания, ни отчета в положении вещей. Но было что-то в этих голубых глазах, особенно в самой глубине... точно мерцал в них какой-то правильный инстинкт... Эти ее глупые слезы были, может быть, единственным правильным, настоящим, пожалуй... позволю себе сказать, — самым умным во всей этой запутанной истории... Где-то тут недалеко скрывался выход, точно потайная дверка...

— Ну, хорошо, хорошо... Дальше-то что же?

— А дальше... Господин Будников посмотрел на глупую женщину долго и внимательно, потом подсел к ней, потом обнял, а потом... в первый раз после значительного охлаждения приказал ей не уходить к себе, а остаться ночевать у него...

И пошло это так на некоторое время. Елена расцвела... Любовь ее тоже была «глупая», то есть очень непосредственная. Сначала, — сама мне говорила, — г-н Будников был ей противен. Потом, когда уже взял ее, — точно, говорит, присушил. У таких непосредственных женских натур нет деления, так сказать,

чувства и факта. С какого конца ни затронь, — весь этот комплекс действует нераздельно... Опять вернулся к ней, значит, опять полюбил... Две недели она так сияла радостью и красотой, что все, кто в это время смотрел на нее, — тоже заражались безотчетной радостью... Только недели через две господин Будников опять охладел... И потянулась у нас на дворе слякоть какая-то... У Елены глаза наплаканы... Соседки судачат, жалеют, г. Будников сумрачен... Две-то черты эти прошли глубоко по душе обоих. А тут еще и третий под них подвернулся... Дворник Гаврило...

— Гм!.. Целая история, — сказал Петр Петрович, опять подымаясь с места и садясь рядом с Павлом Семенычем. — Он-то при чем?.. Тоже узнал о выигрыше?

— Ничего он не знал. Я о нем уже говорил. Существо, бесхитростнее которого трудно представить, — прямо райская непосредственность... Иной раз он представлялся мне даже не человеком, а... как бы сказать... простым собранием мускулов, отчасти сознающих свое бытие. Все в нем было слажено хо-

рошо, гармонично, правильно, и все в постоянном действии. И при этом два добрых человеческих глаза смотрели на весь мир с точки зрения своего физического и морального, так сказать, равновесия. Порой в этих глазах светилось, пожалуй, любопытство и... такое бессознательное превосходство, что прямо бывало завидно. Порой мне даже казалось, что если не сам Гаврила, то что-то в нем отлично понимает и г-на Будникова, и меня, и Елену... Понимает и улыбается именно потому, что понимает...

И вдруг этот человек тоже помутился... Началось это с той поры, как Будников сошелся с Еленой вторично и опять бросил... Для него она стала брошенная «барская барыня», существо, особого почтения не внушающее, и очень вероятно, что первые его авансы выразились как-нибудь просто, по-деревенски. Но она встретила эти авансы с глубокой враждой и гневом. Тогда Гаврило «задумался», то есть стал плохо есть, уставать за работой, похудел, вообще стал сохнуть...

Так это тянулось осень и зиму. Будников окончательно охладел к Елене; она чувство-

вала себя оскорбленной и считала, что он над ней «надсмеялся»... У Гаврилы несколько испортился характер, и во взаимных отношениях его и Будникова исчезла прежняя гармония... А билет с двумя чертами лежал в столе, и, казалось, все о нем забыли...

Подошла среди такой ситуации и весна... На время я потерял из виду всю эту маленькую драму, которая разыгрывалась у меня на глазах... Подошли у меня и экзамены, уставал я сильно, даже сон потерял. Чуть задремлешь, — вдруг будто толкнет кто-то, — сна как не бывало. Зажжешь свечу, — на столе тетрадки лежат, — и станешь править... А там и солнце исходит... Выйдешь на крылечко, смотришь на спящую улицу, на деревья в саду... По улице сонный извозчик проедет, в саду деревья чуть трепыхаются, будто вздрагивают от утреннего озноба... Позавидуешь извозчику, позавидуешь даже деревьям... Покоя хочется и этой сосредоточенной бессознательной жизни... Потом пойдешь в сад... Сядешь на скамейку и, случится, — задремлешь, пока солнце в глаза не ударит. Скамейка такая была у стенки конюшни в укромном уго-

лочке. Солнце как раз в семь часов на нее светило, — проснешься, чаю наскоро выпьешь — и в класс.

Вот однажды вышел я на заре и задремал на этой скамейке. Проснулся вдруг, точно кто разбудил. Солнце недавно поднялось, и на скамейке еще тень. Что такое, думаю... Отчего бы мне так внезапно проснуться? И вдруг слышу у Гаврилы в конюшне голос Елены. Хотел я встать и уйти: подслушивать я не охотник, да и неприятно показалось столь простое разрешение Елениной драмы. Но пока спросонок-то собрался встать — разговор продолжался, а затем уж я и не ушел... Прямо заслушался.

— Ну, вот и пришла, — сказала Елена. — Что вам?

И потом вдруг, с глубокой такой, ну, просто захватывающей тоской прибавила:

— Измучил ты меня...

И так она это сказала... с таким искренним душевным стоном. И на ты... Прежде всегда, да и после — все вы ему говорила, а тут... вся изболевшая стыдом и любовью женская душа зазвучала — просто, без условностей, безза-

ветно...

— И вы меня, Елена Петровна, измучили, — ответил Гаврило. — Мочи моей нет. Сохну. Не работается, куска, говорит, не съем...

— Что ж теперь, — говорит Елена, — будет?

— Да, что! — говорит, — жениться на тебе видно.

На некоторое время оба замолчали. Елена, кажется, тихонько плакала. И все в этом молчании было удивительно ясно, просто, без всяких недомолвок. Вот, дескать, какое положение: ты мне, конечно, не пара. Я вот поработал бы тут на Будникова, сколько полагается для моих целей, и пошел в деревню, поставил бы хозяйство, женился, взял бы честную девушку... И все это теперь пошло прахом: приходится поневоле брать тебя, какая есть...

— Потерянная я... — сказала Елена тихо...

— Что ж, Елена Петровна, — ответил Гаврило с какой-то угрюмой лаской. — Не посмотрю я на это, что вы сами себя потеряли... Все одно... Не житье мне... Постыло все... Кусок в рот не идет... Силы нет...

Елена заплакала сильнее... Плач был хоро-



ший. Мне казалось — болящий, но исцеляющий. Гаврило сказал строго:

— Ну, что уж... будет... Пойдешь, что ли?..

Елена, видимо, сделала усилие, сдержала слезы и, на повторенный вопрос, ответила:

— А бога вы, Гаврило Степаныч, побоитесь?

— Чего это? — говорит Гаврило.

— Попрекать не станете?

— Нет, — говорит. — Попрекать не стану. И другим в обиду не дам. А ты вот сама побожись, что баловство бросишь... Навсегда... Я тебе поверю...

Стало тихо. Я не слышал, что ответила Елена, представляю себе только, что она, должно быть, повернулась на восток, а может, и иконка в каморке была... И перекрестилась... После этого она вдруг обхватила его голову руками, и я услышал поцелуй. И тотчас же Елена выбежала из каморки, метнулась было к дому, но потом вдруг остановилась, открыла калитку и вошла в сад...

И тут увидела меня... Но это ее нисколько не смутило. Она подошла, остановилась, посмотрела на меня счастливыми глазами и

сказала:

— А ты все гуляешь по зорям... Эх-ты, сердешный...

И вдруг, переполненная вся этим своим чувством, подошла ко мне, взяла руками за плечи, бесцеремонно встряхнула меня, посмотрела в глаза и засмеялась... И так это просто вышло. Она поняла, что я все слышал, и ничего в этом не видела дурного... Только когда Гаврило вышел с метлой и тоже направился в сад, она вдруг вся зарделась и быстро пробежала мимо него. Гаврило посмотрел ей вслед с спокойной радостью, потом его взгляд упал на меня. Он поклонился с прежней стихийной благосклонностью и принялся мести дорожку. И опять была в нем та же красивая и беструдная игра мукулов, здоровых и свободных... И помню: как раз в эту минуту в монастыре ударили к ранней заутрене, — дело было в воскресенье. Гавршю остановился в широком просвете аллеи, снял шапку и, придерживая метлу на левой руке, правой стал креститься. И показалось мне это необыкновенно светло и красиво. Стоит человек в центре своего светлого мира, где все у него устроено

хорошо, то есть все эти отношения — и с землей, и с небом... Одним словом, такое это было успокоительное зрелище, что я пришел к себе в комнату и в первый раз после многих беспокойных ночей — заснул, как убитый... Есть что-то в хорошем человеческом счастье исцеляющее И выпрямляющее душу. И мне, знаете, приходит иной раз в голову, что, собственно говоря, все мы обязаны быть здоровыми и счастливыми, потому что... видите ли... счастье — это высшая степень душевного здоровья. А здоровье заразительно, как и болезнь... Мы, так сказать, открыты со всех сторон: и солнцу, и ветру, и чужим настроениям. В нас входят другие, и мы входим в других, сами этого не замечая... И вот почему... Павел Семенович вдруг остановился, почувствовав на себе пристально насмешливый взгляд Петра Петровича.

— Да, да!.. Извините, — сказал он, — у меня это действительно несколько туманно...

— Есть немножко... Лучше уж рассказывайте дальше. Без философии...

— ...Разбудил меня уже г-н Будников. Это было как раз двадцатое. Пришел он, как все-

гда, и, как всегда, выпил два стакана чаю с ромом, но я видел, что г. Будников сильно не в духе и даже нервничает... И я невольно поставил это в связь с утренним эпизодом.

И некоторое время он все был не в духе. Все во дворе замечали, что между хозяином и работником идет что-то неладное и... непростое. Гаврило хотел уходить. Будников не отпускал, хотя при этом часто говорил мне, что в Гавриле он разочаровался. Однажды я шел по дорожке сада и увидел, как они оба стояли у калитки и разговаривали о чем-то. Будников был возбужден, Гаврило спокоен. Он стоял в свободной позе, глядя на свою лопату, которой постукивал в землю. Было видно, что он твердо стоит на чем-то, а г-на Будникова это выводит из себя... И еще мне показалось, что предмет разговора устанавливает между ними какое-то странное равенство...

— Это, голубчик, дело, конечно, ваше, — говорил г-н Будников. Он заметил меня, но не счел нужным прекратить разговор. Говорил язвительно и с горечью... — Да-с... Вы человек свободный... Но только, имейте в виду, Гаврило Степаныч... ежели у вас есть какие-нибудь

утилитарные виды... Я с своей стороны, конечно, очень скромную сумму...

Г-н Будников не умел говорить просто и иностранные слова употреблял даже в разговоре с Гаврилой... Гаврило посмотрел на него спокойно и ответил:

— Ничего нам не надо... Нам хватит своего.

Г-н Будников кинул на него настороженный взгляд и сказал:

— Ну, хорошо. Помните! А затем... вот я уеду в Петербург по делу... Делайте, как хотите.

Гаврило поклонился и сказал:

— Покорно благодарим...

— Извините-с... — с оттенком иронической меланхолии сказал г-н Будников. — Я на благодарность не рассчитываю.

И вышел из сада, хлопнув калиткой.

Во дворе он остановился, подождал меня и, взяв под руку, пошел к нашему крыльцу. По дороге и сидя у меня на крыльчке, говорил что-то запутанное и невнятное. Он не скрывает, что питал некоторое чувство к некоторой женщине. И это чувство, может быть, «живо под пеплом»... С другой стороны, мечтал о

слиянии и возможности дружбы с меньшим братом. И хотя то и другое чувства послужили источником разочарования, но он с своей стороны что-то докажет, и все что-то увидят... Но, вообще говоря, великодушные, как и тонкие чувства, свойственны только высококультурным людям...

Он нервничал, и под несколько деланным пафосом мне слышались ноты искреннего огорчения и волнения.

Впоследствии я имел случай ознакомиться с его дневником. Там были отдельные странички в форме как бы писем к этому его отдаленному другу... Писем он, кажется, давно не посылал, но эти странички были точно просветы среди сумеречной обыденщины. И под тем приблизительно числом, когда происходил разговор с Гаврилой, стояло горячее излияние. Он сообщал всю эту историю с Еленой и писал, что ошибся, что любит ее и теперь... И что сделает еще один опыт... И кончалось это внезапным лирическим порывом: ты, дескать, далекий друг, не сомневаешься, конечно, что я выполню то, что считаю долгом великодушия...

И вот однажды, отправив Гаврилу с лоша-  
дью за город, г. Будников подошел к флигель-  
ку, где попрежнему жила Елена.

— Елена! Вы бы пришли ко мне. Убрать  
кое-что надо...

Несколько дней перед этим он был особен-  
но задумчив и торжествен, а теперь оделся  
попараднее, подошел к флигелю и вошел в  
комнату Елены, не стесняясь любопытными  
взглядами.

Никто тогда не знал, что происходило в ее  
комнате, но через полчаса г. Будников вышел  
оттуда прямой, чопорный и как будто расте-  
рянный. И все стали говорить, что г-н Будни-  
ков делал Елене форменное предложение и —  
Елена отвергла...

После этого он уехал в Петербург, где у  
него была тяжба в сенате. Он ее проиграл, и  
когда вернулся, то Гаврило и Елена были уже  
обвенчаны...

## V

Впечатление все это произвело на него  
сильное, как будто совершился некоторый ду-  
шевный переворот. Особенно поразило его  
одно на вид незначительное обстоятельство.

Прежде каждую весну в палисадничке у окон г-на Будникова цвели цветы. Это было у них с Еленой, общее и составляло признанную статью расхода: семена, лейка, кузнецу за ремонт лопаты... С ранней весны Елена возится, бывало, в этом цветнике, радостная и оживленная, и г-н Будников тоже радостный принимал в этом участие. Теперь флигелек опустел, цветник загдох, окна г-на Будникова как будто ослепли... А у другого флигелька, где жил теперь Гаврило с женой, все зацвело и распустилось. Точно символ. Когда г-н Будников вернулся с вокзала и кинул взгляд на этот неожиданный контраст, — лицо его передернулось, и на некоторое время он потерял свой обычный величавый вид. И мне вдруг стало его жалко. Я вышел и пригласил его к себе. Он долго сидел у меня, рассказывая свои столичные впечатления, — фразисто, пространно и неискренно. И все время чувствовалось, что в душе г-на Будникова происходит что-то далекое от столичных впечатлений.

Потом понемногу все как будто вошло в колею. Г-н Будников так же ездил два раза в неделю на загородный хутор, ходил в опреде-



ленные дни по квартирантам, готовил себе обед на керосинке. Только в дневнике стало больше разных пустяков: например, он стал записывать, сколько шагов он делает ежедневно и, кажется, высчитывал по этим записям выносливость и стоимость подметок.

А еще через некоторое время последовала новая перемена: г-н Будников почувствовал склонность к религии.

Помню, как-то был осенний вечер... Из тех тихих вечеров, когда природа особенно внятно трогает душу. На небе звезды будто шевелятся этак и шепчутся, а на земле свет и тени... Городок у нас, знаете сами, — тихий и весь в зелени. Выйдешь, бывало, вечерком и сядешь на крылечке у себя. И у других домов, вдоль улицы, кто на скамеечке у ворот, кто на завалинке, кто просто на травке... Шепчутся где-то люди о своем, деревья о своем — и стоит какой-то невнятный шорох. Ну и в душе тоже шепчет что-то... Перебираешь невольно всю свою жизнь. Что было и что осталось, куда пришел и что еще будет дальше? И зачем все... и какой, знаете ли, смысл твоей жизни в общей, так сказать, экономии природы, где

эти звезды утопают, без числа, без предела... Горят и светятся... и говорят что-то душе. Иной раз и грустно, и глубоко, и тихо... Кажется, как будто не туда направляешься, куда надо. И начинаешь угадывать что-то там, высоко... И хочешь убежать от этой укоряющей красоты, от этого великого покоя со своим смятением и хочешь слиться с ними... А уйти некуда... Войдешь в кабинет, посмотришь при лампе на эту свою обстановку... учебники... тетрадки с ученическими письменными ответами... И спрашиваешь: где тут живое-то?

Петр Петрович пробормотал что-то, и рассказчик опять спохватился.

— Так вот... В таком состоянии сижу на крылечке и думаю: вот люди от вечерни идут... Что же? Находят они в этом свое отношение к бесконечному?.. Или только привычка, пустой автоматизм? И так хочется, чтобы это было настоящее. И вдруг вижу: отделяется от идущих одна тень и подходит ко мне. Оказывается — это г-н Будников. Тоже от вечерни. И садится рядом.

И я чувствую, что г-н Будников ждет: спросить — спроси меня — зачем я стал посещать

церковь. Все не бывал и к религии относился иронически, а теперь вдруг стал посещать богослужения. И меня это действительно интересовало, да и так, откровенность под влиянием этого вечера нашла... Отчего, думаю, не сказать, что вот, дескать, у меня на душе сумрак какой...

— Вот, говорю, Семен Николаевич... Смотрю я на небе и вот что думаю...

Покачал он головой и говорит:

— Мучился и я этим... и страдал. И вот, как вы же — не видел выхода. А выход — вот он, под руками...

И жестом указывает в сторону, где белеется за деревьями церковь...

— Нас, говорит, интеллигентных людей, пугает, что это так сказать, дорога избитая, банальность... А между тем, — стоит отбросить гордость и слиться... или, как это Толстой когда-то выразился, — прикоснуться к общей чаше, растворить свои искания в смиренной общей вере... перестать осуждать основы жизни... Как Антей, так сказать, прикоснуться и общей матери...

И так он это сказал как-то вкусно. Голос та-

кой сочный журчащий, точно басок в архиерейском хоре. Говорю вам искренно: я даже позавидовал. Ведь действительно: кругом тишина и благодать... Стоит, как говорит г. Будников, слиться, а у меня тоже все эти трещинки в душе затянет, как маслом. И сразу найдется потерянный смысл. Я вот спрашиваю себя: зачем тетрадки? А зачем все это вот, вся эта тихая жизнь?.. Почему вот тот сапожник идет такой торжественный и довольный?.. Или вон Михайло не ищет никакого особенного смысла, а плывет в общем потоке жизни, то есть в ее общем значении я общем смысле. Придут люди раз в неделю в это беленькое здание, так приветливо выглядывающее из зелени, побудут некоторое время в общении с какой-то тайной, — и, смотришь, запасаются на всю неделю ощущением смысла... А ведь для многих жизнь гораздо тяжелее моей...

И вот теперь г-н Будников... Неужели и он нашел для себя это и разрешил свои смятения... Хотел было спросить, но тут мимо прошел сначала наш священник. Г-н Будников с ним раскланялся, и он ответил приветливо. И на меня посмотрел тоже с вопросительной

благосклонностью... Буддииков вот обратился, может быть, дескать, и еще одного заблудшего приведет... Я тоже ответил на поклон особенно как-то тепло и благодарно и опять хотел спросить у г-на Будникова, но тут появилось еще новое лицо, уже совершенно другого настроения...

## VI

Павел Семенович несколько задумался и потом спросил у Петра Петровича:

— Учился при вас некто Рогов?

— Рогов... Не припомню... Столько их училось...

— Этот был заметный, и об нем приходилось часто разговаривать в совете... Судьба его была особенная... Видите ли. Отец этого мальчика был злодей старого закала, ябедник, пьяница и сутяга, гонимый новыми временами, как волк охотниками. Тип, так сказать, запоздалый. Способности недюжинные, а не приспособился к новым порядкам. И коротал он свои последние дни среди невзгод, нищеты и пьянства. И все ему казалось, что судьба к нему несправедлива: люди умеют устроиться отлично, а он при том же, по его

мнению, образе действий — грязен, голоден и гоним... И представьте, что у этого человека — семья... Жена и сынишка...

Жена — существо безответное, уничтоженное им в полном смысле слова, за исключением одного угла души. Когда дело касалось сына, — в этой, как будто совсем опустошенной, душе открывалась какая-то дверка, точно не сдавшаяся цитадель в занятом неприятелями городе, и оттуда выступало вдруг столько женского героизма, что порой старый буй и пьяница поджимал хвост. Таким образом, бог уже ее знает какой ценой, но ей удалось все-таки дать сыну образование. Поступив в Тиходол учителем, я застал этого юношу в последних классах. Мальчик был застенчивый, скромный на вид, поведения тихого. Только в глазах было что-то такое, странно-сдержанное, возбуждавшее, пожалуй, некоторую тревогу: какой-то особенный огонек, точно блеск, беспокойное внутреннее горение. Худощавый, тонкое лицо всегда бледно, и копна буйных волос над крутым лбом. Учился отлично, с товарищами знался мало, отца, кажется, ненавидел, мать обожал почти болезненно...

Теперь... извините... Придется мне несколько слов сказать о себе... Иначе — останется многое непонятно в дальнейшем... Я тогда учительствовал еще первые годы и переживал особенное настроение... На призвание свое смотрел возвышенно и, так сказать, идеально. Товарищи представлялись мне какой-то священной ратью, ну, там... гимназия эта — чуть не храм... Молодежь это чувствует и ценит... И бежит на этот огонек со всей непосредственностью и со всеми своими запросами... А ведь это и есть живая душа нашего дела... Что толку, если он придет к тебе, застегнувши вместе с мундиром на все пуговицы и свою юную душонку. С своими вопросами и заблуждениями он мне, учителю, нужнее... Да и я ему нужнее, пока сам ищу и учусь... При некоторой искренности бери их прямо руками...

Рассказчик помолчал и продолжал тихо:

— И было это у меня когда-то... Сблизился я тогда крепко с несколькими мальчиками своих классов, в том числе и с Роговым... Книжки свои давал, сходились ко мне. Ну, там, за самоварчиком, запросто, задушевно, понимае-

те... Вспоминаю об этом, как о празднике жизни... Журнал иной раз свежий откроешь, толки, рассуждения, споры. Слушаю, — не вмешиваюсь сначала, как они колобродят тут, путаются, потом разъяснишь — осторожно, но с увлечением... А там, глядишь, иной раз родилась мысленка, другая, иной раз — ан уж тебя самого, царапнет, довольно остро... И чувствуешь: надо держаться начеку, надо самому думать и учиться. И растешь вместе с ними. И живешь...

Недолго только шло это у нас. Как-то раз призывает меня директор для конфиденциальной беседы... Ну, вы знаете сами... Теперь эти «внеклассные» влияния руководителей юношества покровительством не пользуются. А уж журналы!.. Директор, вы его знаете, — Николай Платонович Попов, — деликатный человек... Он только намекнул и затем сделал вид, что ему, в сущности, ничего неизвестно... Я было погорячился, сначала даже отказался подчиниться, апеллируя к высшему пониманию своих обязанностей. А потом... вижу, что ничего не поделаешь. Главное — не обо мне одном и речь-то идет: на мальчиках отража-



ется... Трудно было и тяжело, а главное — стыдно, вот что всего хуже. Что я мог сказать своим молодым собеседникам? Чем объяснить? Исполняю приказание, явно бессмысленное и оскорбительное, и только! Это был для меня первый удар жизни, и я тогда не заметил, что удар-то, пожалуй, был смертельный...

Подчинился я и прекратил свои вечерние беседы. По совести скажу, что думал больше о них. Ну, молодежь-то, знаете, не так легко подчиняется в этих случаях и не все в них понимает. Однажды вечером — шашть ко мне этот Рогов с товарищем... Тайным образом. Лица возбужденные, глаза горят и глядят как-то этак особенно... Ну, я этот способ сношений отклонил. — «Нет, говорю, господа, лучше это оставить». Вижу, что мальчики вспыхнули оба... Рогов этот заговорил что-то, да только спазма схватила горло, а глаза стали вдруг злые... Но я нашел себе оправдание: за них я, особенно за Рогова и за мать его, боялся... Ведь если бы открылись наши конспирации, пожалуй, вся его карьера и весь материнский героизм — пошли бы насмарку. Так я и отсту-

пил тогда... в первый раз.

Старался зато уроки сделать как можно интереснее. Вечера у меня остались свободные... Скучно. Привыкать ведь уже начал к своему молодому кружку. А тут — пусто. Ну, я за книги. Работал, как вол, и все, бывало, прикидываешь в воображении: вот это должно их заинтересовать, вот это будет ново, а это ответит на такие-то запросы... Читаю, роюсь в книгах, коллекционирую все интересное, оживляющее, раздвигающее казенные стены и казенную сушь учебников... И все с живой мыслью о недавних собеседниках... И кажется — выходило что-то... Помню, что класс весь иной раз замирал, умы вспыхивали... Но тут вдруг стал директор ходить на уроки. Придет, сядет, слушает, молчит... Знаете сами, как это делается. Как будто и ничего, а ведь и класс, и сам я чувствую, что это уже не урок, а своего рода дознание... Потом на стороне — деликатные вопросы: вот это, собственно, вы, позвольте узнать, откуда почерпнули? Из какого утвержденного учебника? И в какой мере, по вашему мнению, это соответствует программе?

...Ну, не стану распространяться... Так, одним словом, огонь этот понемногу во мне угасал... Класс стал именно классом: живые лица стали отдаляться все больше, отошли в туман какой-то... прикосновение умственное утратилось. Отметки... планы... перечисление стилистических красот живого произведения. В данном произведении двенадцать красот. Красота первая, красота вторая... Ну, и так далее... Соответственно требованиям программы... То есть, понимаете: и не заметил, как пошла и у меня та же будниковская бухгалтерия.

Как бы там ни было, кончил этот юноша курс гимназии и уехал в столицу... Однако, в университет поступить сразу не удалось. Это было уже время этих секретных аттестаций... Может, и мои чтения тут были в игре. Одним словом — год у него пропал. Матери-то он написал, что поступил и даже — что получает стипендию, а в действительности перебивался кое-как, бедствовал и, вероятно, озлоблялся. Потом как-то все-таки стал выбиваться на дорогу... Но тут вдруг и настигни его горе: мать умерла, не дождавшись. С тех пор, как

сын уехал, таяла все... Исчезла, так сказать, с горизонта путеводная звезда всей ее жизни — ну, и сила сопротивления тоже исчезла. Исчезла, знаете ли, как-то быстро, даже как будто с удовольствием. «Я, говорит, Ване теперь уже не нужна... На дорогу, слава тебе, господи, вывела. Теперь и сам пойдет». Сказала: «Ныне отпускаешь...» — и умерла. А вскоре после этого и почтенного родителя в канаве нашли... И остался мой Рогов круглым сиротой...

Однако старушка-то, видно, поторопилась: теперь-то она, может, всего нужнее была сыну. Учился он, правда, хорошо и даже как-то страстно, так сказать, без оглядки, будто торопился к чему-то. А как получил известие о смерти матери, — в душе-то, видно, оборвалось что-то... Очевидно, и она для него, в свою очередь, была единственной мечтой в жизни. Вот, дескать, кончу, стану на ноги и восстановлю нарушенную справедливость: мать, наконец, хоть на закате узнает, что есть еще благость господня и любовь, и благодарность... Хоть на год, хоть на месяц, хоть на неделю... Пусть хоть на миг один, да чтоб

сердце радостью вспыхнуло и оттаяло. И вдруг — вместо всего могила... Обрыв — и кончено! И никакой уже благодарности не надо, и ничего уже ни вернуть, ни исправить нельзя... Да, чтоб выдержать такое испытание без надлома, нужна сила... нужна вера в общий смысл жизни... Чтобы и это казалось не одной глупой случайностью...

Ну, он и не выдержал. Опоры не было... Оступился, закрутил и стал вином заливать ядовитое чувство оскорбления и несправедливости судьбы... А там и пошло. Экзамены бросил, — дескать, теперь не для кого дипломы добывать... И понесло его случайными течениями, как лодку, брошенную на реке... Зоя появилась опять в нашем городе... Может быть, думал зачатиться как-нибудь за материнскую могилку... Да ведь что тут могила поможет... Если бы в ней отыскался смысл какой-нибудь, тогда, конечно, другое дело... А так... взял в суде свидетельство «на право хождения» по делам и вступил на отцовскую дорожку. Жизнь повел беспутную, время проводил в кабаках, с гольфьбой, и брал дела самого рискованного свойства. Год такой жизни, — и выработался

в пьяного и дерзкого буяна, анфан-терибля всего нашего мирного городка, грозу мирных граждан. И откуда-то, чорт его знает, в этом застенчивом юноше объявилась вдруг наглость, а с нею и остроумие просто дьявольское: все в городе его боялись... Замечательно, что редкий городок на Руси обходится без своего Рогова. Своего рода должность, полагающаяся по штату. Тихо это всюду, мирная дремота, идиллическое спокойствие, г. Будников по улицам ходит, прямой, величавый, собственные шаги считает... По вечерам — особенно в праздники, шорохи эти поэтические, а тут где-нибудь ухает кабак вроде нашего «на Ярах», и бурлит какая-нибудь безобразная, изболевшая и одичавшая душа... А около нее, конечно, сателлиты. Это уже, так сказать, в порядке вещей, необходимый аксессуар глухих провинциальных углов...

Первое время после своего появления Рогов иногда встречался со мною... Робко поклонится и отойдет к стороне, особенно когда пьян. Раз, встретившись, я заговорил с ним и пригласил его к себе. Пришел... трезвый, серьезный, даже застенчивый... по старой па-

мяти, что ли... Только — как-то у нас не склеилось. Встало между нами — воспоминание: я — молодой учитель со свежей верой в свое призвание, с живым чувством и словом. Он — юноша, еще чистый, благоговеющий перед моим нравственным авторитетом... Теперь он — Ванька Рогов, тиходольский дебошир и ходатай по сомнительным делам... А я... Ну, одним словом — точно стена какая-то стоит между нами и разъединяет: о главном, о том, что всего важнее, — не говорим. Чувствую, что надо бы разрушить какую-то перегородку, сказать ему что-то такое, что проникло бы в эту душу и взяло бы ее, как когда-то... И он, вижу, сам ждет как будто со страхом: вдруг ты за это, за самое больное-то все-таки схватишь... В глазах и боль, и ожидание... А у меня силы для этого нет. Оборвалась... еще, кажется, тогда, давно, когда в первый раз со стыдом пришлось отступить...

Так мне и пришлось наблюдать, в качестве, так сказать, сочувствующего свидетеля, как опускался этот юноша на глазах, пошел, спивался, грязнел... Обнаглел, стыд стал терять, потом слышу: Рогов вымогает и попро-

шайничают по мелочам. Дела берет плохие: ходит по самой, так сказать, границе между просто предосудительным и уголовным. Да ходит ловко, как акробат, и над всеми смеется. Годы в два-три уже совершенно определился. Фигура мрачная, грязноватая и чрезвычайно неприятная.

Ко мне иной раз стал уже заходить пьяный... И странно: в этом виде мне с ним стало как будто легче... Задача, что ли, упростилась, стала очевидна его вина, и мораль давалась легче. Помню, как-то после одной его выходки, до очевидности скверной, говорю я ему:

— Так и так, Рогов, нехорошо.

Он сначала сжался было, глаза отвел, как бы боясь нравственного удара, а после тряхнул лохмами и посмотрел мне прямо в глаза, видимо, призывая на помощь свою наглость.

— Почему бы, говорит, Павел Семенович, нехорошо?

— Нечестно, говорю.

— Ну, знаете ли, говорит, это ведь только замена одного спорного термина другим, не менее спорным. То было нехорошо, а теперь стало нечестно. А у меня, говорит, на этот



счет своя теория выработалась. Честность и другое тому подобное есть не что иное, как десерт. Десерт же, как известно, подается после обеда. А если нет обеда, — какая же, говорит, надобность в десерте?..

— Но припомните, говорю, Рогов, отчего у вас нет обеда... Учились вы хорошо, были уже на дороге и вдруг уклонились с пути...

Самому мне в эту минуту показалось это соображение не только убедительным, но даже неопровержимым. А он посмотрел на меня, засмеялся и говорит:

— Вы, говорит, в последнее время, кажется, на бильярде стали иногда вечерами поигрывать?

— Ну, что ж, говорю, играю... для отдыха.

— Клапштос, говорит, знаете?

— И клапштос знаю. — А клапштос, как вам известно, удар этакой особенный, парадоксальный. От этого удара шар сначала идет вперед, а потом вдруг как бы произвольно откатывается назад... На первый взгляд непонятно и как бы противно законам движения, но в сущности просто.

— Ну, так вот, по-вашему, говорит, это что

же: шар свою волю обнаруживает? Нет?.. Просто борются два различных движения... Одно действует сначала, другое берет верх после... Ну, так видите ли, говорит, — мамаша моя шла всю жизнь прямым путем, а папаша, как вам хорошо известно, вертелся волчком. Вот и я сначала шел прямо, пока хватало мамашиних импульсов... А потом, знаете, и сам хорошенько оглянуться не успел, как уж меня завертело по-отцовскому... Вот вам и вся моя биография...

И так это он сказал искренно как-то и безнадёжно. Опустил голову, закрыл лицо кудрями, потом посмотрел на меня, и опять мне стало жутко. Боль в глазах. Видали вы когда-нибудь у животных, когда им очень больно?.. Собака, — на что ласковая тварь, — а и та в это время хозяина укусить готова.

— Что же, говорит... Кто тут, по-вашему, виноват?

— Не знаю, говорю, Рогов. Я вам, конечно, не судья... Да и не в виновности дело.

— Не в виновности, так в чем же? По-моему, тот виноват, кто меня клапштосом в жизнь пустил... Значит, судить некому. Вот я

и двигаюсь клапштосом по жизненному полю... Исполняю волю пославшего... Так-то вот, говорит, голубчик Павел Семенович... Не найдется ли у вас около двугривенного этак серебром?.. Тоска палит, залить надо...

В первый раз он у меня тогда двугривенный попросил, и я сразу почувствовал, что бывшая между нами преграда разрушена. Что он и меня теперь может оскорбить, как и всех...

И мне захотелось защититься.

— Нет, говорю, Рогов. Двугривенного я вам не дам... Так, — хотите приходить, — приходите. Я рад... А этого не нужно.

Опустил он свою лохматую голову, посидел и говорит глухо:

— Да, Павел Семенович. Простите меня. Я и без двугривенного стану приходить. Все-таки посидишь с вами, как будто легче и точно ми-нус какой из обычного угара...

Посидел опять. Помолчали мы оба тяжело и напряженно. Потом он опять говорит:

— Было время... надеялся я много от вас получить... Вы сами не знаете, что вы для меня значили. Вот и теперь иной раз тянет к вам.

Ждешь чего-то. Да нет... бесполезно... Клапшгос, — и кончено.

— Извините, говорю, Рогов. Но вы положительно злоупотребляете этим билиардным сравнением. Ведь вы не костяной шар, а живой человек.

— И поэтому, говорит, чувствую... Шарто, — куда его ни загони, — в лузу ли, в лужу ли, ему, костяному дураку, все равно... А человеку, почтеннейший Павел Семенович, в луже тяжело... Вы думаете, кто-нибудь сознательно и по доброй воле откажется от десерта?.. — Не отказался бы и я... Человек я, как говорится, с рефлексом. Вижу и обсуждаю свою траекторию до конца... Скоро ведь стану свинья свиньей и уже беспросветно. Вот порой и думается: а ведь, может быть... как-нибудь... где-нибудь... какая-нибудь... точка опоры, что ли... ведь вот порой задевает еще что-то... настоящее... И есть оно где-то, наверное... настоящее-то?.. Есть ведь, Павел Семенович?

— Есть, говорю, конечно, есть.

— Ну, вот, говорит, как вы это искренно сказали. Да, должно быть, действительно есть... Так где же оно? Ну, извините, я вам не

хочу ловушки ставить... Не знаете вы этого и сами. Искали когда-то, да бросили... Вот поэтому-то я только двугривенный у вас и прошу. Да еще иногда, спасибо, посижу, будто у огонька... Человек вы все-таки с душой... Иной, может быть, сумел бы и больше взять у вас...

— Так что же, послушайте, говорю я ему. Придумайте: не могу ли быть вам, действительно, полезен. — И чувствую: подается в нем что-то... растроганность какая-то почувствовалась, наглости нет... Задумался, опустил голову.

— Нет, говорит, не выйдет. И не вы, голубчик, виноваты. А потому, что... я да все мы такие... очень требовательны. Сами, как свиньи, в грязи валяемся, а с других требуем, чтобы те, кто руку протянуть хочет, сами были чище снега... Много, голубчик, силы надо. Не хватит ее у вас... Буря нужна, понимаете ли... Чтобы дохнуло огнем... Ну, тогда и чудеса бывают... А вы... Вы на меня не сердитесь?..

— Что ж, говорю, на что сердиться?

Замолчали мы оба тогда. Я не нашел, что сказать ему, а он опять стал ходить, но поне-

многу опять стал возвращаться к прежнему тону. Придет, сядет, и перегаром от него несет. В следующую субботу пришел таким же образом и сел рядом на крыльце... Как раз опять к вечерне ударили. И через короткое время выходит из ворот г. Будников. Щеголеватый, прямой, как всегда, и во всей фигуре довольство... Так от него и разит сознанием исполняемого долга.

Помню, что и на меня тогда его появление подействовало неприятно, а у Рогова даже лицо вдруг изменилось... Схватился с места, стал в театральную позу, шляпу с головы снял и говорит:

— Господину Будникову, Семену Николаевичу, к вечерне шествующу — от Ваньки Рогова нижайшее почтение.

И потом отвел шляпу широким этаким жестом и запел из известного романса:

Сам не в си-лах я боль-ше моли-и-иться...

Пам-мались, милый друг, за м-миня...

Передернуло меня это гаерство... Чувствую, что и мне Будников неприятен, но все-таки... Оскорбляет человека в таком чувстве, которое во всяком случае и со всякой точки

зрения заслуживает полного уважения. А тут вскоре из калитки вышла и Елена и тоже в церковь идет. Он и к ней:

Офелия! О, нимфа! Помяни  
Меня в твоих святых молитвах.

Это меня уже окончательно рассердило. Елена сжалась вся под наглым взглядом и наглыми, хоть и не понятными ей словами, опустила голову и скоро-скоро пошла к церкви.

— Послушайте, говорю, Рогов. Как вам не стыдно! И притом должен вам сказать... если хотите ко мне ходить, то попрошу вас покорно вести себя приличнее...

Повернулся он ко мне... и вижу, в глазах особенное выражение — злой боли: укусь собирается...

Захотелось мне несколько смягчить эту свою резкость. И говорю:

— Ведь вот вы, Рогов, не знаете ни этих людей, ни их отношений, а позволяете себе оскорблять...

Он посмотрел на меня насмешливо и говорит:

— Это вы не насчет ли идиллии? Доброде-

тельный г-н Будников устроил счастье двух сердец. А вот, кстати, и Гаврюшенька.

И действительно, Гаврило как раз вышел из ворот. Рогов как-то противно подмигнул ему.

— Поздравляю, говорит, Гаврюшенька... с барскими!!!!ото-почками... Умница! Узнал, видно, где раки зимуют?.. В случае надобности, говорит, — можешь рассчитывать на мои юридические познания...

Да, удивительное дело, как эти циники узнают иные вещи. Повидимому, Рогов тогда уже знал все и, вероятно, заподозрил Гаврилу в корыстных видах...

Подошел к нему и хлопнул по плечу... Тот озлился вдруг и сильно оттолкнул Рогова. Рогов чуть не упал, засмеялся и с преувеличенной развязностью пошел по панели. Порывшись со мной, он остановился и говорит:

— Вот что, почтеннейший Павел Семенович... Давно хотел у вас спросить: не читали ли вы... есть у Ксенофонта... разговор Алкивиада с Периклом... Если не читали, — положительно рекомендую. Хоть и на мертвом языке, а поучительно.



И пошел, напевая скверную песенку. А я через некоторое время разыскал этот диалог. Что, думаю, он хотел сказать...

Тяжелая, знаете ли, штука, но сильная. Дело, собственно, приблизительно вот в чем. Приходит как-то к Периклу юный Алкивиад... Перикл, представьте себе, к этому времени, уже почтенный человек, окруженный общим почетом, ну, там... прошлые заслуги и некоторый ореол добродетели... И, вероятно, уже брюшко и прочее. Ну, а Алкивиад — повеса, безобразник, кутила, с девочками афинскими скандалы всякие устраивает, собакам, как известно, хвосты рубил... И насчет добродетели человек мало сведущий. Ну, так вот приходит к Периклу этот порочный молодой человек и говорит: — Послушай, Перикл. Вот ты человек полный, можно сказать, добродетели до самых макушек. А я вот путаюсь без дороги и от безделья даже вот столбы выворачиваю. Сограждане недовольны. Научи ты меня добродетели и разреши сомнения. Я буду спрашивать, а ты мне, говорит, разъясняй все по порядку. — Ну, Перикл, разумеется, согласен, даже, пожалуй, рад: отчего не разъяснить моло-

дому человеку? Может быть, и остепенится. — Хорошо, говорит, спрашивай. — Тот и спрашивает: что такое добродетель? И как ей научиться? Перикл, конечно, только усмехнулся: чти, говорит, богов, исполняй законы и вся недолга. Законы соблюдать есть первейшая обязанность гражданина и человека. — Ну, вот, отлично, отвечает ему юноша. Теперь скажи, пожалуйста, какие законы я должен исполнять: дурные или хорошие? — Тот немного даже обиделся. Да ведь закон, — значит, дескать, хорош. Что же тут толковать? — Нет, говорит Алкивиад, постой, не сердись... А уж у них, знаете ли, в это время в Афинах все эти, так сказать, основначала замутились несколько... партии, борьба, одни других грабят, остракизмы эти, своего рода ссылка административным порядком... узурпаторы пошли; временщики там... чуть замешательство, — уж он выскочил и свой закон написал, для собственного употребления или там для кумовей и приятелей. Боги старые сконфузились, оракулы бормочут нивесть что, совсем не к делу. Одним словом, ясное-то в жизни стало уже неясно: равновесия нет, всеми

признанная правда затерялась... Обновление нужно. Тучи кругом заволокли небо, и путеводные звезды, бог их знает, где они?.. Так вот Алкивиад и спрашивает: какие же, говорит, законы надо исполнять: которые предписывают хорошее или дурное? — Конечно, говорит, хорошее. — Ну, а почему же мне, говорит, узнать, какие хорошие? По какому, так сказать, признаку? — А ты, говорит, исполняй всякие; закон, говорит, на то и пишется... — Значит, и те, какие введены насиланием тиранов? — Ну, этих, пожалуй, и не надо... Только, говорит, законные, так сказать, законы, — Ну, хорошо. Если, например, меньшинство насилует большинство в свою явную пользу, таких законов не надо? — Пожалуй, не надо. — А если большинство явно насилует меньшинство, противно всякой правде?.. Видите, куда этот юноша гнет: внешних признаков ему не надо, а покажи так, чтобы душой почувствовать общественную правду, высшую, так сказать, правду жизни, святыню... Ну, а Перикл-то, понимаете, уж и не того... И не то что Перикл, — весь строй жизни стоит на рабстве, на сознанный неправде... религия выдохлась,

недавняя святыня, освящавшая каждый шаг, каждое движение, весь строй, все людские отношения — уж ее люди не чувствуют... Ну, Перикл туда-сюда... самому-то перед собой не хочется признать, что уже ихние законные законы выдохлись... Он этак снисходительно потрепал беспутного юношу по плечу и говорит: — Да, да! — говорит, ты, конечно... мальчик с головой... Мы, говорит, и сами в прежнее время этакие же трудные вопросы разрешали... Ну, Алкивиад видит, что уж Перикл — так сказать, признанный авторитет — одними пустяками отделяется, живого-то в нем эти противоречия не задевают, — и махнул рукой. — Жалко, говорит, почтенный человек, что я с тобой не был знаком в то время... А теперь пойду от скуки опять столбы выворачивать...

Вот этот анекдот Рогов и поднес мне, своему бывшему учителю...

## VII

Рассказчик остановился. Поезд замедлял ход, подходя к какой-то станции. Петр Петрович протянул руку и, сняв с крючка синюю фуражку с кокардой, сказал:

— Пойти опять в буфет... Признаться, почтеннейший Павел Семенович, не понимаю я, к чему все это клонит... Это, извините, даже и не философия, а бог знает к чему. Начали про Будникова. Ну, это пожалуй: человек все-таки знакомый... Потом этот, чорт его знает, Рогов, прохвост какой-то отпетый, а тут уже, не угодно ли, и Ксенофонт, и Алкивиад... хвосты собакам рубит... Чорт знает что: какое мне, позвольте спросить, до всего этого дело?.. Нет, как хотите... Лучше пойду вторично водку пить...

Он надел фуражку и, придерживаясь за стенки от толчков останавливающегося поезда, вышел из вагона. Но в это время на другой верхней скамейке зашевелился четвертый пассажир. Он лежал в тени, по временам курил и проявлял признаки внимания к рассказу. Теперь он сошел с своей скамьи и, сев рядом с нами, сказал:

— Извините, не имею чести быть знакомым, но... я слышал поневоле ваш рассказ, и мне было бы интересно... Так что, если вы ничего не имеете против...

Павел Семенович посмотрел в лицо нового

собеседника. Это был культурный человек, одетый аккуратно, с умными глазами, твердо глядевшими из-под золотых очков, которые он прилаживал обеими руками...

— Да? — сказал Павел Семенович... — Вы, значит, тоже слышали...

— Да, слышал. И меня интересует... ваша точка зрения, которая, признаюсь, мне не вполне ясна...

— Да?.. Действительно, может быть, я не вполне ясно это... Я хотел сказать... что в сущности все так связано... И эта взаимная связь...

— Налагает общую ответственность?

В лице Павла Семеновича блеснуло радостное оживление.

— Вот! Вы, значит, поняли? Именно — общую... Не перед Иваном или Петром... Все, так сказать, переплетается... Один по неаккуратности бросит апельсинную корку... другой споткнулся и, глядишь, — сломал ногу.

Новый собеседник слушал с спокойным вниманием. Но в это время в вагон вошел опять Петр Петрович, который ошибся станцией, и, окинув обоих несколько ирониче-

ским взглядом, сказал, вешая на крючок фуражку:

— Ну, вот, теперь, — не угодно ли — корка!

— Нет, Петр Петрович, — сказал Павел Семенович серьезно. — Вы это напрасно так... Тут, конечно, вопрос, так сказать...

— У вас, я знаю, все вопросы, в самых простых вещах... — сказал Петр Петрович. — Не стесняйтесь, пожалуйста. У вас есть достаточно слушателей.

— Да, пожалуйста, — подтвердил господин в золотых очках.

— Извольте... Я охотно, тем более, что все это мне, все равно, не дает покоя... Я остановился на...?

— Вы остановились, — насмешливо помог ему Петр Петрович, — на Алкивиаде... История, так сказать, древняя. Теперь последуют средние века...

Павел Семенович не обратил внимания на соль этой остроты и обратился к новому собеседнику:

— Да, так видите ли. Дело находится в таком положении: Гаврило женился, живет себе... В столе у г-на Будникова лежит билет с

двумя чертами... ходят об этом нехорошие слухи и, как всегда, в преувеличенном виде. И не знает об них один только Гаврило, — работает себе попрежнему, лезет, так сказать, из кожи, старается... Мускульная эта симфония в полном ходу, глаза так и лучатся общим довольством и благорасположением...

И вдруг, однажды, натывается на него в такую минуту Рогов. Шел по панели мимо двора, остановился, подумал о чем-то и подозвал Гаврилу.

Ну, тот русский человек, добродушный... Не так давно толкался, а тут забыл. «Чего, говорит, тебе?» — Поди сюда, дело до тебя. Спасибо скажешь.

Признаться, что-то толкнуло меня. Хотел позвать к себе этого Рогова и, чувствуя, что затевает он скверность, — остановить его. Но это было уже после Алкивиада... вообще, не надеялся я уже на себя. Так и остался у окна. Гляжу, — оставил Гаврило лопату, подошел и стал слушать. Сначала в лице его видно было только недоумение, отчасти даже пренебрежение. Но потом все с тем же видом колебания он отвязал фартук, пошел к себе во флиге-



лек, надел картуз и вышел к Рогову... И потом они вместе пошли по улице и свернули к береговому откосу... А через минуту вышла к воротам Елена, стала у калитки и долго смотрела вслед двум удалявшимся фигурам... И в глазах у нее были печаль и испуг...

И действительно, с этого самого дня характер у Гаврилы круто как-то изменился. Вернулся он несколько, как будто, пьяный... Может быть, от водки, а может быть, и от огромности непосильного бремени, которое вдруг навалил на него Рогов... Во-первых, и сумма совершенно подавляющая: гора денег, превышающая самую его способность счета. И потом — источник этого богатства, возвращающий невольно мысли к прошлому Елены. Наконец, недоумение, почему Елена ему ничего об этом не сказала, и отсюда, может быть, нехорошие подозрения... В общем, разумеется, полный душевный сумбур... Две черточки, которые г-н Будников провел на билетах, — по душе Гаврилы прошли, очевидно, всего глубже и больнее... Ну, соскочил простодушный человек со своего центра. Вся эта симфония непосредственности и труда внезапно

оборвалась... Заметался мой Гаврило беспорядочно, как отравленный...

И начало его ломать... Сначала все ходил угрюмый, с каким-то потемневшим лицом. Работа у него стала валиться из рук: то топор швырнет, то лопату сломает... Совершенно как хорошо пущенная машина, в которую вдруг сунули бревно... Когда же Будников удивленно и кротко стал делать ему вполне резонные замечания, что ведь вот лопата стоит денег и что он вынужден будет вычестить у Гаврилы из жалованья, — то этот кроткий прежде человек отвечал невнятными и нерезонными грубостями... А у Елены глаза все заплаканные...

Потом Гаврило уже формально запил, стал пропадать, и преимущественным местопребыванием его стал довольно грязный вертеп «Яры» на берегу, на песках, недалеко от пристани... Домишко этакой небольшой, деревянный, с мезонином, темный, покосившийся в одну сторону и подпертый бревнами. С берегового откоса можно было видеть его: все, бывало, по вечерам два оконца и дверь открытая светятся, какой-то бубен ухал, и пиликало

что-то для увеселения публики... А по временам неслись смешанные крики — не то песни, не то драка и караул. Вообще — вечное беспокойство и как будто угроза. Антитеза дремлющей обывательской жизни... Бурлаки с нашей скромной и по большей части бездействующей пристани, рабочие с кирпичных заводов, как кроты копавшиеся в мокрой глине, профессиональные нищие... одним словом, народ бездомный, несчастный, беспутный и злой. Даже и пролетариат-то попорядочнее избегал этого кабака. И вот, в него-то именно и втянул Рогов Гаврилу. А за Гаврилой узнала дорогу в «Яры» и Елена, собственно для того, чтобы мужа оттуда вытаскивать...

Делала она это как-то удивительно покорно, безропотной, право, даже красиво. Раз иду с уроков, вхожу в калитку, глядь, Елена вбежит навстречу, наскоро платок на голове повязывает.

— Куда вы, говорю, Елена?

Застыдилась немного.

— Не видали вы, — спрашивает, — Гаврило Степаныч в ту сторону прошли?..

— Кажется, говорю, пошел... Да вам-то бы, Елена, туда, пожалуй, и не дорога.

Хотел даже удержать ее... Но она сердито метнулась мимо и, кажется, с некоторою гордостью кинула на ходу, что, дескать, Гаврило Степаныч — ей муж, а она ему жена законная... А через полчаса гляжу, — ведет Гаврилу Степаныча под руку. Тот упирается, но идет и только смотрит перед собой тусклым, оловянным и непонимающим взглядом. И все-таки идет. У самой калитки уперся вдруг ногами, оттолкнул ее руку и уставился в нее... Лицо темное, и в оловянных глазах злая решимость...

— Ты, говорит, кто?.. Говори: кто ты?.. А?

Она стоит, опустивши руки, убитая какая-то. Вспомнилось мне то весеннее утро и их взаимные клятвы: «А вы, Гаврило Степаныч, бога не забудете?..» И стало мне страшно: забудет, думаю, и именно вот сейчас... сию минуту и забудет... Но вдруг луч некоторого сознания мелькнул в бессмысленном лице, и он как будто проглотил что-то. Не сказал ни слова и молча пошел к себе... И она пошла за ним, испуганная, почтительная и покор-

ная...

И все так пошло: мигнет Рогов Гавриле, он исчезнет со двора и забурлит. Власть какую-то приобрел этот человек над Гаврилой, а Елена ее оспаривала... покорно, почтительно, робко, но настойчиво. Вероятно, считала всю эту историю наказанием, посланным ей для искупления «греха». Осунулась, приятная полнота исчезла, глаза впали... Но зато, глядя на них, я бы теперь никак не решился назвать их глупыми. Страдание всегда удивительно умно, даже у птицы... В вертепы является, мужа пьяного выводит, смеются над ней на улице, грубо задевают... — у нее за себя стыда ни капли... Только иной раз скажет шепотком: «Не хорошо, Гаврило Степаныч, люди на вас смотрят»...

Однажды, при таком же вот случае, когда она привела его из «Яров», он вырвался из ее рук, кинулся к дверям Будникова и стал бешено колотить в них ногой. Елена как-то вся помертвела и, будто не в силах подойти к нему, глядела только, как человек в кошмаре, когда к нему приближается что-то давно ожидаемое и страшное, против чего нельзя уже бо-

роться... Но тут вдруг дверь открылась, и на пороге появился г-н Будников... Спокойный, даже величавый, с чувством полного превосходства. Я даже, правду сказать, несколько удивился... Как бы ни было, все-таки положение щекотливое. Подробностей я еще тогда не знал, но все-таки чувствовалась некоторая нечистота и неаккуратность... И вдруг ясность взгляда, спокойствие, достоинство. И не то чтобы притворство. Нет, — заметно это было бы... Просто — полная невозмутимость.

— Что, говорит, тебе, Гаврило, нужно? Зачем стучишь ногой? Не знаешь, как надо позвонить... Вот, видишь: звонок...

И показывает ручку звонка. Гаврило посмотрел на ручку и растерялся... Действительно, дескать, ручка и, значит, ногой совершенно-таки незачем... А г-н Будников с верхней ступеньки продолжает:

— И вообще, говорит, что ты о себе думаешь и что тебе, потерянному человеку, от меня нужно? Что, обидел я тебя, поступал с тобой неправильно, жалованье хоть на день один задержал? Ну, вот ты стучал ногой... Хорошо. Вот я к тебе вышел... Что же тебе надо?

Гаврило — ни слова...

— Ну, так вот, говорит, я тебе скажу с своей стороны: лопата опять сломана, панель не подметена, лошадь не напоена, до сих пор... Лошадь бессловесная, ничего сказать не может... но, при всем том, она живая и чувствует... слышишь, ржет вот...

Этот аргумент подавил Гаврилу до такой степени, что он, побежденный совершенно и окончательно, повернулся и... отправился прямо в конюшню: и через минуту, даже как будто не пьяный, повел в поводу лошадь к водопою... А г-н Будников спокойно запер ключом свою дверь и пошел со двора. Проходя мимо моего палисадника и догадываясь, что я все видел, он остановился и, грустно покачав головой, сказал:

— Да вот, толкуют: народ, народ... не угодно ли полюбоваться...

## VIII

Скандалы эти стали уже обращать внимание. Заговорили в городе. Судили, конечно, разно. Одни стояли за Будникова. Стоит ли верить слухам? Да и ничего ведь, в сущности, неизвестно. Какие-то, с одной стороны, глу-

хие толки, а с другой — явные скандалы и безобразное нарушение общественной тишины... Но было и другое мнение. Люди низшего звания сочувствовали Гавриле. Должно быть, представлялось им, что г-н Будников, умный и сильный, похитил у Гаврилы какое-то право вроде талисмана, что ли, и теперь колдует каким-то образом, чтобы этот талисман потерял свою силу... И вот десятки глаз поворачиваются к окнам г-на Будникова и смотрят на него, когда он проходит, прямой и спокойный, как будто не замечая, что за ним тянется это облако недоумения, подозрения, осуждения, вопроса... вообще, греха. И в каждом взгляде отражается нехорошая мысль, и в каждом сердце шевельнется нехорошее чувство... Это ведь своего рода темная туча... Сотни одинаковых душевных движений, спутанных, неясных, но злых... И все направляются к одному центру...

А Будников, надо заметить, был до известной степени популярный и прежде пользовался общей благосклонностью... Даже Рогов, когда случалось ему проходить мимо нашего двора, завидя г-на Будникова с лопатой или



граблями, прежде остановится, бывало, и скажет:

— Господин Будников, Семен Николаевич, трудается... Трудивыйся да яст.

Или:

— Господин Будников помогает ближнему дворнику трудами рук своих. Похвально!

И пройдет дальше, как мимо явления безразличного или даже приятно развлекающего...

А тут все это окрасилось иначе... У меня даже физическое ощущение какое-то являлось... вроде кошмара. Как будто эти две черты... или что-то в личности г-на Будникова пропитали собою всю атмосферу... Даже, представьте, почти до галлюцинации... Идешь в гимназию или из гимназии... Высчитываешь в уме отметки... И покажется вдруг, что это господин Будников идет за тебя этим размеренным шагом, довольный от сознания исполненного долга... Или задаешь урок, или читаешь необходимую нотацию и слышишь, ну вот просто-таки слышишь эти будниковские нотки в своем голосе... когда он нищим внушает трудовые правила, или читает Гавриле мораль

по поводу сломанной лопаты, или мне самому советует «отбросить гордыню и смириться»...

Да, есть в этом обыденном, в этой смиренной и спокойной на вид жизни благодатных уголков свой ужас... специфический, так сказать, не сразу заметный, серый... Где тут, собственно, злодеи, где жертвы, где правая сторона, где неправая?.. И так хочется, чтобы проник в этот туман хоть луч правды живой, безотносительной, не на чертах карандашом основанной, действительно разрешающей всю эту путаницу... настоящей, о которой догадывается даже Рогов... Вы меня понимаете?

— Кажется, понимаю, — серьезно сказал господин в очках.

— Г-н Будников тоже, кажется, начал ощущать, что около него неладно что-то. И заметался, но, как это часто бывает, метнулся не туда, где настоящий выход... Пришел раз ко мне в обычный срок, двадцатого. Ну, разумеется, я, как всегда, угощаю чаем... Выпил, как обыкновенно, только вид не совсем обыкновенный. Не то грустный, не то торжественней. Кончил деловой визит, деньги тщательно-

но уложил в книжечку, отметил... и все не уходит... Начал говорить обиняками... вообще о ненормальности жизни, в частности о своем одиночестве, о какой-то ошибке, происшедшей от предрассудка и гордости... Потом свел на Елену и Гаврилу. Гаврила оказался полным негодяем, а Елена ошиблась и теперь глубоко несчастна... И он чувствует себя виновным, что выдал ее, но исправить это нелегко... И деньгами исправить всего труднее. Что значат деньги в руках пьяницы?.. И так далее, все обиняками, из которых, однако, под конец мне стало ясно, что г-н Будников желает повернуть всю эту запутанность к исходному, так сказать, пункту, то есть развести Елену с Гаврилой и жениться на ней самому... Тогда, значит, две черты сами собой уничтожаются и исчезают... Повидимому, он уже успел посоветоваться об этом кое с кем и в том числе с о. Николаем... Теперь решил посоветоваться еще со мною...

— А что же, — говорю, — Елену вы об этом спросили?

— Нет, говорит, не спрашивал еще... Я к ней... может быть, вы изволили заметить, да-

же не подхожу, чтобы не было никаких поводов... Но я знаю, что ей нужно... И не имею оснований сомневаться...

Попробовал я представить с своей стороны некоторые соображения, но г-н Будников не стал слушать... Быстро попрощался и ушел... Как будто опасаясь за цельность этой своей системы действий...

А через некоторое время начали, в отсутствие Гаврилы, шастать к Елене какие-то старушки с погоста, а к Будникову какие-то консistorские субъекты. Раза два, под вечер, гляжу: идет от Будникова и Рогов... Вот оно, думаю, что; молодой-то мой человек дошел уже до своего предела, и теперь понятно, зачем он спаивает Гаврилу, подготавливает нужную для г-на Будникова бракоразводную обстановочку...

И показалось мне все это, в целом, до такой степени безобразным и безвыходным, что я задумал переменить квартиру, чтобы просто-напросто уйти от этого всего... Бессонница замучила... Опять по саду шатаюсь. И однажды застаю в нем Елену. Лежит на той самой скамейке, где я сидел в то утро, вес-

ной... А теперь осень... Умирает это все, обнажается... Осень ведь большой циник... Ветер треплет опавшие листья, смеется... Лежат они на грязной, мокрой земле. А на мокрой скамейке лежит женщина лицом книзу и плачет... так и бьет всю ее плачем... Впоследствии я узнал: комбинация г-на Будникова, разумеется, была совершенно неосуществима. Услыхав об этом предположении, она только всплеснула руками: «Пусть, говорит, подо мной земля провалится, пусть высохну, как щепка...» Ну, и так далее... «Лучше заройте меня живую в землю вместе с Гаврилом Степановичем»... А Гаврило Степаныч и дома уж не ночует. И угасает недавнее чистое счастье, а она и понять не может, в чем дело, и не умеет себя отстоять. Билет... две черты... кумушки с паперти, Будников, Рогов. А она глупа и покорна, и боится, что над ней сделают что-то без ее воли...

Подошел было я к ней... хотел как-нибудь утешить. Но когда дотронулся до нее и под рукой затрепетало это бабье тело... таким оно мне показалось тогда глупым, что я даже содрогнулся, точно от бессильной жалости...

И ушел... Забыл все, и захотелось мне все бросить и отгородиться от всего. Идет мимо господин Будников... Пусть идет... Рогов делает гадости... Пусть делает! Глупая Елена пьяного мужа ведет... Пусть ведет... какое мне дело? И кому попадет билет с двумя чертами, и кому эти глупые черты дадут умное право... не все ли равно?.. Все разрознено, все случайно, все бессвязно, бессмысленно и гнусно...

## IX

Павел Семенович остановился и стал глядеть в окно, как будто забыл о рассказе...

— Ну, что же, чем же все-таки кончилось? — осторожно спросил новый слушатель.

— Кончилось?.. — очнулся рассказчик. — Конечно, все на свете чем-нибудь кончается. И это кончилось глупо и просто. Однажды ночью... звонок ко мне. Резкий, тревожный, нервный... Вскочил я в испуге, туфли надел... выхожу на крыльцо... никого. Только показалось мне, что Рогов за углом мелькнул. Ну, думаю: шел мимо пьяный и злой и захотел лишний раз досадить мне... Напомнить, что вот я сплю, а он, Ванечка Рогов, любимый уче-

ник, на улице дебоширит и хочет об этом довести до моего сведения. Запер я дверь, лег опять, засыпать начал. Вдруг — опять звонок. Я не встаю. Пускай, думаю... Только опять звонок, и в другой раз, в третий... Нет, думаю, тут, видно, что-то другое. Накинул опять пальто... Отворяю дверь. Стоит ночной сторож. Борода в инее. «Пожалуйста», говорит.

— Куда, говорю, что ты, братец?

— К Семену Николаевичу, говорит, к господину Будникову... У них... неприятность...

Я как-то так, не понимая ничего, машинально оделся, иду. Ночь светлая, холодно, поздно... У господина Будникова в окнах огни, на улице где-то свистки... ночное движение... Подымаюсь по лестенке, вхожу. И первое, что мне кинулось в глаза, — было лицо Семена Николаевича, господина Будникова... Только не прежнего, а совсем нового. Лежит на подушке и смотрит куда-то, в какое-то пространство неведомое... Странно так... Остановился я на пороге и подумал: «Как же это? Такой был знакомый человек и вдруг... совсем другой...» Совсем не тот, который приходил раз в месяц и выпивал два стакана чаю. И не

тот, который хлопотал о разводе Елены, а некто, занятый другими мыслями. Лежит неподвижно, важный, и на нас ни на кого не глядит и видит, как будто, совсем другое... И никого не боится, и всех судит: и себя, то есть прежнего Семена Николаевича, и Гаврилу, и Елену, и Рогова, и... ну, и меня тоже... И так это, понимаете, стало мне ясно...

А затем я увидел Гаврилу. Стоит у окна, в углу, жалкий, но спокойный. И так как я многое в ту минуту понимал как-то сразу, то я подошел к нему и говорю:

— Ты это сделал?...

— Так точно, говорит, Павел Семеныч. Я-с.

— Как же ты решился?

— Не знаю, Павел Семеныч...

Потом я уже заметил доктора, который сказал мне, что всякая помощь бесполезна... Потом приходили, приезжали, входили, сидели и писали протоколы... И так мне показалось тогда странно, что молодой следователь, такой аккуратный человек и такой уверенный, распорядился не отпускать Гаврилу и Елену и производит какие-то розыски... И помню, как он усмехнулся, когда я спросил:



зачем это?.. Вопрос, конечно, странный, но тогда мне казалось, что все это не нужно... И когда стали уводить Гаврилу и Елену, я как-то невольно поднялся с своего места и спрашиваю: «И меня тоже?» После явились слухи, будто у меня не все в порядке. Но это неверно. Никогда так ясно не было в голове... Следователь удивился. «Если смею, говорит, посоветовать, то — вам надо воды выпить и успокоиться». — «А Елена, спрашиваю, зачем?» — «Будем, говорит, надеяться, что все разъяснится в благоприятном для нее смысле, но теперь... при первоначальном дознании... печальная обязанность»... А мне все кажется, что делает он не то...

Увели их, а я пошел к себе и сел на крыльце. Было холодно... Ночь была ясная, осенняя, спокойная, с белым и чистым инеем. В небе звезды мерцают и шепчут. И так много во всем какого-то особенного смысла... Вот прямо слышишь таинственный шопот, только разобрать не можешь... Не то какая-то далекая тревога, не то спокойное и близкое участие.

Я как-то вовсе не удивился, когда, ко мне

тихонько подошел Рогов и робко сел на крыльце рядом. И долго сидел молча... И я даже не помню, говорил ли он что-нибудь, но я знал все... Он не думал об убийстве. Он хотел по-своему «выиграть у г-на Будникова дело Елены», Для этого нужно было овладеть билетом, на котором, как он полагал, была передаточная надпись... И ему нравилась эта остроумная комбинация: овладеть незаконными путями доказательством законного права. Видел в этом нечто даже юмористическое... Незаконное овладение законными доказательствами в виде предполагаемой передаточной надписи... Для этого он и втерся к Будникову в доверенность по бракоразводному делу... Разведал все в квартире и послал одного из своих послушных клиентов из «Яров» с приказом захватить намеченную шкатулку. А Гаврило должен был открыть дверь г-на Будникова вторым ключом, которого, по странной оплошности, Будников у него не отнял. Но Гаврило, вместо того, чтобы остаться у дверей, пошел сразу наверх. И мне казалось, что я сам видел, как он шел тяжелой походкой, с омраченной головой, с темною враждой в ду-

ше... И как он встал на пороге, и как г-н Будников проснулся и, должно быть, даже не испугался, а все вдруг понял...

А у меня в голове все стоял тот момент из прошлого, когда в мою квартиру такой же светлой ночью прибежали два гимназиста, а я стоял перед ними, охваченный стыдом и бессилием... И как у одного впервые вспыхнул в глазах огонь... злой и насмешливый...

И показалось мне, что я сейчас разгадаю что-то такое, что должно объединить все это: и эти высокие мерцающие звезды, и этот живой шорох ветра в ветвях, и мои воспоминания, и то, что случилось... В юности это ощущение бывало у меня часто... Когда свежий ум искал разгадки всех вопросов и большой правды. И когда казалось иной раз, что вот-вот уже стоишь у порога и что все становится ясно... А потом все исчезает.

Сидели мы долго. Потом Рогов встал.

— Что же вы теперь? — спросил я.

— Не знаю, — ответил он, — что тут нужно... Но пока, кажется мне, надо идти туда, где теперь Гаврило и Елена...

А сам стоит... Так как многое понимал я то-

гда яснее, чем обыкновенно, то и тут понял, что он ждет, чтобы я протянул ему руку. Я протянул, и он вдруг припал к ней, страстно и долго...

А потом оторвался и пошел... прямо по улице. А я смотрел ему вслед, пока была видна тонкая фигура моего бывшего ученика.

\* \* \*

Некоторое время в купе стояло молчание, нарушаемое только клочкотанием поезда, сквозь которое доносился протяжный свисток. Хлопнула дверь, по коридору прошел кондуктор, объявляя на ходу:

— Станция Н-ск. Десять минут.

Павел Семенович торопливо встал, взял в руки небольшой чемоданчик и, кивнув с какою-то грустной лаской своим собеседникам, — вышел из вагона на площадку. Я тоже стал собирать свой багаж, так же как и господин в золотых очках. Петр Петрович оставался один в купе. Посмотрев вслед Павлу Семеновичу, когда за ним закрылась дверь, он улыбнулся господину в золотых очках, покачал головой и, помотав пальцем около своего лба, сказал:

— Всегда был чуждак... А теперь, кажется, не все дома. Слышал я, что службу он бросил. Бегает по частным урокам...

Господин в золотых очках пристально посмотрел на него, но ничего не сказал.

Мы вышли.

\* \* \*

Дело с точки зрения репортажа оказалось мало интересным. Присяжные оправдали Гаврилу (Елену не судили), а Рогова признали виновным в подстрекательстве, но заслуживающим снисхождения. Председателю много раз пришлось останавливать свидетеля Павла Семеновича Падорина, бывшего учителя, то и дело уклонявшегося от фактических показаний в сторону отвлеченных и не идущих к делу рассуждений...

1903

# Таланты

— Талант, талант... Что такое в самом деле талант?.. Вот вы, господин артист, можете нам это объяснить?

— Да, да... Ну вот, Илья Андреевич, — объясните в самом деле... — лениво поддержал другой собеседник...

— Гм, — отозвался Илья Андреевич, откашляваясь и наливая чай из полуостывшего самовара... — Слово латинское... А смысл глубокий... У нас, скажу вам, в труппе, из-за этого слова раз большая потасовка вышла.

— Да?..

— Именно да.

— Ну, и расскажите... Господи, скука какая...

— Рассказать можно... Действительно скука... И еще... посмотрите в окно... Кажется, опять дождь...

В окна стучало что-то серое, — дождь или снег, — разобрать было трудно. По стеклам тихо стекали слезливые струйки...

— Помрем мы здесь, в этом проклятом «трахтире». Ну, рассказывайте, что ли...

— Да ведь что... и рассказывать почти нечего...

Говорил это господин с плохо выбритым, несколько одутловатым лицом, обличавшим актера. Разговор происходил в сельском трактире с вывеской: «Трахтир Вена с горячими напитками». Трактир стоял на горке над небольшой рекой, притоком Волги, и его теперь со всех сторон било ветром, дождем и изморозью. Внизу, в долинке, сиротливо ютилась деревенька. В окна в одну сторону виднелась река Сура, еще покрытая некрепким льдом, в другую — большая дорога из уездного города N на Симбирск. Дорога сбегала полого вниз, терялась из виду за косогором и потом из глубокого оврага тяжело подымалась на довольно крутой лесистый склон грязной, раскисшей лентой. Кругом по черному пару лежали пятна «изнывающего» снега. Висело низкое небо, тяжело носились вороны. Было еще рано, но казалось, что уже вечерет...

В деревенском придорожном трактире, по какому-то капризу хозяйской фантазии названном «Веной», уже третий день празднично проживала компания из трех человек. Илья

Андреевич, довольно известный провинциальный актер, человек, видимо, усталый от беспокойной профессии, несколько потерянный, с низким грудным хрипловатым голосом. Ему нужно было спешить в Симбирск, к началу осеннего сезона, но задержала распутица. Его собеседники были: молодой изящный блондин с умным лицом, светлой зарослью и красивыми синими глазами. Это был богатый человек, мечтавший о литературной профессии, но пока печатавший только стихи в местном губернском органе... Он больше лежал в постели, часто зевал, но вообще держался с достоинством. Третий — маленький человечек, с видимым расположением к полноте, с породистым нерусским лицом, лысый, с толстыми усами над очень полными пунцовыми губами, — на первый взгляд производил впечатление несколько комическое. Он был очень нервен, часто вскакивал со стула, бегал по комнате, глядел в окно и проклинал погоду. Несмотря на малосолидную внешность и на то, что его близкие и даже не очень близкие знакомые звали Грегуаром и даже уменьшительно Горчиком, — это был



человек очень дельный, воротила N-ского земства и уездный предводитель дворянства. Его любили, а кто и не любил, все равно обойтись без него не могли. Он был человек «передовой», остроумный, мнения свои выражал открыто, и его остроты порой «прилипали». И все же его прекрасно выбирали каждое трехлетье.

В «Трахтире Вена с горячительными напитками» они съехались случайно. Осень, казалось, установилась ранняя, санний путь встал сразу и даже реки стали быстро и крепко. Но затем вдруг повеял теплый ветер, растопил снег, погнал его ручьями, точно весной, и расквасил дороги. Ехать черноземным немощным «трактом» оказалось невозможно. «Хошь бы на ночь подморозило, — говорили мужики, — утречком и перебрались бы, господи благослови, как ни то, через Мокрый враг»... Но и ночи стояли все такие же: сырой, пронизывающий ветер с дождем или тут же тающим снегом.

Всех спокойнее мирился с задержкой актер. Полная превратностей жизнь приучила его к философии. Он весь день пил чай с пло-

хим трактирным ромом, раскладывал па-  
сьянс или спал. Порой развлекал собеседни-  
ков анекдотами, которые рассказывал с лени-  
вой полусерьезностью.

Трудно сказать, почему в этой обстановке  
зашла речь о таланте...

— Ну, что же, черт возьми, — нетерпеливо  
сказал Грегуар, безнадежно рванувшись  
опять от окна. — Расскажите вы нам, наконец,  
о вашей потасовке из-за таланта?..

— Расскажу, — спокойно ленивым баском  
ответил Илья Андреевич, — но если вы ждете,  
что это надолго разгонит ваш сплин, то разо-  
чаруетесь. Просто, видите ли, дело в одном  
разговоре, тоже вот, — как и у нас сейчас, — о  
таланте. Такая уж волнующая тема... Была у  
нас в труппе актриска одна... Любецкая. В  
провинции имеет успех.

— Бездарность, — авторитетно сказал поэт.

— Ну, нет... Не скажите, — возразил, ожив-  
ляясь, Грегуар. — Я ее видел в N-ске... Что-то  
есть...

— Вот именно, как вы изволили выразить-  
ся, что-то... В роли, какую ни дайте, действи-  
тельно, пожалуй, бездарность... Досада одна.

А что-то чувствуется... Особенное этакое, женское...

— Сорокапятилетняя баба... — отозвался опять поэт.

— И сорокапятилетняя, правда. И вот, извольте видеть, — в этом, пожалуй, и вся штука. Ведь привлекает. И не только одних водителей, «поклонников», — эти, как мухи на мед... А и публику, ту, которая нам интереснее, которая дает сбор...

— В чем же, по-вашему, дело?

— По-моему? Дело все-таки... в таланте-с...

— Да ведь сами же вы его отрицаете...

— А вы вникайте... В том-то и дело-с: что такое талант? Разные ведь и таланты бывают. Вот, как-то в Астрахани, в свободный вечер пошел я в цирк. В своем деле собратья тоже, артисты, как и мы грешные. Так там у них молодой человек был. Скачет на спине лошади, затянутый в трико... Между пятками держит шар от бильбоке, а чашку приделал, каналья, к носу. На всем, представьте, скаку поддает шар пятками кверху, а носом ловит...

— Черт знает что! — сказал поэт с видом возмущения.

— Сам видел, — спокойно ответил Илья Андреевич. — И не черт знает что это, а именно талант. Дайте эту задачу гениальнейшему математику: по механике-то пусть он рассчитает... А тот без теорий вероятностей одной этой отгадкой мускулов... делает!.. И посмотрел я в это время на лицо его... Ну, лицо, положим, ничего особенного, а во всей фигуре — легкость, беструдность эта, порыв, восторг, вдохновение... И ведь как захватывает толпу... Дамы, уж не говорю: лавочник поблизости от меня сидел, — толстый, заматерелый за прилавком... Поверите, — весь так и трепещет и устремляется в пространство... Это что значит? А значит это, милостивые государи, психическое воздействие... Да, да! Талант, почти гениальность мускулов. Она бессознательно накоплялась предками этого жонглера в течение многих поколений, как предками Ньютона накоплялась для него способность математических обобщений, как предками Кина — драматическое дарование... Поймите, Грегуар, не волнуйтесь... потому что я прав. Что делал Кин: плакал и заставлял плакать толпу... Другой смеется и заставляет сме-

яться. Ну, а этот летает и... подьемлет, так сказать, за собою несчастных мещан, порабощенных притяжением земли.

Грегуар и поэт засмеялись. Илья Андреевич деловито разбавил холодный чай коньяком.

— Ну, а Любецкая? — спросил Грегуар. — В чем же ее талант? Кого и куда она за собою подьемлет?

Актер посмотрел на него и сказал:

— Вас первого... Да. Признавайтесь: не вы ей в N-ске серебряный сервиз поднесли?.. И теперь вот как вас захватило любопытство... Любопытно? Захватывает?

— Что ж... Действительно любопытно, — сказал Грегуар, слегка покраснев. — Нет, не шутя. Я чувствую, что вы правы. Игра, действительно, посредственная. А что-то есть.

— Ну, вот-вот, — сказал Илья Андреевич поощрительно. — И это что-то — есть талант... Пожалуй, даже драматический, хотя не театральный...

— Непонятно...

— Женская драма, настоящая, коренная, сердечная. И женская игра, захватывающая

невольню зритель. Кто это сказал: женщина стара только тогда, когда сама это захочет признаться... Ну, а если она женщина настоящая, или скажу по-иному, — если у нее женственность есть преимущественный талант, — так когда же она захочет это признать? Ну, и идет борьба... как это хохлы говорят: піп свое, черт свое. Так и тут: годы свое, женщина свое: не хочу!

— Мало ли что: не хочу, — равнодушно сказал поэт. — Приходится... Много на свете крашенных дур.

— Много-с, это верно. Бездарностей вообще больше, чем талантов. Ну, а талант вот вам: самая эта Любецкая. Вы изволили сказать: сорокапятилетняя баба. Скажу вам, так и быть, по секрету, — сорокавосемилетняя... Сама мне раз призналась: «сорок восемь, голубчик Илья Андреевич, сорок восемь». И заплакала. И так это вышло трогательно, и так она была тогда хороша, что я ей ручки расцеловал... Да, вот и подите! Ведь и знаю, что сорок восемь, а играет она... не на подмостках только, а и в жизни, — восемнадцатилетнюю институточку.

— Ну, уж...

— Да-с, вот вам и ну уж... Иду как-то рано утром по улице: гляжу, идет с базару, платочком повязана, а театральная горничная за ней с корзиночкой. «Куда это, Калерочка?» — говорю. «На базар, представьте. Теточка (есть такая теточка у нее, — все с нею ездит. Удобная: когда надо, она есть, когда не нужно, нет ее. Что нужно, видит, чего не надо, — слепа...) захворала, говорит. Мне нужно самой идти покупать... это... это... (и пальчиками так мило делает в воздухе). Ну, что в суп кладут».

— Говядину, Калерочка?

— Ну вот... Такое противное слово...

— Шарж, — сказал поэт с гримасой.

— Пожалуй, но шарж-то какой... талантливый. И знаешь, что шарж. Шарж тоже имеет свое место в искусстве, и если художественно, — то и за шарж поцеловать хочется.

— Я понял бы еще, если бы вы говорили ну хоть о мадам Рекамье. Это действительно... талант неувядающей молодости...

— Ну, что Рекамье. Явление другого порядка-с. Это непосредственность, натура, так сказать... А я говорю об искусстве.

— То есть?

— Да... Искусство никогда не бывает непосредственно... Вы думаете, Рашель в самом деле сливалась целиком с изображаемой героиней?.. Да если бы она на подмостках хоть на минуту стала Федрой, — ее бы вывели из театра за бесчинство... Величайший актер всегда раздвоен: он чувствует, конечно, то, что изображает, и чувствует также — свою публику... Это уж поверьте:...Как только эта ниточка, связывающая актера с публикой, разорвана, — кончено! Роль испорчена...

— Ну, допустим... — сказал поэт, — но вы, кажется, уклонились.

— Нимало. Вот я и говорю: то Рекамье, а то Калерочка. Рекамье — непосредственное явление природы. Калерочка — талантливая женственность. Создала себе образ Калерочки-институтки и играет его чудесно: заражает верой в него. Заражает себя, меня — человека, гм... довольно преклонного возраста. Заражает публику... И не одних ведь мужчин. Дамы тоже чувствуют этот драматизм женственности в борьбе с роком и тоже валом валют смотреть Калерочку. Взгляните тогда на



театр, на эти молодые лица в ложах. Какое участие, какое сочувственное оживление. Вы думаете, это они следят за тем, как героиня драмы справляется с ответственными монологами?.. Нет-с. Их интересуется, как Любецкая играет молодую, как женщина побеждает годы... Есть в этом что-то захватывающее для всех... Удалось ей, — вся женская половина торжествует... своим этим сочувственно женским торжеством... Вот, дескать, мы какие бываем в сорок пять лет.

— А мужчины?

— А мужчинам, думаете, тоже не приятно видеть еще и еще это мелькание вечно женственного? Как бы там ни было, — все захвачены. Мы вот, «товарищи». Видим ее за кулисами... интриги у нас и все такое, а спросите меня, старого дурака... Ведь влюблен... Вижу ведь: и морщинки кремом заштукатурены, и глаза подведены... А поглядит из этой рамки трогательный взгляд, лучистый и как будто напуганный... так и хочется приласкать и утешить... Калерочка, милая, институточка ты, не баба сорокапятилетняя, как вот этот господин изволит говорить... Эх, вы, а еще по-

эт... Чего вам, если мы, травленные звери, поголовно ею, как говорится, затронуты...

— Ну, а она? — с интересом спросил Грегуар.

— Г-м, как вам сказать... Ну, влюбляется, конечно, но с удивительным тактом. И прежде всего — никогда в молокососов. Чувствует, что это старит, а она ничему, даже любви не отдаст в жертву своего культа, то есть образа этой неувядающей красоты, который носит в душе... Было один раз: начала увлекаться юным одним балбесом...

— Все-таки было? — сказал Грегуар и подсел к рассказчику.

— Ну да. И парень-то остолоп совсем, и рожа идиотская, удивительно пошлая. Сердце у меня за Калерочку изболело... Кончено, думаю, сразу он ее старой бабой сделает... Пробовал даже с нею по душе говорить, как друг: «Калерочка, говорю, милая... Знаете, кто с гимназистами связывается?..» Побледнела даже, бедная, а совладать с сердцем трудно. Главное, — победил он ее действительно замечательным талантом...

— Черт знает что, — расхохотался Грегуар.

ар. — То вульгарный остолоп, то замечательный талант...

— А вы думаете, не бывает? Эх вы, наивность!.. Этак же вот знакомая одна юная актрисочка, за которой приударил было один известный писатель. Действительно известный, даже портреты в иллюстрациях печатались... Ну, наша бедная Анюточка сразу размякла... Глаз с него не сводит, когда он за кулисами появится, в публике только его глазами ищет. Потом пошли прогулки при луне... На реке, в гондоле... Это у нас так старая рассохшаяся лодка называлась... Только вдруг замечаю: в глазах у Анюточки недоумение какое-то... Точно вопрос какой разрешает. А один раз вбегает ко мне, лицо не то смешливое, не то испуганное. Вбежала и сразу хохотать... — Анюточка, что с тобой? Истерика, что ли? Может, обидел тебя «знаменитый» твой?.. Так ты мне скажи. Я ему, такому-сякому, пожалуй, и бока намну. — Она руками замахала: «Не то, не то!» Успокоилась, наконец, посмотрела на меня и говорит почти с ужасом: «Илья Андреевич, ведь он... совсем дурак!» — Кто? — говорю. «Да он, знаменитость

наша». — Ну, что ты, говорю, Анюточка, бойся бога... Ты это в каком-нибудь особом, своем смысле, что ли?.. Глупо тебе свои чувства изъяснил? В науке любви против гимназиста нынешнего не выстоит? Так ведь это и с очень умными мужчинами бывает. Это от отсутствия практики. — «Да нет, говорит, просто дурак набитый, в обыкновенном смысле... Какие бывают обыкновенные дураки». — Что ты, что ты это?.. Тебе ли, Анюточка, судить? Напрасно, что ли, портреты в иллюстрациях печатают, опомнись! — «Илья Андреевич, говорит, разве я не понимаю?.. Я ведь и сама испугалась было. Сама себе вот это все говорила. Но что же делать: ей-богу, дурак...» И пошла рассказывать... И вижу я, действительно дурак. А ведь герои у него порой говорили очень неглупые вещи...

— Как же это может быть?

— Талант... Воображение-то выше его ума. Так живо умного человека себе представит, что тот даже и умные вещи говорит, которых сам-то он, автор, своим умом и не придумал бы никогда... Так вот оно что. Можно ли после этого удивляться, что наш-то идиотик умных

и интересных людей на сцене представлял? И так играл, представьте, что рецензенты называли его «умным актером». Завоевал всех, да и только. В том числе и бедную Калерочку. Любил ли он ее действительно, потянуло ли его, как зеленого гимназиста тянет иной раз к даме бальзаковского возраста, только наш генерал стал оказывать милостивое внимание примадонне. Нахал... Избалованный общими этими овацзиями, он и тут держал себя Тамерланом. Ах, очень мне горько бывало минутами... Ломается он, а она любит. Он глупости говорит, а она каждое слово ловит, как на икону смотрит... Преклонение, благоговение, восторг... Он ломается несносно, а она за каждым его жестом устремляется... Не знаю, чем бы и кончилось, да Граматин, спасибо, выручил. Вы Граматина не видывали? Резонер играл. Умно, но не талантливо. Человек очень образованный, тактичный, джентльмен на сцене и в жизни, роли обдумывал со всех сторон, всем давал полезные советы, но в игре его не было того непосредственного огонька, той отгадки, которая была у дурачка Смирнова... И странно, заметьте: природа не

обделила и его талантливостью, только этот дар поднесла ему в другой форме: положительное дарование ко всем видам спорта. Велосипед, трапеция... верхом ездил, как кавалерист, на рапирах не имел соперников даже в среде немецких буршей... И был он, надо сказать, давно и сильно предан Калерочке. Много страдал, но нес свой крест с достоинством. Всего тяжелее досталось бедняге это увлечение Калерочки юным пошляком Смирновым... Тут уже не мог сдержаться, стал заметно ревновать, осунулся, потерял сон. Смирнова ненавидел от всей души... Однажды в свободный вечер собрались мы у Калерочки чай пить. Говорили о том, о другом, и не помню уж по какому случаю, вот так же, как у нас теперь, — зашла речь о таланте. Принялись судачить о своей братии, преимущественно отсутствующих, хотя и присутствующим тоже не давали спуска. Смирнов говорил мало, но глупо, и, что было всего глупее, — держался совершенным властителем. Ему, видите ли, было неприятно, что в этот вечер у Калерочки он не один. Может быть, он как раз возлагал на него надежды, — толь-

ко он явно выказывал всем нам оскорбительное пренебрежение, не скрывал дурного расположения духа, много пил и начинал пьянеть. Между прочим, когда заговорили о талантах, он вдруг как-то вульгарно грубо вмешался в разговор...

— Слушаю я, слушаю, — говорит, — и все это пустяки... Никто не знает, что такое талант... Ведь вот и вы, господин Граматин, не знаете? А? — И посмотрел на Граматина нахальными глазами... Бывают такие взгляды, в которых как-то сразу отразится вся, так сказать, ситуация. И на этот раз в пренебрежительной фразе Смирнова все мы сразу услышали и то, что он, Смирнов, всех нас считает ничтожествами, и что он недоволен нашим присутствием, и что он торжествует над Калерочкой, а Граматин считает бездарностью. И сразу стало как-то особенно тихо.

Граматин сидел весь вечер молча, не принимая участия в разговоре. На вопрос Смирнова он поднял голову и очень спокойно, даже вежливо ответил:

— Я могу, если вы непременно желаете, удовлетворить ваше любопытство, господин

Смирнов.

— Н-ну-с, — тот говорит. — Это оч-чень любопытно, что господин Граматин может сказать о... таланте!..

— Талант, — ответил все так же спокойно Граматин, — есть драгоценная ноша, которую судьба часто взваливает на спину осла!

— Ха-ха-ха! — захохотал Грегуар. — Это замечательно.

— М-да... остроумно, — поддержал поэт.

— А главное, — ведь удивительно верно! Афоризм, и сам по себе имеющий цену, удивительно шел к данной минуте. Анюточка, наивное существо, как услышала это, так из груди у нее вырвалось этакое выразительное: а-а-х... и даже руками всплеснула... Граматин сказал это так просто и вежливо, точно совсем не подозревал, куда попадает его ответ. Положение вышло такое, что и умному человеку впору. А Смирнов был, говорю вам, осто-лоп. Услышав ответ Граматина, он даже несколько разинул рот, повел глазами, как бык, увидевший красное сукно, и сказал:

— Это вы... милсдарь, — по моему адресу?

Граматин сдержанно ответил:



— Вам лучше знать, насколько вас тяготит этот груз...

Анюточка прыснула так выразительно, что не могли удержаться и другие. Улыбнулась даже Калерочка, и Смирнов увидел эту улыбку. Лицо его сразу сделалось свирепо, он поднялся, слегка покачнувшись, из-за стола и... неожиданно для всех, кинулся на Граматина с кулаками... Ну, тут произошла неожиданность. Граматин, высокий этакий и стройный, как стальная пружина, сразу поднялся, сделал что-то, и через несколько секунд Смирнов с недоумением на лице лежал на полу, под стенкой... Граматин без суеты, без возни, уложил его как-то спокойно, как можно уложить бревно под стенкой сарая...

— Превосходно! — сказал экспансивный Грегуар, вскакивая со стула. — Ну, и что же?..

— Да что же, — дуэль. Оба учились в одном университете, только Граматин лет на двадцать ранее... Ну, два бурша... Час и место... рапиры... Их предложил на свое несчастье сам Смирнов.

— Неужели Граматин убил его?

— Нет, только после дуэли у Смирнова ока-

зался отрезанным самый кончик носа... Положим, хирурги ему опять этот кончик пришили... И, представьте, — даже пришили недурно. Однако... карьера его оказалась совершенно испорченной... Точно вместе с кончиком носа Граматин отрезал у него драматический талант...

Грегуар опять захохотал:

— Ну, послушайте! Ну, это невозможно... Вы нас просто дурачите...

— Я вам рассказываю то, что было. И что же тут невероятного? Артистический талант, — это своего рода двусторонний гипноз. Артист гипнотизирует массу, а она обратным, так сказать, током гипнотизирует его самого. И у Смирнова этот самогипноз был в степени превосходной. Первый любовник!.. Он был уверен, что он Адонис. И в жизни, и на сцене. Манера у него была чисто кавалерийская: шел уверенно в атаку в самообаянии красоты. И особенно гордился — носом. А тут — чувствует: уязвлен в самое ответственное, так сказать, место. Стал все смотреться в зеркало и щупать кончик носа. Товарищи, вдобавок, народ подлый. То и дело пристают с вопроса-

ми: «Ну что, ну как?.. Покажите, пожалуйста-ста...» — «Удивительно, — ведь совсем почти незаметно». — «Нет, все-таки заметно...» — «Говорят, со временем станет лучше». — «Нет, со временем станет хуже...» Ну, и т. д. Бедняга сосредоточился весь на этом: стал спрашивать у посторонних, как они находят его нос, и понемногу обратился в посмешище. На сцене тоже потерял весь апломб, ежился под биноклями, отворачивался... Одним словом, потерял эту гипнотическую уверенность в своей власти над публикой, а с нею потерял и власть.

— А Любецкая?

— Ну, она еще до дуэли, непосредственно после скандала, очень холодно просила его не приходить к ней больше... Вот, господа, и вся история. А теперь давайте опять скучать. Я — за свой пасьянс. Грегуар, посмотрите в окно: дождь?

— Дождь, — безнадежно сказал Грегуар. — Э! Да что это? Кажется, судьба посылает нам еще кого-то.

## **Талант**

Да, что такое в самом деле талант? И мо-

жет ли глупец быть талантливым человеком?

Несомненно, может. Талант, по чьему-то (может быть, и моему собственному) выражению, часто похож на драгоценный груз, который судьба возложила на спину осла.

Есть всякие таланты, — не только в литературе и искусстве. Человек скачет, стоя на спине лошади, между пятками он держит шар от бильбоке, а стерженек приделан у него к носу. На всем скаку он поддает шар пятками — высоко кверху, и своим отверстием шар попадает ему на нос. Это несомненный талант, почти гениальность мускулов и двигательных нервов. Она накоплялась предками жонглера в течение поколений, как предками Ньютона накоплялась для него способность наблюдения и обобщений...

Я знаю даму сорока шести лет, которая имеет вид семнадцатилетней: тот же цвет лица, тот же взгляд, недоумевающий и невинный, та же манера держать себя, та же наивность... — нет, наивность значительно больше. Говорят, это стоит ей многих усилий, — скульптурных, артистических и всяких иных. Многие знакомые полагают, что этого объяс-

нения достаточно: «Старая дура, дескать, которая подкрашивается каждое утро...» — Позвольте, однако. Дело не так просто. Мы видим много «старых дур», оскорбляющих зрение грубыми приемами поддельной молодости. Более умелая имитация?

Вот уже и талант. Художественная скульптура, художественная окраска, потом художественная игра молодости, — все это таланты, но таланты только служебные, — они все служат одному господствующему таланту, — таланту живучей женственности и юности женского чувства...

— ?

— Конечно. Посмотрите на глаза: ведь их можно только подрисовать, но не осветить, не заставить сверкать и темнеть, манить, обещать, отталкивать... Пока у женщины такие глаза, — она молода, а цвет лица или морщинки — только случайные недочеты, которые она вправе исправить, как фотограф ретуширует портрет, не устраняя сходства... Попробуйте изо дня в день, недели, месяцы, годы, играть несвойственную вам роль, — вы увидите, что это вам не под силу. Но когда

женщина, все равно во сколько лет, все еще чувствует в себе эту силу производить иллюзию, когда она готова к ней каждую минуту... нет, это сама натура, и не говорите мне, что она красит волосы... Если это и глупо, то разве потому, что, вероятно, с седыми волосами она была бы еще красивее и привлекательнее, но у нее есть свой женский талант, и она будет молода до тех пор, пока ей не изменит сила — желать этого...

В одном приволжском городе я знал исправника. Это был человек самого ординарного полицейского вида, и все его считали феноменально глупым. Пожалуй, это была правда: трудно было представить себе человека глупее в обычных сношениях уездно-городского обихода. Пока он являлся в клубе, за бильярдом, во время разговоров за буфетом или за чайным столом в гостях, — перед вами был самый банальный дурак, некоторые речения которого давали пищу уездному остроумию. Но... все это только до тех пор, пока... «не требовал поэта к священной жертве Аполлон»... Его священная жертва была служба, то есть «сбор податей» и «водворение порядка» в кре-

стьянской массе. Тут его таланты просыпались внезапно, — именно, «как пробудившийся орел». Начать с того, что он весь преобразался. В «нашем» обществе он обладал походкой военного и отчасти светского человека, — гибкой в носках и с грациозными движениями стана. Но вот, он кончил с вами беседу *a parte*[21] в отдельной комнате. Перед крыльцом позвякивает колокольчик, и бравый урядник пришел доложить, что все готово. Последнее пожатие вашей руки — и знакомый вам образ куда-то испаряется. Грациозность походки, гибкость носка, волнистые движения стана исчезли. Иван Спиридонович внезапно окаменел, превратился как бы в паралитика. Зрелище до того внушительно и отчасти трагично, что сотский, подающий шубу, уже дрожит, и даже у урядника, обматывающего шею его высокоблагородия теплым шарфом, слегка вздрагивают руки. Старшина с урядником подхватывают его под руки, сотские и десятские распахивают двери, общее трепетное благоговение, начиная от порога комнаты, так и веет до самых саней. Боже мой, как трудно Ивану Спиридоновичу

сесть в эти сани. Его бережно подсаживают, поднимают, вносят, сажают, точно причудливый драгоценный тюк, на котором написано: «осторожно» и «верх». И у всех в это время на лицах выражение необыкновенного участия и испуга. Даже не участвующий в процессе волостной рассылка являет на своем лице такую смену выражений, точно вот-вот сейчас Ивана Спиридоновича уронят, и он расшибется вдребезги, как хрупкое стекло. А вслед за этим произойдет взрыв, от которого неминуемо погибнет вселенная... Зато, — какой вздох облегчения, когда все обошлось благополучно, и — какой трепет у следующего волостного правления.

Знаю, вы опять скажете — глупость. Но ведь я и не отрицаю этого. Посмотрите, однако, что за талант! Подите, каменейте этак всякий раз при данных обстоятельствах. Не выдержите и полугода, попроситесь в отставку. А Иван Спиридонович выдерживает всю карьеру. Почему? Потому, что это талант, мастер, художник! Художественное творчество — беструдно, — говорит, если не ошибаюсь, Шиллер. Это именно так. Талантливая



красавица сорока пяти лет потому именно находит силы для своей роли, что она ей «бес-трудна». Она делает это wie der Vogel singt[22]. Я часто наблюдал Ивана Спиридоновича в процессе окаменения и пришел к заключению, что он каменеет действительно, искренне, настояще, не токмо за страх, но и за совесть. Сразу же, при входе урядника и при звуке почтительного доклада: «готово-с», — какое-то нервное вещество разливается по его существу, проникает до тончайших исправницких фибр. И по мере того как он шествует среди двух рядов своих подчиненных, объятых трепетом, — его собственное окаменение возрастает. Ученые, кажется, называют это контактом. Иван Спиридонович воздействует на среду, — среда возвращает ему отраженное воздействие... Чем более они трепещут, тем более он каменеет. И вот почему, дойдя до саней, он уже превращается во что-то, подобное стеклянному сосуду.

— Но зачем же все это?

— А-а, как вы не понимаете; разумеется, для пользы службы...

— Позвольте, однако... какая же польза от

стеклянного исправника... То и гляди расши-  
бется.

— Ну, нет-с. Это вы так говорите только по-  
тому, что я описал вам лишь отъезд талант-  
ливого человека из города. Это ведь только  
первый акт, даже вернее: только поднятие за-  
навеса. Теперь представьте себе дальнейшее:  
приезд в деревню. Вообразите глухое село  
земледельческого уезда, запустившее недо-  
имки. Занесенные снегом крыши, большое  
дерево с старыми грачиными гнездами посре-  
дине улицы, лениво вьющийся дымок, ну, и  
все остальное... И вдруг вдали... колоколь-  
чик... Ближе, ближе... К крыльцу подкатывает  
взмывенная тройка. От лошадей валит пар, у  
ямщика на лице тупое отчаяние, только се-  
док имеет вид грузной сидящей статуи, —  
вроде фараона Аменофиса, — только, конеч-  
но, одетого в шубы, соответственно климату,  
и фуражку, соответственную современно-по-  
лицейскому званию. Процедура высажива-  
ния — опять с теми же подробностями и теми  
же опасениями. Его члены неподвижны. Он  
ничем не облегчает как будто процесса выса-  
живания, который весь, так сказать, возлага-

ется на ответственность подчиненных. И ведь подумайте: танцор, — а тут совсем паралистик. На лицах высаживающих: благоговение, напряжение, ужас. Храни господи, — уронят. Расшибется и — взрыв вселенной... Наконец он водворен на въезжей, шубы сняты, подан самовар, а уж в это время по занесенным снегом проселкам бегут посыльные, собирать сотских, десятских, просто стариков к приехавшему начальству... И все, заметьте, уже видели приезды и отъезды, уже испытали «контакт», уже предрасположены известным образом. В передней избе, за дверью которой в горнице происходит таинственный процесс насыщения грозной особы, уже столпились «подчиненные». Не дышат, не заговорят, не смеют кашлянуть... Тишина волшебная... «Не шелохнет, не прогремит» — как это сказано у Гоголя. Именно — не прогремит: попробуй какая-нибудь сошка кашлянуть, ведь это была бы потрясающая дерзость, — гром, да и только, за коим последует уже с другой стороны испепеляющая молния. Вот у какого-то старика на тусклом лице, обрамленном лохматой рыжей бородкой, появляется выражение

предсмертной тоски... Это ему хочется кашлянуть или он почувствовал резь и урчание в животе... Другой тихонько, на цыпочках выходит в коридор, чтобы высморкать нос. И все провожают смельчака неодобрительными взглядами. Вдруг дверь отворится, и он будет застигнут на середине комнаты...

Может быть, исправник ляжет еще отдыхать. Нельзя быть уверенным, что ему этого хочется, — это будет опять по долгу службы. Результат таинственного «контакта». Напряжение передней горницы так и рвется сквозь запертую дверь, производя обратное воздействие. Исправник отлично понимает это напряжение (сам ожидал губернатора) и бессознательно взвешивает его силу. Мало, недостаточно!.. Как капельмейстер-художник неслышными движениями своей палочки в воздухе взбивает все выше волны fortissimo и сам плавает в этих волнах, так Иван Спиридонович невидимым своим присутствием за дверью напрягает трепетное ожидание и рабы чувства... Недостаточно!.. И он стучит, и ему приносят подушку, и он ложится... И он спит именно сколько надо...

Просыпается... На столе стоит остывший самовар, по стенам висят портреты и картины патриотического содержания... Все то же, но Иван Спиридонович чувствует, что в атмосфере произошла значительная перемена. Все тихо до невероятности. Тихо не только в горнице, в передней, — тихо на дворе, на улице, во вселенной... О том, что исправник спит, а «мужики» (отцы, дети, мужья, братья) ждут на въезде, знает уже село, знают ближние деревни и поселки... Напряжение ожидания разлилось из избы, пронеслось над занесенными снегом крышами, пробежало по сумеречной дорожке от перелеска к перелеску, остановилось у колодца с неясно видными бабами, стукнуло в подслеповатые оконца и — летит обратно, волшебным образом обрастая недоумением, ожиданием, страхом, и Иван Спиридонович уже его чувствует... Душа проснувшегося Ивана Спиридоновича играет какую-то симфонию, ликующую, торжественную и... мрачную... Он подымается... Подымается не просто, не банально встает с дивана, как у себя дома: он чувствует себя, как Атлант, вздремнувший под ношей земли и

подымающий ее вместе с собою... И вы скажете, что он не психолог?.. Не талант, не административный артист, играющий торжественную симфонию власти в безответной стране? Он тут еще один, но он фокус всего этого коллективного настроения, он дирижер, а эта трепетная деревня — его инструмент... Он уже настроен, он ждет прикосновения руки артиста...

И вот отворяется дверь, он выходит, он оглядывает присутствующих и подходит...

— Господи, царице небесная, кажись, ко мне...

Я прошу вас поверить, что Иван Спиридонович никогда не читал истории и об Иоанне Грозном, кроме того, что он был грозный, ничего не знает. Это я говорю к тому, чтобы уверить вас, что он вполне самостоятелен. Выйдя из дверей, он направляется (всегда по вдохновению) к любому из трепещущих субъектов и слегка наступает ему лощеным носком сапога на лапоть. И ведь удивительно: вы знаете, что такое лапоть: кора, потом два вершка портянки. Между тем многие мужики вам скажут, что лапоть в это время болит, как мо-

золь, болит как-то особенно, — от поверхности своего лыка до самой глубины мужицкого мозга. А Иван Спиридонович, стеклянный исправник, которого недавно («осторожно», «верх»!) высаживали из саней, — стоит рядом и смотрит, неподвижно смотрит в лицо... Блиско... И плечо с погоном вздрагивает.

«Господи! Хошь бы уж ударил», — думает в тоске бородатый старик, — но Иван Спиридонович ударяет редко. Он только смотрит, и рука его (ей-богу, сама, непроизвольно, искренно) вздрагивает и стремится ударить. Но что-то ее держит, — и опять это что-то не банальное «сознание», а какой-то таинственный рефлекс, бессознательное чувство меры истинного мастера-психолога...

На лице мужика, на лбу и даже на носу появляется холодный пот, — внезапный, быстрый, проникающий из самого нутра. И капли тихо сплывают вниз. Это мгновение самое удобное для начала разговора.

И он начинает... Как именно, — это уже всё равно. Надо правду сказать: Иван Спиридонович — человек далеко не красноречивый. Три фразы он связывает с трудом, но разве дело в

этом? Дело в том, что тут даже нечленораздельное мычание производит впечатление могучей симфонии пробуждения льва в безмолвной пустыне...

Над занесенным снегом селом несутся тучи, грачи летают, каркают вороны... В домах со вздохами добывают «лишнее имущество». Недоимка, поверьте, будет собрана в размерах, которые удивят губернию... И это не талант? — Да, это... это сам «механизм управления»...



# Ушел!

## (Рассказ о старом знакомом)

### 1

Несомненно, что пароходы и паровозы, вообще усовершенствованные средства передвижения, при всех своих преимуществах, имеют один крупный недостаток: они извращают перспективу и, сближая отдельные пункты между собою, удаляют нас от страны вообще. Мчишься в поезде от станции до станции или на пароходе от пристани до пристани, и страна мелькает мимо с головокружительной быстротой, оставляя впечатление грохота, свиста, дыма, в лучшем случае молчаливого пейзажа, красиво освещенного луной... И где-то там, вдалеке, еще мерцают огоньки... Но как живут в этих деревнях, куда едет эта телега, промелькнувшая на пыльной дороге, рядом с полотном чугулки, о чем говорят эти мужики, остановившиеся в сумерках перед железнодорожным барьером у будки, в поле, — все это в виде мимолетного вопроса проносится и исчезает... И пока эти мужики доедут на своих тощих лошадках до своей де-

ревни за десять — пятнадцать верст или до базарного села, или пока погаснет на берегу реки костер, у которого с паровой палубы мы видели темные фигуры рыбаков, ночующих на отмели, — вы уже будете далеко, в другой местности с другим характером, с другими людьми и другими интересами. И затем в воспоминании путешественника откладывается только быстро мелькнувшая пестрая панорама, гул, свист, движение и еще железнодорожные буфеты. «А! Клин! Поезд стоит пятнадцать минут, отличные пирожки». Или: «Станция Надсада... Отвратительное пиво».

С этой точки зрения страна слишком упрощается и представляется какой-то легкой. Так удобно и так скоро проносятся мимо все эти впадины и горы, деревни, местечки, мосты, подъемы, проселки, переправы... И начинает казаться, по обратной ассоциации, что и в этих деревнях, поселках, на этих переправах и пыльных дорогах так же легко, и так же удобно, и так же гладко идет их жизнь...

Но стоит сойти с поезда или с парохода — и точка зрения сразу меняется: поезд свистнул и умчался, и исчез из виду, пока вы про-

шли несколько десятков сажень; пароход завернул за отдаленную гору на повороте реки, пока вы успели взобраться на глинистый откос по крутой тропинке, — а вы остались и чувствуете, что кругом вас начинается что-то другое... Жжет солнце, слепит пыль, жужжат овода и мухи, томит жажда, каждый шаг стоит усилия, так бесконечны поля, так трудны дороги, так озабочены люди, так далека вся жизнь от быстрого движения поезда... И так тяжела, кажется, эта жизнь бесконечной страны. И столько в ней порой захватывающего и интересного.

\* \* \*

Все эти мысли мелькали в моей голове, когда, сойдя с парохода на одной из волжских пристаней, я плелся пешком по горному берегу Волги, то подымаясь на холмы, то спускаясь на плотный песок волжских отмелей... По реке тихо проплывали плоты и барки, порой пробежал пароход, маленькие фигурки виднелись на его палубе, и мне казалось так странно, что еще недавно я сам мчался так же быстро, не замечая, может быть, такого же пешехода с палкой и котомкой, который так же

смотрел на пароход с берегового холма и казался маленьким ничтожным муравьем, одним из тысячи безличностей, мелькающих перед глазами в течение одного часа.

Солнце только начало склоняться, когда, усталый и голодный, я входил в приволжское село Р... Река, залитая солнечными лучами, сверкала и казалась расплавленным металлом. Смотреть на нее было трудно, огромная беяна, попавшая в полосу света, теряла свои очертания, как будто в самом деле начиная гореть и расплавляться. На берегу, выстроившись прямым порядком, стояли дома с тесовыми крышами и как-то тупо глазели своими окнами на реку. День был будний, но на завалинках сидели женщины, разодетые пестро, и лутили семечки. Молодые девушки были нарумянены грубо и густо... Эти ряды женщин казались такими же скучными, как и ряды домов, как и вся летняя жизнь торговых приволжских сел. Землей они не занимаются и сдают ее в аренду жителям деревень, более отдаленных от реки. Все мужчины ходят матросами, водоливами, приказчиками, кочегарами на судах, а женщинам остается легкая

работа около домов и в огородах. Каждый раз, когда мимо бежит знакомый пароход, они выходят на крутые откосы и машут платочками. Это значит, что они встречают отца, мужа или милого. Но фигуры на рубке видны плохо, и только иной раз гулкий рев свистка отвечает с реки на приветствие. Когда же пароход или караван барок остановится у пристани, женщины надевают свои праздничные платья и садятся на скамеечках. А кавалеры в пиджаках, в суконных картузах, в сапогах бураками и при часах ходят по улицам, подходя то к одной, то к другой группе — и все это чинно, безжизненно, вяло и скучно.

Так было и в этот день, когда, спустившись с горы, я проходил по селу... В одном только месте казалось шумнее: в середине берегового «порядка» виднелся большой двухэтажный дом из барочного леса, с тесовой крышей и балкончиками, довольно нелепо присажеными в разных местах, на столбах и на сваях. С главного балкона глядела на реку широкая вывеска, на которой сусальным золотом по измятой жести была выведена надпись: «Свидание друзей».

У берега стоял длинный караван барок и два буксира, поэтому трактор работал хорошо, на балконах виднелись фигуры с потными и красными лицами, солнце отсвечивало в стеклянной посуде разного вида, а изнутри неся шум, беспорядочный и нелепый...

За селом на берегу виднелся широкий лужок, на котором лежали штабеля леса, а за этой лесной пристанью, опять под горой лепилась соседняя деревушка, поменьше. Там шумели ряды столетних осокорей, и я знал, что в их тени приютилась харчевня Степана Корнеева, у которого я мог отдохнуть и напиться чаю. Поэтому, миновав суетливый трактор и ряды домов, пройдя по бичевнику, заваленному лесом, я стал приближаться к осокорям, гостеприимно шумевшим мне навстречу... Подымался легкий ветер. Из-за горы тихо, будто крадучись, осторожно выдвигалась темная туча.

Оказалось однако, что харчевня Степана Корнеева, стоявшая под яром и спереди поднятая на высоких сваях от весенних разливов, — заперта на замок. Девчонка, качавшая под навесом люльку с плачущим ребенком,

на мой вопрос о хозяине указала рукой на реку.

— Эвона, надо быть...

Я посмотрел в этом направлении и увидел, на сверкающей воде, ряд темных расплывавшихся на зыби пятнышек, — это рыбаки-любители, забросив с лодки камень вместо якоря, удили рыбу. Степан Корнеев был страстный рыбак и начетчик, отчего мало выигрывала его харчевня... Как бы то ни было, приятная перспектива отдыха и беседы с умным мужиком исчезла...

Я остановился в нерешимости...

Мой приход и разговор с девчонкой привлек внимание двух субъектов, устроившихся за стеной харчевни, между сваями на зеленой траве. Одного из них я видел только ноги, босые, с жилистыми ступнями, в коротких штанах из летней пестрой материи. Другой, кудрявый молодой человек, в ситцевой рубаше и широких коломянковых портах, вышел из-за угла и, придерживаясь за сваю, покачивался на ногах и смотрел на меня совершенно мутными, бессмысленными глазами. Казалось, рассмотреть мою фигуру ему стоило та-

ких же усилий, как и удержаться в вертикальном положении. Наконец, повидимому, ему удалось притти к определенному заключению, и он сказал заплетающимся языком, с выражением крайнего изумления:

— Странник!

Он опять качнулся, опять долго разыскивал меня глазами, как будто это были у него телескопы, плохо приспособленные к расстоянию, и, убедившись, что я стою все на том же месте, сказал:

— П-при... часах...

— Ну его к чорту! — сказал из-за стены невидимый голос. — Небось, и баба опять...

Субъект опять нашел меня мутными глазами и сказал:

— А бабы нету...

— Ну, все одно! Брось... Ну его, говорю, к чорту, выпьем.

За углом послышалось бульканье; этот звук расшевелил моего незнакомца. Он качнулся на волю судьбы, его кинуло ко мне; толкнувшись в меня довольно грузно, он с остатками пьяной деликатности сказал:

— Низвините... Здравсти... Значит на про-



шлой неделе... такой же вот странник шел, к Вонифатию... И баба с ним... Я так полагаю... гля осуждения.

— То есть как это для осуждения? — спросил я. — Не понимаю.

Пьяный посмотрел на меня таким мутным взглядом, что у меня исчезла всякая надежда получить какой-нибудь ответ. Но тут вмешался голос из-за угла.

— Чего тут понимать, голова с мозгом! Значит, дабы всякой человек мог его осудить: дескать, вот богомолец. С молодой идет богу молиться... А ему, значит, то и надо... Гля бога осуждение принять... Понял?

— Теперь понял, — ответил я.

— А не понял, то прочти житие... [23] во Христе Юродивого. А только, я полагаю, не те времена... Шарлатан какой-нибудь. Ноне, скажем, и все шарлатаны по богомольям таскаются...

И, произнеся этот решительный приговор, голос прибавил:

— На вот... выпей...

Из-за угла появилась рука с светлой посудиною, до половины наполненной водкой. Че-

ловек, которого называли Миней, с внезапной вспышкой живости схватил бутылку и, закинув голову, приложил горлышко к губам. Так он простоял с полминуты, не отрываясь от бутылки, содержимое которой быстро исчезало. Потом он покачнулся и опять схватился за сваю.

— Миня! — позвал опять голос из-за угла.

Миня попытался последовать на зов, но ноги отказывали ему в повиновении, и остатки сознания, видимо, терялись. Наконец, отпустив сваю, он закатился полукругом и растянулся около стенки. Голова его, кажется, порядочно стукнулась о завалинку. Он пробормотал что-то и остался лежать с глазами, открытыми навстречу дальнейшим событиям, течение которых уже явно не зависело от воли бедного Мини.

— Прича-алил... А-кончательно! — сказал голос за углом с глубоким презрением. — Атлично! Первый печник в округе вроде какой ни-на-будь животной... Превосходно...

Босые ноги, видневшиеся из-за угла, скрылись, но зато появился их обладатель. Это был человек, одетый довольно странно: ноги бы-

ли босые и грязные, штаны странного покроя и короткие, но на голове виднелась соломенная шляпа с синей лентой. Пиджака на нем не было, но была довольно грязная, когда-то белая пикейная жилетка, на которой моталась толстая цепочка от часов. Сорочка «фантазия» была повязана измятым, тоже довольно фантастическим бантом.

Лица я в первую минуту не разглядел, так как он наклонился над пьяным товарищем, стараясь возбудить в нем самолюбие.

— Так и останешься? — говорил он укоризненно. — Миня! А Минь... Готов! — философски произнес он тоном врача, ставящего диагноз. — Почует во дни скорби своя... Эх, Миня, Миня...

Что-то показалось мне знакомое в этом голосе, с его непосредственно-юмористическими нотками, и во всей сданной и, правду сказать, довольно-таки нелепой фигуре. Тем не менее, когда этот человек поднялся и я увидел его лицо, то невольно вскрикнул от неожиданности:

— Андрей Иванович!

— Я самый! — ответил он холодно, хотя в

первое мгновение я не мог не заметить промелькнувшего в его глазах удивления, пожалуй, даже удовольствия. — А вы это откуда? Небось, опять из монастыря какого-нибудь?

— Нет... Я из города... В Безводном сошел с парохода.

— Куда же это берегом идете?

— До Козьмодемьянска. Потом по Ветлуге, на Люнду.

— Чего там не видали?

Он говорил с выдержанной холодностью и при этом мерял меня глазами, пытливо и не особенно дружелюбно

— Может, ко мне в дом зайдете? — сказал он по окончании этого осмотра.

— Да вы разве здесь теперь живете?

— А то где же!

Андрей Иванович — давний мой знакомый и спутник некоторых моих летних экскурсий по монастырям и богомольям — долгое время жил в Нижнем, на Яриле, в своеобразном поселке под самым городом. На окне его квартирки виднелся вырезанный из сахарной бумаги сапог, что означало его профессию. Дела его шли сравнительно успешно,

тем более, что труженик он был замечательный. Лишь в известное время, летом, у него являлось какое-то беспокойство, как будто в нем просыпался бродяга. Я пользовался этими случаями, и мы вместе отправлялись в те или другие места, смотря по расположению души Андрея Ивановича, чувствовавшего влечение к той или другой святыне. Жена его Матрена Степановна не особенно одобряла эти экскурсии, несомненно, отражавшиеся на бюджете, но поделаться с ними ничего не могла и в конце концов терпела их, тем более, что они как бы заменяли для Андрея Ивановича запой, которым он страдал раньше...

Выехав как-то из Нижнего, я потерял Андрея Ивановича из виду и затем, отправившись по возвращении в знакомую улицу на Яриле, я уже не нашел его на старом месте. Правда, здесь опять жил сапожник, но вместо незатейливого сапога из сахарной бумаги виднелась вывеска. На куске жести был наклеван огромный сапог рядом с совсем маленьким башмаком, а внизу стояла надпись: «Максим Гордеев, и принимает починку». За верстаком сидел незнакомый Максим Горде-

ев, человек с бритой бородой и огромными, торчавшими врозь усами.

Это был человек серьезный и деловитый, и, узнав, что я не имею в виду заказа, — не пожелал терять время на пустые разговоры. Об Андрее Ивановиче он или действительно ничего не знал, или просто не желал распространяться. У соседей тоже ничего почти узнать не удалось Андрей Иванович исчез так, как делал все быстро и с внезапной решительностью.

В куче зевак, собравшихся около меня на пыльной и истомленной от скуки улице, говорили разно. Одни сообщали, что Андрей Иванович ушел к раскольникам, которые за это дали ему денег, другие — что он уехал искать счастья «на низ», третьи — что он умер...

Когда зайдя в ближайшую мелочную лавочку, я предложил тот же вопрос, то лавочница, рыхлая особа средних лет, вязавшая на досуге чулок, как будто даже обиделась:

— Не знаем... Мало ли их, хоть и сапожников... Был, да нету, и все тут... Другой пьяница нашелся... Есть кому подметки-то подкинуть...

Из этого я понял, что Андрей Иванович, человек довольно строптивый и всегда высказывавший обличительные наклонности, — расстался с соседями не особенно дружелюбно. Можно было даже предполагать, что он излил в минуты расставания всю горечь, накопившуюся за многие годы в его бурной душе против человеческого рода вообще и против сословия лавочников в частности.

Как бы то ни было, Андрей Иванович исчез с моего горизонта, и я не без грусти думал об этом обстоятельстве, возобновляя свои экскурсии. Несмотря на некоторые неровности своего настроения, товарищ он был отличный и часто интересный собеседник, очень восприимчивый, после многих месяцев усидчивой работы, к красотам природы. Туча, золотой закат, птица на придорожной ветке, переливы хлебов или даже стадо, пригнанное в знойный полдень к болоту, — все это потрясало его, умиляло, вызывало усиленную жестикуляцию и экспансивные, часто неожиданные восклицания. Человеческая добродетель и человеческие пороки тоже сильно действовали на его воображение, и он находился во

всегдашней готовности содействовать торжеству первых и посрамлению вторых. К сожалению, его оценка не всегда отличалась правильной перспективой, а его предприятия кончались нередко неожиданностями, иной раз довольно печального свойства.

Некоторые изгибы этой непосредственной души всегда интересовали меня, и мне казалось, что под этими часто нелепыми поворотами настроения чувствуются запросы души довольно глубокой и не находящей удовлетворения. Каждый раз, выходя в путь среди ясных дней лета, с ощущением освобождения и беззаботности, он глядел на мир радостными глазами, полными какого-то ожидания. Его беседы с встречными людьми, его пытливые расспросы о предметах веры и поклонения, серьезные и тоскующие сомнения, с которыми он иной раз обращался ко мне, — все это показывало, что он не просто развлекается, но что он ищет чего-то и на что-то надеется... И всякий раз, на обратном пути, он падал духом, раздражался, как-то особенно принижался, частью ввиду предстоящего свидания с строгой супругой, частью — казалось мне —



от разочарования... В эти минуты он как бы сжигал все, чему еще недавно поклонялся, а постылые будни, от которых с такой ненавистью отрывался еще недавно, теперь старался реабилитировать, как бы признавая их законом природы...

Отношения его ко мне также отличались двойственностью и неровностью. Я знал, что за глаза он отзывается обо мне с большим расположением, не отступая даже перед авторитетом Матрены Степановны. Но в глаза он часто говорил мне резкости и держался холодно, иной раз даже враждебно... Общий тон наших отношений носил отпечаток какого-то затаенного недовольства. Андрей Иванович как будто ждал от меня чего-то и не получал ожидаемого. Нам случалось где-нибудь на привале, под откосом берега или в тени придорожных берез говорить обо многом и говорить «по душе». Но именно после таких разговоров особенно обострялось недовольство моего спутника. Мне казалось, что я понимаю его: разговор по душе располагал к дальнейшему, к тому, чтобы сказать уже все, не оставляя в важных предметах ничего недосказан-

ным. Но он никогда не умел поставить вопроса, что, пожалуй, простительно и понятно, а я не умел дать ответа на подразумеваемые вопросы. Это, может быть, и непростительно и непонятно, но... так уже было... И было, вероятно, потому, что предмет, около которого вращались запросы Андрея Ивановича, был болящий и серьезный, в котором особенно боишься неверной, фальшивой или просто неуместной ноты. Как бы то ни было, несмотря на обоюдное желание, у обоих нас не хватало чего-то... какой-то теплоты, какого-то вдохновения, что ли, которое внезапно, иной раз случайно раскрывает душу и показывает то место, где в ней хранится заветное и святое... может быть, странное, может быть, чуждое... но в котором другой не усумнится все-таки признать святыни...

Для этого нужно много взаимного понимания и, кроме того, повторяю, — своего рода вдохновение... Оно могло когда-нибудь придти, но пока не приходило, и мы расставались после лучших из наших бесед так, как будто именно в них был повод для ссоры. Андрей Иванович, повидимому, подозревал с

моей стороны высокомерие, которого не было. А я, кажется, более понимавший его, чем он меня, уносил все-таки вопрос: что это бурлит в этом простом, нелепом, но хорошем человеке, и куда приведет его это неутомонное душевное брожение.

И вот этот самый человек неожиданным и удивительным образом очутился передо мной. Обстановка, в которой я его увидел, меня немного огорчила: странная, смешанная одежда, с какими-то претензиями, бутылка вина и беспомощный Миня, — все это показывало, что Андрей Иванович сошел очень основательно с обычных рельсов, и порывистая натура устремлялась куда-то не в обычном и не в надлежащем направлении.

— Ну так как же, — сказал он снисходительно... — Хотите, то можете ко мне зайти на перепутьи.

— А как же ваш товарищ?

— Не трог, — отлежится. Вот ведь удивительное дело, как ослаб!.. А глазом все-таки смотрит.

Опьянение Мини было действительно какое-то странное. Он глядел на нас открыты-

ми, круглыми глазами с просящим выражением, но двинуться не мог. Однако взгляд казался сознательно беспомощным и печальным. Губы что-то шептали.

Андрей Иванович наклонился и опять попытался взять его за плечо. Собственные его движения были не вполне уверенны, и неопределенны. — А? Что говоришь? — спросил он слабо лепетавшего что-то Миню.

— Еж-жели бы он... странник... за другую бы руку... — умоляюще говорил Миня.

— Дождидайся! — ответил Андрей Иванович решительно. — Станут с тобой, с неучем, возжаться. Отлежишься, приходи. Что ты за человек за такой? Не можешь сам себя поддержать. Бревно! И ведь думаете — заснет! Как же! Так вот и будет все лежать да кверху смотреть одним глазом. А чтобы встать... ни за что. Подойди, к примеру, скотина...

Андрей Иванович несколькими неудобными выражениями дорисовал картину беспомощности своего друга и вдруг сказал с неожиданным для меня выражением удивления:

— А люблю этого человека! Поглядите вы

на него: ведь хорош!

— Пьян.

— Пьян, а хорош. Посмотрите вы на меня: есть у меня румянец?

Я поглядел и заметил, что лицо моего приятеля осунулось, постарело и сильно подурнело за то время, что мы не виделись: около глаз собрались морщины, и во взгляде виднелось какое-то притаившееся тоскливое выражение.

— Да, вы осунулись.

— У вас тоже лицо не очень-то... Даром, что господин и ведете легкую жизнь. А он вот... нарезался, вроде несловесного животного... Неделю уж этак обращается. А обратите внимание на лицо: каков колер!

Действительно, беспомощный молодой человек обладал замечательным цветом лица, несколько не пострадавшим от опьянения. Щеки у него были пухлые, мягкие, белые, как молоко, с нежным румянцем. Мелкие, блестящие кудри обрамляли красивую голову.

— Обратите внимание, — говорил Андрей Иванович, — что лицо, что под лицо. Белизна, румянец! Нечего сказать: свежий человек, ру-

мяный. Просто сказать: натуральный человек. А отчего?.. Как вы думаете?..

— Не знаю, Андрей Иванович.

— Такая его совесть! Легкая! Все одно вот — птица, например, летит... Села, чирикнула на кусточке, клюнула, что бог послал... Дальше. То и он: мыслей не имеет... А вы что думаете, от мыслей человек пуще всего сохнет...

— Вы бы его хоть под навес положили: смотрите — туча идет.

— Плевать: дождем вымочит, ветром высушит. Говорю: натуральный человек... Тот же останется. Прощай, Миня. Отлежишься, приходи! Мы чай станем пить.

Мы двинулись в гору. У одной из крайних изб, стоявшей на отшибе, под глинистым обрывом, Андрей Иванович как-то насупился. Изба была построена широко, но несколько странно: строго, без затейливых украшений и полотенец. Ворота были плотно затворены. Окон на улицу не было. Когда мы проходили мимо, мне послышался какой-то шум, вроде заглушённого пения.

— Это моленная, верно? — спросил я. Ан-

дрей Иванович угрюмо кивнул головой.

— Что же это... кажется, сегодня не праздник.

— Отпевают...

— Кого?

— Степана Корнеева.

— Как Степана Корнеева? — изумился я от неожиданности. — Да разве он умер?

— Не умер, так не отпевали бы. Нешто живых отпевают?

— А как же девчонка сказала, что уехал?

— Здесь все так. В этой деревне никто не умирает: уехал и только... Потом и нет человека.

— Я что-то не понимаю, Андрей Иванович.

Андрей Иванович как-то скосил глазами. Казалось, ему совестно было высказывать недоверие ко мне, но и разъяснить дальше он как будто затруднялся.

— Что тут понимать, — произнес он наконец. — Дело известное: хорониться на церковном кладбище не хотят. Почитают за скверность... Ну, тайком похоронили... а попу и уряднику говорят: уехал... Конечно, не без того: сунут сколько-нибудь... Подите вон за се-

лом овраг: каждую весну вымывает кости... колоды-те круглые, старинные... Нашими гробами тоже брезгают... А то еще, которые побогаче, — на свои кладбищи везут... Есть такие на Керженце... Ну и в прочих местах...

Я вспомнил, как однажды, спускаясь в лодке по Керженцу, набрел на такое уединенное кладбище близ небольшого поселка. Прибрежный холм выделяется из остальных необычайно буйной растительностью, которая, возвышаясь над остальной зарослью, одна выдает это место. Пробравшись замаскированной тропкой с берега, я очутился среди густо насыпанных могил. Грубые, массивные, восьмиконечные кресты и какие-то небольшие срубы, прикрытые двухскатными крышами, показывали, что здесь покоятся все люди древнего благочестия, ушедшие в это затишье от мира, овладевающего все больше и жизнью, и смертью. Я слышал, что, боясь попасть на церковное кладбище, некоторые старообрядцы, официально числящиеся церковными, чувствуя приближение смерти, нарочно уезжают в соседство с этими приютами и там ожидают последнего часа. Кажется, что



именно этот обычай подал повод к рассказам об изуверной секте «подпольников», якобы убивающих больных и стариков «ради мученического венца и царствия небесного». Вид у Андрея Ивановича, когда мы проходили мимо этой избы, был угрюмый и серьезный. Казалось, на минуту его оставило даже значительное опьянение, которое до тех пор как будто только усиливалось. Из-за толстых бревенчатых стен на нас пахнуло чем-то угрюмо торжественным и печальным...

— Так Степан Корнеев умер, — сказал я, — кому же достанется его дом и харчевня?

Андрей Иванович усмехнулся и сказал:

— Наследник-то, пожалуй, есть... Самый Миня. Внучек он Степану приходится... Да только навряд... Они обчеством-те так ладят, чтобы ему одни стены достались. «Спустит, дескать, все одно». А вы как об этом полагаете? — спросил он, внезапно и круто останавливаясь...

— Судя по тому, что я видел, конечно, спустит, — ответил я.

Андрей Иванович поглядел на меня долгим внимательным взглядом и сказал как-то

страстно:

— Ну и пущай! Кому дело!.. А может, и не спустит. Как ему бог поможет. Может, с этого случая он бы свою жизнь мог переменить. Так я говорю, ай нет?.. Ведь это как бог.

— Пожалуй, хотя все-таки вероятия мало.

— То-то вот — пожалуй! Пожалуй так, а пожалуй и этак! Больше бога не узнаешь. А по моему: делай сам правильно, как богом приказано. А что выйдет — бог и в ответе... А они, значит, для бога-то над Миней неправильность сделали: у него возьмут, богу отдадут на моленную... Хорошо это? Ведь он, как бы то ни было, сирота! Значит, сироту обидели, для бога-то!.. Хорошо, — он такой человек легкой... А другой, может, от этого самого на зло пойдет... Э-эх!

Андрей Иванович махнул рукой с таким озлоблением, как будто я защищал утилитарные взгляды старообрядческого общества, обездолившего беспутного Миню в пользу общественной молельни... Оставив меня на улице, Андрей Иванович решительным шагом направился в ближайшую избушку. Вероятно, здесь какой-то разорившийся бедняга

занимался корчемством. По крайней мере, Андрей Иванович вышел оттуда с новой посудой в руках, а по его походке и покрасневшему лицу я заключил, что он, вероятно, успел еще основательно приложиться в избушке. Глаза его блуждали сильнее, лицо еще более покраснело, голос стал резче и крикливее. А в глазах отложился еще некоторый осадок той же глубоко засевшей тоски...

Пройдя по довольно крутому, изрытому колеями подъему, мы поднялись на горку и очутились на зеленой деревенской улице. На правой стороне бросался в глаза новый дом, просторный, двухэтажный, из прочного леса, с претензиями на некоторые отличия от остальных. В окнах виднелись белые занавески и цветочные горшки. Против дома на мураве лежало несколько бревен и доски.

Дойдя до этого места, Андрей Иванович неожиданно для меня сел на бревно и стал откупоривать бутылку.

— Хорош домик? — спросил он, указывая кивком головы на фасад новой постройки.

— Ничего!

— То-то — ничего! Имейте в виду: фасадик

сам отделявал.

В голосе его слышалась самодовольная гордость, но лицо хранило все-таки следы угрюмости.

— Имейте в виду — наполовину шилом выстроен. Что вы думаете: работал тридцать лет, с молодых ногтей, сами знаете как — не досыпал, не доедал... Кто может супротив меня сработать! Что сапог, что башмак, что калоши!.. Прошивные, выворотные, по старой вере, дратва в палец... Или рантовые — шва не найдешь, или на шпильке узором... Французский каблук присадишь... Все могу... в наилучшем виде... Теперь вот, Громов, трактирщик... заведение вон на берегу — видели? «Сшей, говорит, чтобы неотменно, как в городе». Дурак! Да ты еще в городе поищи, чтоб так сшили, как я ему, оболтусу, сработаю!.. Цены вот ноне нет! Была цена — по красной брал за цельные, бураками или в гармонь... Да и то...

Он угрюмо посмотрел на меня и сказал:

— Думаете: верно, что шилом дом такой выстроен? Держи карман. Заработает! От трудов праведных, — недаром говорится, —

не наживешь палат каменных. Не будешь богат, а станешь горбат... Матрены Степановны дом-от... Наследство получила... Этакой же вот, как Степан Корнеев, дедушка был... Молотковый... Даром, что при моленной спасался, а копейку зажимал вот как... И в кубышку, и в кубышку!.. А для чего?..

— Да вот вам же, Андрей Ивадович, досталось.

Он посмотрел на меня знакомым мне внимательно-укоризненным взглядом и сказал:

— Ну, вот дом, хорошо! А дальше что? Думаете, лучше стало? От этого, от богатства-то?..

И по обычной парадоксальности натуры, переходя вдруг в хвастливый тон, он сказал:

— Штраховки плачу три с полтиной!

— Не дорого.

— По той причине, — обратите внимание: крыша железная. За тесовую дороже. Да и то ведь в полгода!.. А вы полагаете — в год? Нет! Что вы думаете, умно это платить штрафку?..

— Конечно, умно...

— Скажем так: огонь — попущение бо-

жие... Ну, опять в год составляет семь рублей. В три года часики серебряные штрафному обществу отдаю. А как он не сгорит в десять-то лет? Ведь это двести десять!

— Тем лучше, если не сгорит. А все-таки вернее.

— Само собой. И я думаю: лучше платить, чорт с ними... А то сгорит — взвоешь.

Он приложился к откупоренной бутылке. Такого обнаженного пьянства прежде я за Андреем Ивановичем не замечал. Теперь мне чувствовался в этом какой-то цинизм, отчасти озлобление, и даже — оттенок пренебрежения ко мне лично. Выпив несколько глотков, он обратился ко мне с тем же выражением неприятного тщеславия и самодовольства:

— А как по-вашему: сколь дорого встанет, ежели выкрасить дом по лицу или хоть, скажем, весь кругом?

— Не знаю. А выкрасить, конечно, лучше.

— Лучше. А чем лучше? По-моему натуральность дерева приятнее. И опять, ежели красить вохрой или, например, мумией?..

— По-моему, вохрой.

— Вохрой! — повторил он задумчиво. — А

наличники и углы белые, или мумией, значит, в тень. Так! Это правильно. Сам так думал. А встанет это рублей в тридцать? Или поболее?

— Ну, уж этого, Андрей Иванович, я вам сказать не могу.

— А я полагаю, вскочит и в сорок. Потому оно, масло, по дереву впитается. Сколько его туда уйдет! Потом грунтовка и уже наконец того — краска. Сочтите! А надо будет! Ну, только выжду. Видите — все дома посинели, пожухли, а мой еще как есть новенькой: с реки вид — стоит посмотреть! Солнышком в него ударит, — огонь, игра, картина! Дождем его опять по фасаду редко трогает. Я замечал: дождь или хоть снег — все вон с той стороны хлещет. Пообожду красить! А как что станет жухнуть, — ну, тогда и выкрашу. Шпингаретки-то — видите, как играют... Медные! Составом чищу.

В это время одна из занавесок в окне двинулась слегка и осторожно. Андрей Иванович с зоркостью, которую иногда проявляют пьяные и сумасшедшие, заметил это движение, посмотрел в том направлении пристальным

и зорким взглядом и сказал:

— А! Заметила... вон выглядывает птица сирина, в просторечии сказать сыч. — И вдруг он крикнул пронзительным и противным голосом: — Матрена! Матреш... Самовар нам, жив-ва! Станем в прохладе чай пить... Скатерка чтоб чистая!..

Я с грустью смотрел на моего знакомого и его новые манеры. Прежде, когда Андрей Иванович работал, не разгибая спины, и содержал себя и жену шилом, — он несколько побаивался Матрены Степановны и был с нею всегда почтительно вежлив. Теперь, когда он, благодаря ей же, стал домовладельцем, — его обращение стало грубо и нагло. Это было похоже на него, но... мне показалось, что эволюция моего приятеля закончена: это самодовольное хвастовство своим домом, медными «шпингаретками», штраховкой и прочим, этот грубый тон, все эти хвастливые выходки казались мне просто самодурством грубой и низменной натуры, поведением выскочки, у которого внезапно закружилась голова от неожиданного благополучия... Получил наследство, бросил работу, увлекается опьяняю-



щими ощущениями собственника и пьет в буквальном смысле. И вот все, к чему привели Андрея Ивановича его порывы, недовольство и искания. И мне начинало казаться, что и прежде не было ничего, и та внутренняя личность, с ее исканиями и запросами, которую я чувствовал в Андрее Ивановиче, — составляет просто создание моего воображения.

— Ма-атреш! — заорал он опять и, тяжело поднявшись, пошел к дому.

Через несколько минут по новой лесенке торопливой походкой спустилась тучная Матрена Степановна. Чумазая девчонка лет пятнадцати несла за нею столик, ногами вперед, который они поставили перед бревнами. Матрена Степановна расстелила на нем скатерку, стряхнув за четыре угла, и, послав девчонку за посудой, поздоровалась со мной.

К моему удивлению, прежде не любившая моих посещений, Матрена Степановна встретила меня приветливо. Сама она раздобрела и пополнела, но лицо у нее было как будто озабочено, и во взглядах, которые она кидала по временам назад, как бы ожидая появления Андрея Ивановича, сквозила тревога и ро-

бость. Поздоровавшись со мной, она остановилась и, подперши щеку рукой, сказала:

— Давно вас не видели... Пра-а... стосковались даже. Андрей Иванович вспоминал не раз...

— Выпил он сегодня, Матрена Степановна. Она живо обернулась на дом и, будто поправляя скатерть, тихо, чуть слышно, заговорила торопливо и с волнением:

— Заметили?.. Да это что — выпил. Бывало и раньше... А вот... не знаю уж как и сказать...

— Что такое?

— Испортили... по насердке, от зависти. Лавочница, может, помните, на Яриле... Такая змеющая...

— Что вы, бог с вами, Матрена Степановна...

— Нет, уж это верно. Просто другой человек стал. Воображение имеет, задумывается, колобродит.

— Кажется, бывало и прежде, Матрена Степановна.

— Да... не знаю, уж, говорить ли. Вы как-нибудь, пожалуйста, не того... не проговоритесь.

И опять, осторожно оглянувшись, она сказала тише:

— Разводиться со мной хочет.

— Что вы? — крикнул я невольно в изумлении. — Не может быть!

— Ей-богу, право, не лгу.

И у бедной женщины слеза выкатилась из глаза, тихонько проползла по жирной щеке и капнула на чистую скатерть...

— Уж и не знаю, и ума не приложу, что такое. Истинно, что не в деньгах счастье... Бедны были, трудились, копеечку к копейке откладывали. Все, бывало, говорит: «Ну, Матрена Степановна, хошь на старость, а выстроим себе хибарочку в своем месте... возьмем себе в дети кого-нибудь... доживем век на спокойе». Да, трудно было, — сами знаете: какие доходы у сапожника. А тут вдруг дедушка, царствие небесное, помер... отказал мне... десять тысяч...

— Не мало, — сказал я.

— Мало ли! Ну, вот домик построили, кажись — живи бы, бога хвали. Так нет, надо было дурным людям испортить...

Она замолкла. Андрей Иванович шел к

нам из дому. Лицо его стало еще краснее, точно раскаленное, взгляд еще более одичал. Он подозрительно посмотрел на меня и на Матрину Степановну, как бы подозревая, что она жаловалась, и сказал:

— Варенья подавай и галет! Эйнемовских.

— Да уж я распорядилась... для гостя дорогого... — заискивающе сказала Матрена Степановна, наливая чай через фразетовое ситечко. — Милости просим. Вот пересядьте на стул. На бревне неудобно.

— Ишь, вырядилась!.. — сказал Андрей Иванович... — Ну, да как ворону ни ряди... Что такое это обозначает, скажите, Галактионыч, — обратился он ко мне полуоборотом, продолжая в упор рассматривать застыдившуюся Матрину Степановну. — У иного, например, человека лицо... как и у прочих людей, а обозначает несимпатичность...

Матрена Степановна как-то беспомощно заморгала глазами и посмотрела на меня из-под бровей, как бы напоминая о «порче».

Я промолчал, желая дать понять Андрею Ивановичу, что не одобряю его грубости.

— Да вы думаете, она понимает... Она толь-

ко и знает, что меня сглазили. Бабу звала, пьяного с уголька sprыскивали..; Вы вот можете понимать: что такое... отчего бывает у человека... скука... И такая скука... смертная... Сосет, разворачивает.

И он, судорожно захватив на груди рубашку, стал трепать ее, как будто от действительной боли в груди.

— От мыслей, Андрюшенька, скука бывает, — сказала Матрена Степановна робко, подавая мне стакан чаю.

— Ну, вот видите: «от мыслей»! Значит, который человек несмысленный, то и хорошо. Я вот говорю: почему так: обозначает несимпатичность...

— Прежде не было, — опять заметила Матрена Степановна с укором.

— Прежде не было, а теперь есть... Или вот теперь взять дом: что такое? для чего, спрашивается, построен?..

— Ну вот, — с оттенком жалости сказала Матрена Степановна, опять многозначительно глядя на меня, — известно, Андрюшенька, для чего дома строят: жить в доме.

— Так. Вот вы говорите: жить. А спрашива-

ется, почему именно в этом доме, а не в хлеву?..

— Чать, мы не скотины...

— Молчите! Может, мы еще похуже скотины. Скотина — она животная натуральная: живет, как ей указано искони... А мы исхитряемся все. Вот я сколько работал и все думал: на старость выстрою хибарку... Не ел, не пил по-людски... Посмотрите: есть на мне румянец?.. Нету. А почему? От скупости...

— Скупость, Андрюшенька, не глупость, — сказала Матрена Степановна с непререкаемой поучительностью...

— Молчите! — сказал Андрей Иванович со злобой. — Много вы понимаете... Вот я вам скажу, Галактионыч, как на духу, какие мне мысли приходят: ежели, скажем, померла бы она, вот бы я тогда пожил.

— Бесстыдник! — сказала возмущенная Матрена Степановна. Но Андрей Иванович продолжал, даже не меняя тона, спокойно глядя куда-то тусклыми глазами, как будто вглядываясь в глубину собственной души.

— Да, вот, работал, изводился. Думал — хибарочку. И вдруг, умирает старый дурак... из-

вольте!.. Дом. Еще бы ей помереть, вот и отлично бы! Дом у меня есть, деньги есть. Вынул билет рентовый: чик! Руб с четвертаком! Чик — два с полтиной! Верхний этаж сдам хорошим господам на лето, вниз плотовщиков стану пущать, осенью бурлаков. Харч им, опять когда и водочки... Живи, не тужи. Теперь, сколько, по-вашему, серебряные часы стоят, с цепью?..

— Говорю, Андрюшенька: Степан Макарыч продает, сходно! За полцены, — живо вмешалась Матрена Степановна.

— В лучшем магазине, — не обращая внимания, продолжал Андрей Иванович, — семнадцать рублей новые! Цепь порядочная — три с полтиной. Теперь на ярманке товар этот сходен. Шляпа теперь соломенная куплена у меня, тончайшей китайской соломы, за три рубля, другая — бурой шерсти — четыре рубля!..

— Переплатил, — вздохнула Матрена Степановна, хотя по лицу ее было видно, что, в сущности, она гордится экипировкой супруга и не считает этих затрат излишними.

— Цилиндровой-то формы! — сказал Ан-

дрей Иванович. — Много вы понимаете! К зонту вот прицелялся... Уж именно что дорого: семь с полтиной, шелковый!

— Можно из сатинета... Оно то же самое, под шелк, — с увлечением сказала Матрена Степановна.

Андрей Иванович кинул на нее злой взгляд, как будто ее вмешательство расстраивало ход его мыслей, и сказал:

— Мыла тоже есть... хорошие! На Покровке в аптекарском магазине у г. Зуля. А еще лучше в новом магазине. Ну, мыла хороши, а тоже дороги: под № 4711, называемое «Тридаc». Знаете?

— Признаться, Андрей Иванович, не знаю...

— Хорошо мыльцо! Семьдесят пять копеек кусок. Похуже — пятьдесят копеек. Придает мягкость коже. На лицо наводит колер.

— Что вы это, Андрей Иванович, — сказал я, — с каких пор стали таким щеголем?..

Матрена Степановна опять кинула на меня взгляд, которым, кажется, хотела напомнить о лавочнице, но Андрей Иванович уже изменил ход своей капризной мысли.



— Ни к чему все! — сказал он уныло и глубоко задумался, оставив от себя стакан. Несколько минут он смотрел кверху, где ширилась все больше темная туча. Она выглядела из-за горы еще в то время, когда я подходил к деревне. Теперь мы сидели на горе, а туча тихо, незаметно, но непрерывно развертывалась, как бы стараясь невзначай накрыть нашу беспечную компанию. В воздухе было томительно тихо, как перед грозой.

— Нет... — сказал Андрей Иванович, как будто что-то читая своими тусклыми глазами в ее мгlistых очертаниях. — Имею я себе в предмете три счастья... Первое дело: уеду в Петербург!..

— Зачем это?

— Как зачем? Столица, уж именно, что умные люди живут... Ну, ежели и там не выгорит, уйду на китайскую границу...

— Господи! Страсти какие! — искренно ужаснулась Матрена Степановна. — А я-то как?

— А с вами, сказал уже: развод. Плевать и на деньги! Оставайтесь! Трудно это, Галактионич, развод получить?

— Трудно, Андрей Иванович, почти невозможно.

— А мне наплевать! Я вот уже был в ихнем согласии, — кивнул он головой на Матрену Степановну. — Она ведь у меня по спасову. Теперь в безбрачники пойду. Не женивые не женитесь, а женивые разженитесь. А! Что взяла... Да вот вы и не знали, что я присоединился к старой вере... Что вы думаете?.. Полагал так, что именно благочестье, верогонимые люди...

— Ну, и что же? — спросил я, заинтересованный этим не известным мне еще эпизодом из жизни моего приятеля.

— Да что! Ничего! Все то же самое... Спереди блажен муж, а сзади — вскую шаташеся...

— Осуждать грех, — поучительно сказала Матрена Степановна.

— Так! Вот вы как умно рассуждаете, а они Миню-то не осудили? Да еще за чужую вину.

— Нашел за кого заступаться, — сказала Матрена Степановна с искренним презрением к Мине.

— На-шел! — стукнул Андрей Иванович кулаком так, что вздрогнула посуда. — Вот по-

слушайте, Галактионыч, я вам обскажу. Есть тут, например, при моленной старочки. Они так называются — что старочки. Безмужние, значит, векоуши. Ну, а которые еще и вовсе не старые. Вот одна и принеси, значит, младенца...

— А ты, Андрей Иванович, не все бы рассказывал, — сказала Матрена Степановна сурово и с достоинством... — Мало ли греха?.. Не нам судить.

— То-то вот... не вам судить... Судите, небось, Миню! Не-ет, вы погодите. Вот они всполошились все: как? да каким случаем? А дело так обнаруживает, что самый это ихний отец и благодетель... Наставник! Он, значит, и согрешил. На счастье ихнее — Миня под руками. Подавай Миню сюда! Призвали, давай всем обчеством усовещевать. Ты, говорят, беспутный, зачем посягаешь на христовых невест?

— Да ведь он сам признался. Чего же еще!..

— При-и-знался. Вы знаете, какой это человек? Младенец! Попросите его сейчас — скажи, Миня, что ты мать родную зарезал! Он вам сделает полное удовольствие. А как он со

мною приятель, то и сказал мне: ни сном, дескать, ни духом... А, собственно, признался по просьбе наставника... Что ж вы думаете: все ведь знают это дело. Сам я слышал, как моя-то ворона с кумушками судачила: ах, дескать, грех какой... свят человек искушен бысть... А собрались и виду не показывают. Стоит Минька посреде избы, а они его долбят — от писания да от писания!.. И еще благодетель-то в первую голову. Потому — начетчик...

— Вы уж обскажете до конца, когда начали, — сказала Матрена Степановна язвительно и тоже переходя на «вы».

— И обскажу, — сказал Андрей Иванович, опять стукнув по столу кулаком. Глаза его сверкали злобой, порыв ветра шевельнул давно не стриженные волосы.

— И обскажу. Видите, Галактионич, я тоже тут был. Как уже был присоединивши и при том с деньгами. Когда просто сапожник был, может, в десять раз лучше — никто тогда внимания не обращал. А стал через старого дурака тысячник, в умные попал. Пожалуйте на совет!.. Сижу, слушаю. Гляжу, Минька стоит

остолоп остолопом. А они так уж гнут, чтобы ему на той старке жениться. Видали?.. Ну, тут я не выдержал, признаться, и говорю: «Что вы к парню пристали, когда он тут ни при чем?» — «А ежели, — наставник-то говорит, — он ни при чем, так кто же, по-вашему?» Посмотрел я на него, он на меня тоже. «Вы, говорю, не знаете? Ну, я — вот кто!»

— Большой шкандал вышел, — вздохнула Матрена Степановна.

— Верно. А кто виноват?.. Они уж все изладили, чтобы Миньку женить... Да еще что: женить-то, небось, для крепости церковным браком. Это как?

— Да оно, скажем, действительно крепче, — сказала Матрена Степановна.

— А! Крепче! То-то вот: когда на словах, то осуждаете. А понадобится — туда же: крепче. Это есть вера? Нет, вот вера: жги меня! Режь! Вынимай внутренности! А я за свою веру стою!..

На некоторое время водворилось молчание. Туча ширилась все так же коварно и вместе грозно. Одна сторона неба уже потемнела, и под ней все теряло свои живые краски. На

другой еще светило солнце. Река все так же пылала внизу, на берегу, точно муравьи, копошились бурлаки и плотовщики, вытаскивавшие лошадьми бревна с реки на берег. Сушальное золото трактирной вывески отсвечивало разлитыми пятнами, а на противоположном бугре, по широкой улице все еще виднелись фигуры досужих судовщиков, переходивших с гостинцами от одной группы разумыянных девиц к другой.

И мне казалось, может быть, под влиянием обличений моего приятеля и глубокой тоски, которая опять зазвучала в его голосе, что над всем этим видом приволжского села царит какая-то неподвижная, серая, унылая и безжизненная скука... Мы все замолкли. С востока холодными порывами налетал ветер, трепавший концы нашей скатертки...

— А вы все по монастырям? — спросил вдруг Андрей Иванович, останавливая на мне недружелюбный взгляд.

— Как придется, — ответил я. — Теперь, впрочем, я иду на Люнду.

— Чего там не видали?

— Это на святое озеро? — спросила Матре-

на Степановна, очевидно, лучше осведомленная о предмете моей настоящей экскурсии. — Вот бы, Андрюшенька, и тебе сходить. Ах, хорошо место!.. Вот уж именно, что свято...

Я с удивлением посмотрел на Матрену Степановну, вспоминая ее всегдашнее неудовольствие по поводу наших прежних экскурсий. Времена, очевидно, сильно переменились. Впрочем, повидимому, бедная женщина рассчитывала на обычное последствие наших путешествий, из которых Андрей Иванович возвращался примиренный и спокойный.

— Какое еще такое святое озеро? — спросил Андрей Иванович, видимо, начиная интересоваться...

Я удовлетворил его любопытство.

В Семеновском уезде, на берегу тихой речки Люнды, падающей в лесистую Ветлугу, есть село Владимирское. В двух или трех верстах от села, в небольшой котловинке, окруженное полукругом холмов, увенчанных лесом, — лежит озеро, называемое Светлояр. Происхождение его, повидимому, вулканическое: как будто когда-то здесь был провал, на месте которого стало озеро, чистое,

как слеза, и необыкновенно глубокое.

С этим озером связаны старинные предания... Народная молва говорит, будто здесь стоял некогда град Китеж, куда-перед татарским нашествием удалился князь Всеволод. Наивный старинный летописец изображает подробно его путь к этому граду. Из опасения разгрома он распорядился опустить в воду золотые церковные сосуды и другую утварь и стал готовиться к битве. Вскоре полчища татар окружили со всех сторон благочестивого князя. Он дал сражение и погиб. Город со всеми святынями остался беззащитным... Но тогда по молитве благочестивых жителей произошло вмешательство высшей силы. «Незапно изволением Божиим град стал невидим». На месте церквей, монастырей, палат и хором стояли холмы и шумел зеленый лес. В середине лежало глубокое чистое озеро.

Предание, совершенно, разумеется, не согласное с исторической правдой, очень живо в народе, и берега Светлояра являются предметом своеобразного поклонения. Два раза в год (в том числе в храмовый праздник села Владимирского) сюда из отдаленных мест сте-



каются поклонники своеобразной святыни, и почти все старообрядческие толки присылают сюда своих представителей. Епархиальное начальство, с своей стороны, командировует миссионеров, и на холмике у старой часовни закипают религиозные споры.

Таким образом, над странным озерком загадочного происхождения витает мечта о каком-то невидимом граде. Особенно благочестивые паломники, в глубокую ночь, на заре, слышат под водою звон... Несомненно, во всяком случае, что странное озерко со своими наивными окрестностями, холмами и лесом обладает одним чудесным свойством: над его тихими водами носится темная народная мечта, и народная вера вспыхивает над ним ярче, живее и определеннее, чем где бы то ни было.

Я уже три раза был на этом озере, присматриваясь к движениям этой веры, и каждый раз уходил оттуда с сильными, но невеселыми впечатлениями. К моей скромной фигуре уже пригляделись и со мной вступали в разговоры свободно и доверчиво. В последние годы среди устоявшихся, давно знакомых про-

явлений разноверия стали появляться новые течения... Это особенно интересовало меня, и я пустился в путь к озеру в четвертый раз...

Все это или почти все я рассказал Андрею Ивановичу по возможности объективно. Он слушал внимательно и под конец спросил:

— Может ли это быть?.. Самый то есть город?

— Не может, Андрей Иванович, — ответил я. — Известно точно, что князь Всеволод погиб на реке Сити.

— А град мог все-таки быть. Вы говорите: и теперь остались в горе пещеры.

— Говорят, хотя я не видел и ходы найти трудно.

— Вот это так! — сказал Андрей Иванович. — Вот это был подвиг... Старинные люди умели спасаться, не шутили...

И вдруг, сверкнув одичавшими от тоски и запоя глазами, он прибавил:

— Четвертое счастье: зарююсь в эту гору...

— И что только скажет? — с неудовольствием возразила Матрена Степановна. — То ему зонты и шляпы, мылов подобрать не может: семьдесят пять копеек кусок — шутка

ли. То опять: в гору заруюсь. Это в новой-то шляпе!..

В словах Матрены Степановны, — несмотря на все их простодушие, — оказалось на этот раз такое зернышко юмора, что я невольно улыбнулся, а Андрей Иванович даже вздрогнул и поглядел на жену тяжелым упорным взглядом, в котором виднелась глубокая обида... Матрена Степановна с обычной тупостью не заметила этого выражения. Она только посмотрела на тучу, которая, надвинувшись незаметно к самому зениту, теперь торопливо раскидывала во все стороны свои мглистые щупальцы, и затем сказала озабоченно:

— Ахти, ведь сейчас пойдет дождь... Ска-терку-то измочит. Дашенька, Даша! Поди, убери сахар и галеты...

И Матрена Степановна расставила руки над столом, стараясь защитить его от нале-тевшего с пылью порыва ветра...

Андрей Иванович поднялся. Казалось, первое дыхание близкой грозы оказывало на него свое электрическое действие. Лицо его побледнело, глаза блуждали... Он упорно по-

смотрел на меня, как бы намереваясь спросить о чем-то, но затем двинулся к дому.

Через минуту в верхнем этаже вдруг пахнулось окно... Раму сильно двинуло ветром, зазвенело разбитое стекло... Матрена Степановна оглянулась и замерла: в окне мелькнула дикая фигура супруга, и вдруг новенькая шляпа «цилиндровой формы» полетела вниз, в уличную пыль, за ней последовала белая — китайской соломы, за ними, беспомощно взмахнув на ветру рукавами, точно человек, падающий в пропасть, полетела модная разлетайка...

Матрена Степановна всплеснула руками и ринулась по улице ловить цилиндровую шляпу, которая, переваливаясь под ветром, мчалась к луже, служившей для деревенского водопоя и теперь побелевшей от ряби...

Воздух померк, наполнившись вдруг пылью и сорванными с деревьев листьями. Туча, как враждебная рать, окружившая мирный поселок, теперь ширилась и падала с невероятной быстротой. Свет солнца быстро скрывался, река погасла, порыжела, и на ней теперь ясно и грузно выступила большая бе-

ляна, пароходы, караван барок. Рыбачьи лодки, часто взмахивая веслами, точно крыльями, спешили к берегу по рыжим пенистым валам... Улица села на противоположном холме опустела... Крупные капли косо, еще как будто издалека, пронеслись в воздухе и гулко шлепались в мураву и пыль деревенской улицы, в перспективе которой, тяжело поднимаясь снизу, появилась фигура Мини... Молодой человек, повидимому, отлежался еще не совсем: его шатало из стороны в сторону, и если бы не то, что он двигался навстречу ветру, — его можно бы принять за один из сухих листьев или за клочок бумаги, неровно и толчками уносимые ветром. А навстречу ему, неуклюже ворочаясь, летела цилиндровая шляпа, за ней соломенная, а за ними — запыхавшаяся Матрена Степановна.

Андрей Иванович опять появился в окне, и целая туча мелких предметов опять полетела на улицу. В том числе несколько кусков тридасового мыла под № 4711, придающего нежность лицу и смягчающего кожу...

Таковы были обстоятельства, предшествовавшие новой моей экскурсии в сопровожде-

нии Андрея Ивановича.

## II

Раннее утро, яркое и свежее, после недолгой вечерней грозы, застало нас уже в дороге, на тропинке горного волжского берега. Впереди, направо, только что поднялось над освеженными перелесками радостное солнце, налево, за синей рекой с ее песчаными отмелями носился еще туман над лугами и болотами. Отдаленные леса чуть пробивались своими волнистыми зелеными верхушками, как будто выплывая из затянувшего их моря белесого тумана.

Андрей Иванович шел молча, слегка как будто бы угнетенный, вероятно, с похмелья, и отчасти пристыженный. Матрена Степановна встала раньше нас и проводила в дорогу. Бедная женщина, кажется, совсем не спала, глаза у нее были слегка заплаканы... Жалела ли она об испорченном имуществе, или чувствовала что-то недоброе в этих выходках отбившегося от рук супруга? Вероятно, было и то и другое. Она держала себя на этот раз сдержанно и с каким-то особенным спокойствием, сильно импонировавшим Андрею Ивановичу. Он яв-

но избегал встречаться с ней взглядами, но вчерашняя его грубость совершенно исчезла. Свое подавляющее великодушие Матрена Степановна простерла до того, что налила рюмку водки, чтоб «поправить», очевидно, сильно страдавшего супруга...

Но Андрей Иванович был человек с характером и не любил полумер. Поэтому он только покраснел, потупился и ответил решительно:

— Не надо...

— Голова-то, небось, трещит... с похмелья.

— Пуцдай, — упрямо повторил Андрей Иванович, но затем, когда Матрена Степановна, по привычке к порядку и экономии, вылила водку обратно из рюмки в графин и ставила последний на полку буфета, Андрей Иванович посмотрел на нее пристальным, как будто изучающим и вдумывающимся во что-то взглядом. Мне показалось даже, что в этом взгляде пробивалось что-то вроде благодарности, даже нежность с оттенком жалости...

При выходе из деревни, перед околицей, на самой заре, нас вдруг окликнул Миня. Натуральный молодой человек стоял на пороге

плохонькой, полуразвалившейся избушки, в одной рубашке и портах, босой и простоволодый. Его простодушные детские глаза были заспаны, как у ребенка, но лицо было так же свежо, и мелкие кудри в каком-то естественном порядке обрамляли красивую голову. Он по-детски тер глаза кулаком, с удивлением рассматривая нас с Андреем Ивановичем, точно не веря в действительность виденного и принимая нас за какое-то марево, возникшее из утреннего тумана. Однако, убедившись, что это действительность, он вдруг нырнул в свою хибарку и, выскочив оттуда, с лукавым видом поднял что-то нам навстречу. При слабом свете зари в его руках блеснула стеклянная посуда.

— На-ка вот! — сказал он радостно и затем прибавил с неподражаемой благосклонностью:

— И ты, странник, подходи. Угощу!

Андрей Иванович остановился, но мелькнувшее было у меня сомнение в его твердости тотчас же рассеялось. Он подошел к Мине с серьезным видом и сказал:

— Послушай, Миня. Я, брат... ухожу.



— Ну-к что? Чай, не надолго...

Андрей Иванович не ответил на вопрос и опять пристально поглядел на Миню. Мне показалось, что он сейчас пригласит к нам третьего спутника, и, признаться, несмотря на невольное расположение к натуральному молодому человеку, я подумал все-таки, что эта жизнерадостная и беспутная фигура будет не совсем у места на «святом озере». Но Андрей Иванович помолчал, долго всматриваясь в лицо Мини, и сказал:

— Любишь ты меня, Минька?..

Круглые глаза Мини остановились на говорившем с выражением искреннего удивления:

— Да ты что... Ай одурел? Девка ты, что ли... На-ка вот, глони...

— Не стану. Хочешь ты меня послушать: брось водку!

Миня опять посмотрел на своего друга и, поняв его требование, как проявление похмельного самодурства, требовавшего нелепой жертвы на алтарь дружбы, — швырнул бутылку. Стекло зазвенело, ударившись о камень...

— Ну? — спросил Миня.

— Больше ничего, — ответил Андрей Иванович. — Прощай... Пропадать бы нам с тобой вдвоем-то!

— Ну, так что... Пропадать, так пропадать!

— И верно, — живо сказал Андрей Иванович, потрянув головой. — По мне, так лучше я с тобой бы пропал, ничем мне с прочими водить компанию, с подлецами... Ну... однако... еще, что бог даст... Прощай, Минька. Как ежели... значит... в случае... то я, значит, никогда... Эх! Ну!

И, не досказав своей мысли, он решительно опять двинулся за мной, оставив изумленного приятеля... Миня долго стоял на пороге, потом даже сделал несколько шагов, как бы бессознательно увлекаемый за другом в его неведомый путь... Но затем остановился и что-то крикнул. Андрей Иванович не повернулся. Казалось, ему очень тяжело было расставаться с Миней. Пройдя несколько саженей, мы повернули за перелесок. Околица, дома, фигура Мини, — все исчезло... Направо от нашей дороги тихо шептали что-то как будто просыпавшиеся хлеба, налево шевелила

влажной листвой роща.

— Ну, закрутит теперь Минька, — сказал Андрей Иванович глухо и как-то тяжело. — Э-эх... И что только мне за этого человека будет... Сказано: камень осельный и в воду... это про меня, в аккурат...

— Полно, Андрей Иванович, — сказал я, зная, что в такие минуты он часто склонен преувеличивать свои преступления. — Ведь не вы, наверное, его спаивали...

— Ну, скажем, зашибал и до меня. А может... женись он по приказу общества на этой старке... Она бы его прибрала к рукам...

— Да ведь он ее не любит...

— Не любит... баловство! Нас не спрашивали — женили...

— Андрей Иванович...

— Знаю. Вы это насчет вчерашнего. Бить за такие речи надо... От этого самого и пропадем... Когда бы не отбился от рук, век бы прожили по-людски. Не-ет. Старинные люди знали, что делали...

Андрей Иванович вдруг, как-то свирепо вытаращив глаза, сказал:

— В гроб вколачивали, а людьми делали...

Теперь не то... Слабость пошла...

— Да ведь сами вы говорили, что все это дело со старкой возмутительная неправда.

— А где она — правда? — страстно сказал Андрей Иванович, внезапно останавливаясь. — Где она — правильность-то самая?.. То-то вот: отучить от старой правильности умеем. Научить-то вот некому... Он, скажем, действительно, благодетель-то этот... его грех. Так он старик, ему можно бы и уважить: трудно на старости срам принимать. А Миня, может, нашел бы свою линию... Они бы его в оглобли-то ввели. Да уж... погодите, пожалуйста, сделайте одолжение... потому — они по старине, у них бы оборкался, и капитал бы отдали, и к делу бы приставили. Они ведь своим-то, которые покорствуют, помогают вот как... Стал бы Минька торговец!.. Брюхо бы отрастил — во! Потому, натура у него лехкая. А я... сбил его: не слушайся! «Неправильно. И вера неправильная»... А он в этой вере родился! Ха! Научил вот: лучше же пойдем со мною по кабакам правду-те искать...

Мы поднялись на взгорок, откуда в последний раз можно было увидеть село и деревню.

От деревни из-за зарослей видны были только крыши и трубы, посылавшие к небу синие живые струйки дыма.

— Звона, наш задымил, — указал Андрей Иванович на дымок, тихо клубившийся над крышей нового дома. Дымок этот казался прощальным приветом нового дома неблагодарному хозяину. Дальше за деревней, между двух гор, виднелась лесная пристань и клочок реки. Буксиры дымили разведенными парами, на баржах, как муравьи, копошились бурлаки... Начинался трудовой день суетливой реки.

Андрей Иванович растроганным взглядом посмотрел еще раз на мирную картину, которую еще вчера так ненавидел, и махнул рукой.

— Суета! — сказал он, очевидно, вспомнив о доме... — Нет, Галактионыч, верно сказано: не в деньгах счастье, или уж так надо говорить: глупому сыну не в помощь богатство... Прежде — спокойнее я жил, верьте совести... Как по-вашему: отчего это?

— Что именно, Андрей Иванович?

— Да вот все! И Миня, и я... дом теперича...

И опять: ищешь правильности, попадаешь в кабак...

Он говорил с знакомой мне глубокой тоской и с той невразумительностью, с которой обыкновенно подходил к самым общим и болящим вопросам жизни.

Я невольно задумался. Что и как ответить ему? У меня была на этот счет своя теория, в правильности которой я глубоко убежден. Она связывает это мятущееся существование с общим порядком жизни, и я уверен в ненарушимой логичности этой связи. С этой точки зрения и искания Андрея Ивановича, и его нелепости, и неудовлетворенность застоявшейся верой, и все остальное располагаются в правильную перспективу. Но как объяснить ему все это так, чтобы не вышло холодно и отвлеченно? Для этого нужно, чтобы прежде он мог поверить в мою правду жизни... Но для этого нужно много переходных ступенек, и опять через отвлеченности. А сейчас, в эту минуту, что дать этой болящей душе?..

И, пока я думал об этом, мы в молчании двинулись дальше. Синие дымки, крыши,

ключок Волги — все исчезло. Впереди рассти-  
лалась молчаливая, еще сыроватая дорога.



От Козьмодемьянска мы поднялись по Вет-  
луге. Времени было еще достаточно, и мы  
шли, не торопясь, лесными тропинками, то и  
дело выходя на берег извилистой лесной реч-  
ки и кое-где переправляясь в ботничках, на-  
рочно для этой цели оставленных на чистом  
песке отмелей.

Андрей Иванович был задумчив и печал-  
лен. Может быть, это была реакция после бур-  
ного запоя и душевного кипения, только чу-  
десные лесные дорожки, которыми мы проби-  
рались к Люнде, не оказывали на моего спут-  
ника обычного действия. Несколько раз на  
привалах он садился весь разбитый и уста-  
лый и, глядя на меня страдающими и погаса-  
ющими глазами, спрашивал:

— Да что, Галактионыч... Уж не вернуться  
ли мне? Тоска. И какое может быть озеро?..

— Озеро-то есть, Андрей Иванович, — отве-  
чал я, улыбаясь.

— А града невидимого нет... А ежели и  
есть, то не нам грешным увидеть... Старин-

ные люди, может, и видели... Где нам!..

— А итти все-таки надо, когда собрались, — говорил я решительно, чувствуя, что на Андрея Ивановича надо теперь действовать внушением. Он поднимался и шел, но видно было, что его мысли обращались назад. Он говорил о доме, о Матрене Степановне, о Мине и об обществе. Из его слов я все яснее понимал его настроение: жизнь сняла с него обузу будничных, насущных, подавляющих и не дающих отдыха забот, мечта отдыха в старости стала близко, осуществилась и — потеряла всю заманчивость. Освобожденная от ярма душа потребовала своего — своей доли, своей собственной жизни. А материала для этого не было. Некоторая доза скептицизма давно уже сказалась в Андрее Ивановиче и подточила старые устои. Нужно сказать правду — наши скитания по монастырям далеко не содействовали умиротворению этой смятенной души. Авторитет Матрены Степановны, а может быть, внезапная перемена жизни и всех отношений, отчасти, вероятно, и элемент «гонения» привели Андрея Ивановича в согласие... Но не надолго... Мелкие компро-



миссы, удалившие этот элемент, привели маленькую общину к благополучному житию, в котором вера выродилась в обрядность и лицемерие.

При этом мне невольно вспомнилась скучная перспектива сельской улицы, с кавалерами в пиджаках и нарумяненными девицами. Почему это представлялось мне вчера, да и теперь представляется, так пошло и скучно? Мне казалось, что я понимаю это: это не человеческая жизнь с ее смыслом и содержанием: один цельный строй народной жизни нарушен, другой еще не сложился. Крестьянский мир отошел для этих приволжских сел, а «общество» и его запросы к человеку еще не пришли на смену. От этого человек, освобожденный от тяготы мира, чувствует себя одиноким, не связанным ни с чем высшим, — и его существование обращается в одиночную борьбу для наживы... Он хватается еще за фикцию своей веры, но это вера, не подвигающая на дела, не возвышающая душу и принимающая ум. Человек хочет широких формул, обнимающих жизнь и зовущих к жизни... Только тогда человек чувствует себя челове-

ком... Так объяснял я себе состояние хаотической души моего приятеля, и теперь это состояние опять будило во мне симпатию и казалось мне привлекательным, несмотря на то, что сам Андрей Иванович, повидимому, делал усилия, чтобы реабилитировать в своих глазах постылую действительность.

— Видали, Галактионыч, — сказал он, идя со мной рядом по лесной тропинке. — Матрена-то Степановна: сама опохмелиться поднесла... Завсегда так. Ругать ругает. Нашего брата не ругать невозможно, пьяницу...

— Ну, какой вы пьяница, — ободрял я.

— А добрая... И Флегонт Семеныч (наставник) — он ведь тоже... конечно, не без слабости... И опять — бедным они действительно помогают... Это надо говорить. Наши, церковные то есть, этого не знают. Ну, опять насчет табаку и водки.

— А что же это за вера? — спросил я.

— Вера эта — как вам сказать... рябиновая... Постойте, не смейтесь. Я вот объясню, только я и сам, признаться, не очень... Видите: было когда-то, говорят, соловецкое сидение... При царе Иване Грозном.

— При Алексее Михайловиче.

— Ну, вот-вот. Стало быть, знаете.

— Про соловецкое сидение знаю.

— И это правда?

— Да, это историческое событие.

Андрей Иванович пытливо и вдумчиво посмотрел мне в глаза. По своей натуре он был склонен к крайностям: все признавать или все отрицать. Теперь его озадачивало то обстоятельство, что некоторые утверждения рябиновой веры оказывались справедливыми...

— Та-ак... стало быть, и вы можете подтвердить... и, значит, за веру их мучили и разогнали... Иноков которых побили и бросили в море, а один монашек спасся... И, значит, святыню всю ихнюю тоже захватили, а тот монашек унес с собою один только крест. И шел перед ним тот крест лесами, и горами, и долами... И вроде как бы свет от него... Ну, скажем так: может, он сам тот крест нес в руках и свету не было. Прибавлено. Так?

— Очень вероятно.

— И пришел, значит, на Каму, к верным людям, и говорит: «Нет уже более святыни на всем свете. Только и осталась одна — вот этот

крест! Остальные запечатали печатями. И кто, говорит, помолится на такую икону с печатью — и тот пропал в сей жизни и в будущей... Молитесь сему единому кресту». Может это быть?

— Что монах мог притти и говорить — это очень вероятно.

— Ну, хорошо. Значит, стали кланяться этому кресту... Видели вы: у нас божничка все одни кресты.

— Да, видел.

— То-то. Ну, впоследствии, конечно, этих людей размножилось, а крест один. Стали делать другие кресты — нельзя же без святыни. Тут вот и вышел спор. В писании, значит, сказано так, что крест был сделан из трех деревьев: из сосны, и певги, и кипарису. Теперь сосна и кипарис — деревья известные, а что такое певга?

— Этого я не знаю.

— Ну, и они не знали. Одни говорят одно, другие — другое. А между прочим — оказывается, что это есть рябина. Стали делать кресты из рябины... Вот и пошло рябиновское согласие. На Каме, в Чистополе много. Самые

коренные... И у нас. Вот дедушка Мини у них был при моленной. Миня так в моленной и вырос. Тоже эти кресты делал, писать иконы тоже выучился...

— Да ведь они икон, вы говорите, не признают.

Андрей Иванович с некоторым удивлением посмотрел на меня, как будто раньше не замечал этого противоречия. Потом махнул рукой.

— Ну! У них так набуторено, сам архиерей не разберет. Теперь которые уже и иконы ставят, только письмо чтобы было постное.

— Это как?

— А значит — ни масла, ни яйца. Краски делают соковые. Лак без спирту... Ну, он, Минька-то, озоровал: и масла пустит и спирту вкатит... Узнали, выгнали из моленной. А тут дедушка помер... Пошла эта склока... Да, вот она и вера вся! Как разглядел я хорошенько... Тут и я закрутил... Как вы думаете, — может это быть?

— Что именно?

— Да вот это самое: что, значит, на какую-нибудь икону нечаянным случаем помо-

лился — и душа пропала.

— Конечно, не может.

— То-то: ведь я не ей кланяюсь... Я, например, богу... Ну, а гонение за веру?..

В таких разговорах мы подвигались все дальше, отдыхая и ночуя на лужайках и откосах.

Между тем дороги, пустынные и тихие, по мере приближения к Люнде, немного оживлялись. Один раз нас обогнала телега, в которой сидели женщины сурового скитского вида.

Они посмотрели на нас внимательно, сдержанно ответив на поклон, и проехали дальше... В другой раз через дорогу прошла группа мужчин с узлами и палками в руках. Они только пересекли дорогу и пошли тропками, вероятно, ближайшими, которых мы не знали...

На третий день, на заре, я проснулся от пения. Сначала напев звучал в отдалении, — неопределенной мелодией, потом все приближался. Андрей Иванович, страдавший эти дни бессонницей (последствие слишком решительного воздержания от «поправки» с по-

хмелья), услышал пение раньше меня, и, проснувшись, я прежде всего увидел его лицо — взволнованное и как будто испуганное. Он вглядывался расширенными зрачками в лесную дорожку, изгибы которой были застланы синеватой мглой сумерек. Между тем отдаленная мелодия все приближалась, и, наконец, из тумана стали выступать три фигуры, а из неопределенной печальной мелодии выделились слова, как мне показалось, знакомые мне по воспоминанию:

— Что так громко завывает, — спрашивал тоскующий юношеский голос, — томный звон колоколов?..

И звучный согласный хор трех голосов ответил протяжно и торжественно:

*Что так громко завывает  
Томный звон колоколов?..  
Знать, родного провожает  
Спать в долину средь гробов...*

— Что за человек? — спросил Андрей Иванович с каким-то испугом...

# Примечания



# 1

Один из вопросов вульгарной раскольничьей диалектики.

[^^^]

## 2

Собственные имена в этих очерках по большей части вымышленные.

[^^^]

Записано А. С. Гациским со слов одной старицы в Семеновском уезде.

[^^^]

# 4

Обвалье — деревья на берегу, с подмытыми водой корнями.

[^^^]

# 5

Гон — особая мера, равная, по объяснению бурлаков, двадцати семи сажням.

[^^^]

## 6

Светлояр — вулканическое озеро на реке Люнде, близ села Владимирского, Макарьевского уезда, Нижегородской губернии. С ним связана легенда о невидимом граде Китеже...

[^^^]

# 7

Особенность местного говора: вного вместо  
много.

[^^^]

Мельников, у которого в книге «В лесах» есть очень картинное описание деревянного скитского звона, ничего не говорит об этом колоколе.

[^^^]



Имена в этом очерке вымышлены.

[^^^]

В свое время этот эпизод я не напечатал по весьма понятным причинам. Года через два, если не ошибаюсь, в монастыре была произведена строгая ревизия епархиальным начальством, и многие «немощи» единоверческой братии подверглись «осуждению», которого так боялся благодушный отец Стахий.

[^^^]

Красноярками называют фальшивые бумажки.

[^^^]

равенство (франц.).

[^^^]

Строки из поэмы М.Ю. Лермонтова «Хаджи-Абрек».

[^^^]

Ремонтеры — офицеры, занимающиеся покупкой лошадей для комплектования кавалерии.

[^^^]

Песня подлинная; записана в Балахнинском уезде в 20-х годах и напечатана в «Нижегор. губ. ведомостях» (1887, № 22).

[^^^]

Спасибо, господин Алымов. *(Ред.)*.

[^^^]



Старая сказка. (Ред.).

[^^^]

Белое и черное. *(Ред.)*.

[^^^]

«Русская Речь», если не ошибаюсь, в конце 70-х годов.

[^^^]

Пройденный этап.

[^^^]

Наедине (франц.).

[^^^]

Как птица поет (нем.).

[^^^]

Пропуск автора. (*Ред.*)

[^^^]